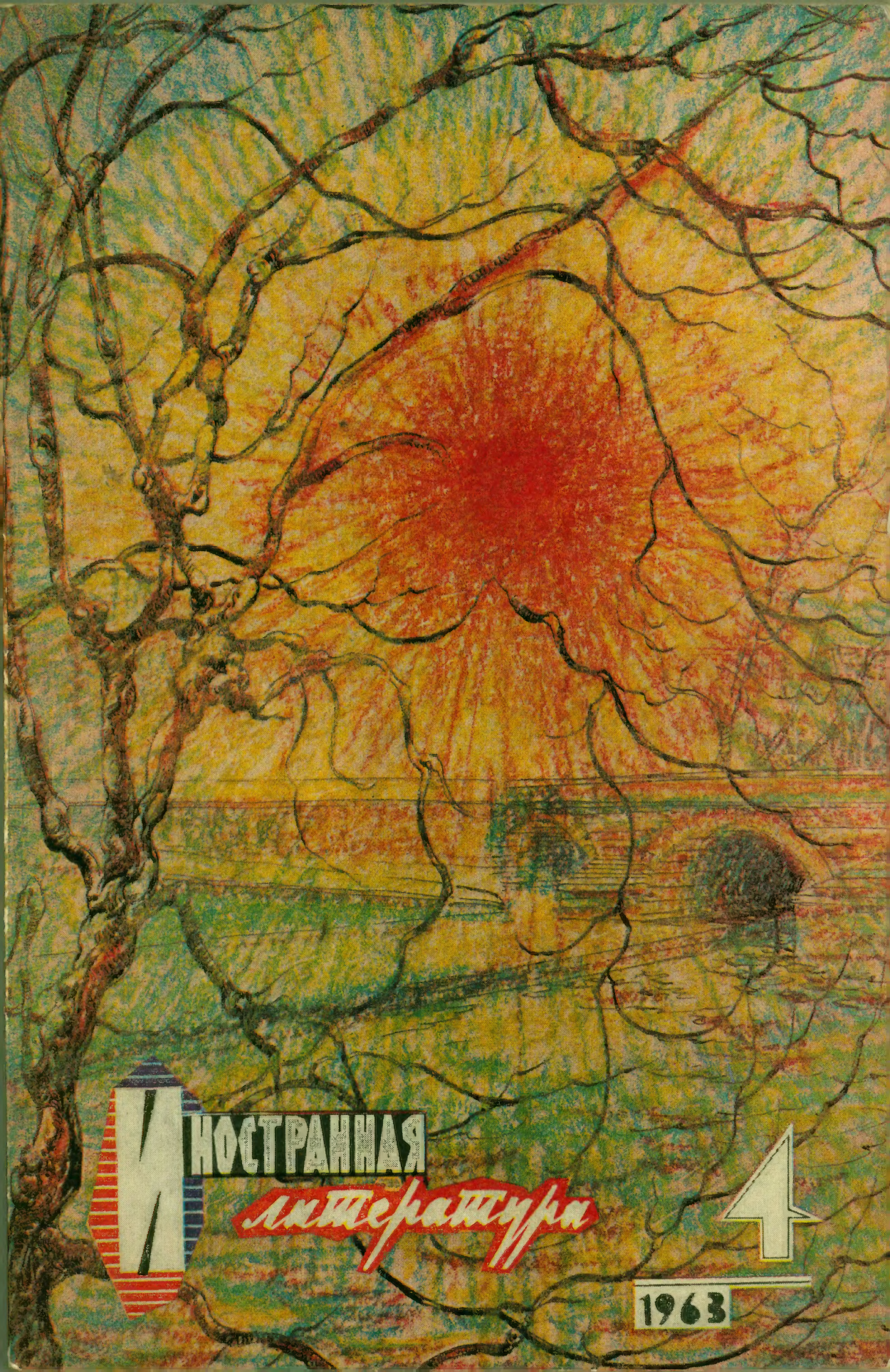
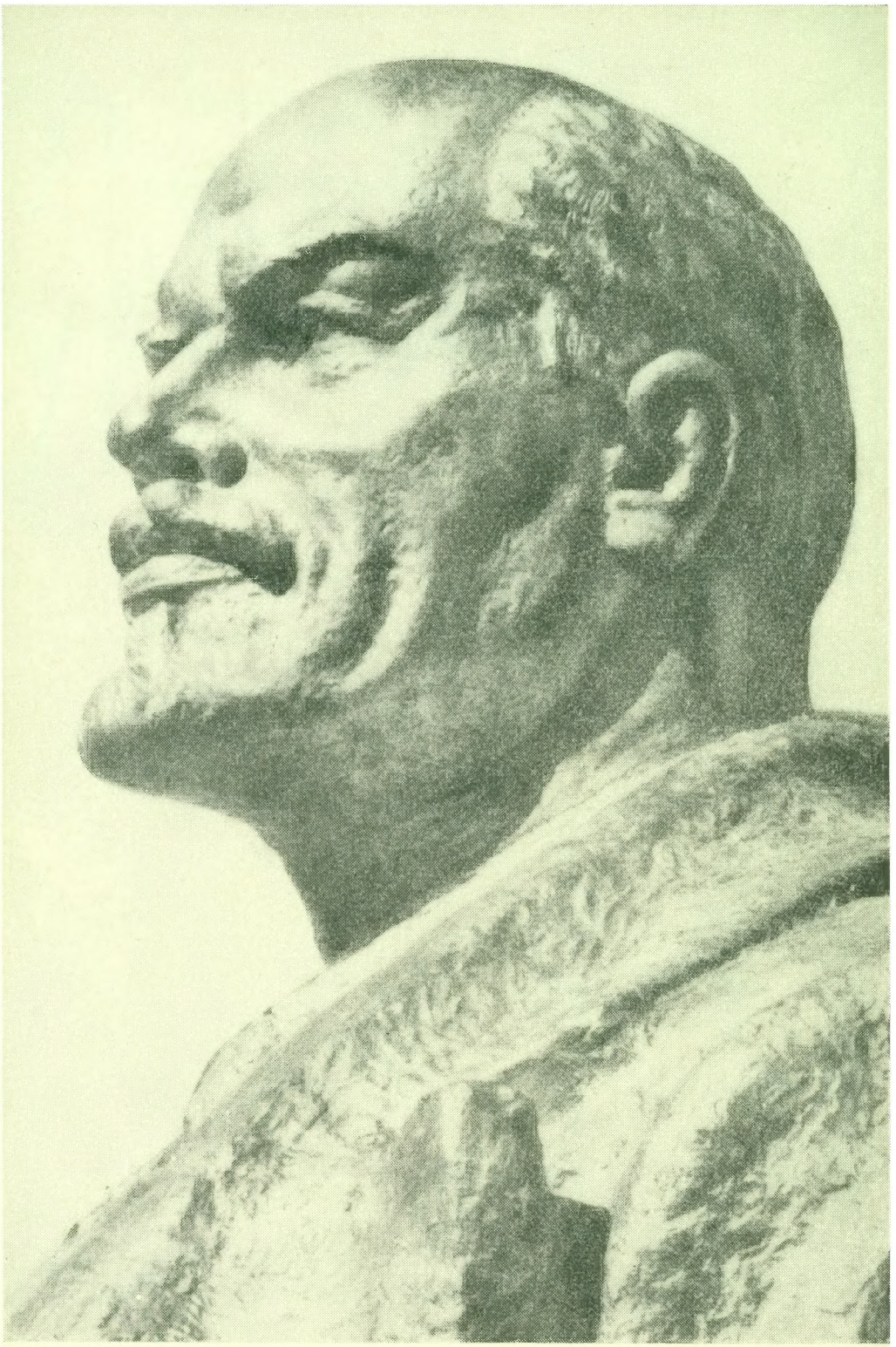

Иностранная
литература
4
1963



В. И. Ленин

БОРИС КАРАДЖА
народный художник РНР

(фрагмент памятника, установленного в Бухаресте в 1960 г.)

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ГАБОР ГАРАИ — Безымянный из Разлива (Стихи) 4

БЕРНГАРД ЗЕЕГЕР — Осенний дым (Роман. Продолжение) 6

СЕСАР ВАЛЬЕХО — Человечьи стихи (Вступительная статья Л. Осповата) . . . 57

АНДРЕ МОРУА — Рассказы 65

ЦЗОУ ДИ-ФАНЬ — Лучший стих 103

ХАРПЕР ЛИ — Убить пересмешника... (Роман. Окончание) 105

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА — У меня теперь друзья повсюду (Вступление Веры Инбер) 181

САТИРИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

ЯРОСЛАВ ГАШЕК — Из неопубликованного 184

КРИТИКА

И. АНИСИМОВ — Актуальность гуманизма 192

Е. КНИПОВИЧ — Сын своего времени (Заметки о творчестве Бертольта Брехта и «Берлинском ансамбле») 200

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

ЭРИК ДАНИЭЛЬСЕН — Роман здравствует и процветает (Письмо из Копенгагена) . 213

4

АПРЕЛЬ

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 216

ДОКУМЕНТЫ

Они отстаивали правду о Стране Советов (Вступительная статья Саввы Дангулова) 224

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

Н. ЖУКОВ — Размышления об абстрактном искусстве (Читая книгу Хуана Маринельо) 246

М. САЛГАНИК — Голос писателей двух континентов 249

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — Встречи с Вайнертом 252

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Поль Хогарт иллюстрирует Брэндана Биэна 254

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

С. Липкин — Ветер из сердца Азии. ◇ Александр Борщаговский — Герои без орденов. ◇ Е. Мячина — Неизвестная страница 265

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Владимир Рубин — Юность в Австралии. ◇ И. Млечина — Незабываемое прошлое 270

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 274

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 275

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

На обложке рисунок БОРИСА ТАСЛИЦКОГО (Франция) «Весна».

СМЕРТЬ ЗАХВАТЧИКУ!

Рисунок кубинского художника ЯНЕСА

К ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ КУБИНСКОГО НАРОДА НА ПЛАЙЯ-ХИРОН

ГАБОР ГАРАИ

Безымянный из Разлива

Перевод с венгерского
ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

На старом фото —
незнакомый кто-то.
А я вдруг чувствую, не знаю почему,
что вот за этим кем-то — пусть лишь позовет он! —
пойду,
как другу вверившись ему.

Лицо рабочего.
Упругость подбородка,
усмешка губ, которые и в твердости добры...
Простая темная косоворотка...
Прикрывшие высокий лоб вихры...

Но по глазам, прищуренным от света,—
от света, льющегося изнутри,
я узнаю, догадываюсь:
это
он, Ленин.
Не с привычного портрета,
а в парике, переодетый
и непохожий, что ни говори.

И все же — он.
В нем — правда класса,
суть классовая, а не только вид!
Душой и мыслью
со стотысячною массой
нерасторжимо облик этот слит.

Теперь я знаю:
мне такой, в других живущий, Ленин
в дни сумрачные встретится не раз —
и стерты будут всех сомнений тени
неиссякаемым сияньем этих глаз...

Наверно, самый безымянный пролетарий
огромным чем-то обменялся с ним.
Вобрав всем сердцем этот взор лучисто-карий,
он, безымянный тот,
на нашем шаре
бессмертен и неисчислим.

Вовек не дрогнет он.
Он стяга не уронит.
И если к нам подступят волны тьмы,
он поглядит на нас вот так —
и темь отгонит,
и свету вновь сердца откроем мы.

Разлив, октябрь 1962.

БЕРНГАРД ЗЕЕГЕР

ОСЕННИЙ ДЫМ

РОМАН

Перевод с немецкого
И. МЛЕЧИНОЙ и В. СТЕЖЕНСКОГО

14

Для женщин новости — как шелуха от подсолнухов: прилипнут к небу, шекочут и царапают, пока язык их не выболтает. Только тогда, бедные, наконец угомонятся.

Гейзер узнал о приезде Вольни от Куглера. Сросшиеся брови хуторянина удивленно взметнулись вверх. Он судорожно запустил растопыренные пальцы в жирные, гладко зачесанные назад волосы. И даже Куглер, не очень-то разбиравшийся в выражениях лиц, с удивлением заметил, что обычно сдержанного Гейзера охватило тревожное волнение.

— Он действительно живет у Гриммбергера? — спросил Гейзер.

— Старые знакомые. Вместе перебегали через линию фронта. Предатели!

— Заткнись! — буркнул Гейзер.

Под его взглядом Куглер опустил голову.

— Я только хотел... Ведь, наверно...

— Держи язык за зубами, болван! — прошипел Гейзер. Он швырнул деньги на блестящую, обитую станиолем стойку и пошел, прямой и высокий, через тесное помещение к двери.

На пороге Гейзер столкнулся с Лидией Крамер. Он увидел ее загорелую, юношески стройную шею и глубоко в вырезе словно чертой отделенную светлую кожу, которой не коснулись солнечные лучи. Лидия почувствовала его взгляд, сверкнула улыбкой, от которой у него дух захватило, и озорно покачала бедрами. Гейзер до боли сжал побелевшие губы.

Выйдя из трактира, он направился вниз по улице. Женщины, судачившие возле домов, оборачивались и смотрели ему вслед. Около лип перед лавкой Штанге Гейзер невольно замедлил шаги. Глазами он поискал поблекший стебелек ржи, который обнаружил на ветвях несколько дней назад. Нашел его и ощутил, как душу вновь стеснило

Продолжение. Начало см. в № 3

какое-то странное чувство. «Все как было испокон веков: деревья, эта улица, земля, по которой ты ходишь,— все как прежде. А ты сам? При виде женщины тебя бросает в жар. Глаз не можешь оторвать от ее груди. Но рот словно заперт на замок. Она ни с кем не связана, ты это знаешь. И все же не находишь слов, чтобы сказать ей, чего ты хочешь. Сказать, что есть дом, в котором уныло и неприютно без ее тепла, есть кровать, достаточно широкая, и мужчина, который давно забыл, что такое женщина».

Гейзер вышел на проселок. Над лесом опускалось солнце, озаряя своим пылающим светом нагроможденные друг на друга, с темным отливом облака. Последние лучи косо падали на землю, вырывая у тени неяркие полосы еще не лущеного жнивья. Свернув на тропинку к хутору, Гейзер услышал хриплое монотонное завывание пса, которое то усиливалось, то затихало. Уже несколько дней этот непрекращающийся вой выворачивал ему душу. Вот и сейчас ярость сдавила горло. Он ускорил шаги. Подойдя к забору, толкнул калитку и пронзительно крикнул:

— Уймись, дворняжка проклятая!

Собака, сидевшая на задних лапах, вытянув шею, как воющий волк, испуганно сжалась, уползла в конуру, и из темноты засветились два настороженных глаза.

Гейзер вошел в хлев. С сеновала донеслось приглушенное пение. Пел удивительно мягкий, низкий голос. Звуки его плыли где-то над головой. Гейзер прислушался. «Дейчланд, Дейчланд, юбер аллес...». Голос принадлежал Антону, его новому батраку.

Грязное ругательство вырвалось у Гейзера. И в тот же миг ему пришлось отпрыгнуть в сторону: из люка в кормушку скатились громадные охапки сена. Коровы задергались на цепях. Те, которые стояли слишком далеко, вытягивали шеи и громко мычали, требуя корма.

Антон бесшумно соскользнул через люк на копну. Гейзер схватил его за шиворот. Антон испуганно взвизгнул. Большие глаза его в страхе забегали по сторонам. Гейзер приподнял его и твердой, как железо, рукой дважды ударил по лицу.

Из карих, ничего не выражающих глаз батрака мелкими каплями засочились мутные слезы. Он проскулил:

— Не бей, хозяин! Не бей, дорогой хозяин!

Гейзер швырнул его обратно на копну. Батрак на четвереньках пополз к выходу. У двери он выпрямился. Огромные, по-медвежьи сильные руки болтались впереди. Маленькая, похожая на гранату голова была втянута в плечи. Антон покосился на хозяина. Руки его ухватились за вилы. Гейзер зорко наблюдал за ним и, увидев, как безумные глаза его налились кровью, пронзительно закричал:

— Брось вилы!

Вилы звякнули о кормушку. Гейзер не двинулся с места. Он гаркнул:

— Иди к Гриммбергеру! Скажи, чтобы пришел сюда!

Антон попятился. Он не спускал с хозяина глаз, полных звериного страха. И только когда за ним закрылась дверь, жизнь вернулась в оцепеневшее лицо Гейзера. Он поднял вилы и подбросил коровам сена. Руки его едва заметно дрожали.

Двадцать три года батрачил Антон на Куглера. Отдавая его Гейзеру, Куглер сказал:

— Давай ему жрать. Это окупится в работе. Помешанные жрут больше, чем нормальные, и силы у них тоже больше. Никогда не говори с ним тихо, всегда ори. Это внушает уважение. К окрикам он привык еще в лечебнице. Иногда у него бывают приступы бешенства. Ты это всегда заметишь заранее. В такие моменты он поет единственное, что

умеет: «Дейчланд, Дейчланд, юбер аллес». Это ему, наверно, вдолбили в лечебнице. Он не выучил никакой другой песни, но эту, единственную, ему не забыть. Когда он поет, обходи его стороной. Если удастся, замани в хлев и запри. Скотину он бьет, но не очень свирепо. Главное, никогда не колоти его. А если это все-таки случится, будь настороже, не подпускай его к себе близко. Если он доберется до твоей глотки, пиши пропало. У него чудовищная сила. Я видел, как он схватил за рога племенного быка и пригнул его голову к земле. Он прикончит тебя, если ты попадешься ему под руку. А вообще он кроток и для работы пригоден, как мерин. С ним только надо уметь обходиться!

Гейзер вышел из хлева. Ему предстояло еще подоить коров. Но он подумал: «Пускай лучше этот идиот потрудится. За работой, может, пройдет его бешенство. Однако несколько дней надо поостеречься, а то еще забудешься и угодишь из-за него в тюрьму».

Собака не решалась выйти из укрытия. Темень плотно окутала двор. Над широким серпом ущербного месяца спокойно плыли редкие пряди облаков, оставляя открытыми обширные пространства темно-синего неба, усеянного звездами. Глаза собаки, поблескивая, следили за беспокойно расхаживавшим по двору Гейзером. Когда он открыл дверь кучерской, цепь тихонько лязгнула: хозяин ушел, и пес наконец-то смог пошевелиться.

Гейзер включил лампу, защищенную проволочной сеткой. Она отбросила призрачные тени на побеленные стены каморки, где умещались кровать, стол, два стула и полка с посудой; окно выходило в поле, над которым тяжело и неподвижно разливался бледный свет лунной ночи.

Посмотрев через окно на тропинку, ведущую к деревне, Гейзер между подстриженными сливами увидел Гриммбергера, направляющегося к хутору. Следом за ним, наклонившись вперед, с болтающимися огромными руками бежал Антон. Под этим расплывчатым светом, который лишь неясно обрисовывал контуры, он пугающе походил на выпрямившуюся обезьяну.

Гейзер отошел от окна. Его узкие землисто-серые губы тронула улыбка. Ему казалось, что вот сейчас, в этот миг, в его пользу решится важное дело. Он растопырил пальцы широкой, жесткой руки и сжал ее в кулак.

Гриммбергера он встретил дружеским кивком, долго и крепко тряс его руку.

— Садись. Чем тебя угостить? Хочешь сливовой? Сами варили! С тех пор как Гейзеры живут здесь, они сами варят сливовую водку. Рецепт передается от отца к сыну, как земля. Крепкая, аж слезу вышибает. Зато не нужны ни врачи, ни аптеки. Садись, Гриммбергер, снимай куртку, устраивайся поудобней!

Они разговаривали о всяких пустяках, пили, потом Гейзер спросил:

— У тебя квартирант, говорят? Друг с прежних времен?

После давящей тревоги, мучившей его весь день, Гриммбергер чувствовал потребность поделиться с кем-нибудь. Уже одно это заставило его без колебаний принять приглашение Гейзера, хотя, когда Антон постучал в окно, он уже совсем было собрался спать.

Гриммбергер поудобнее уселся за стол, не торопясь набил трубку и, что случалось с ним очень редко, словоохотливо начал:

— Все это так. Но времена меняются. Когда речь заходит о земле, дружбе конец. И совершенно незачем вцепляться друг другу в волосы, как рассорившимся супругам. Просто надо с этим делом кончать. Так я и поступил. Я ему сказал: «Ты — мой дорогой друг и гость. Дом мой открыт для тебя, но в дела мои не вмешивайся». Он человек с характером — что правда, то правда. Но душу крестьянина не понимает. Ведь,

не считая нескольких лет в юности, ему всегда приходилось работать на заводах. Вот и думает, что раз там без социализма не обойтись, то он и здесь придется ко двору. И ведь на такого человека даже обижаться нельзя. Он жил только этим и много хлебнул горя. Так-то!

Облокотившись на стол, сжав ладонями виски, Гейзер жадно слушал рассказ Гриммбергера.

— Сидел раньше или нет? — спросил он.

— Все повидал: и каторжную тюрьму, и концлагерь, и каменоломню, ничто его не миновало. Кремень, а не человек — видит бог!

В тяжелых серых глазах Гейзера загорелся мрачный свет. Но Гриммбергер этого не заметил. Он чувствовал, как по телу разливается тепло от спиртного, язык его развязался, и из груди легко вылетали слова.

— Я-то думал, он приедет в отпуск, радовался, собирался откормить его как следует. А он, вместо того чтобы отдохнуть, приезжает сюда воз на себе тащить. С Шинделем кое-как справились. С Вольни будет труднее. Он никому не даст покоя, пока не добьется своего... Уж я-то его изучил! День и ночь голову ломаю... Покориться ему или есть другой выход? Просто ума не приложу. Может, повеситься в амбаре, который построил собственными руками? Пусть тогда терзаются всю жизнь, пусть узнают, каково на честных людей наседать с делом, которого душа не принимает!

— Убить, — пробормотал Гейзер, побелев как мел.

Впервые за весь вечер Гриммбергер поднял голову. Глаза его растерянно забегали по комнате.

— Кого убить? — спросил он в недоумении.

Гейзер большим пальцем показал на окно. Гриммбергер прислушался.

— Ах, вот что, пес... Воет по покойнице?

Гейзер едва заметно кивнул. Он словно обдумывал что-то. Потом вдруг протянул руку над столом ладонью вверх, как бы ожидая, что Гриммбергер что-нибудь положит в нее.

— Мы — крестьяне,— сказал он,— мы должны надеяться, что ветер подует и в нашу сторону. Нам нельзя терять самообладание!

Рука его сжалась в кулак и повисла над столом, будто угрожая кому-то. Гриммбергер увидел, как на ней побелели суставы. Он растерянно заморгал и потер покрасневшие глаза: винные пары и табачный дым, висевший под низким потолком, давили на веки.

— Загадками говоришь,— буркнул Гриммбергер и строго посмотрел Гейзеру в глаза. Было в них что-то, внушавшее Гриммбергеру тревогу. Но, прежде чем он осознал это, в нем проснулась старая неприязнь к сидевшему перед ним человеку.

— Мы — крестьяне,— упрямо повторил Гейзер, устремив на Гриммбергера неподвижный и холодный взгляд.

— Ты — да! А я давно ли? — Гриммбергер откинулся на стуле так, что затрещала спинка. Ему вдруг стала противна собственная болтливость. Он сказал насмешливо: — Ведь до сих пор я, как и все остальные, был в твоих глазах просто вором, который украл у графа землю.

Гейзер нахмурился.

— Зачем старый хлам ворошить? Сейчас не время спорить. Ты для меня крестьянин. Иначе мы бы здесь не сидели. Вот что я тебе скажу: в моих глазах единственный крестьянин — ты. А остальные — батраки! Ломаного гроша не стоят!

Гриммбергер насторожился. Стакан Гейзера звонко ударился о бутылку с водкой. На улице монотонно и жалобно завывала собака.

— Ты крестьянин, как и я! И когда вернется граф, я скажу ему: «Гриммбергер должен сохранить за собой землю, он заслужил ее!»

Гриммбергер ошеломленно уставился на Гейзера. Но в тот же миг

горячая волна крови ударила ему в лицо. Он расхохотался. Жилы на его шее вздулись, словно вот-вот готовы были лопнуть. Задыхаясь от смеха, он воскликнул:

— Твой граф вернется, когда рак на горе свистнет!

Он хлопнул руками по ляжкам. Слезы выступили у него на глазах.

— Твой граф приедет, когда непорочная дева родит. Ох! — Он застонал, навалившись на стол: — Непорочная родит! — Он хохотал, потирая обеими руками судорожно вздрагивающий живот.

Гейзер тоже скорчился от смеха. Он даже расстегнул ворот рубахи: не хватало воздуха. С его серых землистых губ не сорвалось ни звука. Он тяжело дышал. Из оцепенения его вывел вой собаки. Гейзер рванулся к двери. Снаружи на стенах были развешаны обитые железом вальки. Он сдернул один из них с крючка. Собака, вытянув шею, как завывающий волк, жалобно скулила, устремив глаза к небу. Когда валек ударил ее, она подпрыгнула и тут же беззвучно упала на землю. Расколовшаяся голова, плотно прижатая к земле, придвинулась к ногам Гейзера.

Гейзер уронил валек. Почувствовав, как все его тело, до кончиков пальцев, покрылось холодным потом, он оттолкнул ногой залитую кровью собачью голову. В ту же секунду мелькнула тень бесшумно подскочившего Антона. И, прежде чем Гейзер успел сделать хоть одно движение, его схватили сзади две холодные цепкие руки. Он инстинктивно втянул голову в плечи. Но руки уже сжимали его горло. Гейзер упал на колени. Дыхание со свистом вырывалось из его груди. Страшная боль пронзила позвоночник. Он попытался высвободиться. Напряг все силы. Зеленоватый огонь заплясал перед глазами. Он вспомнил, какой смертью умер его отец. Он сопротивлялся, как мог, но слабел с каждой секундой. В ушах бушевал неистовый шум, сквозь который вдруг прорвался резкий крик. Гейзер почувствовал, как ослабли тиски, сжимавшие его горло. Он бессильно упал на землю возле убитой собаки, уткнувшись лицом в кровавую лужу.

Гриммбергер перетащил Гейзера в кучерскую. Он осторожно ощупал его шею и вытер носовым платком запачканное кровью лицо. Прислушался к тяжелому свистящему дыханию.

Когда Гейзер открыл глаза и попытался заговорить, из горла его вырвался только слабый хрип.

Гриммбергер замахал на него рукой.

— Запри за мной дверь. Никогда ведь не знаешь...

Выйдя на улицу, он бросил взгляд на убитого пса. В растекшейся луже крови отражался серебряный свет луны. Гриммбергер тихонько кликнул Антона. Но тот спрятался где-то в темноте и не отзывался. Гриммбергер ушел с хутора, застывшего в черном молчании.

Над тропинкой, ведущей к деревне, стлался первый осенний туман, словно в вату заворачивая причудливые ветви сливовых деревьев и слегка касаясь сутулой фигуры Гриммбергера, которому съежившаяся за полосой тумана деревня показалась в этот момент родным и надежным гнездом.

15

Первые упругие капли дождя с шумом разбивались о черепичную крышу. Вслед за ними хлынули тяжелые потоки, и Вольни проснулся. В мансарде было удушливо жарко. Он сбросил шерстяное одеяло и распахнул окно. Ныло бедро.

— Такие, значит, дела,— пробормотал он.

Впервые за многие месяцы Вольни захотелось курить. Папирос не было, и он в волнении стал расхаживать по комнате. Мысли его перенес-

лись в город, к печам, где и в этот час гудит огонь. Ночная смена лихорадочно готовится к выпуску металла. Нетерпеливо ожидая результатов лабораторного анализа, люди то и дело поглядывают сквозь защитные очки на гигантские горы лома, которые варятся, точно мясная похлебка. Содержание серы еще выше тридцати! Черт побери, как долго, уже почти два часа! А похлебка все кипит, пуская пузыри и поблескивая жиром. И вот, наконец, выпуск!

Даже по ночам снится ему этот искрящийся поток стали, который обжигает кожу, стягивает и дубит ее. Кто хоть однажды варил сталь, навеки прирастет к ней сердцем, не забудет ее запаха. Она гонит из тела пот, а заодно и лень, и немощь. Истекает выходной день, и снова она завет и манит своим грохочущим, фыркающим бездонным голосом, и опять сковывает ее тесный панцирь изложниц.

«А ты покинул ее, Вольни. Ты сам захотел этого. Тебе казалось все слишком простым с тех пор, как был пущен конвертер, коварный конвертер, из-за которого пришлось столько ломать голову и даже ночами не было покоя. Теперь, когда в конвертере клокочет сталь, вспоминают ли там о тебе?»

Вольни потер рукой свое худое лицо и прошептал: «Ах, черти, вы и сами справитесь, вы обойдетесь без Вольни!» Он включил лампу, сел к столу и принялся писать письмо.

«...Здешний кооператив — вроде нашего конвертера, товарищи. Только еще запутаннее, честное слово. Мы свой конвертер строили заново. А здешний существует и дает продукцию уже лет пять. И на него со всех боков налипло множество всякой дряни, которую надо еще сперва разглядеть. Но так же, как мы заставили наш конвертер выдавать сталь, так мы и здесь построим настоящую социалистическую деревню...»

Ветер хлестал в окно дождевыми брызгами. Вольни пришлось закрыть окно. Внизу он увидел Гриммбергера, который подходил к дому, высоко подняв ворот куртки. Понурив голову, он грузно ступал прямо по отливающим темным блеском лужам, и из-под его ног взлетали фонтанчики воды. У Вольни слегка дрогнули скулы. Ему вдруг захотелось окликнуть Гриммбергера, но он поборол это желание и прислушался, как тот возится внизу. Сон уже не возвращался, он крался мимо, как серая бездомная кошка.

Утром Вольни завтракал один. Только Хельга просунула голову в дверь и улыбнулась, словно желая подбодрить гостя. Когда он принес посуду в кухню, Эмма Гриммбергер отвернулась. Он положил ей руку на плечо.

— Видимо, мне придется переехать, Эмма.

Она заплакала, уткнувшись лицом в передник.

— Этого от тебя никто не требует. Но он, как неприкаянный, бродит полночи, а потом залезает в постель и начинает стонать так, что сердце разрывается. Маковой росинки в рот не берет. Все не по нем. Чуть что — орет, взрослую дочь грозит избить. А ведь всегда был добрым человеком. Всегда!

Ее маленькие, боязливые, залитые слезами глаза словно молили о чем-то, нос покраснел. Вольни не мог смотреть в это расплывшееся, потемневшее от горя лицо. Он чувствовал себя беспомощным. «Что же делать, черт побери?»

— Успокойся,— попробовал он утешить Эмму.— Перемелется — мука будет! — Но тут же подумал: «Хорош утешитель: перемелется — мука будет!» Чепуха! Гриммбергер всю жизнь помыкал женой, и она свыклась с этим. Только и знала, что всех обхаживать, обшивать, кормить, подавать, а сама рта не смела раскрыть. Вот и теперь ей, бедняге, остается лишь плакать».

Вольни не заметил, что ушел из кухни, не попрощавшись. На улице все еще лил дождь, но в лужах уже отражались клочки бледно-голубого неба.

У ворот кооперативного двора Вольни поджидали Шиндель и дояр Валентин Цанк. Судя по всему, они давно уже мокли на улице. Согнувшись и засунув руки в карманы, оба стояли с непокрытыми головами, и волосы у них были влажные и растрепанные. Вольни с усмешкой подумал: «А вид у них и впрямь устрашающий». Стараясь легко перепрыгивать через лужи, он крикнул:

— Вы что это как на посту?

— Пойдем с нами,— мрачно сказал Шиндель. — Пойдем, сам увидишь. Тогда окончательно все поймешь!

Он зашагал впереди. Вольни вопросительно взглянул на Цанка, но его широкое, почти бесформенное лицо с толстыми губами выражало только немое ожесточение, что Вольни заметил уже при первой встрече.

— Вот! — сказал Шиндель. Рука его показала куда-то в пустоту. — И я тебе скажу, товарищ, этого осла надо так избить, чтобы ему ни один гроб впору не пришелся!

Вольни молча покачал головой. Перед навозной кучей на скамейке стояли два новеньких бидона. На них было написано: «Подарок от меня. Гриммбергер». Буквы расплылись под дождем, но надпись все-таки была разборчива.

Вольни взглянул на Цанка. Тыча пальцем в один из бидонов, тот вдруг истошно завопил:

— Вот вам! С ума можно сойти! Гриммбергер дарит нам новехонькие бидоны! А все потому, что бухгалтер своей жадностью порочит социализм! — У него перехватило дыхание. Обернувшись к Шинделю, который согласно кивал в такт его словам, Цанк хрипло прошептал: — А наш председатель попустительствует этому! — Он с досадой махнул обеими руками и исчез.

Шиндель, по-видимому, ожидавший от Цанка большего, угрюмо сплюнул, схватил бидоны и, раскачав их, пробормотал:

— Реакцию — на навозную кучу!

Но прежде чем он успел швырнуть бидоны, за его спиной раздался низкий женский голос:

— Осторожно, Шиндель, не убей меня!

Шиндель застыл. А выйдя из оцепенения, все-таки бросил бидоны на навозную кучу, обернулся и, угрожающе подняв палец, сказал улыбавшейся Лидии Крамер:

— Помалкивай! Ты, милая моя, помалкивай!— и зашагал прочь.

Лидия Крамер везла тачку с навозом и едва не задела Вольни. Глаза его скользнули по фигуре женщины и чуть задержались на темных от загара, крепких ногах. Она была босиком и шла легко, словно не касаясь земли.

Лидия Крамер опрокинула тачку. Она сделала это по-мужски, быстрым, сильным движением, и нагнулась за вилами. Подол юбки задрался, обнажив подколенные впадины, круглые и мягкие, с нежными бледно-голубыми прожилками под загорелой кожей. Она порывисто выпрямилась, сдула со лба темную прядку волос, и глаза ее с большими блестящими зрачками обожгли Вольни.

Он смущенно кашлянул, подошел к навозной куче и вытащил бидоны. Лидия рассмеялась.

— Не замарай руки, Вольни!

Он поглядел на ее босые ступни.

— Тебе надо бы надеть резиновые сапоги.— Он откашлялся, недо-

вольный собственным голосом, прозвучавшим сдавленно и глухо. — В самом деле, жалко ноги!

Нахмурив брови, она посмотрела ему вслед. В ее висках гулко застучала кровь.

«Да,—пробормотал Вольни,—только этого мне не хватало.—Он шел широким, торопливым шагом, размахивая бидонами.— Увидал юбку и сразу охрип, как мальчишка, наболтал всякого вздора. А ведь у тебя уже могли бы быть дети, которым пора было бы жениться. Счастье еще, что Шиндель не видел. Уж он бы тебя так одернул, что ты бы света белого не взвидел. Ну и дела!»

Он толкнул плечом калитку. Гриммбергер стоял возле открытого сарая и колол дрова. Дождь с шумом стекал с осмоленной крыши. В земле образовалась глубокая борозда, и в ней поблескивала мелкая галька. Вольни прыгнул под спасительную крышу. Гриммбергер с багровым лицом невозмутимо продолжал работать. В его непокорных волосах повисли мелкие щепки. Расколотые поленья все дальше отскакивали от колоды.

Вольни отодвинулся, поставил на землю бидоны и насмешливо сказал:

— Хорошенького понемножку, старик! Смотри, все свое хозяйство в кооператив перетаскаешь. Будь осторожней!

Гриммбергер нагнулся за новым поленом. Вольни увидел его массивную шею, красную и потрескавшуюся, как ствол дерева. Выпрямившись, Гриммбергер взял в обе руки топор и обрушил его с немой яростью на полено. Обрубок отскочил и стукнул Вольни по ноге. Он вздрогнул, потер ушибленное место и зло буркнул:

— Перестань, черт этакий! Мне надо с тобой поговорить.

— Поговорить? Я твою песенку знаю! Ты мне ее достаточно напевал. Больше можешь ничего не рассказывать!

Гриммбергер круто повернулся, порылся в дровах и сунул Вольни под нос изувеченный, перепачканный паутиной и куриным пометом сосновый чурбак.

— Вот что я в твоих глазах — выродок! Я злоупотребляю землей, полученной по реформе, не так ли? Я издеваюсь над социализмом, не правда ли? Я мараю свое пролетарское происхождение? Гриммбергер знает, о чем ты думаешь! — Он деланно засмеялся, положил полено на колоду и со свистом опустил топор. Твердый чурбак не поддался, отскочил, и Гриммбергер с размаху вогнал топор в трухлявую колоду. — Но песенка твоя слишком проста!

Скулы на лице Вольни словно заострились еще больше. От волнения у него пересохло во рту. Он молча смотрел на Гриммбергера. Тот вышел прямо под дождь, широким жестом показал на амбар, хлев, на дом и глухо проговорил:

— Ты думаешь, я построил все это, чтобы швырнуть теперь в общий нищенский котел?

Опустив голову, он вернулся в сарай. Рубаха на его груди потемнела от пота, левый рукав треснул, обнажив твердую, гладкую, мускулистую руку.

Он остановился прямо перед Вольни и прохрипел:

— Годами я возил по ночам пырей с поля, не жалея ни себя, ни домашних. Поля мои теперь в порядке.

Он схватил Вольни за полу куртки и грубо притянул к себе. Вольни почувствовал на своем лице его горячее дыхание, тяжелый запах табака. Он пристально посмотрел в ясные голубые глаза Гриммбергера, услышал прерывистый шепот:

— Социализм победит. Я знаю, так будет.

Гриммбергер отпустил Вольни и медленно, с трудом пошел прочь. Вольни услышал, как он пробормотал:

— Так будет. Но сердце мое здесь!

Вольни подумал: «Этому человеку уже тесно на маленьком хуторе. Он на голову перерос собственный забор и все-таки колеблется, не может решиться, словно перед ним непреодолимый барьер». Вольни бросил взгляд на удалявшуюся согнутую фигуру. Вытащив топор из колоды, он поднял его высоко над головой и с отчаянной силой ударил по сосновому полену, тут же расколовшемуся пополам. Он взял одну половину в руки и осмотрел твердую сердцевину, отливавшую матовой краснотой; в лицо ударил одуряюще острый запах. Выпрямившись, он ощутил колющую боль в бедре, от которой на мгновение помутилось в глазах.

Когда он вышел из сарая, над лужами клубился пар: ветер и солнечные лучи вылизывали влагу. Вольни все еще держал в руках смолистую чурку. Потом решительно отшвырнул ее и торопливо ушел.

Сам того не сознавая, Вольни направился к Шинделю. В голове его бушевали мысли, которые не так-то просто было выразить словами. Он не мог простить себе, что промолчал, когда надо было говорить, и теперь держал ответ перед самим собой: «Старик бьет тебя твоими же собственными аргументами, а ты стоишь разинув рот и чувствуешь, что у тебя сейчас сердце разорвется. В чем же дело, Вольни? Или тебе жаль его? Но жалостью новой жизни не построишь. Помнишь, как ты ощупывал охлажденные стальные отливки, шероховатые и потрескавшиеся, покрытые рубцами от изложниц, но зато твердые и надежные? И как ты невольно переносился мыслями к тем часам и минутам, когда разъярившаяся сталь не желала повиноваться, когда казалось, что она кричит тысячью голосов и тяжело, яростно дышит? И разве воспоминание об этих часах не изгоняло из твоей души всяческие сентименты? И разве ты не говорил себе всегда: «Крута гора, но миновать нельзя»?

Поднявшись на церковный холм, Вольни замедлил шаги. Внизу, по двору, над которым стояло до блеска начищенное облаками солнце, ползал на четвереньках Шиндель; он пыхтел и шумел, как трактор мощностью в двадцать лошадиных сил. На шее у него сидел двухлетний сын и звонко повизгивал: «Быстрей езжай, быстрей! На улицу, папа, на улицу!» Старшая девочка прыгала вокруг Шинделя и подгоняла его. В дверях, скрестив руки на высоком животе, весело улыбалась Анка.

Вольни мрачно смотрел на беззаботное семейство Шинделей. «Сперва бросает «реакцию» в навозную кучу, а теперь играет в трактор. Ну и соратник достался»,— подумал он. Увидев, что Анка заметила его, он подошел к плетню и с горечью сказал:

— Играй, играй, Шиндель! Продолжай в том же духе!

Шиндель поднял вспотевшее лицо, попытался встать, но мальчик соскользнул с его шеи. Он подхватил ребенка и посадил себе на колени. Не успел смущенный Шиндель открыть рот, как Вольни уже исчез за углом.

Анка отвела волосы со лба мужа и сказала с негодованием:

— А он и в самом деле несправедливый! Жалко ему, что ли, если ты поиграешь немножко с детьми? У него, наверно, своих никогда не было!

Барахтаясь на отцовских коленях, малыш пропищал:

— Давай играть, папа, давай играть!

Но Шиндель осторожно поставил его на землю, погладил маленькую, круглую головенку с вьющимися волосами и пробормотал, полный грустных предчувствий:

— Тише, сынок, тише. Кажется, меня ждут неприятности!

16

Хельга Гриммбергер долго завязывала на затылке узенькую черную бархотку, которой она прихватывала непокорную копну волос.

Девушка улыбнулась своему отражению в зеркале; все, что она там увидела, ей в общем понравилось: небольшой сочный рот, широкие вразлет брови, ясные голубые глаза, гладкая кожа на лице и на лбу, обрамленном пышной копной волос. Всем она была довольна, только нос ее не устраивал. Хельга всегда считала, что он великоват и костист. Она сплюснула нос и в ужасе передернула плечами. Потом слегка приподняла его кверху и ужаснулась снова. Затем сжала переносицу большим и указательным пальцем и содрогнулась. Нет, лучше всего оставить как есть. И вообще на нос можно не обращать внимания, тем более что все остальное так удачно.

— Не задерживайся сегодня,— предупредила мать, озабоченно хлопотавшая в кухне.

«Не задерживайся!» Как будто любовь можно распределить — сегодня часочек и завтра часок. Разве вы в молодости любили по часам?»

Из зарослей бузины в саду уже нетерпеливо посвистывал Конрад Шпрингер. Свист его долетел до Хельги, которая, слегка поднявшись на цыпочки, стояла перед зеркалом. И по телу ее пробежала приятная дрожь.

Когда же он появился? Когда она впервые увидела его, по-настоящему, как надо увидеть человека, чтобы никогда его не забыть? Это было на лугу, в Буковой долине. Она ехала на велосипеде, а он стоял среди деревьев лицом к лугу и смотрел на свой трактор, к которому была прицеплена сенокосилка. У него были узкие бедра и крутые широкие плечи. Останавливая велосипед, Хельга потеряла равновесие, и кузовок с обедом опрокинулся на мшистую землю. Она тихонько вскрикнула и закрыла лицо руками. Он осторожно разжал ей пальцы. Сквозь слезы девушка увидела его смеющиеся глаза, резкую упрямую складку меж бровей и короткие вьющиеся черные волосы. И еще она увидела, как его широкие сильные губы приближаются к ней.

Первый поцелуй пахнул солью и потом. Но от дыхания Конрада у нее учащенно забилось сердце. Дыхание это было всегда одинаковым. Оно было здоровым, как воздух над быстрыми ручьями, и слегка смешано с одурманивающим запахом табака. Когда Конрад уезжал — а ему приходилось иногда уезжать,— она прижималась пылающим лицом к подушке, хранившей его дыхание, и, ощутив его снова, спокойно засыпала.

После первого поцелуя он сказал:

— Без супа можно прожить, а вот без...

— У тебя рукав порвался,— быстро прошептала она, лаская взглядом просвечивающую сквозь дыру кожу.

Вечером он наверстал упущенное: поужинал в горнице Гриммбергеров. Хельга не сводила глаз с его рта. И когда на улице, в тени дома, он еще раз обнял ее, она взволнованно подумала: «Ты ждала этого». И поняла, что теперь всегда будет тосковать по нем. Через некоторое время Конрад перешел на постоянную работу в Шварцвальде. Его поместили в бывшем помещичьем доме, дали комнату с камином, широким

диваном и вычурной лепкой на потолке. Он снимал перед дверью ботинки и никогда не входил, не умывшись. Осенью он затапливал камин и вел себя загадочно: читал ей стихи о нежных ручках и томных глазах. Когда она посмеивалась над этими стихами, у него портилось настроение. Он признался, что сам сочинял стихи для нее. Девушка внимательно оглядывала свои руки и говорила: «Но они совсем не нежные». А однажды сказала: «Твоя рубаха пахнет пóтом. А в твоих стихах ничего об этом нет!»

Он задумчиво посмотрел на нее и рассмеялся.

...К утру угли в камине догорели. Когда она открыла окно, пылью взвихрился белый пепел. Дома мать посмотрела на нее испуганными глазами, а отец, смущенно покашливая, вышел из кухни. Мать еще долго глядела на дочь и беззвучно вздыхала, как вздыхают матери, когда понимают, что их дети перестали быть детьми...

Они двинулись по своей обычной дороге, подальше от гриммбергеровского хутора, перешли по мостику через ручей, мимо карликовых ив, через луга к лесу. Они шли так близко, что каждый ощущал малейшее движение другого. Конрад посмотрел на девушку сверху вниз. Скользнув глазами по ее затылку, шее, по всей сильной, прямой фигуре, он сдержанно спросил:

— Новый?

— Что — новый?

— Ну, джемпер?

— Не новый, а просто лежал ненадеванный!

— Идет тебе!

Дыхание его коснулось ее виска. Девушка прижалась к Конраду. Красная косынка в ее руке лениво и расслабленно скользила по траве. Когда он притянул Хельгу к себе, косынку унесло на луг, и там она лежала, легкая и съежившаяся, пока он не сказал хрипло: «Не забудь свой платок!» Он поднял косынку и дрожащими пальцами повязал ей на шею. Они уселись на опушке леса у низкорослых кустов акаций, в которых под едва ощутимым ветерком словно тихонько позвякивали маленькие пестрые листочки. Сквозь рябь листвы виднелись давно отцветшие картофельные поля. Ботва уже привяла, поредела, обнажив бурую растрескавшуюся землю, и в ней, возле самых кустиков, лежали зеленоватые от ветра и непогоды картофелины, похожие на болезненные наросты.

Поля перерезала укатанная, заросшая мелколепестником дорога, над которой быстро разливалась вечерняя тень, все ближе подкрадываясь к вспыхнувшей под последним солнечным лучом деревне.

Молодые люди увидели, как тень гигантским черным косматым зверем проползла по полям, слизывая с земли ослепительный свет солнца.

Стволы сосен пылали, освещенные закатом, и капли смолы, отливавшие янтарем, распространяли одурманивающий запах. Засыпанный желтыми иглами мох выдыхал душное тепло, и по запутанным, полным препятствий дорогам красноватые муравьи спешили к своему уже притихшему убежищу, притаившемуся меж сосен на круглом, словно подметенном клочке пепельно-серой земли.

Хельга сорвала ветку акации и отщипывала мелкие, похожие по форме на сливы, листочки. Конрад Шпрингер молча смотрел, как они быстро и плавно падали в мох. Потом, подняв голову, нахмурился, и упрямая складка меж его бровей стала еще глубже. Хельга сказала со вздохом:

— Видишь, любовь ко мне заставляет тебя страдать!

Он недовольно засмеялся и пробормотал:

— Посмотри-ка лучше вон туда. Это важнее, чем твое гадание!

По неширокому проселку приближался Гриммбергер.

Усиливающийся ветер трепал полы его расстегнутой куртки. На лице, поблескивая, лежал розоватый отсвет заходящего солнца.

Гриммбергер свернул на кооперативное картофельное поле, которое тянулось далеко по ту сторону леса. Пройдя несколько шагов, присел на корточки, вырвал кустик, сильным движением отряхнул землю и ощупал клубни. Губы его при этом шевелились: он считал. Взяв картофелины в пригоршню, он высыпал их на дорогу и пошел на соседнее, более узкое поле, принадлежавшее ему. Здесь он так же торопливо выкопал куст и вынес клубни на дорогу. Пересчитывая, он касался указательным пальцем каждой картофелины.

Кончив считать, Гриммбергер с жадностью рассовал клубни по карманам куртки и брюк. Постоял, слегка наклонясь вперед и напряженно глядя на опушку леса, медленно, едва заметно поворачивая голову, как старая, учуявшая добычу лиса. Потом круто повернулся и почти побежал прочь.

— Интересно, заметил он нас? — неуверенно спросила Хельга, озабоченно выпятив нижнюю губу.

— Откуда мне знать! Во всяком случае, он злится, потому что кооперативный картофель крупнее!

— Так ведь вы нам совсем не даете машин, мама говорит!

— Ну и что же? А кто виноват? Об этом ты не спрашиваешь, да и никого из вас это не интересует!

— Без машин нам с матерью приходится еще больше надрываться. Ты это знаешь,— возразила Хельга и испытующе посмотрела на него.

— Хватит об этом! Я принес твоему отцу богатство в дом, наши машины принесли, или это неправда? Я пахал, сеял, убирал урожай и полол, все делал. А он в это время сидел на краю поля и размышлял, как сменять козу на корову. Вот как это было!

— Раньше ты о нем иначе говорил!

— Раньше! Раньше он был первым человеком в деревне. Взял меня в учение! А теперь бесится, что другие, применяя науку, тоже большие урожаи картофеля выращивают. Боится, как бы все не разбогатели. И еще называется передовик сельского хозяйства! А для меня — прежде всего кооператив!

Тут Конрад осекся, испугавшись собственного голоса. «Накричал на нее ни с того ни с сего, а ведь она ни в чем не виновата»,— подумал он, смущенно глядя на девушку.

Глаза Хельги холодно и, как ему показалось, даже сурово ответили на его взгляд. Впервые в ее ясных голубых глазах он увидел решительность, которая его обеспокоила.

— Я не хотел тебя обидеть,— сказал он.

Девушка презрительно усмехнулась.

— Поверь, что не хотел. Но и не сказать тоже не мог. Уж сколько времени лежит все это на сердце. Само с языка сорвалось!

Взгляд Хельги медленно скользнул по его фигуре. «Он сильный,— подумала девушка.— Когда шагает, слегка покачивается, как крепкое дерево на ветру. Но особым мужеством не отличается». Хельга нерешительно встала с земли. Она все еще ждала, что он одумается, притянет ее к себе, как обычно. Но он неподвижно глядел прямо перед собой, вытянув трубочкой пухлые губы, как обиженный мальчишка.

И раз она уже поднялась, ей оставалось только уйти. Прищурившись Конрад смотрел ей вслед. И вдруг девушка с красной косынкой в руке, не вялая и медлительная, как час назад, а энергично шагавшая

по тропинке, показалась ему совершенно чужой. Тем не менее Конрад вскочил и побежал за ней.

— Ссоры ищешь? — буркнул он, догнав Хельгу.

Она подумала: «От него серьезных решений не жди. Придется тебе устраивать все самой. Он кричит, ругает отца, потому что боится подойти к нему и сказать: «У нас с Хельгой все решено!» Боится! Ходит вокруг да около! Значит, придется мне улаживать все самой, иначе мы еще пять лет будем бегать по лесам». Она кинула на него быстрый влюбленный взгляд.

Но Конрад Шпрингер не заметил этого взгляда. Тревожные мысли овладели им. Еще совсем недавно все казалось таким простым, осуществимым! Дом Гриммбергера был открыт для него. И было в этом доме тепло, как много, много лет назад в доме его матери, которая всегда находила ласковые слова, если тоска сжимала ему сердце. Ведь он даже назвал Гриммбергера отцом в тот день, когда гнедой разорвал путы и они вдвоем затягивали подпругу. Да, он назвал тогда Гриммбергера отцом, и это прозвучало так естественно, так доверчиво, что ему показалось, будто никогда и не было иначе. А в минувшее рождество? Разве они не накрыли для него стол, как для родного сына? И разве он, приходя по вечерам, не видел, как мать и дочь сидят над приданым и вышивают инициалы на простынях и пододеяльниках, наволочках и полотенцах? И разве старик не поговаривал при этом с ухмылкой: «Пойдем, мальчик, пусть занимаются своим бабьим делом, а у нас есть свое!» — и вел его в кухню, и они часами беседовали о квадратно-гнездовом посеве кукурузы, чертили планы и листали брошюры? Да, все это было. И дух захватывало при мысли о будущей жизни с Хельгой. Никогда не думал Конрад Шпрингер, что ему придется снова стоять в зарослях бузины и свистеть, будто он какой-то чужак без роду, без племени. Сначала он просто старался не замечать, что, здороваясь с ним, старик все чаще отводит глаза. Потом произошла первая ссора. Конрад сказал:

— Тебе надо решаться, отец. Машины теперь мощные. Требуют просторов. На мелких делянках они не окупаются!

Старик ответил:

— Если ты дорожишь дружбой с нами, тогда запомни: здесь я командую.

Они спорили каждый вечер. Женщины не осмеливались поднять глаза от своего рукоделия. Конрад не мог пересилить себя. Целыми днями он агитировал крестьян, а здесь, у человека, которого называл отцом, должен молчать? Никогда в жизни он не кривил душой. И дело кончилось, наконец, скандалом: в один прекрасный день Конрад вылетел из дома; вслед ему полетели рубахи и комбинезоны, которые чинила Хельга.

Они стали встречаться тайно.

— Не могу я разорвать свое сердце пополам,— говорил Конрад.— Неужели ты хочешь, чтобы я обманывал товарищей?

Хельга только требовала, чтобы он взял ее к себе. Хотя бы в комнатушку с камином. На первое время этого было бы достаточно. Но сказать об этом надо громко, чтобы все слышали. Разве он не понимает, о чем идет речь, глупый человек? У Хельги были свои планы, не какие-то там мыльные пузыри, которые так красиво переливаются, но тут же лопаются; нет, ее планы были солидные и надежные. Хельге давно надоела маленькая птицеферма отца. Правда, в прошлом году ей удалось уже в марте вырастить крепких цыплят, которые в июле начали нестись, и именно тогда в девушке вместе с гордостью пробудился живой интерес к делу. Она задумала учиться, чтобы потом вернуться в деревню и устроить за парком, там, где ручей впадает в маленькое озерце, большую птицеферму. Конрад Шпрингер знал об этом намерении Хельги, но с

окончательным решением медлил. Шли недели, месяцы. Он все еще надеялся, что старик одумается. Узнав о приезде Вольни, Конрад, ликуя, потирал руки: наконец-то все уладится. Теперь у Гриммбергера в доме партийный человек, теперь Гриммбергер должен наконец принять их сторону. Конрад Шпрингер очень рассчитывал на Вольни.

Он посмотрел на Хельгу, которая успела повязать свою красную косынку. Они молча дошли до ручья.

— Пройдемся еще немного? — осторожно спросил Конрад.

— Как хочешь.

Он обнял девушку за плечи. Она не пошевельнулась.

— Я надеюсь, скоро все образуется,— сказал он.

«Он надеется,— подумала она.— Он все еще надеется». Рука парня еще крепче сжала ее плечо. И когда он почувствовал тепло ее гибкого тела, ему показалось, что любовь их такая же, как прежде. Звезды освещали им дорогу, на небе сиял серебряный обруч ущербной луны. Впитавшая в себя все запахи лета отава покрывалась росой, и воздух был напоен тяжелым ароматом, еще более пряным, чем мимолетное благоухание июньского сена.

17

От Шинделя Вольни пошел в поле. Ему хотелось побыть одному. Касаясь на ходу тягучей, клейкой паутины бабьего лета, он успокаивался, и взгляд его становился внимательным и оживленным.

По узкой тропинке он направился к хутору Гейзера, уже издалека приметив, что на его полях все еще нет озимых. В кронах слив усердно жужжали шмели. От поредевших черных ветвей сладко веяло медом. Некоторые деревья пустили тонкие пасынковые ветки, не имевшие ни единого плода. Вольни мрачно огляделся. Проходя мимо хутора, он увидел Антона, который, заметив незнакомца, вприпрыжку выскочил из калитки и прошел за ним следом до угла дома. Там батрак прислонился голыми плечами к нагретой солнцем стене и бессмысленно ухмыльнулся. Вольни остановился и, показав на поля, сказал:

— Самое время сеять озимые!

В ответ Антон потерся блестящей от пота спиной о грубую штукатурку дома. Вольни посмотрел в его большие невыразительные глаза.

— Где хозяин? — спросил он.

Антон медленно обхватил шею руками и пробормотал:

— Здесь... болен мой хозяин... спит давно!

Он побежал к воротам и взволнованно обеими руками подозвал Вольни.

«Почему бы и не зайти? — подумал Вольни.— Все равно встретимся, не сегодня, так завтра. Но встретимся обязательно».

Он вошел во двор. И едва не задохнулся от тошнотворного запаха тления. Вольни отпрянул. На куче навоза лежала убитая собака. Труп был покрыт зеленоватым слоем мух. Голова раскололась, и среди темного месива белела оскаленная челюсть. В уголках неподвижных, широко открытых глаз прилепились гроздья мелких черных мушек, жадно работавших хоботками.

Вольни с трудом перевел дух.

— Закопать надо,— сказал он Антону, который стоял перед кучерской и наблюдал за ним, как испуганный зверь,— немедленно закопать!

Антон сделал головой какое-то движение, похожее на кивок. Он приложил ухо к двери, еще шире раскрыл глаза и пробормотал:

— Здесь... хозяин... спит уже много часов!

Вольни громко постучал. Никто не ответил. Он попытался нажать на ручку. Но она не поддалась. Очевидно, дверь была заперта изнутри.

— Пускай спит,— сказал Вольни,— и закопай собаку, понимаешь?

Антон промчался торопливой прыгающей походкой по двору, вернулся с лопатой, погрузил труп на тачку, не прикоснувшись к нему руками, и увез. Глубокая, давно не испытываемая грусть охватила Вольни, он беззвучно прошептал: «Подумать только, что существует такое убожество. И где? У нас! Черт возьми, о нем тоже надо позаботиться, непременно».

Проходя мимо окон кучерской, Вольни не заметил бледного лица Гейзера, не увидел тяжелых серых глаз, пристально смотревших ему вслед. Только раз у него возникло мимолетное ощущение, будто за ним наблюдают из засады. Он обернулся, поглядел на окно, но стекла были запыленные, и на них лежал мерцающий солнечный отсвет. Обеспокоенный Вольни пошел в поля, которые прежде принадлежали поколениям Гейзеров.

Тем временем последний Гейзер, согнувшись, стоял в кучерской. На его шее все еще синели отпечатки пальцев Антона. Затаив дыхание, он думал: «Если ты сейчас уложишь этого приблудного пса, он больше не натворит никаких бед. Но просто так стрелять нельзя. Ты должен запастись терпением, Гейзер. Твой час еще не пробил».

Низкий потолок каморки давил на него. Он отвел глаза от Вольни. Ему захотелось на свежий воздух. Он вышиб ногой доску, державшую дверь. Выйдя на улицу, зажмурился, ослепленный ярким светом, и глубоко вздохнул. Потом крикнул, подзывая батрака.

Антон вздрогнул, выронил лопату и, запыхавшись, примчался во двор. Гейзер посмотрел на него пристальным холодным взглядом. Антон присел на корточки в тени хлева. Гейзер поднял ко рту тяжелый бидон и, громко прихлебывая, стал пить прокисшее молоко.

Сапоги Вольни тяжело ступали по выцветшей стерне. Светло-бурая глинистая земля была тверда как камень. «Нельзя так оставить землю на зиму»,— тревожно думал он.

Вольни вернулся в деревню уже вечером. Он остановился у громоздкого трактира Куглера, над дверью которого тихонько покачивалась жестяная вывеска с озорной детской головкой возле пенистой кружки пива. Вольни небрежно смахнул пыль с сапог и вошел внутрь.

Густые облака голубоватого табачного дыма поплыли к двери. Не захлопнувшись за Вольни, она со скрипом отворилась снова. Вольни заметил это и хотел было вернуться, но кто-то крикнул:

— Эй, приятель, оставь, пусть проветрится. Дышать нечем!

Вольни прошел в глубь комнаты, взглядом приветствуя сидящих за столиками.

Из пивного погреба вылез Куглер. Он дышал со свистом, почти совсем облысевшая голова его и лицо от напряжения побагровели. Он с шумом захлопнул крышку погреба, обтер руки о засаленные штаны и нахально уставился на Вольни.

— Ага! Пивка, если не ошибаюсь? Половину, четверть?

Не спуская с Вольни пристального взгляда, Куглер постучал в какую-то дверь. Через несколько минут появилась Лидия Крамер. Брови ее удивленно взметнулись, и Вольни покраснел до корней волос. Он растерянно провел рукой по рту и подбородку, прищуренными глазами посмотрел на Лидию Крамер. Взгляд его как бы спрашивал: «Что ты тут делаешь?» Еще не получив пива, он бросил ей деньги. Она не глядя

пододвинула кружку. Вольни покосился на Куглера и перехватил его наглую, быстро растаявшую ухмылку.

И те чувства, которые волновали его еще несколько часов назад, вдруг словно умерли. «Она как будто поседела от этого дыма»,— подумал он с напускным равнодушием. Ее мимолетный взгляд тоже был потухшим. Когда она пошла мимо столиков, он украдкой посмотрел ей вслед. Ему показалось, что она ступает тяжело и некрасиво, что она неуклюжа и у нее толстые бедра. И это даже не удивило его. Он поднес к губам кружку. Пиво пахло затхлой сыростью подвала. Не допив, Вольни направился к выходу. Он и на этот раз не захлопнул дверь. Вслед ему кто-то заметил:

— На нем ты не разбогатеешь, Куглер!

Многоголосый хохот пронесся по комнате и выкатился на улицу.

«Наверняка она спит с этим засаленным пузаном,— подумал Вольни.— Но тебе-то до этого какое дело? У тебя других забот полон рот!» И все-таки он ничего не мог с собой поделать: мысли все время возвращались к Лидии Крамер; он вспоминал, как увидел ее в первый раз. «Зачем ей работать в кооперативе, когда у нее есть этот остропузый трактирщик? И что это вообще за бессмыслица такая?»

И все в этой деревне показалось ему вдруг запутаннее и сложнее, чем в необозримом, но упорядоченном просторе города. Здесь все было на виду: улица, несколько переулков, заборы, амбары, кооперативный двор, церковь, но он на каждом шагу сталкивался с новыми загадками. Веками жизнь за этими плетнями и заборами пряла свои нити, запутывая их порой в странные и непонятные клубки.

Перед хутором Гриммбергера Вольни уже издалека заметил две тени. Он не спеша подошел ближе, остановился под раскидистым каштаном и, приглядевшись, узнал Хельгу и Конрада Шпрингера. Вольни прислонился к гофрированному, пахнувшему свежестью стволу.

«Пятьдесят лет! Достаточно ли ты пожил, а? Ты был зачат в час, который, может быть, казался твоему отцу счастливым. Но уже к утру на его тонких и сухих губах и следа не оставалось от ночного шепота и поцелуев, а в глазах была угрюмая забота, и руки забывали приласкать жену, чтобы хоть немного приободрить ее. И когда на рассвете завывал гудок, кофе, в котором был только цикорий, оставался недопитым на столе, и страх перед завтрашним днем, несмотря на восходящее солнце, густой тенью повисал в комнатушке. А ты ничего не знал об этом, ожидая своего часа в надежном укрытии из мышц, нервов и кожи. И кровь матери вливала в твое сердце любовь, а не страдания, заботы или горькие капли ненависти. А когда ты появился на свет и первым криком возвестил, что ты уже существуешь и ничего с этим не поделаешь, ты еще не знал, что приходится считать каждый грош. Отец, склонившись над тобой, мечтал, чтобы жизнь вывела тебя из мрака. И ты рос! Завоевывал себе место в жизни. Ты рос! Находил первые цветы и мечтал подняться к небу вместе с жаворонками, которые ранним утром взлетают из своих гнезд в бороздах. В школе ты узнавал, что существовали когда-то Карл Великий и Альбрехт Медведь, узнавал, когда была битва под Лехвельдом и кто кого победил. Тебя учили, что на небе есть творец и что убивать грешно. И ты видел, как шел на войну твой отец. Своими еще детскими руками ты начал кормить семью. Иногда жалел, что не родился господским сынком. Особенно когда пришлось уйти из школы, хотя тебе так хотелось учиться. И ты рос! Стал кузнецом. Твои руки и спина окрепли под тяжестью молота. Иногда ты напивался на заработанные деньги, покупал табак. И по ночам тебя будила какая-то неизъяснимая тоска. А ты все рос! Начал заглядываться на девушек. Но стыдился своих

тесных брюк, сшитых еще к конфирмации. И стал понимать, что получаешь за свою работу слишком мало. Начал задумываться, почему это так... Однажды из реки вытащили труп. Могучая спина была покрыта ножевыми ранами. Рабочие понесли труп по цветущим лугам, мимо полей, где колосилась пшеница, мимо домиков, из которых одни были наглухо заперты, другие стояли с раскрытыми настежь дверями. Ты ушел от своей наковальни, в кожаном фартуке, в тяжелых деревянных башмаках. Ушел в знойный полдень. Затерялся в море людей. Шаг твой слился с шагом масс. И когда винтовки преградили дорогу, ты не отступил. И когда на тебя посыпались удары, ты отвечал тем же. И когда ты пошатнулся, товарищи не дали тебе упасть. А потом, ночью, окунув пылающий лоб в прохладную речную воду, ты понял, что тогда, в тот миг, тебя охватил страх. Но ты продолжал жить! Ты все время был в пути. Ты менял молот чаще, чем рубаху. По ночам сидел над книгами. А потом, когда откладывал книги в сторону, приходила любовь, и в комнате витал мимолетный аромат женских волос. Потом появилась женщина, которую ты уже не захотел отпустить от себя. И на всех дорогах рядом с тобой была эта женщина, тихая и верная. Но когда она заговаривала о детях, ты молчал и думал: «Подожди еще, подожди!» Ты познакомился с Тельманом. Он выступал. Ты стоял совсем близко от него. Ты видел его кулаки, похожие на молоты. Потом вдруг почувствовал, как отдаляется его голос. Позади ты услышал шум и крики. Ты понял, что перерезан провод. Увидел, как багровеет его шея. Тебе казалось, что сейчас из этой шеи брызнет кровь. Но голос его уже опять звучал совсем близко, в полную силу. В задних рядах стало тихо. Тельман говорил без микрофона, но все слышали его. Вернувшись домой, ты рассказал все жене. Вы лежали до утра и молчали. Ты изведал все: свет лета, дыхание моря, суровый ветер гор, рассвет в еловом лесу и теплый сонливый запах бесчисленных мшистых кочек, любовь, унылое позвякивание последнего пфеннига, голод и аромат созревающего на склонах винограда; все ты изведал... И продолжал жить! Тебя забрали в феврале тридцать третьего. Избили до полусмерти. Ты очнулся после первого в твоей жизни обморока. Спросил себя: «Достаточно ли я жил? Достаточно ли двадцати трех лет? Достаточно ли короткой любви, не давшей плодов? Достаточно ли пятидесяти прочитанных книг? Далекого воспоминания о музыке Моцарта, клича гауптмановских ткачей в твоем сердце? Десятка запомнившихся весен, и лет, и зим?» Глаза твои горели огнем. Ты сглатывал слезы. Страх исчезал. Ты шел сквозь годы, высоко подняв голову. И когда тебе казалось, что все умерло в тебе, глаза все еще пылали. Узнав, что убили жену, ты спрятался от товарищей. Ты плакал. А они думали, что ты пал духом. Потом тебе дали оружие. Ты знал, в кого тебе надо целиться. Ты помогал освобождать страну. Строил металлургические заводы. Ты знаешь: человек никогда не может сказать, что прожил достаточно. Ты не хочешь упустить ничего. Но ты готов ко всему, потому что у тебя нет иллюзий».

Вот, оказывается, как быстро можно охватить всю жизнь — не успеет упасть и угаснуть ночная звезда.

Вольни нагнулся за лопнувшим каштаном, который скатился ему под ноги. Колючая скорлупа прочно пристала к ядру. Он осторожно отделил ее. Нежная коричневатая кожица была прохладна, но, едва ее коснулось его дыхание, она потеряла свой блеск. Вольни посмотрел на Хельгу и Конрада, которые все никак не могли расстаться. Погруженный в свои мысли, он сунул каштан в карман пиджака и вышел из тени могучего дерева. Медленно направился к хутору. Но не успел дойти до него, как Хельга и Конрад Шпрингер разошлись в разные стороны.

Открыв дверь в сени, Вольни услышал голос Гриммбергера:

— Со Шпрингером чтоб было покончено, поняла? Или ты найдешь

себе крестьянина или останешься в девках. Это мое последнее слово!

Из неприкрытой двери в сени падала узкая полоска света. Гриммбергер сидел у стола, тяжелый, массивный. Перед ним лежала книга. Руки были запущены в лохматую шевелюру. Хельга смущенно улыбнулась и сказала:

— Но, отец! Кого же? Уж не Гейзера ли?

Гриммбергер поднял голову.

— Да хотя бы и его! Даже он мне в тысячу раз милее.

Его неспокойный взгляд упал на Вольни. Поспешно захлопнув книгу, он встал и громко повторил:

— Да, да, в тысячу раз милее!

Он подошел к шкафу, налил себе водки. Руки его дрожали. Прозрачная, как вода, хлебная водка перелилась через край. Хельга тихо сказала:

— Ты так не думаешь, отец!

— Еще как думаю! — Он поднес стакан ко рту, откинул голову. В горле у него заходил кадык. Тыльной стороной руки он с хрустом провел по небритому подбородку, стирая сверкающие водочные капли.— Здесь я решаю!

Он подошел к двери. Навстречу ему испытующе глядели горящие темные глаза Вольни. Гриммбергер не смог выдержать этого взгляда: он, как и в дни войны, обжигал его. И словно желая скрыть свою растерянность, повторил:

— Я здесь решаю!

Хельга обернулась и упрямо, без тени боязни, ответила:

— Но этого ты не решаешь, отец! Нет!

Она заметила Вольни. В глазах ее заплясали насмешливые искорки. Но Гриммбергер одним прыжком подскочил к Хельге и ударил прямо в гордое, непримиримое лицо, которое, не дрогнув, приняло удар.

Вольни побагровел. Бросился к Гриммбергеру, повернул его к себе. Они дрались молча, в немой ярости. Было слышно только частое дыхание. Опрокинулся стул.

Гриммбергер пыхтел, как медведь. Хельга, боясь закричать, зажала рот рукой. Могучие кулаки Гриммбергера словно приподняли Вольни с полу. Лицо его блестело, залитое горячим потом. Изо всех сил он оттолкнул Вольни к шкафу. В исступлении закричал:

— Я здесь решаю!..

И упал на стул. Сквозь тяжелое дыхание донесся звук, похожий на всхлипывание.

Вольни с трудом поднялся. Боль расползалась от бедра по спине, отдавалась в зубах, которые нервно стучали, как он ни старался унять дрожь. Хельга выбежала из комнаты и тут же вернулась с заспанной матерью.

Эмма воздела к небу обнаженные руки, переваливаясь, прошла мимо Вольни и запричитала, бледная от страха:

— Господи, что же это такое!

Гриммбергер оторвал от стола восковое лицо, заорал: «Вон!» — и опустил голову на руки. Так он просидел полночи.

Наверху, в мансарде, метался по комнате Вольни. Потом он сбежал вниз и вышел на улицу.

18

В этот вечер Гейзер послал за Лидией Крамер. Хутору нужны были женские руки, женский глаз. Он вспомнил прежние времена, когда Лидия изредка попадалась ему навстречу. Тогда он не обращал на нее особого внимания. Только однажды, когда ныне покойная уже лежала

в больнице и Гейзер стал томиться по женской ласке, он перехватил обжигающий взгляд Лидии. Словно на горячих угольях, сидел он возле стойки, пьяный от желания, и думал: «Ну, подожди, я тебя укрощу!» Вдвоем с Куглером они опустошили большую бутылку хлебной водки. Куглер скоро повалился головой на стол и заснул. А Гейзер отправился искать женщину. Он обошел весь дом. Рвался во все двери. В одной из комнат ему послышался подозрительный шорох. Он остановился и хрипло, прерывисто зашептал:

— Открой, стерва, сейчас же открой! — и бешено заколотил в дверную филенку. Дверь не поддавалась. Увидев в сенях шатающегося Куглера, Гейзер ушел. Но с тех пор его преследовала мысль о Лидии Крамер.

Гейзер послал Антона, приказав передать Лидии, что болен и срочно нуждается в помощи. Он не был уверен, что она придет. Но услышав шаги во дворе, поспешно обвязал шею шерстяным шарфом, чтобы скрыть синяки. Не раздеваясь, он лег на раскладушку. Ладони его вспотели от волнения. Он прикусил желтыми прокуренными зубами нижнюю губу и прислушался. Когда в дверь постучали, он хрипло крикнул: «Войдите!» — и, полный ожидания, приподнялся на локтях.

В кучерскую торопливо, но осторожно вошел пастор. Подавив стон, Гейзер опустился на подушку и разочарованно повернулся к стене. Пастор положил на стол свой черный берет, пододвинул к кровати стул, вынул из кармана пиджака пестрый платок и тщательно отер капли пота с морщинистого, покрытого болезненной краснотой лба. Судя по всему, он намеревался задержаться надолго.

Гейзер был очень лаконичен. На вопросы отвечал угрюмо, не отводя глаз от побеленной стены, и с ожесточением думал: «Какой дьявол наслал на меня старика в такую минуту?» И только, когда пастор заговорил своим низким, гулким, словно из пустой бочки доносящимся голосом, Гейзер прислушался. Пастор говорил обстоятельно, деловито; при этом он внимательно и любовно разглядывал свои желтые старческие руки, удобно покоившиеся на круглом животике.

— Печальные времена настали, сын мой. Крест господний завешивают флагами, а святое причастие заменяют безбожными сборищами. Дети клянутся в верности социализму и отворачиваются от бога. В один прекрасный день закроют церкви, как это было в несчастной России. И даже если я не доживу до этого проклятого часа, все равно мне и в могиле не знать покоя. Сорок лет я проповедую моей пастве. И никогда не случалось, чтобы кто-нибудь воспротивился церкви и усомнился во всемогуществе господнем. Но после войны неверие распространяется, как эпидемия. Я могу тебе это доказать, потому что каждую службу записывал в книгу. В моих записях содержатся все еретические вопросы. По ночам я лежу без сна и веду беседы с создателем. «Отец,— говорю,— люди спрашивают: почему ты не покончишь с войной; почему твой гнев не испепелит в небе бомбардировщики; почему ты допускаешь, чтобы из трех сыновей трое погибли? Отец,— говорю,— что должен твой слуга отвечать людям? Как отвечать на вопросы, которые прежде никогда не возникали? Люди всегда верили, что пути твои неисповедимы и что тех, кого ты больше любишь, ты больше и караешь».

Гейзер со злостью прервал его:

— У меня болит голова, господин пастор. Я хочу спать. Оставьте меня в покое!

Но пастор мягким, любовным движением погладил свои руки и продолжал как ни в чем не бывало:

— Недавно ко мне приходит Куглер и спрашивает: «Почему господь допускает, чтобы социализм победил? Всемогущ господь или нет?»

— И что вы ответили?

— Господь всемогущ! Господь знает, когда покарать безбожников!

Гейзер язвительно ухмыльнулся. И, примирившись с присутствием пастора, сказал:

— Раз уж вы здесь, выпьем по одной!

— Пожалуй, по одной — для желудка, сын мой.

Гейзер спрыгнул с кровати и ядовито буркнул:

— Как далеко восток от запада, так отдалил господь от нас беззакония наши. Псалом сто второй о милосердии господа к грешным и слабым людям.

— Хорошо заучено, сын мой. Господь воздаст тебе за это — в свое время!

Гейзер налил в стаканы сливовой водки. Про себя он поклялся, что отныне будет регулярно ходить в церковь, чтобы избавиться от проповедей в собственном доме.

— На чем я остановился? — пробормотал пастор и поднес указательный палец к носу, испещренному крупными порами.— Ах да, на сомнениях во всемогуществе господнем.

В голосе пастора временами отчетливо звучала гневная интонация:

— Уж не начал ли и ты сомневаться, сын мой? Редко ты приходишь к своему создателю и творцу, редко глядишь в его всезнающие, светлые очи, чтобы набраться от него мудрости, доброты и укрепить душу! Ах, слабыми вы стали существами, ведете счет годам, а господь думает о вечности. Да, ведь это ты пришел ко мне и сказал: «Гитлер просуществовал двенадцать лет, а эти скоро отпразднуют пятнадцатый, и хоть бы что».

— Это верно,— перебил его Гейзер.— Я надеялся, молился, когда пошел двенадцатый год их власти. Молился! Ночи напролет молился, господин пастор!

— Не кричи, сын мой. Бог слышит и самые тихие звуки. Запомни: для Гитлера бог был потаскухой. Он звал его только тогда, когда тот был ему нужен!

— Но он, по крайней мере, звал его! А эти про бога и вовсе не вспоминают!

— Имей терпение, сын мой, они так же принадлежат богу, как и мы. Он наблюдает за всеми, сын мой, спокойно и снисходительно. «Посмотрите, вы, людишки,— думает господь,— смотрите, что с вами будет через несколько лет без меня! Вы опять будете пить воду из каменных кувшинов и утолять голод хлебом с солью. Это так же точно, как то, что я ваш господь и создатель».

Гейзер беспокойно ерзал на стуле. Ноги его сводила судорога.

— Риск слишком велик, господин пастор. Если господь думает так же, как вы, тогда он недостаточно знает людей, хотя сам их и сотворил. Люди чем-то похожи на пчел. Они прилипают к меду. Если бог не поторопится, будет поздно.

— Для господа не существует ни «слишком поздно», ни «слишком долго», ни «слишком быстро». Господь распоряжается вечностью. Он пошлет нам знак, когда придет время.

Пастор сунул руку в нагрудный карман своего пиджака, вытащил письмо, взял его кончиками пальцев и осторожно развернул.

— Тот самый знак, что ли? — насмешливо спросил Гейзер и враждебно посмотрел на пастора. «Мужчины нам нужны,— подумал он,— мужчины, а не болтуны!»

— Письмо от графа,— многозначительно улыбнулся пастор. Он откашлялся и, посмотрев долгим взглядом на ошеломленного Гейзера, с наслаждением прикрыл свои острые маленькие глазки и выпятил толстую нижнюю губу. Но из-под опущенных век он увидел, как забеспокоился Гейзер.

Пастор начал читать, и уже с первых же фраз голос его понизился до глухого усыпляющего шепота:

«Господь за нас! Мы готовы защищать святую веру, нести учение господа по всему свету и защищать от нашествия безбожников святые места, где господь явил свое милосердие. Недалек день, когда бог страшным судом покарает тех, кто действовал против его заветов и хотел превратить землю в очаг неверия, кто протягивал воровские руки к исконным владениям своих хозяев, кто захватил чужое добро, изображал из себя господ, хотя бог предопределил им быть батраками...»

— Война,— бледнея пробормотал Гейзер.— Война, пастор! Войной они хотят добиться перемены! Другого пути нет! Но они прозевали подходящий момент, и теперь все мы здесь подохнем!

Пастор испуганно поглядел на него и гневно прошипел:

— Молчи, глупец! Ни один богобоязненный человек не помышляет о войне! Войны — как волки в стадах господних. Война вырвала бы у господа последних овечек!

Гейзер вскочил. Лицо его исказилось от ярости.

— Проповедуйте, где хотите, господин пастор! Но не в моем доме! Я не верю в сказки. Граф ждет войны!

— Не кричи так, ради бога, не кричи! В деревне слышен твой крик! — Пастор поспешно спрятал письмо и озабоченно зашептал: — Как можешь ты так кричать, сын мой? Вера объединит людей! Вера — источник неиссякаемых сил, потому что в ней сосредоточены великая мудрость и милосердие божье. Настанет день, когда люди падут на колени и будут молить бога простить им заблуждения, и господь простит их!

— У них не останется времени на просьбы, господин пастор! — Белое лицо Гейзера маячило перед растерянными глазами пастора.— Граф списал со счета свое имение. Он списал всех нас. Войной они хотят подвести черту. Вы и я умрем той же смертью, что Шиндель и Вольни. Благодарю покорно, господин пастор! — Гейзер повалился на кровать. Страх застыл в его неподвижных сухих глазах.

Пастор подошел к окну и, не отрывая взгляда от вечерних полей, сказал:

— Я еду в Гамбург. Граф призвал меня. Соберу фрукты в саду — и поеду.

Гейзер соскочил с кровати и бесцеремонно схватил пастора за руку.

— Поезжайте скорее, господин пастор,— взволнованно заговорил он,— не ждите урожая!

— Сперва надо убрать фрукты в подвал! Их и так мало в этом году.

— Ну, что ж,— пробурчал Гейзер.— Мы упустили уже столько удобных случаев, что один, конечно, не решает дела!

Он выпустил руку пастора и, как зверь в клетке, заметался по узкому проходу, не заставленному мебелью, потом, с трудом переведя дух, продолжал:

— Скажите графу, что войной нам не поможешь. Надо искать другой путь. Но это должен быть приемлемый путь, который быстро приведет к цели. Нам здесь стало чертовски трудно дышать. Скажите графу: сюда приезжает много народу. Но пусть посылают нужных людей, в каждую деревню по десятку — этого достаточно! Мы тоже не сидим сложа руки. Однажды наступит ночь — и каждый, кто заслужил этого, уснет с пулей в сердце. В каждой деревне в одну и ту же ночь, от Эльбы до Одера — в ту же самую ночь. Господь поможет нашему делу!

Пастор провел в воздухе рукой, будто хотел что-то поймать. Глаза его в ужасе уставились на побледневшего Гейзера.

— Дьявол внушил тебе эти мысли,— только и мог он пробормотать.— Убийством богу не служат! Ему можно угодить только любовью!

Гейзер снисходительно усмехнулся и опять принялся расхаживать по узкому проходу.

— Передайте графу мои слова, господин пастор!

Впервые он высказал вслух то, о чем тысячу раз уже думал. Он ни секунды не сомневался в том, что мысли его правильны, и потому уверенно повторил:

— Мы ставим на карту все. Иначе нельзя!

В этот миг пастор пожалел, что пришел к Гейзеру. Он взял со стола берет. Ему казалось, что в письме графа содержится призыв к вере, и он хотел доказать уже многие годы сомневающемуся Гейзеру, что на помощь бога стоит рассчитывать, потому что даже изгнанный из родных мест, лишенный всякой собственности граф не перестает верить во всемогущество господа. Пастор поглядел на массивную спину Гейзера и вздохнул.

— Попроси совета у создателя, сын мой!

Он ушел из кучерской, раздираемый противоречивыми мыслями.

Гейзер в ужасе подумал, что был неосторожен. «Старик — дурак,— сказал он себе.— Глупость доведет и его и других до виселицы. Он в самом деле верит, что бог имеет какое-то отношение к жизни на земле. Он поедет к графу и вернется несолоно хлебавши. А эти, здесь, уж не дадут покоя. К весне они перейдут в окончательное наступление. Все говорят об этом».

Гейзер уселся на край кровати. Рука его просунулась под подушку, нащупала холодное, надежное дуло револьвера. Он пробормотал: «Это во всяком случае останется при тебе. На худой конец это всегда при тебе останется.— Он чувствовал себя отвратительно, им овладело тягостное предчувствие.— Господам по ту сторону Эльбы и дела до нас нет. Хотят прикрыть свой позор бомбой — и крышка». Неясные мысли лезли в голову и тут же рассеивались, уступая место еще более запутанным новым раздумьям, пока их не подавила подступившая к черепу острая боль.

Но в тот вечер в дверь кучерской стучали еще дважды. Первым появился Куглер и сообщил, что Лидия Крамер занята в кооперативном коровнике: телится корова. Гейзер быстро отделался от него, сказав, что плохо себя чувствует. И уже совсем поздно с пыхтением и стонами ввалился празднично разодетый лавочник Штанге. Он сидел далеко за полночь. Закрыв за Штанге дверь, Гейзер почувствовал, что боль в голове исчезла, но на смену ей пришла пугающая пустота.

Он посоветовал Штанге, которого прислала жена, направить в район жалобу на Шинделя. И даже продиктовал ему, что именно надо писать, с отвращением наблюдая, как Штанге торопливо записывал, высунув от усердия язык.

«Вот до чего дошло,— подумал Гейзер, улегшись в одежде на кровать.— Впутываешься в жалкие, мелочные делишки, диктуешь письма к начальству, занимаешься сплетнями, а сам мечтаешь — видит бог,— чтобы разразился гром, который сотрясет мир».

Он заснул тяжелым, мучительным сном, весь в поту. А утром впервые обнаружил в своих волосах седые нити.

С этого дня Гейзер начал заметно худеть, словно страдал тяжелым недугом.

19

Прямо из своей каморки Вольни помчался к Куглеру. Перед дверью он вдруг остановился и подумал: «Она еще, чего доброго, вообразит, что я пришел ради нее. А мне на самом деле нужны только сигареты».

Вольни очень удивился, не застав Лидию Крамер за стойкой.

Куглера тоже нигде не было видно. За круглым столиком сидели четверо пожилых крестьян и, дымя самосадом, играли в скат.

Вольни поздоровался. Один из крестьян, едва взглянув на него, заметил вскользь:

— Здесь все будто вымерло. Переходи на самообслуживание. Не стесняйся, товарищ!

— Как при самом настоящем коммунизме: каждому по потребностям,— сказал другой, с седыми мохнатыми обвисшими усами. Он глухо рассмеялся, широко раскрыв рот, в котором поблескивали всего два далеко отстоящих друг от друга передних зуба, но зато ослепительно белых и крепких.

Вольни посмотрел на него с явным удовольствием.

— Начинаете с водки, что ж, неплохо!

Крестьяне добродушно ухмыльнулись и собрали со стола карты. Один из них подвинулся и сказал:

— Подсаживайся к нам, или у тебя какие дела?

Им определенно нравилось, что Вольни понимает шутку, не то что иные, которые хмурят в подобных случаях брови и произносят громкие трескучие слова.

Они сидели вместе больше часа. Тем временем вернулся Куглер, угрюмо поздоровался и, усевшись за стойкой, словно застыл, хищно вытянув длинную шею. Тусклый свет от чугунной, медленно покачивающейся люстры скользил по его почти совсем лысой голове.

После нескольких ничего не значащих фраз Вольни и крестьяне углубились в серьезный разговор.

— Так как же у нас будет, товарищ? У Шинделя ноги длинные. Для бега как раз годятся. А больше ему похвалиться нечем.

— Правильно, другие нас уже опередили.

— Объясни-ка подробнее,— попросил Вольни.

— Это не трудно. На одном зерне и картошке нынче уже далеко не уедешь! Если я верно понимаю товарищей, которые поумнее нас, надо начинать правильную политику снизу, с нашей работы. Но мы никакой политики почти не ведем. Надрываемся с утра до вечера, а имеем за это всего кусок хлеба с колбасой, да, может, еще рубаху для смены.

Губы Вольни расплылись в улыбке. Сигарета в уголке его рта дрогнула, и кривой кусок пепла упал на стол. Говоривший, по фамилии Бергер, которого охотно слушали другие крестьяне, был приземистый круглолицый мужчина с упругими, розовыми, как персик, щеками. Он чуть возвышался над столом и временами многозначительно поднимал короткий указательный палец. Говорил он солидно и убедительно.

Казалось, Бергер взвешивал слова прежде, чем извлечь их откуда-то из глубины.

— И вот к чему это приводит: человек и в кооперативе держится за свое, индивидуальное. Откармливает у себя дюжину свиней и продает их на рынке, разводит кур, и его старуха дважды в неделю мчит рысцой на велосипеде и продает каждое яичко за пятьдесят пфеннигов. Вот и получается, что для такого человека кооператив — последнее дело. А ведь за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь!

Он обвел всех испытующим взглядом и добавил:

— Правильно я говорю или нет?

— Попал в самую точку,— сказал усатый.— Да, не поймаешь! — Он, видно, любил образные выражения, поэтому повторил: — Ни одного не поймаешь! — и стукнул ладонью по столу.

Вольни был в веселом настроении. Он позабыл о Гриммбергере, о всяких ссорах и о своей почти догоревшей сигарете: выплюнул окурок лишь тогда, когда тот чуть не обжег ему губы. В прищуренных

глазах его блеснула насмешка, и хотя он попытался скрыть ее, усатый заметил с упреком:

— Тебя, видать, это радует?

Вольни слегка толкнул его локтем.

— Всего два зуба во рту,— сказал он со смехом,— а кусается, как волк. Чудеса!

Крестьянин с деланным испугом потрогал свои зубы:

— Черт возьми, когда же это ты успел заглянуть мне в рот?

Все смеялись до слез. Усатый сложил на животе руки и проскрипел:

— У меня грыжа, если она выпадет, ты будешь виноват. О господи, если она выпадет...

Когда смех утих, Куглер поднялся. Он вымыл несколько стаканов, провел по ним щеточкой и расставил вверх дном.

— К утру ночь кончается,— пробурчал он.

— Смотри не перетрудись,— мрачно заметил крестьянин, до сих пор не открывавший рта, даже смеялся он, сжав губы, и его смех напоминал сдержанное, призывное ржание жеребца.— Мы уже уходим. Выпил кружку пива, катись! Пьян вдребезги, тоже выкатывайся!

Усатый шел с Вольни по ночной деревне. Он не умолкал ни на минуту.

— Вот когда я был бригадиром у скотников, я сказал: нам нужны помещения для поросят. Слишком их много дохнет, говорю. Да ведь оно всегда так бывает — последнего собаки рвут. Для других деревень и деньги есть, а для нас и дырки от бублика и то не дают. Еду я к окружному уполномоченному по строительству, беру его за жабры и, между прочим, в выражениях не стесняюсь. Он упирается, как козел на веревке, и мекает: «Я, дескать, решаю все с классовой позиции». А я ему говорю: «У нас поросята дохнут, это что, классовая позиция или нет?» А он говорит, ты, дескать, в этом ничего не понимаешь. Ох, и хотелось же мне съездить ему по морде! Но я сдержался, не стоит руки марать о такого типа. Или вот другой случай. «Нам нужно,— говорю,— навозохранилище. Хозяйство наше растет, развивается, навоза становится больше, а ведь его нужно хранить как следует». Решили строить. Проходят месяцы. Исписали мы себе пальцы в кровь. Выросла гора бумаг высотой с навозохранилище. Наш бухгалтер радуется, ясное дело. У его старухи в городе писчебумажный магазин: чем больше писанины, тем выше доход. «Это что,— спрашиваю уполномоченного,— тоже классовая позиция?» Но эта обезьяна так задирает нос, что прямо хочется его оторвать!

Усатый шагал, слегка переваливаясь, как медведь. Он был почти на две головы выше Вольни. Ноги его, обутые в деревянные башмаки, твердо ступали по земле. Громкий стук каблуков разбудил какую-то дремавшую собаку, и вскоре вся деревня залилась собачьим лаем.

— Ты все молчишь, даже не спросишь ни о чем,— недовольно заметил усатый.

— А я не такой мастак говорить, как ты,— сказал Вольни.— Расскажи еще что-нибудь!

Усатый вздохнул и недоверчиво спросил:

— Историю про ветер слышал?

— Не приходилось.

— В самом деле?

— Правду тебе говорю!

— Удивительно. Ведь он рассказывает ее каждому, хочет тот слушать или нет.

— Кто «он»?

— Да этот! — Крестьянин мрачно кивнул в том направлении, где стоял дом Шинделя с черными, безжизненными в ночную пору окнами.

Они молча дошли до церковного холма. Вольни умышленно выбрал самый дальний путь к хутору Гриммбергера.

— Когда-нибудь ты эту историю все равно услышишь,— пробурчал усатый, у которого под крутыми ребрами угадывались могучие легкие: несмотря на свой вес, он легко дышал, поднимаясь на холм.— Уж лучше я сам тебе расскажу. Тогда ты будешь знать, с кем имеешь дело, и сможешь составить собственное мнение. Короче говоря, я сделал одну глупость. Шиндель говорит: преступление. А я говорю: глупость! В Буковой долине растет наша лучшая трава — клевер, сладкий, как сахар. А сено какое получается — сам бы ел! Был там у меня луг, рядом с гриммбергеровским. Я его, как полагается, отдал в кооператив. Два года все шло хорошо. Потом Лиза, корова моя, единоличная, так сказать, приносит мне бычка — второго такого не сыщешь. Лиза никак не может оправиться, болеет и болеет. Кости выпирают, так что можно на них пальто и шляпу вешать, а поглядит на тебя своими бархатными глазами — кровь от жалости стынет. Что же делать, думаю, что же теперь делать? Ни один ветеринар не может помочь. Льняное семя заваривали — никакого толку. И стала она у меня яловой.

— Что значит «яловой»? — быстро спросил Вольни.

— Бесплодной, товарищ, да, да, так мы это называем. Тебе еще придется научиться нашему языку. Так вот, не знаю я, что еще предпринять. Однажды ночью вспомнил про сено в буковой долине. Это сено всегда было чудодейственным. Когда я был еще единоличником, то из всех крестьян с таким же хозяйством, как у меня, больше всех молока надаивал. Некоторые умники поговаривали, что я колдовством занимаюсь. Амалия Клейнман даже утверждала, что видела собственными глазами, как ночью ко мне в ставни стучался какой-то высокий человек, одетый в черное, в цилиндре, с белым как мел лицом, он держал в одной руке кроваво-красную книгу, а в другой гусиное перо. И ледяным голосом говорил: «За помощь долг отдать спеши, скорей расписку мне пиши!»

Вольни громко рассмеялся:

— Быть не может! — Он в волнении провел рукой по сухому худощавому лицу и нетерпеливо сказал: — Рассказывай дальше, приятель!

— Не торопись! Так вот, вспомнил я про это сено из буковой долины. Если и поможет что-нибудь, думаю, так только оно. И вот ночью, тайком, отправляюсь я туда и выдергиваю из стога охапку. И что тебе сказать? Лиза моя словно преобразилась. Уминает это сено за обе щеки и орет, как оглашенная. Ну, думаю, быка уже захотела. Короче говоря, каждую ночь хожу на промысел. Конечно, совесть меня мучает, но уж ради такой отменной коровы можно и грех на душу взять. Исхудал я страшно, ведь, почитай, каждую ночь не спал. И вот однажды появляется Шиндель. Этот в выражениях не стесняется. Как заорет на меня: «Ты что ж, Лаппе, кооперативное сено воруешь?» Хоть я и не из тех, у кого язык от страха к глотке прилипает, но тут я так и онемел. Может, сказать ему правду, мелькнуло в голове. Нет, нельзя. Он, как бугай, ни черта не понимает в таких деликатных делах. Я ему, значит, говорю: «Ты что, председатель, совсем рехнулся? Чтобы я пошел воровать кооперативное сено? Да скорей дьявол сделает ребенка непорочной деве Марии!» И рассказываю ему какую-то небылицу, которая тут же пришла мне на ум. Еще мой отец, говорю, купил этот луг в буковой долине, хороший луг, сорок лет служил ему службу. Но еще тогда случалось, что из буковой рощи налетал на луг ветер, страшный ветер, вроде вихря. Он обрушивался на стога и рвал их в клочья. Но мой Шиндель не дурак. Крутит свои рыжие вихры и говорит: «Вот оно что! И я должен этому верить, а?» — «Хочешь верь, хочешь нет, говорю, но, к сожалению, люди еще не научились управлять ветром. Он дует, когда

ему заблагорассудится, и делает, что хочет. За погоду никто не в ответе, приятель». Шиндель, видно желая меня хорошенько проверить, говорит: «А этот ветер, о котором ты рассказываешь, о нем можно узнать заранее?» — «Да когда как, говорю, он ведь сумасбродный. Я уж тебе объяснял. Возникает иногда из белого облачка, ну, не больше твоей головы, а другой раз из черного, величиной с коровье брюхо, а бывает, наскочит с самого что ни на есть ясного неба. Никогда заранее не узнаешь». Шиндель грозит пальцем, пристально смотрит мне в глаза и ворчит: «Я тебя еще выслежу, Лаппе!» И уходит.

Добродушно ухмыльнувшись, усатый остановился.

— Ну, вот ты и дома, товарищ! — Он посмотрел на дом Гриммбергера, где в горнице все еще горел свет. Вольни закурил сигарету. Усатый окинул взглядом освещенное спичкой лицо Вольни и сказал: — Не гаси!

Вольни глубоко затянулся.

— Ты не устал? — спросил он.

— Ни капельки!

— Вот и прекрасно! Теперь я тебя провожу до дому.

— Но я живу на другом конце деревни.

— Очень хорошо, пойдем на другой конец.

— Как хочешь, историй у меня хватит. Так вот, как я уже сказал, Шиндель уходит,— продолжал усатый и, сделав несколько затяжек, раскурил свою трубку.— Уходит, значит. «Ну, думаю, гляди в оба, Лаппе. Лизу ты вылечил — и хватит». По утрам посматриваю на моего Шинделя. Тени у него под глазами все синее и синее. Видно, бродит он по ночам и впрямь хочет поймать ветер. «Долго же тебе придется ждать, думаю, ветра больше не будет». А сам работаю и в ус не дую. Но вот проходит восемь дней, и, как бы тебе сказать, дорогой товарищ: все начинается сызнова. «Ну, думаю, меня кондрашка хватит». Лиза моя ничего не жрет, не мычит, рога опустила, а посмотришь ей в глаза, плачет черными слезами! Чего ты смеешься, товарищ, и без того тяжко,— мрачно пробурчал Лаппе.

— Да ничего подобного, просто закашлялся. Ну, рассказывай дальше! — Вольни опустил голову.— Иди помедленнее. В рысаки мы уже не годимся. Вот так, хорошо! — Внезапно Вольни захлебнулся громким, надсадным кашлем.

Лаппе терпеливо подождал и продолжил свой рассказ лишь тогда, когда Вольни успокоился.

— Черными слезами, товарищ. Тот, кто их видел, в жизни не забудет. Дожидаюсь, когда стемнеет, в надежде, что Шиндель дрыхнет. Что ж тебе сказать? Вожусь это я у стога, дергаю сено, как вдруг кто-то как кинется на меня. Я орать. Думаю, нечистый дух сгреб меня за шиворот. Сбрасываю со спины охапку и вижу чьи-то зеленые блестящие глаза. Тут-то я и понял, что схватил меня не кто иной, как Шиндель. «Так и знал,— хрипит,— что паскудный ворюга это ты!» — «Не оскорбляй, говорю, человека, который тебе в отцы годится. Я это сделал ради своей Лизы». Но разве у такого, как он, может быть сочувствие? Легче из камня выжать слезу, чем из него. Никак мы с ним не договоримся. «Моя жена,— грозит он мне пальцем,— моя жена измучила меня ревностью. Подходит ночью к моей постели, а там пусто и холодно, потому что я тебя ловлю. Она же думает, что я бегаю за какой-нибудь юбкой! Придется тебя примерно наказать. От твоей должности мы тебя освободим!» Я только помалкиваю, так как знаю нашего Шинделя. На следующее утро передаю скот Цанку. Пропащий я теперь человек, товарищ! Посади вербу в песок, она завянет. Разлучи такого, как я, со скотиной, он погибнет. Ну, вот тут я и живу. Если бы не было так поздно, показал бы тебе свою мадам. Она у меня просто загляденье! Ростом мне до пупа и круглая, как бочка.

Лаппе поглядел на свой маленький, сгорбившийся домишко, приткнувшийся с краю деревенской улицы.

— Стоит почти сто лет, товарищ. Всего один раз меняли крышу. Больше у меня ничего нет. Я охотно переехал бы отсюда в один из новых домов, что строят теперь в деревнях, но старуха едва ли согласится. У нас же здесь скорее старая корова телкой станет, чем мы начнем строить дома. Шиндель наш словно петух. Хорошо поет, а яйца класть не может. Вот так, дорогой товарищ, а теперь я тебя провожу до дома. Лиха беда — начало! — И не слушая возражений Вольни проворчал:— Ну, пошли же! Я ведь не позволю тебе провожать меня до дому. Да ты и сам это понимаешь!

Редко бывало, чтобы Вольни так сильно проникался к человеку чувством симпатии. Но уж если такое случалось, то не на время, а навсегда, несмотря на разочарования, заблуждения, на что бы то ни было. Так он подружился в свое время с Гриммбергером.

— Так вот, товарищ,— прервал тишину Лаппе,— Лиза моя не издохла. Но я с ней расстался: нельзя же жить с существом, которое вводит тебя в грех. Она стоит теперь в кооперативном хлеву. Взгляни на нее. Она сзади так же красива, как и спереди.

— Коровники я осматривал,— после некоторого молчания сказал Вольни.— А как ты оцениваешь обстановку, товарищ специалист?

— Я в партии не состою. Одно скажу: трудно мне. Начну говорить откровенно, поскольку не могу сдержать гнев, тут же в ответ слышу: «Замолчи, ты человек не объективный». Да, да, Шиндель постоянно кидается такими словечками: объективный, негативный, позитивный. Сыт уже по горло!

— Выкладывай все начистоту!

— Мрачная личность этот Цанк. Я лично против него ничего не имею, но всем известно: он любит лошадей. И все. И то любит только тех, которые годятся для верховой езды. В коровах ничего не понимает, а в свиньях — и говорить нечего. Иногда я тайком хожу к коровнику. Слушаю, как он доит. По струе, падающей в подойник, слышу, что не додаивает парень. Избить его за это готов. Ты посмотри, какое у коров вымя, товарищ! Обвисшее, сморщенное, как мошонка у старого козла. Нет у него к скотине интереса. В этом все дело! Один раз придет в хлев в пять утра, другой раз в шесть. А я тебе скажу, что неаккуратность для скотины хуже, чем ящур! Скотина требует порядка, как самый что ни на есть избалованный человек. Не будешь следить за порядком, не доберешь в подойник. Также и с концентратами. Он насыпет из мешка в кормушки как попало, просто отстегать его хочется. А нужно распределять с точностью до фунта. Одной корове надо больше, другой меньше. Лишь когда пройдет несколько недель, можно установить, сколько какой надо. Он же знай сыпет из мешка, как бог на душу положит. Когда меня уволили, я ему сказал: «Вот это так делай, Валентин, а то эдак». Все на научной основе ему разъяснил. Этот осел даже не посмотрел на меня, а на другой день мне рассказали, как он кричал: «Тому, кто обворовывает социализм, меня учить нечему». А он ведь партийный. Ну, да я так думаю: партийный значок еще ничего не значит, да и болтовня тоже. Политику трудом делают. Смотри, у Гриммбергера все еще свет горит. Никак не угомонится старик. Когда они меня прогнали от скотины, он приходит ко мне и говорит: «Вот ты и получил благодарность, Густав».— «Знаешь, Фриц, говорю я, не все ненастье, будет и вёдро. Расплачусь за свою ошибку и опять вернусь к скотине, можешь не сомневаться. И твои коровы тоже попадут в мои руки, это уж определенно». Тогда он поворачивается и как даст от меня ходу, как даст ходу. Не поверишь! — Лаппе задумчиво покрутил левый ус.— Уже утро занимается, и ты, как видно, замерз!

Он с улыбкой оглядел молчащего Вольни, который, вобрав голову в плечи и глубоко засунув руки в карманы, прислонился к забору гриммбергеровского дома. Лаппе заметил, что у Вольни от плеча до подмышки белеет рубаха.

— Ты порвал куртку! — с удивлением сказал он.

— Порвал? — Вольни провел рукой по плечу.— В самом деле! То-то я думаю, откуда мне поддувает! — Он смущенно улыбнулся.

Лаппе, словно догадавшись, где мог бы Вольни порвать куртку, сказал:

— Тебе бы надо перебраться отсюда!

— Почему?

— Начнут о тебе всякое болтать. Наплетут целый короб, раз ты живешь у единоличника. А куртку зашьет тебе моя жена, если не возражаешь.

Вольни смотрел ему вслед. Его охватило такое же чувство, как тогда, когда они задули в конвертер воздух и сердца у них замерли: выйдет или нет, выйдет или нет?

Поднимаясь по ступенькам на крыльцо, Вольни увидел в окно Гриммбергера, который сидел за столом, стиснув руками лохматую голову. Горестное чувство тревоги охватило Вольни, словно пеплом покрывая мысли и тяжелым обручем сдавливая грудь. Он не спеша поднимался в мансарду. Кривые ступени скрипели под ногами. Войдя в комнату, он достал чемодан, уселся у окна и сидел так, пока не забрезжило сырое, промозглое утро. Вольни не хотел признаться себе, что ждал Гриммбергера. Но он действительно ждал его. Прошел час, а тот не появился. Тогда Вольни ушел из дома. У ворот он еще раз оглянулся и снова увидел в окне Гриммбергера — бледного, невыспавшегося и еще более растрепанного, чем обычно.

Вольни сдвинул большим пальцем фуражку со лба. «Я еще вернусь, мой дорогой,— подумал он.— Пристану к тебе, как репей. Не воображай, старик, что ты от меня избавился. Таких, как ты, не бросают за линией фронта, на ничейной земле». Вольни накинул на плечи пальто и торопливо зашагал прочь.

Он перебрался к Клейнману.

Старик, ковылявший по двору, изумился, увидев Вольни с чемоданом, в накинутом на плечи пальто, сдвинутой на затылок фуражке, из-под козырька которой упрямо торчали густые черные волосы.

Клейнман бросился навстречу и открыл калитку.

— Значит, ко мне. Вот это правильно! Вечерком мы спрыснем это дело. Днем моя старуха прячет шнапс, а вечером и сама не прочь выпить.

Он взял у Вольни чемодан и, не переставая трещать, заковылял по просторному, почти пустому двору.

— Придется тебе пройти через нашу комнату. Пусть тебя это не смущает. Я рад, что ты пришел, а уж моя старуха как-нибудь смирится. Ты как, рано встаешь? Ну, тогда все в порядке. Я так и знал. Такой человек, думаю, не залежится в постели дольше, чем нужно. Завтра я снова свободен. Лавочница, эта паразитка, окончательно отбила у меня охоту работать в пекарне. Недолго пришлось нам радоваться свежему хлебу. Район, говорит эта змея, еще скажет последнее слово. Придумала со своей бандой какую-то гнусность. Ну, да ничего, мне на это плевать. Власть в наших руках. Те, районные, одной с нами закваски. Не дадут своих в обиду. Прав я или нет?

Он взглянул на Вольни хитрыми глазками и, остановившись перед покрытой зеленой краской дверью, тихо прошептал:

— Здесь вход. Если ночью где-нибудь задержишься, лезь прямо в окно, приоткрой немножко и влезай. И еще я хочу тебе сказать: если моя старуха разойдется, не обращай внимания. С виду она свирепа, а сердце у нее доброе. Осторожно, ступенька!

Вольни лукаво улыбался. Клейнман первым вошел в тесные сени, где стояли две метлы, деревянные башмаки и лейка. На двери Вольни заметил подкову, над ней в рамке из алых розочек красовалась сделанная четкой вязью надпись: «С богом войдешь — счастье принесешь».

Они прошли в комнату. За столом сидела Амалия Клейнман. Она подозрительно покосилась на них поверх съехавших на кончик носа очков, но тут же снова уткнулась в большую раскрытую книгу и вызывающе громко начала читать:

— «Кто не пребудет во мне, извергнется вон и засохнет как ветвь».

Клейнман слегка толкнул в бок ухмылявшегося Вольни и озабоченно прошептал:

— Ну ладно. Она потом успокоится, знаю ее сорок лет. Не так уж страшно. Когда она читает Библию, то хоть не затевает греховных свар. Ну, пошли же! Не протягивай ей сейчас руки, так будет лучше.

Вольни с изумлением спросил:

— Она глуховата?

— Немножко. Но только немножко. И не каждый день!

В нише Клейнман поставил на пол чемодан Вольни.

— Кровать, стол, стул. Надеюсь, тебе этого хватит?

— Лучшего и желать нельзя!

Вольни говорил громко и непринужденно. Ему в самом деле здесь понравилось. Он любил маленькие комнатки, в больших чувствовал себя неуютно.

— И цветочные ящики на окнах! — воскликнул Вольни.

— Этим занимается моя старуха, она сыздавна цветочница. Я только каждый год заново крашу ящики. Каждую весну!

Вольни бросил пальто на стул. Он слышал, как Амалия Клейнман продолжала шепотом читать Библию: ниша была отделена от комнаты лишь занавеской. Беспокойно тикали стенные часы. «Эта штука не даст тебе как следует выспаться»,—подумал Вольни. Он вздохнул, снял куртку и долго рассматривал разорванный рукав. Сел на край кровати и спросил Клейнмана, раскуривавшего свою коротенькую трубку:

— Что за человек Лидия Крамер?

Клейнман вытаращил глаза.

— Крамер? А черт ее знает!

Он глубоко затянулся, и лицо его сделалось худым и острым.

— Да черт ее знает, что она за человек. Но я думаю, люди болтают о ней больше, чем есть на самом деле. Она работает в кооперативе, а по вечерам помогает Куглеру, поскольку живет у него лет двенадцать по крайней мере. Ну да ты сам знаешь: рука руку моет. К тому же она вроде бы католичка. Хотя какое это имеет значение!

Трубка Клейнмана раскурилась. Дым окутал его маленькую худощавую фигурку. Он размахивал руками, стараясь разогнать темно-серые клубы дыма.

— Давай сюда куртку. Старуха ее залатает. — Он вырвал куртку из рук Вольни. — И располагайся, как тебе удобно. Если что будет нужно, скажи!

Он спустился ковыляя на две ступеньки вниз, в комнату, где по-прежнему негромко читала старуха. Занавеска осталась приоткрытой. Вольни сел так, чтобы можно было видеть их обоих. Клейнман рывком захлопнул Библию, а старуха испуганно вытаращила на него глаза. На какое-то мгновение мелькнул продолговатый, отливающий золотом крест, потом его загородила брошенная на стол куртка.

Из комнаты донесся грубый голос Клейнмана:

— Вот, займись делом!

Вольни еле удерживался от смеха.

20

Шиндель совсем потерял голос. Вероятно, он простудился в ту ночь, когда, проснувшись в поту, сбросил с себя дышавшее паром одеяло и лежал так до рассвета в расстегнутой рубашке, мокрый как мышь.

Часов в шесть он пришел к Конраду Шпрингеру и шепотом потребовал мотоцикл. Конрад насмешливо спросил:

— Что, опять доагитировался до ручки?

Шиндель раздосадованно покосился на Конрада.

— Заправлен?

— Должно быть. А ты куда собрался? В город?

Шиндель стал с ожесточением заводить мотоцикл и из последних сил выдохнул:

— В район!

— Куда? Ничего не понял!

— Ну и плевал я на тебя,— беззвучно произнес Шиндель. Он дал газ и рванулся вперед, мимо крикливой стаи гусей, мимо лавки Штанге, еще запертой на все замки. Шиндель подозрительно взглянул на трубу: ни малейшего дымка.

Около восьми он был уже в районном комитете партии. Размотал шарф, закашлялся, попробовал глотнуть и скривился от боли.

Он шел по длинному гулкому коридору, по лестнице, где стояли бюсты товарищей, погибших в борьбе с фашизмом, мимо ниш с красными знаменами в тяжелых складках, мимо портретов и картин, планов и диаграмм. Повсюду ему встречались знакомые лица.

Всякий раз, когда Шиндель приезжал сюда, поднимался по лестницам, проходил мимо дверей, его охватывало какое-то чувство стеснения и одновременно радости. Словно приезжаешь в свою семью! Возвращаешься после долгой отлучки, полный ожидания и все-таки с каким-то необъяснимым беспокойством. Пробегаешь все глазами быстро и внимательно, там и тут замечаешь знакомые предметы, смотришь в родные лица испытующим взглядом, будто спрашивая: «Ну как, все по-старому? Никаких неприятностей? Все здоровы?» Именно такое чувство было сегодня у Шинделя.

Он нерешительно постучался в одну из больших темных дверей и, слегка вытянув шею, прислушался. За дверью неутомимо стучала пишущая машинка. Шиндель решил войти. Он спрятал в карман шерстяной шарф и слегка пригладил растрепавшиеся от езды волосы.

Товарищ Виттиг, секретарь райкома, высокий широкоплечий мужчина лет пятидесяти с тонким венчиком седых волос на круглой голове, кивнул Шинделю.

— Присаживайся, товарищ. Как дела? Закончили сев озимых? Как с уборкой корнеплодов? Давай рассказывай!

Виттиг нервно постукивал карандашом по мясистой, отливающей синевой кисти левой руки.

— Ну так как же обстоят у вас дела?

Голос у него был тягучий, усталый. Казалось, всякий разговор его утомляет.

Шиндель уселся напротив. Косое сентябрьское солнце било ему в глаза. Он беспокойно ерзал на скрипучем стуле.

— Тебе неудобно сидеть,— сказал Виттиг.— Двигайся сюда, поближе! Вот так, теперь солнце не будет тебе мешать.— Он ободряюще усмехнулся.

Шиндель громко откашлялся. Попытался заговорить, но изо рта у него вырвался лишь хрип:

— Э-эх,— прошипел он и в отчаянье схватился за горло.

— Что с тобой? — спросил Виттиг.— Голос потерял?

— Потерял,— прохрипел Шиндель. После езды на мотоцикле горло у него окончательно перехватило.

— Зачем же ты сюда приехал? Потом это все кончится ангиной.

Шиндель в ярости вытащил из кармана шарф. Ему было ужасно обидно, что именно сейчас голос отказал ему.

— Ну, обвяжи хоть горло. Постой! — Виттиг выдвинул ящик из письменного стола, битком набитого всякими бумагами, пошарил там и достал жестяную коробочку с пилюлями.— Вот, прими, помогает. Только пососи, а не грызи, как волк!

Шиндель непослушными пальцами залез в жестянку. Виттиг нахмурившись смотрел на его пальцы.

— Ничего удивительного! — недовольно сказал он.— Все пальцы желтые, словно айва! Дымишь, наверно, как паровоз? — Он горестно вздохнул.— Надо бросать это дело, скажу я тебе! Посмотри на меня. С тех пор как бросил курить, я чувствую себя, будто новорожденный — хочешь верь, хочешь нет!

Шиндель меланхолично сосал пилюлю и думал: «Ишь какой образцово-показательный, в самом деле! А когда ты, черт возьми, в последний раз как следует выспался? И откуда у тебя мешки под глазами и синие руки, как перед апоплексическим ударом? Если бы мои голосовые связки не забастовали, я бы тебе кое-что рассказал о том, как надо беречь здоровье, можешь не сомневаться».

Виттиг внимательно смотрел Шинделю в глаза.

— Вижу, что ты мне не веришь. Ну ладно, перейдем к делу. Штанге и его жена, судя по всему, мелкие торговцы, доверительно обратились к нам за помощью. Ты им поддаешь жару, так натянул вожжи, что им уже дышать нечем стало. Правда это?

Виттиг бросил на Шинделя испытующий взгляд.

— Неправда! — прохрипел Шиндель, пожалев, что в этот момент он не мог, как в лучшие дни, закричать во всю мощь своего голоса. Так, значит, Штанге, эти ханжи и лицемеры, пишут в партийные инстанции. А Виттиг, легковерный человек, называет это «доверительно обратиться за помощью».— Сущая неправда! — сиплым шепотом добавил Шиндель.— Хитры как лисы, товарищ Виттиг, и настроены против нас. Деревне необходим был хлеб. Вынужденная мера!— Лицо его стало пунцовым, жилы на висках вздулись.— Другого выхода не было!

— Ты с кем-нибудь советовался? Вот видишь, ни с кем. А потом говоришь о безвыходном положении, думаешь, что твоя голова застрахована от ошибок. Вечно из-за тебя неприятности! Только, пожалуйста, не обижайся. Потом можешь и обидеться, согласен, но сегодня на это нет времени. Мы должны идти вперед, понимаешь, мой дорогой, вперед! Опорные пункты сплошной коллективизации — вот в чем наша задача, понимаешь? В Шварцвальде есть такие возможности. Значит, все силы для достижения этой цели! Никакой борьбы с торговцами и другими прослойками. Земля должна быть объединена. На это нас ориентирует партия!

Шиндель сидел, как на угольях. Слова подпирали к горлу. Он сорвал шарф, чтобы поглубже вздохнуть, и захрипел, как усталая ворона на осенней борозде:

— Ты мне это можешь не вдалбливать, товарищ Виттиг. Я точно так же понимаю линию партии! Отчего я потерял голос? Оттого, что по ночам сражаюсь с Гриммбергером. Хватаю его во сне, ставлю на колени и просыпаюсь весь в поту. Потом лежу раскрытый. Меня продувает сквозняком, потому что моя жена в последние месяцы не может, понимаешь, спать при закрытых дверях. Она должна все держать открытым,

а меня продувает сквозняком. От этого я и охрип. От борьбы с единоличниками. А ты на меня тут всякое наговариваешь!

— Повяжи шарф и говори тише,— добродушно сказал Виттиг и весело ухмыльнулся.

— Плевал я на шарф и смеяться над собой тоже не позволю. Если ты считаешь, что сегодня я говорю слишком тихо, то подожди дня три. Мне не впервой терять голос, товарищ Виттиг!

— Короче: как обстоит дело со Штанге? — Виттиг нетерпеливо полистал лежавшие на столе бумаги и украдкой взглянул на свои ручные часы.— Надо заканчивать. Прошу меня понять. Так что же ты думаешь о деле Штанге?

— Пусть отдадут нам свою лавку, и дело с концом. Мы сделаем из нее игрушку! Наш магазин все равно дело временное, а их лавка нам как раз кстати.

Широкоплечий грузный Виттиг оперся обеими руками о письменный стол, откинулся слегка назад и глубоко вздохнул.

— Вот видишь, дорогой товарищ, зачем тебе при такой ситуации наскакивать на лавочника? Неужели тебе не ясно, что ты перегибаешь палку?

Шиндель отрицательно замотал головой.

— Нет, еще никогда обстановка не была более благоприятной, чем сейчас. Стоит лишь немного нажать, и они сами к нам придут, можешь не сомневаться!

— С тобой при всем желании не договоришься,— Виттиг стукнул кулаком по столу.— Будь благоразумным и прекрати эту партизанщину. Вы будете получать хлеб из округа. Об этом я позабочусь. Если Штанге снова сможет печь хлеб, пусть печет. Не будем вмешиваться. У нас другие заботы, более важные, понимаешь?

— Я считаю это неправильным,— упрямо прохрипел Шиндель.— То, что уже у тебя в руках, не отдают обратно. Это мое мнение, товарищ Виттиг!

— Ничего у тебя нет в руках! — Голос Виттига звучал жестко. Он вытащил из-под бумаг какое-то письмо.— Вот послушай, что они пишут: «Разве социализм это нечистый дух, которого надо бояться?» Или вот: «Мы как стадо. Шиндель все время над нами глумится. Того, кто хочет идти своим путем, он берет за глотку». Хватит с тебя или еще послушаешь? Мы не позволим, чтобы ты позорил наше дело наскоками на мирных людей! Заботься о своем кооперативе, и у тебя будет дел по горло.

Шиндель отвернулся от своего собеседника и попытался снисходительно улыбнуться, но это у него не получилось. «Хотел бы я знать, кто это подстроил»,— думал он, считая Штанге не способным на такие мудреные фразы. Кто же это писал? Кто?

Вдруг он обернулся к Виттигу и хрипло прошептал:

— Пастор! Голову даю на отсечение. Эта церковная крыса!

— Что пастор?

— Он написал. Голову даю...

— Вполне возможно. Но разве это, дорогой мой, что-нибудь меняет? Письмо отражает определенные настроения. Вот в чем суть! Нам нужно доверие, товарищ Шиндель! Ну так как, договорились?

Виттиг поднялся и протянул ему руку.

— Между прочим, как обстоят дела у Вольни?

Шиндель посмотрел на Виттига и кивнул. Но прежде чем он раскрыл рот, Виттиг сказал:

— Ну и прекрасно, вижу по твоим глазам, что вы с ним поладили. А ты подлечи горло, понятно?

Глаза Виттига впервые засветились теплотой. Он продолжал стоять, пока Шиндель не ушел из кабинета, и долго еще в задумчивости тер широкой ладонью лысину. Взгляд его упал на коробочку с пилюлями. «Забыл все-таки взять, вот нетерпеливый»,— с сожалением подумал Виттиг.

21

С той поры как в Шварцвальде появился Вольни, размеренная, наполненная тяжелым трудом жизнь Гриммбергера дала глубокую трещину. Как ни старался Гриммбергер снова войти в привычную колею, ничего у него не получалось. И хотя Вольни ушел из его дома, чувство тревоги и беспокойства не исчезло.

Было уже далеко за полночь, когда Эмма Гриммбергер, забывшись в легкой полудреме, очнулась и разбудила мужа, метавшегося на постели. Гриммбергер не сразу пришел в себя. На лице его блестели капли холодного пота, и впервые после бог знает скольких лет он стал искать руку жены, словно боялся упасть в раскрывшуюся перед ним бездну.

Между рамами окон легли грязно-серые предрассветные сумерки, но в глубине комнаты еще царила черная, непроницаемая ночь. Жена, напрягая все силы, старалась, чтобы ее рука, которую держал муж, не дрожала и была ему опорой, а с губ Гриммбергера тяжело срывались слова и, как густые горькие капли, падали в ночной тишине комнаты.

— Я бросил его на погибель, вот сейчас... Он идет через мост, зовет меня, зовет... А я не хочу идти с ним, ни за что не хочу... Какое-то предчувствие меня одолевает... Потом, на кирпичном заводе он бьет его, бьет в ухмыляющееся широкоскулое лицо... Я слышу, как лязгают затворы винтовок: клак-кнак, клак-кнак... И он прыгает, прыгает из окна на лужайку... Она болотистая и словно покрыта ржавчиной... А я все время думаю о вас, о тебе и о ребенке, и не хочу прыгать... Свистят пули... Я хочу вернуться, вернуться туда, где говорят на моем языке, а не на чужом, непонятном мне. И вдруг он падает... У меня захватывает дыхание... Я смотрю ему в глаза... Они жгут меня... И я бросаю его, бросаю на погибель. Я! Бросаю его на погибель... Он еще зовет меня... Здесь, в комнате, слышен его голос. Он только что звал меня.

Гриммбергер сел на постели и захрипел, словно от удушья.

Этот сбивчивый, путаный рассказ мог бы показаться жене непонятным, но она чувствовала, что речь идет о Вольни, о том, что объединяло и что даже ей всегда было дорого.

— Это ложь. Я не мог его бросить. Сон лжет,— прошептал Гриммбергер.— Я его вынес. Это было нелегко. Его кровь текла по моей одежде. Позднее, много позднее я все понял. Я вынес его, но спас меня он, понимаешь, он меня спас! Когда не нужно бояться смотреть людям в глаза, это так же хорошо, как сияние солнца в небе. Мне не нужно было стыдиться, когда они давали нам землю. Я и не стыдился! Я заслужил ее, нашу землю. Поэтому я и люблю ее так, люблю больше, чем другие, и не отдам! Но его я бросил, бросил во сне, оставил погибать за линией фронта. Я — его! А ведь он меня звал!

В голосе Гриммбергера было такое отчаянье, что жена громко всхлипнула, хотя мысли ее были далеко.

— За то, что он встал здесь у меня на пути, я бросил его на погибель, просто вырвал его во сне из сердца. Ведь если бы его здесь не было, жил бы я спокойно. Такие у меня в голове мысли, просто страшно. Что же мне теперь делать? — жалобно спросил он.— А если этот сон повторится?

Он в изнеможении откинулся на подушки.

Только теперь они ощутили величественный, безжалостный, лишь иногда нарушаемый далекими глухими звуками покой ночи, которая в этот час держала в объятиях их дом, деревню, всю страну.

Эмме казалось, что перед ними возникла неприступная, темная гора, которую во что бы то ни стало нужно преодолеть, и за ней снова будет свет. Одной только фразы: «Когда не нужно бояться смотреть людям в глаза, это так же хорошо, как сияние солнца в небе» было достаточно, чтобы эта женщина, у которой никогда не было других забот, кроме своей семьи и дома, поняла, что происходило в душе человека, готового разрушить все лучшее, на чем держалась его жизнь. И она жалела сейчас лишь о том, что слова, способные вырвать человека из тьмы, часто произносят слишком поздно.

Требование быть честной, которое жизнь предъявляла ей до нынешнего дня, Эмма всегда выполняла легко, у нее не было никаких угрызений совести. Она похоронила отца, потом мать, испытывая к ним лишь благодарность, которую хранила и поныне. Она вышла замуж за человека, казавшегося ей лучше, чем все другие, и ни разу, ни в первую ночь, ни за всю их долгую совместную жизнь, ей не пришлось открывать ему никаких тайн — у нее их не было. Она никогда не могла бы выставить за дверь голодного. Всегда держала язык за зубами, когда другие занимались болтовней. Всегда пристально вглядывалась в лица людей, хорошо зная, что в их глазах может таиться ложь. И в жизни своей она никогда не делала различия между честностью перед богом и честностью перед людьми. Ее представление о боге было простым: она твердо верила — хотя никогда не смогла бы выразить это словами,— что бог существует только в человеческой вере, реального его существования она не признавала. Честность была ей свойственна, как крылья — птице.

Из года в год она оставалась покорной тенью мужа и вела спокойную размеренную жизнь; раздумывая о своем существовании, она не имела оснований огорчаться, хотя временами сердце ее точила какая-то необъяснимая тоска.

Но в эту ночь Эмма поняла, что в жизни бывает честность более значительная, более важная, оставаться верным которой гораздо труднее.

Почти за четверть века совместной жизни муж всегда казался ей стойким и гордым человеком. Как часто пугалась она его смелых планов и решений, невольно покоряясь, когда он поднимал ее на смех; как часто цеплялась за его руки, когда он, удовольствия ради, мчался сломя голову прямо по полям, стоя в пролетке во весь рост; как принималась его бранить, когда холодный страх сжимал ей горло. Как часто все это бывало! Но стоило ей взглянуть ему в глаза, в эти бесстрашные, ясные, ничего не скрывавшие от нее глаза, и робость как рукой снимало, дышать становилось легче.

Она делала все, что он ей говорил, под бременем работы стала кряжистой и грузной, нажила ревматизм и иногда по ночам не могла уснуть от боли. Случалось порой, что, прячась в кустах, она наблюдала за работой женской бригады кооператива. Но никогда ей не приходило в голову сделать что-нибудь наперекор мужу. Вплоть до этого часа все его решения несмотря ни на что казались ей благоразумными.

Она повернула голову к мужу, который лежал, уставясь широко раскрытыми горящими глазами в блеклые расплывчатые сумерки занимавшегося утра. Внимательно глядя в родное лицо, пытливее и острее, чем когда бы то ни было, всматриваясь в каждую черточку, она заметила горечь, которая залегла в уголках его рта, и следы мучительных дум в его глазах. «Ты не можешь больше решать все один,— думала она.— Я помогу тебе. Ты ни перед кем не смеешь опускать глаза...

Я не могла бы забыть, если б тебе хоть раз пришлось сделать это. Ты всегда должен смотреть людям прямо в глаза, дорогой мой, ничего не стыдясь». Такие мысли роились у нее в голове, оставаясь невысказанными: ведь не многие способны выразить то, что накипело у них на душе. Она всегда была человеком робким, хотя и готовым взвалить на себя непосильную ношу. Но она не подозревала, какой тяжелой окажется эта ноша.

Будто не видевшись с мужем целую вечность, Эмма сказала:

— Ступай к Вольни. Он ждет. Совсем исхудал, бедняга, мотается с утра до ночи. Мы могли бы подкормить его немножко. И белье я бы ему постирала. А дочка...

— Что дочка? — спросил Гриммбергер и приподнялся на локтях.

— Она хочет уехать, отец. Выйти замуж! Так уж водится. Она достаточно взрослая. И все будет хорошо, если ты образумишься и признаешь, что был неправ.

— Никуда она не уедет! Пока я жив, все останется как есть. Когда вы меня спровадите на тот свет — будете делать, что хотите, можете бросить им тогда мой двор и землю, можете все прокутить и плясать потом на моей могиле под дудку Вольни!

У него опять перехватило дыхание, и он со стоном повернулся на бок.

Выбрав подходящий день, Эмма Гриммбергер без ведома мужа отправилась к Вольни. Она рассказала ему обо всем, ничего не утаив, даже про сон и свои тревоги о единственной дочери, которую вот уже несколько дней не выпускают из дома.

— Что же теперь будет? — спросила она.— Ведь ты его друг!

Обычно спокойный и рассудительный Вольни вышел из себя.

— Он топчет нашу дружбу. Я действительно не знаю, чем можно помочь. За одну ночь дружба превратилась в ненависть. Не надо мне было сюда приезжать. Меня предупреждали на заводе. Я не гожусь для такого дела, слишком стар, пора в отставку. Зубы у меня затупились.

Вольни говорил громче обычного. Он взглянул на запуганную женщину и виновато сказал:

— Ты-то тут ни при чем. Конечно, ни при чем.

Спустя несколько дней, когда на небе еще не успела показаться луна, Вольни встретил Гриммбергера, который, как видно, шел к Гейзеру. Вольни окликнул его. Гриммбергер остановился и неуклюже обернулся. Воротник его куртки был поднят, руки засунуты в карманы. Гриммбергер не вынул их даже тогда, когда Вольни подошел к нему. Он стоял ожесточенный и неподвижный, словно врезавшийся в землю плуг. Вольни хотел было протянуть ему руку, но потом схватил за куртку и привлек к себе.

— Что ты делаешь, старик? — тихо спросил он и тут же добавил: — Куда идешь? Неужели все забыл, все?

Вольни отпустил его и прислонился к росшей у дороги сливе с отрубленной верхушкой. Его взгляд, скользнув мимо Гриммбергера, упал на расстилавшиеся вдали поля, над которыми парили тонкие полосы тумана. Гриммбергер продолжал стоять как вкопанный.

— Что у тебя в мыслях? — снова начал Вольни и тут же дал волю своим чувствам: — Кто тебя поймет? Прежде чем сюда ехать, я сказал рабочим: «С помощью Гриммбергера мне все удастся сделать. Сообща мы с ним горы своротим». А что же получилось? Или ты хочешь выставить меня лжецом? — Голос Вольни дрожал от волнения и срывался.—

Мы же рисковали жизнью, старик! Фашистов били. Что же это, старик? Что происходит?

Губы Гриммбергера беспокойно вздрагивали. Казалось, он лишился голоса.

Вольни схватил его за плечи и встряхнул.

— Отвечай же, наконец! Вспомни сам, за что мы жизнью рисковали! — закричал он, изменившись в лице.

Гриммбергер вырвался из его рук, упал на колени и, схватив комок влажной жирной земли, протянул его Вольни.

— За что? Вот за это! За это!

Его могучие руки дрожали, земля скользила меж пальцев, только маленький комочек ее прилип к ладони. Вольни не мог оторвать взгляда от этих рук. И даже когда Гриммбергер кряхтя поднялся и побрел навстречу клубившемуся туману, который вскоре поглотил его, он продолжал стоять. Потом, упрямый и обозленный, затоптал место, откуда Гриммбергер выхватил комок земли. Теперь у него исчезли всякие иллюзии. «Ты все это представлял себе гораздо проще,— думал Вольни.— Нарисовал себе этакую схему: батрак, солдат, перебежчик, партизан, новосел, образцовый крестьянин и в конце концов один из руководителей кооператива. Но схема твоя оказалась ложной. Жизнь не укладывается в старательно сколоченные тобою рамочки. Значит, не надо быть сентиментальным». Вольни поморщился и почесал в затылке.

22

Болезнь и в самом деле свалила Шинделя. Впервые за двенадцать лет этот неугомонный человек слег. Он лежал с горячим компрессом на разрывавшейся от кашля груди. Ему все время хотелось куда-нибудь убежать, но Анка, не спуская с него глаз, поила его то горячим молоком с медом, то луковым отваром. Шиндель собрал все свои силы и прохрипел:

— Дай же мне, наконец, стакан шнапсу, и я тебе деревья с корнями из земли вырву!

Но наступил праздник, десятая годовщина провозглашения Республики, в деревне царило веселье, а Шиндель все еще лежал в постели с высокой температурой. По решительному настоянию мужа Анка на часок оставила его одного, а сама вышла на улицу, где гуляли односельчане, разодетые в самые лучшие платья и костюмы, бережно хранившиеся в сундуках и шкафах.

Пестрые краски цветущего луга, созревших полей и плодовых садов слились в танцующий хоровод в просторном зале Куглера, и даже сам хозяин в этот праздничный день не был угрюм и мрачен, как обычно. Касса наполнялась, а Куглер был не из тех, кто мешкает, когда есть возможность быстро набить карман. Глядя на переполненный зал, он прикидывал в уме предстоящую выручку: «Куда графским праздникам сбора урожая, совершеннейшая ерунда в сравнении с сегодняшним! Побольше бы в году таких праздников, и можно жить припеваючи до самой смерти». Куглер готов уже был пожелать Республике долгие годы, как вдруг увидел Гейзера, которого праздничный шум выманил из его лисьей норы. Они уединились в примыкавшей к залу комнате, где жил Куглер, и выпили там по стаканчику. Но водка не согрела их, она показалась им горькой как полынь.

Куглер прилагал все старания, чтобы поскорее избавиться от Гейзера. Ведь в таком заведении нужен внимательный кассир, объяснял Куглер, а Лидия Крамер способна все положить себе в карман; если

и не сделает этого, то уж во всяком случае начнет угощать народ бесплатно, а наш брат останется на бобах.

— Дерьмо! — буркнул Гейзер. Отнялся ли у него вдруг язык или за последнее время в самом деле так оскудели его мысли? Кто знает. Гейзер потуже обмотал горло шарфом и брезгливо поморщился. На его шее все еще были заметны сине-зеленые следы пальцев Антона.

Опешивший Куглер многозначительно пробормотал:

— Как на это смотреть! Иной любит арбуз, а иной — хрящ свиной.

Шум в соседней комнате заглушил его слова. Казалось, кружащиеся пары дружно затоптали их, будто слова эти никогда и не были произнесены.

Те, кто не танцевал, стояли по углам, курили и выпивали. Все окна и двери были раскрыты настежь: не мешало проветривать разгоряченные головы. Во дворе кучка людей обступила усатого Лаппе.

— Даже флага не вывесил,— ораторствовал он.— Такого никогда еще не бывало!

— А он не согласен с нами и не скрывает этого,— заметил кто-то.

— Чего ему не хватает? — не унимался Лаппе.— Скажи мне, чего Гриммбергеру еще не хватает? Десять лет назад бежал с флагом впереди всех, а сейчас?

— Десять лет назад было легче. Тогда ему дул попутный ветер, а теперь ветер изменил направление.

— Не болтай, чего не понимаешь! Ветер все время дует в одном направлении. А этот сумасброд прячется от него и еще удивляется, что стоит на месте!

— Мы тоже за эти годы летать не научились! И если Гриммбергер не торопится к нам, кто его за это упрекнет? С голода он не умирает.

— Может быть, я умираю? — вспылил Лаппе.— Так что же ты зря болтаешь! Я с голоду не умирал и все же вступил в кооператив, да еще получил потом взбучку! Но я знаю то, что знаю: на своем клочке земли допашешься только до могилы. А мне себя пока жалко, да и мою мадам, конечно,— быстро добавил он, увидев показавшуюся в дверях зала маленькую кругленькую Ирму Лаппе, которая, окинув взглядом двор, решительно махнула мужу рукой.

Многим в эти дни недоставало Гриммбергера. Вольни тоже тщетно пытался отыскать его. Помнил ли кто-нибудь в деревне, чтобы Гриммбергер хоть один праздник сидел дома? Его место всегда было между стойкой и дверью в зале. Он дымил здесь сигарой и неторопливо тянул из стаканчика, поглядывая на кружащиеся пары. Потом, часам к десяти, подходил к своей жене, отвешивал ей легкий поклон, и музыканты, которым все это было уже знакомо, начинали играть вальс, казавшийся бесконечным. Гриммбергеры безостановочно кружились добрых четверть часа, плавно скользя то влево, то вправо, и в конце концов оставались единственной танцующей парой, а другие становились в круг и хлопали им в такт. Потом Гриммбергер в хорошем настроении возвращался на место, смотрел на танцующих, пил и радовался, что каждому непременно хотелось перекинуться с ним словечком.

И на этот раз мать и дочь до последней минуты не теряли надежды, что он одумается. У них все было готово к празднику, платья висели на дверцах шкафов. Однако Гриммбергер и не думал собираться. Все утро он просидел в кухне. К обеду ветер донес до него шум праздничного веселья. Гриммбергер закрыл все окна и двери и запер ворота, словно боясь, что участники праздничной процессии могут напасть на его дом. Заметив весело развевающийся флаг, вывешенный у окна комнаты Хельги, он поднялся по лестнице и на глазах у ошеломленной дочери снял его.

— Запомни,— сказал он.— То, что там происходит, не имеет к нам

ни малейшего отношения! — Отделив полотнище от палки, он аккуратно сложил его.— И не вздумай выйти из дома. Верну тебя со скандалом. Пускай знают, что на нас рассчитывать нечего. Никто из Гриммбергеров не пойдет на праздник, и все тут!

Хельга упрямо закусила губу.

— Разве это жизнь? — возмутилась она.— Я сыта ею по горло!

— Им скажи спасибо,— невозмутимо произнес Гриммбергер, пряча флаг под мышку.— Тот, кто тянет лапы к моему двору, пусть не удивляется, если получит от меня оплеуху. Гриммбергер не из тех, кого можно безнаказанно дразнить.

Девушка прислушалась к шаркающим шагам отца, потом услышала его спор с матерью. Хельга не могла уже больше сдерживать слез.

До самого позднего вечера она ждала Конрада. Но и на этот раз он не пришел. Весь гнев Хельга обрушила на отца. «Уйду я от тебя,— беззвучно шептала она, сжимая кулаки.— Хоть ты из кожи вон лезь, все равно уйду отсюда. Будешь тогда знать. И Конраду, этому трусу, я тоже еще покажу!» Она раскрыла окно. До нее донеслись обрывки музыки, смех. Хельга не могла и не хотела смириться с тем, что ей навсегда заказан туда путь. Она знала, что больше не будет молчать.

Вернувшись к задремавшему Шинделю, Анка тут же положила ему на пылающий лоб холодный компресс.

— Хорошо они там веселятся? — спросил он проснувшись.

— Еще как! Жаль только, что ты не смог пойти. Даже я в моем положении отважилась бы потанцевать!

— Главное, чтобы им было действительно весело.

— Можешь за них не беспокоиться!

— А как речь Вольни?

— Все считают, что хорошая. Говорил с подъемом и недолго.

— Недолго, говоришь?

— Не дольше петушиного крика.

— Ну вот видишь,— вздохнул Шиндель.— Поручишь такому сухарю произнести речь, а он петухом кричит. На его речах далеко не уедешь. В такой день надо подробно обо всем рассказать, с размахом! А он только прокукарекал — вот и вся агитация.

— Да, речь была совсем короткой, но все говорят, неплохой.

— Я бы лучше выступил, можешь не сомневаться. Не меньше часа разъяснял бы им ситуацию.

— Успокойся, ведь у людей сегодня праздник!

— Это-то и главное, что они веселятся,— прошептал Шиндель, и его снова сморил сон.

В этот праздничный день в Шварцвальде произошло еще одно событие, которое, правда, осталось никем не замеченным, поскольку все, за исключением больных и дряхлых, держались поближе к кабачку Куглера.

Выйдя от Куглера, Гейзер отправился бродить по полям, он осмотрел кооперативные озимые и убедился, что, несмотря на засуху, густые всходы ковром покрыли землю. Он понял, что проклятых кооператоров ничем не остановишь. «Если бы ты там, наверху, был настоящим парнем,— думал он, косясь на небо,— то сейчас же поразил бы эти поля градом величиной с кулак». Но Гейзер слишком хорошо понимал, что нет такой силы ни на этом, ни на том свете, которая могла бы осуществить его сокровенные желания.

Он обошел деревню стороной. Внезапно наступил вечер, серыми клубами поднимался туман. Ему была знакома здесь каждая тропинка,

все же он заблудился и неожиданно оказался возле хутора Хагена. В первую минуту он порядком струсил, но потом решил, что это перст судьбы. «Почему бы не забыть о прошлом в час, когда грозят совсем другие опасности? — подумал он.— Почему бы не подвести подо всем черту и не протянуть друг другу руку через могилы? Могилы, вырытые под иной звездой, не нынешней, могилы, которых могло не быть, если бы вовремя было сказано правильное слово. Граф теперь далеко, пастор одряхлел, Гриммбергер, разбогатевший выскочка, сидит меж двух стульев, Куглер и Штанге — торгаши, а вот Хаген — заправский крестьянин. Почему бы не объединить силы, не взяться крепче за руки, чтобы задержать катящуюся лавину? Что нам мешает? Мертвые давно уже сгнили. А над живыми нависла опасность. Надо оставить мертвых в покое, чтобы живые смогли выжить!»

Собака во дворе Хагена тявкнула, почуяв чужого.

— Кто там? — раздался голос.

Гейзер сразу узнал его. Это был голос однорукого. Гейзер окаменел от ужаса. Собака залилась злобным нескончаемым лаем. Снова раздался тот же голос. Гейзер продолжал стоять как вкопанный. Когда он решил уйти, было уже поздно. Звякнул засов. Голос послышался совсем близко. И однорукий наткнулся прямо на Гейзера. Было достаточно светло, чтобы они узнали друг друга, настолько светло, что Гейзер разглядел культяпку руки, беспомощно дергавшуюся под спущенным белым рукавом. Он смотрел на эту культяпку, пока страшный удар в переносицу не сбил его с ног. Удар был такой силы, что Гейзер даже позднее был уверен, что его огрели железным молотом. Он рухнул словно подкошенный. Когда однорукий, бледный как смерть, вернулся в комнату, все еще сжимая кулак, толстый Хаген глухо спросил:

— Что случилось? — Он смотрел сыну прямо в глаза, чутьем догадываясь о том, что произошло. Потом рванул его за рубашку и заорал:— Ты что же, сумасшедший, убил его?

Парень устало покачал головой и за весь вечер только проговорил:

— Если он переступит этот порог, я его убью!

— Он его не переступит, мой мальчик,— с облегчением произнес Хаген.— Можешь не сомневаться, сюда он больше не придет!

Он потер свою круглую, как шар, лысую голову. Когда он обрезал сигару, руки его дрожали.

23

С каждым днем Вольни все больше осваивался в деревне. Он работал, не давая себе ни отдыха, ни срока. Почти весь день проводил в полеводческих бригадах, чтобы быстрее завершить сев озимых: хотелось все закончить к середине месяца. Время от времени Вольни навещал Шинделя, советовался с ним и укладывал в постель горячо протестовавшего больного.

— Лежи себе на здоровье, все будет в порядке! Скоро начнем убирать свеклу. К тому времени тебе надо быть на ногах, дорогой мой. А сейчас потерпи. Обойдется и без тебя!

Поначалу Анка бросала на Вольни недоверчивые взгляды, но вскоре привыкла к его худому изможденному лицу с теплыми темными глазами.

«Он желает людям добра,— думала она.— За короткий срок совсем сносил сапоги, да и не смазаны они у него. Никого нет, кто бы о нем позаботился. Вот освобожусь от своей ноши, возьмусь за него сама. Кто знает, есть ли у этого человека хоть чистый носовой платок?»

В один из его приходов Анка налила ему полную тарелку щей.

— Вот, пожалуйста,— сказала она.— На это у тебя время найдется!

— Но я уже обедал,— с мягкой улыбкой возразил Вольни.

— Не морочь голову! Одна тарелка еще войдет, не лопнешь!

Вдобавок Вольни еще пришлось съесть печеную тыкву. Вблизи этой женщины его охватывало чувство приятной усталости. Белые накрахмаленные занавески в кухне, блестящие кастрюли, ведра на скамеечке и жужжание вялых осенних мух вызывали в нем необъяснимую зависть к Шинделю. Он смущенно поглядел на Анку, которая без всякого стеснения пристально рассматривала его. Потом быстро поднялся, благодарно кивнул ей и ушел.

Казалось, трактористы вывалялись в золе. Пыль, поднятая тракторами, плугами и боронами, проникала сквозь ветровое стекло, въедалась в одежду и обувь, иссушала губы и глотки.

— Пить хочу, как утка,— хрипло ворчал Конрад Шпрингер.— Как ты думаешь, догадаются привезти сюда ящик лимонаду? Скорей горло пересохнет, чем наш бухгалтер раскошелится. Когда с ним разговариваешь, кажется, что этот верблюд слушает тебя не ухом, а брюхом.

В его упрямой складке на переносице осела желтоватая блестящая пыль. Курчавые черные волосы будто выцвели. На запыленном лице светлели капли пота. Конрад вытянул пересохшие губы. Во время перекура Вольни спросил его, как он смотрит на то, чтобы послать машины на поле Гриммбергера.

Конрад искоса бросил на него пристальный взгляд.

— Раз уж ты меня спрашиваешь, скажу: слишком поздно!

— Почему?

— Потому что старик унижаться перед нами не будет. Однажды мы ему отказали, а теперь... обида по гроб жизни. Можешь не сомневаться.

— Значит, считаешь, что наш отказ был неправилен?

— Ах, отвяжись от меня со своими вопросами! Кто знает, какое средство на него подействует. Вероятно, вообще никакое!

Конрад давно не виделся с Хельгой. Даже в тот день, когда все веселились на празднике, она не пришла ни на митинг, ни на танцы. Он думал, что она пряталась от него, и теперь не знал, что делать. Не глядя на Вольни, Конрад хмуро добавил:

— Сам же ты от него отказался, скажешь — не так? Сначала у него устроился, а потом сбежал ночью, тайком!

У Вольни в руке был камень, величиной с яйцо, отполированный землей и дождями. Он подкидывал его и ловил, беспокойно следя за ним взглядом. Но тут камень пролетел мимо руки и глухо ударился о вспаханную землю.

— Значит, думаешь, это тоже было неправильно?

— Сам должен знать. Но уж если спрашиваешь, скажу, что я бы так, ясное дело, не поступил!

— Он побил Хельгу.

— Побил? — вскрикнул Конрад.

— Из-за тебя! — Вольни крепко сжал плечо Конрада.— Подумай об этом! — И с обидной насмешкой добавил: — Как-то раз иду я, вижу, кто-то в зарослях бузины прячется. В это время года никакая птица не спаривается. «Кто же это,— думаю,— токует?» Поразмысли обо всем, приятель. А то будешь свистеть до одурения — и все без толку.

Он отпустил плечо Конрада и ушел. Шпрингер пригнулся к рулю трактора. Вечером его сменил Калер, кругленький, добродушный весельчак с неизменной хитрой улыбкой на лице.

— Что, хандра напала? — спросил он. Он свернул короткими толстыми пальцами самокрутку, взяв табак из протянутого ему кисета, и облизал края.— Забирай свою Хельгу, и дело с концом. Так дальше

нельзя. Работа страдает! — Он оглядел окутанные сумерками поля.— Посмотри на посевы. Тогда все станет ясно!

— Тебе хорошо говорить,— угрюмо произнес Конрад.— Со стариком не поладишь. Я-то его лучше знаю!

— Ну, тебе виднее. Но я уверен, что у вас любовь по-настоящему может расцвести, только когда и Хельга вместе с тобой будет в кооперативе. Недавно был я в Лангенбахе, выпил три-четыре кружечки пива и стал агитировать. Вдруг кто-то как заорет из угла! Оказывается, это Мёзер хватил лишнего. «Отвяжись ты от меня со своей политикой,— орет,— я хочу видеть голую женщину. Плачу пятьдесят марок». И выкладывает денежки на стол, пятьдесят марок! Ну, думаю, случай подходящий. Чувствую себя в полной форме и принимаю вызов. «Минуточку! — кричу, стараясь заглушить смех.— Напрасно зубоскалите, господа! То, что говорит Мёзер, это чистая политика. Парень весь день надрывается на работе, нет у него ни минуты свободного времени, никакого досуга. Жена работает не меньше, мучается, хлопочет, ей тоже не до любви. Вечером валятся, как подкошенные, в перины, и так вот проходят их лучшие годы. А опрокинув стаканчик, Мёзер вспоминает, что, кроме всего прочего, он еще и мужчина! Так обстоит дело сегодня. Но завтра, если мы создадим кооператив, положение изменится. Любовные дела сразу придут в порядок. Начнется с раннего утра. Спокойно встанешь, хорошенько умоешься, причешешься, поговорите друг с другом по душам и так далее. К завтраку опять вместе, слегка перемигнетесь, пофлиртуете. Ну, а в обеденный перерыв можно себе позволить и кое-что другое. Кончается рабочий день, но есть еще порох в пороховнице! Чувствуешь себя прекрасно. Мёзер сможет ублажить свою Розу и подивиться на нее. сколько влезет. Да еще сбережет свои пятьдесят марок и физиономию, которую жена ему разукрасит, если узнает, что вытворял тут ее любимый муженек. Так что все, чем мы здесь занимаемся,— самая настоящая политика».

Сдержанная улыбка скользнула по лицу Конрада.

— И что же сказали на это лангенбахцы? — поинтересовался он.

— Думаю, их задело за живое. Сперва у них будто языки отнялись, они, как рыбы, только глаза на меня таращили. Потом Мёзер, пошатываясь, подошел ко мне и прошептал: «Ставлю тебе бочку пива, только не говори ничего Розе, ни словечка. А то она вытряхнет из меня душу, и кооператив уж не поможет. Тогда и любви каюк!» «Пойди проспись,— говорю ему,— от меня она ничего не узнает. Но вот ты, приятель, подумай о том, что я говорил».

Довольный собою Калер глянул на Конрада и убедился, что рассказ его произвел впечатление. Потом, как бы между прочим, заметил:

— Ты-то из всей этой истории ничего не понял. Ты парень еще во всех отношениях неопытный.— Он слегка толкнул Конрада в бок.— Ну, да не сердись. Тебе еще многому надо учиться. Это ясно!

Он вспрыгнул на трактор и включил фары.

Конрад ехал на мотоцикле в деревню. Ехал он медленно, стараясь хоть немного оттянуть выполнение намеченного плана. «Хочешь не хочешь, а надо прижать старика»,— думал он. Иногда по вечерам, слушая рассказы Гриммбергера, он представлял себе, как тот воевал вместе с партизанами в дремучих лесах чужой страны, и ему нередко хотелось хоть раз испытать такое в своей жизни. Он порой считал себя несчастным, оттого что рос в такое время, которое казалось ему скучным и не давало выхода бурлившей в нем энергии. Когда он проводил ночи напролет за книгами, читая о суровых боях в двадцатые годы на Дону, о битвах в Испании, о героических узниках фашистских концлагерей и тюрем, его собственная жизнь представлялась ему мелкой и бессодержательной. Он мечтал о столкновениях, когда можно было бы показать,

на что он способен. В пахоте Конрад не видел ничего героического, а в работе в две смены, хотя он и уставал от нее, тоже не было ничего особенного.

И все же Конраду пришлось в своей жизни пережить немало такого, что случается далеко не с каждым. Уходя с беженцами, он, тринадцатилетним мальчишкой, потерял мать. Найти ее Конрад так и не смог. Оказался на линии фронта. Его обнаружил красноармейский дозор и отправил в свой тыл, в обоз. Там он жил при кухне, ухаживал за лошадьми, помогал чистить картошку и как-то ночью стащил у одного сержанта пистолет, чтобы немножко поиграть в войну. Полученная взбучка так глубоко обидела его, что, улучив подходящий момент, он сбежал. Война близилась к концу. Около Шварцвальде Конрад спрятался в стоге соломы. Какой-то крестьянин из Лангенбаха, выехавший в один из первых мирных майских дней в поле, привез мальчишку к себе домой. У этого крестьянина был сын, немного моложе Конрада, избалованный, хитрый, злой. Он устраивал Конраду всякие пакости.

Хотя с тех пор прошло уже больше двенадцати лет, Конрад и поныне не мог забыть перенесенных им обид. Он жил впроголодь, а работу с него спрашивали, как со взрослого. Однажды Конраду удалось на минутку прихватить ключ от погреба. Он сделал с него слепок и тайком выточил себе запасной ключ. Жизнь его заметно улучшилась. Когда пришли представители профсоюза и предложили ему пойти в сельскохозяйственные рабочие, Конрад сказал: «Мне не нужны профсоюзы. У меня есть такой ключ, с которым я всегда буду сыт!» Они его не поняли, хотя Конрад хорошо знал, о чем говорит. Все же дело кончилось плачевно. Из-за Эгона, хозяйского сынка, имевшего свой ключ. Эгон пользовался им не для утоления голода, а для спекуляций на черном рынке и, разумеется, куда больше опустошал запасы, чем Конрад, который хотя и любил поесть, но знал меру. Все, чего не досчитались в погребе, свалили на Конрада, даже два окорока и шпик. В конце концов он был рад, что профсоюз помог ему выпутаться из этой истории. Но Эгону он так съездил по физиономии, что у того и поныне нос плоский, как лепешка.

Получив первые деньги, заработанные на машинно-тракторной станции, куда его устроил профсоюз, Конрад Шпрингер отправился в город, чтобы купить себе костюм. Однако он не нашел ничего подходящего. Ростом он был высок, но еще худоват. Глядя на свое неприглядное отражение в зеркале примерочной, он решил отказаться от покупки. Но деньги с непривычки просто оттягивали ему карман. Он проходил мимо магазина музыкальных товаров. Увидел в витрине блестящие инструменты. Ему вспомнились длинные тягучие зимние вечера в деревне, и он подумал, что музыка могла бы их очень скрасить. И Конрад купил трубу, два аккордеона и губную гармонику. Денег у него на все покупки не хватило и потом целых шесть месяцев пришлось выплачивать долг. За эту покупку его прозвали «Конрад-трубач». Но теперь многих из тех, кто с ним работал, в МТС уже не было, и прозвище это почти все забыли. Во всяком случае, покупка Конрада пришлась кстати. Правда, когда под музыку все танцевали, Конрад сидел в уголке в своих изношенных штанах, но зато молодежь сразу почувствовала себя в МТС как дома. То, чего нельзя было достигнуть с помощью слов, совершилось благодаря музыке: в округе организовались первые молодежные группы.

В общем нельзя сказать, что жизнь Конрада текла монотонно и однообразно, но он продолжал стремиться к чему-то необыкновенному.

Конрад остановил мотоцикл у ворот дома Гриммбергера и вынул ключ зажигания. Он почувствовал вдруг, как у него заныло под ложечкой. Толкнул ворота, но они оказались запертыми. Окно комнаты

Хельги и два других, выходящих на улицу, были темны и невидящим взором смотрели в вечерние сумерки. Конрад взглянул в замочную скважину. Из кухни падала во двор полоска света. Забеспокоилась собака. Конрад тихо свистнул. Собака, видимо, узнала его и радостно взвизгнула. Конрад застучал сильнее. Но опять никто не откликнулся. Тогда он решительно перелез через ворота и мягко спрыгнул во двор. В это мгновение в дверях дома показался Гриммбергер.

— Что тебе надо, приятель? — сухо спросил он.

Конрад подошел к крыльцу и поднял взгляд на старика, загородившего дверь своей грузной спиной.

— Мне нужна Хельга,— решительно сказал парень и упрямо сдвинул брови.— Я ее сейчас заберу с собой!

— Вот как? А больше ты ничего не хочешь? — Гриммбергер казался невозмутимым, рот его скривился в холодной усмешке.— Так больше ты ничего не хочешь, а?

— Нет, двор твой мне не нужен. У меня есть специальность, и мы как-нибудь уж перебьемся.

— Сопляк! — оборвал его Гриммбергер.

— Ах, вот оно что! Теперь я сопляк, а пока работал на тебя, был хорош!

— Заткнись! — бросил Гриммбергер, по-прежнему сохраняя невозмутимый вид.— Убирайся, иначе я натравлю на тебя пса!

— Давай, давай! Он меня не тронет. Для него я член вашей семьи.

— Катись отсюда, а то я тебе покажу, приятель, какой ты член семьи!

Конрад услышал, как в доме захлопали дверями, и решимость его возросла. Он взбежал по ступенькам крыльца. Но резкий удар в грудь отбросил его назад. Он не удержался на ногах и упал, растянувшись во весь рост.

Прежде чем Конрад смог подняться, Хельга с криком бросилась к отцу. Старик высвободился из цепких рук дочери и втолкнул ее обратно в дом. Он сделал все это молча и снова прислонился к двери, как грозный часовой.

— Понял теперь? Нет здесь для тебя места! Можешь сказать это и Вольни, я не возражаю!

Ключ дважды со скрежетом повернулся в замке.

От обиды глаза Конрада налились слезами. Он услышал, как за закрытыми окнами всхлипывали женщины. И в немой ярости растерянно погрозил кулаком в сторону кухни.

Когда Конрад проходил мимо конуры, собака кинулась к нему и лизнула руку, будто утешая его.

Той же ночью Гриммбергер сказал жене:

— Я выдам ее замуж!

Эмма приподнялась с подушек.

— Не делай этого,— прошептала она.— Не делай этого, отец. Навлечешь на всех нас беду!

— Хватит причитать! Она выйдет замуж, и все тут! Кто сам не может найти своего счастья, того надо ткнуть в него носом.

— Беда случится, отец. Ты все больше сходишь с ума. Тебя уже по ночам мучают кошмары, потому что совесть твоя не чиста,— предостерегающе напомнила она.

— Ерунда! Ночь пройдет, и снам конец. Вот что я тебе скажу.

Он повернулся на бок и погрузился в свои мысли. Решил поехать в воскресенье в Лангенбах. Эгон, сын крестьянина Гёблера, парень подходящий по возрасту, собою видный и крестьянин что надо. Были у него,

говорят, любовные истории, но теперь перебесился. Так и должен делать мужчина, прежде чем лезть на супружеское ложе. Он сразу ухватится за такое предложение, ведь дом и поля в порядке, да и девка не горбата. Эгон тоже придет не с пустыми руками. Пара получится завидная.

— За Эгона Гёблера выйдет она замуж,— нарушил молчание Гриммбергер.

— Опомнись,— воскликнула жена,— ради господа бога! Будет смертоубийство!

24

Из открытых дверей коровника падал неяркий свет. Даже во дворе слышно было, как мерно жуют коровы. Тихо позвякивали цепи. Однообразно шуршала метла, чистившая проход в коровнике. Сдержанно и тоскливо заржала лошадь. Кто-то гремел пустыми бидонами. Из деревни вместе с порывами ветра то тише, то громче доносился собачий лай. По небу к затухающей полосе заката ползли темно-синие гурты туч. Кусты бузины уже облетели. Черные ягоды одиноко и печально висели на голых ветках.

Вольни, свернув с улицы, медленно подошел к правлению кооператива, потом заглянул в хлев. Лидия Крамер скребла метлой проход. Платок съехал у нее на затылок. Лидия не замечала Вольни. Слегка наклонив голову, она продолжала делать свое дело, быстро и ловко орудуя метлой. Ее черные, как смоль, волосы тускло поблескивали под светом забрызганной грязью лампочки.

Когда Вольни подошел близко к лампочке, тень его легла на проход. Лидия Крамер охнула от испуга.

— Что ты крадешься, как привидение! У меня сердце зашлось от страха!

Вольни беззвучно рассмеялся.

— Но оно у тебя, как я слышу, снова забилось.

— Будешь тут еще надо мной насмехаться,— со злостью сказала Лидия и отвернулась. Ей было не по себе от его неожиданного появления, от того, что он застал ее в таком неприглядном виде.— Уходи подобру-поздорову! Не то я тебя метлой!

— Осторожнее на поворотах! Не так сердито!

Вольни ухмыльнулся.

— А ну-ка уходи отсюда! — Глаза Лидии так и метали молнии. Она тяжело дышала, ее широкие полные губы слегка приоткрылись.— Вот я тебя метлой!

И она действительно двинулась к нему, правда, медленно и нерешительно. Вольни мгновенно схватил ее за локти, прижал к себе и почувствовал силу этого крепкого тела; сперва оно противилось ему, но вдруг стало мягким, покорным. Потом Лидия резким рывком высвободилась из его объятий.

Вольни сжал кулаки, чтобы скрыть дрожь в руках. Он обрадовался, услышав в другом конце коровника равнодушный голос Цанка. Быстро обернулся и крикнул:— Цанк, ты-то мне и нужен, обожди! — и пошел по проходу. Он чувствовал, что Лидия смотрит ему вслед, и шагал с большим трудом, нежели обычно. Ему вдруг стало ясно, что от этой женщины не уйти, что в нем созревает чувство более сильное и неотвратимое, чем все доводы рассудка.

Вольни в самом деле искал Валентина Цанка. Ночной разговор с Лаппе не выходил у него из головы. И только срочные дела отодвинули на время выполнение задуманного.

Возле силосной ямы, от которой шел удушливый кислый запах, стояла в деревянном загоне старая лошадь тракененской породы. Когда Вольни подошел к ней ближе, она беспокойно повела ушами и с тихим фырканьем вскинула голову. Нервно перебирая ногами, она отошла в сторону и повернула к Вольни умную узкую рыжую морду с зубчатым пятном на лбу. Вольни заметил, что один глаз у нее слепой, и сказал как бы про себя:

— Ужасно обидно, что даже такое животное не миновало старости!

Валентин Цанк, казавшийся рядом с Вольни маленьким и приземистым, удивленно, не без раздражения, спросил:

— Ты разве знаешь толк в лошадях?

— Я ведь кузнец. Научился в деревне у одного чудака!

Вольни похлопал лошадь по крупу и стал шептать какие-то успокаивающие слова. Она притихла под его умелой рукой и, доверчиво поглядывая на него, сунула морду в кормушку, из которой брызнула мокрая сечка.

— Теперь не скажешь,— заметил Цанк, бесцеремонно разглядывая руки Вольни.

— Чего не скажешь?

— А что ты был кузнецом!

— Почему?

— Да руки. Совсем не такие, как у кузнеца.

— Значит, разбираешься! Последнюю лошадь я подковал... постой, постой! Точно, шестнадцать лет назад. Белого жеребца. Ну и зверь был, описать невозможно!

Вольни поднял глаза и задумчиво улыбнулся.

— Белый жеребец? — Цанк в волнении облизнул губы.

— Совершенно белый, дружище. Только на брюхе шерсть немного отливала синевой, но почти незаметно!

Вольни уселся на кормушку и, весело болтая ногами, закурил сигарету.

Знакомый запах лошадиного пота, тихий шелест беспрерывных взмахов хвоста, глухой шум степенно жующих челюстей вызвали у него чувство покоя и удовлетворения. Он поманил взглядом Цанка, прикрывая ладонью зажженную спичку.

— Ну, бери же!

Цанк взял из пачки сигарету. Вольни с удивлением смотрел на его трясущуюся руку и заметил на большом и указательном пальцах мозоли от дойки величиной с голубиное яйцо.

— Белый жеребец! — пробормотал Цанк.— Белый жеребец!

Вдруг он, как конь, вскинул голову, подошел вплотную к Вольни и срывающимся от волнения голосом заговорил:

— Боже ты мой, за лошадь я готов отдать себя на растерзание. Хочешь верь, хочешь нет. Эх, какие бывают лошади! — Цанк с неудовольствием посмотрел на тракененскую кобылу, которая, казалось, прислушивалась к их разговору.— Кормлю ее из жалости. Она уже ничего не видит, а захочешь оседлать, застонет, свесит голову, будто жалуясь на твою неумелость. А ведь лошадь была будто самим богом созданная, можешь ты это понять?

Вольни с серьезным видом кивнул.

Цанк покачал головой.

— Белый жеребец! Ну, подумать только! Просто не верится! Был у меня один такой, всего тринадцать дней, ровно тринадцать. Белый жеребец, точь-в-точь, как ты рассказываешь. Мы стояли на Украине. Тогда мне едва сравнялось двадцать, но я был такой же лошадник, как теперь. Заступаю я в караул и впервые слышу эту историю. «Не заливай, дружище!» — одергиваю парня, который рассказывает мне сказку о бе-

лом жеребце. Но парень стоит на своем. «Я сам его видел, говорит, собственными глазами. Ездит на нем верхом девушка с рыжими, как медь, волосами, а одета, как мужчина». Машет у меня перед носом руками и клянется, что сам видел и жеребца, и девушку. Я сразу потерял покой!

Вольни, согнувшись крючком, сидел на кормушке. Ноги его висели, как тряпичные. На впалых щеках появились вдруг красные пятна, затылок налился кровью.

Но Цанк, стоявший возле столба, на котором висела сбруя и искусанная до блеска железная уздечка, прищурил глаза и не увидел, как изменилось лицо Вольни. Хриплым, сдавленным от волнения голосом Цанк торопливо продолжал:

— Через несколько дней я сам его увидел,— летел он, точно птица. А к нему буквально приклеилась партизанка с ружьем. Прежде чем я успел пошевельнуться, они скрылись в лесу. Я думал, что схожу с ума. Шепчу: «Боже, помоги мне поймать этого коня. Вечно буду тебе благодарен». Ну, и тому подобную чепуху!

Цанк вошел в раж, а Вольни, ошеломленный его рассказом, чувствовал, что этот человек, охваченный каким-то необъяснимым волнением, раскрывает сейчас перед ним свою истинную суть, которую не в состоянии выразить ни взгляд, ни улыбка, ни жесты. Вольни лихорадочно ждал конца рассказа. Он плотно сжал веки. «Пойми его,— внушал он себе,— не осуждай, а пойми!» Но пальцы его, сжатые в кулаки, дрожали, он не сводил взгляда с беспокойно дергавшегося кадыка Цанка. Вольни тяжело дышал. Он никак не мог взять себя в руки.

— Просьба моя была услышана,— продолжал Цанк.— Мы получили приказ выкурить партизан из леса. Судьба решила, чтобы белый конь попал мне на мушку. Я целился, как никогда в жизни. Девушка упала, повиснув на стременах. Я свистнул, конь остановился...

Цанк не окончил фразы. Вольни и потом не сумел бы объяснить, как это случилось. Бледный как смерть, он соскочил с кормушки, сгреб Цанка за плечи, швырнул его оземь и прохрипел:

— Собака, проклятая собака!

Глаза его налились слезами. Он стукнул перепуганного Цанка несколько раз головой об пол.

Подбежавшая Лидия Крамер привела Вольни в чувство. Он, пошатываясь, встал и молча, с трудом передвигая ноги, пошел к двери. По его бледному лицу бежали слезы.

25

Как ни старалась Лидия Крамер выяснить, в чем дело, она так и не узнала, что произошло между Цанком и Вольни.

Цанк, сидевший в проходе, прислонясь спиной к столбу и тяжело дыша, опустил подбородок на грудь и, не поднимая глаз, мрачно смотрел в одну точку.

— Катись отсюда и оставь меня в покое! — буркнул он.

Лидия Крамер растерянно пожала плечами.

Узнав от Куглера, что Гейзер болен и снова звал ее, Лидия тщательно принарядилась. Когда она, прихорашиваясь, мылась и причесывалась, ей казалось, что она собирается идти к Вольни. Но она пошла к Гейзеру. Он лежал на раскладушке одетый, с обвязанным горлом и встретил ее усталой улыбкой, едва шевельнув серыми, как камень, губами.

— Садись. Придвинься поближе. Я не кусаюсь. Вот так!

Гейзер тяжело повернулся лицом к Лидии, которая села на стул возле его кровати, и неопределенным движением руки обвел комнату.

— Вот так живет самый крупный крестьянин в деревне. Дом мой велик, но в нем без женщины холодно.

«Ах, вот куда ты клонишь»,— подумала Лидия Крамер. Она нашла, что Гейзер постарел. Сросшиеся брови уже не хмурились грозно, а, заметно поседевшие, понуро нависали над мрачными серыми глазами. Свежевыбритые щеки и подбородок отливали синевой. Кожа под глазами сморщилась, словно увяла. Лидия заметила, как трясутся у него руки.

Она закинула ногу на ногу и слегка наклонила голову. Весь ее вид говорил об ожидании, и это помогло смущенному Гейзеру начать разговор.

— У меня все из рук валится,— сказал он с ошеломляющей откровенностью.— Лежу тут и размышляю о жизни. Я ничего о тебе не знаю, да и знать не хочу. Хочу только, чтобы ты осталась здесь, у меня. Хозяйство требует женских рук. Сядь ближе, а то мне трудно говорить.

Лидия не тронулась с места. Слова Гейзера удивили ее. Никогда она не думала, что этот человек способен произнести что-то, кроме двух-трех фраз, да приказаний громким и грубым голосом. Лидия старалась подавить шевельнувшуюся в ней жалость.

— Я и так хорошо слышу,— сказала она, вытянула нижнюю губу и стала рассеянно обдувать свое разгоряченное лицо.

Гейзер, снова повернувшись на спину, уставился в потолок, по которому в светлом четырехугольнике, отбрасываемом лампочкой, лениво полз толстый черный паук. С отвращением зажмурив глаза, Гейзер продолжал говорить, неторопливо, запинаясь, то и дело умолкая, будто вел разговор с самим собою:

— Вот лежу я здесь и вспоминаю запах рождественских пряников. Никак не могу его забыть. У нас раньше были две работницы. Анна и Лене. Они пели «О ты, радостная и блаженная» и месили тесто в огромном чану, в котором можно было бы сварить свинью килограммов на двести. Я держался за их подолы, лакомился вовсю, а когда они меня шлепали — боялись, что я объемся,— я принимался орать и мгновенно весь синел. Тогда в кухню вбегала мать. Она долго не церемонилась. В конце концов приходилось отцу улаживать ссору. Но это он делал лишь в том случае, если девушки были достаточны молоды и не слишком туго подвязывали свои юбки. Мать моя об этом знала. Но терпела. Говорила, что между быком и мужиком нет большой разницы. Если он не хочет преждевременно одеревенеть, должен прыгать. Она ко всему относилась равнодушно. Но приданое имела немалое. Наревевшись вдоволь, я пел вместе с девушками «Сегодня Христос родился...» Пел я очень хорошо. Так утверждал пастор.

Неожиданно Гейзер запел:

Отца своего я не знаю,
Мать не любит меня,
Но умирать не желаю
В расцвете юного дня...

«Да он пьян»,— подумала Лидия, внимательно поглядев на него. Но тут же решила, что, хоть он и напился, все это не так страшно. Непроизвольно она отодвинулась от кровати. Удивительно, как у нее не нашлось мужества сразу встать и уйти от этого человека, который так странно вел себя, совсем иначе, чем она себе представляла. Не в силах прийти к какому-нибудь решению, она продолжала сидеть.

— Бойся бога и ни перед кем не робей! — пробормотал Гейзер.— Я сегодня весь день читал, сначала маленькую коричневую, потом большую толстую книгу. Большая — это Библия, а маленькая называется «Свободный крестьянин отвечает». Обе ни к черту не годны. Не могут

помочь человеку в беде. А жизнь умнее всех книг, вместе взятых... В деревне царят другие законы. Там бывает вражда глубже, чем могила...

Лидия Крамер с трудом следила за беспорядочным ходом мыслей Гейзера. Все свои тридцать пять лет она плыла против течения, и все же сумела сохранить в душе желания, которые едва ли могла выразить словами, но которые помогали ей скрашивать унылое однообразие жизни. Она бессознательно чувствовала, что и мысли Гейзера направлены против ее надежд. «Какое счастье, что ты уже не имеешь власти над людьми,— подумала она.— Они тебя не слушают. Твое время прошло».

— Для чего ты вообще позвал меня? — резко спросила она.

Прищуренными глазами Гейзер рассматривал ее шею, грудь, по-девичьи стройную ногу, которая беспокойно покачивалась почти перед самым его лицом. Его грузное тело откинулось назад. Койка заскрипела. Он подавил желание схватить ее ногу, ошеломить женщину быстрым, ловким движением. И сказал почти кротко:

— Чтобы ты посидела здесь, около меня, и больше не уходила.

Наступило долгое молчание. Лидия подняла опущенные веки. В глазах ее блеснула насмешка. Она сказала:

— Едва успел похоронить одну, а уже хочешь завести новую. Не больно ты постоянен!

Гейзер приподнялся на локтях, увидел за ее иссиня-черными волосами тускло желтеющую в окне лунную ночь.

— Не надо себя обманывать! — Он спустил ноги с постели.— Ну иди же ко мне. Мы достаточно взрослые люди! — У него перехватило дыхание.— С Куглером ты не была такой жеманной!

Лицо Лидии вспыхнуло, как от удара, и она тихим, как бы удивленным голосом произнесла:

— А ты хуже всякой скотины, Гейзер!

Он откинул со лба черные жирные пряди и обхватил голову руками. Воспользовавшись этим, Лидия вскочила и поставила стул между собой и кроватью. Гейзер споткнулся о него. Лидия стремительно выбежала из комнаты во двор. Она прерывисто дышала. Дующий со стороны деревни ветер освежил ее разгоряченное лицо.

Дверь в комнату осталась раскрытой. Гейзер прислонился спиной к косяку. Он бился об него затылком, пока боль не привела его в чувство. Потом резко захлопнул дверь и отшвырнул стул с такой силой, что тот ударился о стену и сломался.

Лидия Крамер свернула на проселочную дорогу. Теперь она шла не торопясь. «Как могла ты к нему пойти, — упрекала она себя.— Если тебя здесь кто-нибудь увидит, по всей деревне расползутся сплетни. Дойдут до Вольни, и он им поверит. Ах, чему только не верят люди и что они на самом деле знают!»

Лидии Крамер было двадцать два года, когда она появилась в Шварцвальде, занесенная сюда ветром, как до времени сорванный лист. Она приехала из маленького городка, на окраине которого спокойно и плавно текла Эльба, словно не торопилась впасть в море, раствориться в нем, стать лишь волнами среди волн, да еще солеными.

В восемнадцать лет ей казалось, что она любит одного человека. Она встретилась с ним на берегу Эльбы. Он вышел из воды, высокий, белокурый, с заросшей волосами грудью. Взгляд его равнодушно скользнул по стоявшим на берегу людям и остановился на Лидии. В этом взгляде еще не было ничего особенного. Он подсел к ней, на ее одеяло. Ни о чем не спрашивал. Прищурился на солнце и, ухмыляясь, сказал: «Ну, цыганочка, кто же тебя потерял?»

И поныне, вспоминая об этом, она слышит его голос: «Кто же тебя потерял?»

Их любовь длилась всего восемь дней. Она помнит только, что небо тогда было высоким, бескрайним и совершенно безоблачным, что все сверкало яркими красками: крошечный цветок, красные буки в долине, высоковольтная мачта с белыми фарфоровыми колокольчиками и плоской тенью, словно вдавленной в луг. И вода в Эльбе была такой прозрачной, как никогда прежде и никогда потом.

Ночью она избегала его объятий и без умолку болтала, чтобы удержать его на расстоянии. Он был близок ей лишь в те минуты, когда она могла на него смотреть. При каждом поцелуе она широко раскрытыми глазами испытующе смотрела ему в лицо. Ей хотелось увидеть любовь в его взгляде, в уголках рта — всюду, даже в руках, которые осторожно ее ласкали.

Он ушел и больше не приходил! Ни на венчание, ни на крещение, ни на похороны ребенка, у которого не было сил остаться в живых. Она ждала его всю войну. Она ждала и в Шварцвальде, в тесной комнатушке над кабачком Куглера, куда устроилась по объявлению, лишь бы уехать подальше от Эльбы — она не могла больше смотреть на реку без печали.

Но воспоминания потускнели. Иногда она пугалась, чувствуя, как устала от ожиданий. Она ложилась и старалась представить себе его глаза. Но не могла. Наверно, слишком уж недолго она их видела. Даже не знала, какого они цвета. В памяти остался только голос, одна лишь фраза: «Ну, цыганочка, кто же тебя потерял?»

Куглер никогда не пробовал подступиться к ней. По его тупым невыразительным взглядам она понимала, что любовь ему неведома. Его красные, распухшие от мытья посуды руки внушали ей отвращение.

Когда она вторично увлеклась мужчиной — у него в городе была жена и дети,— ей стало страшно. Она прогнала этого человека и с тех пор всегда держала ухо востро.

А теперь этот Вольни. Она закрывает глаза, и сразу возникает перед ней его взгляд, лоб, волосы, фуражка. И если идет куда-нибудь, то всегда с волнением прислушивается и ждет, что он ее окликнет.

Поздним вечером Лидия Крамер вернулась в кабачок Куглера. Хозяин сидел за стойкой и дремал. Услышав, как скрипнула дверь, он открыл глаза и с тупым любопытством уставился на Лидию.

Лидия резко повернулась к нему спиной. Она наклонилась над столом, за которым, понурившись, сидел единственный посетитель, Валентин Цанк. Она приподняла его голову, посмотрела на его восковое лицо и потухшие глаза. Голова выскользнула у нее из рук и тяжело упала на стол. Лидия потрясла Цанка за плечи и озабоченно сказала:

— Валентин! Ты что ж так напиваешься, да еще в будний день! Послушай же, глупый ты человек!

Цанк сопел и не произносил ни звука.

Лидия растерянно взглянула на Куглера. Увидев его ухмылку, яростно обрушилась на него:

— Ты чего ухмыляешься, осел! Об твою башку надо бы разбить бутылки, которые он осушил. Ну, берись же! Отведем его домой!

— Достаточно выставить за дверь.

— Я тебе покажу — за дверь!

Куглер нехотя вылез из-за стойки. Он боялся ее гнева. Не раз Лидия сурово расправлялась со своими обидчиками.

— Человек заливает свое горе. Иначе — плохо шли бы мои дела.

— Разбить бы твою пивную бочку! Своим пойлом только делаешь людей несчастными.

— Как знать, кто делает людей несчастными, как знать!

— Не болтай языком, а берись!

Они вывели Цанка из помещения, стащили по ступенькам вниз. Он, как труп, висел на их плечах. Носки его ботинок волочились по земле. Куглер несколько раз порывался бросить его в каком-нибудь закоулке, но Лидия Крамер тянула запыхавшегося трактирщика дальше и дальше.

Жена Цанка, когда-то красивая, а теперь худая изнуренная женщина, родившая пятерых ребят, встретила их слезами и причитаниями.

— Ну вот, опять начинается! Ах, боже ты мой! И за что мне только такое наказание! — Она втащила пьяного в прихожую, положила на пол и закрыла дверь.

— Новая жизнь торжественно вступает в каждую деревню,— провозгласил Куглер.

— Знаешь, помолчи лучше!

— А что? Я читаю об этом в газетах почти каждый день. Они ведь не врут, а может, все-таки врут?

С тех пор как Куглер убедился, что в деревне и впредь без него не обойдутся, он перестал сдерживаться и частенько что хотел, то и болтал. У него даже осанка изменилась после того, как он во время последнего праздника выручил большие деньги.

Лидия не ответила. Она прислушивалась к одинокому звуку своих шагов, смягченному густо опавшей листвой лип. Между поседевшими облаками плыла луна, проливая тускло-желтый свет. Где-то в конце деревни не ко времени прокукарекал петух. Казалось, он ждал ответа и прокричал еще раз. Потом умолк. Собакам тоже было не до лая. Деревня еще спала под серым одеялом утренних сумерек.

Лидия Крамер не раздеваясь легла в постель, но глаз сомкнуть не могла. В пять она уже встала. Бессонная ночь не оставила на ее лице никаких следов. В шестом часу она уже была в коровнике, нигде не нашла Цанка и принялась за работу одна.

Когда спустя некоторое время в проходе раздались шаги, Лидия прислушалась. Она сразу же поняла, что пришел Вольни, и растерянно прижалась лбом к мягкому податливому боку коровы.

Вольни, бледный, невыспавшийся, с черными кругами под глазами, заметил Лидию и подошел к ней.

— Ты уже здесь? А я думал...

Лидия кивнула в ответ и хотела продолжать работу, но руки не слушались ее.

— А где Цанк?

— Нализался в стельку!

Она смущенно засмеялась, будто хотела сказать: «Жаль мне преподносить тебе такую пилюлю, но что ж поделаешь. Совершенно упился, в первый раз с тех пор как приехал в деревню».

Вольни пристально посмотрел ей в лицо, потом повернулся и молча вышел.

Он взял в кормовой кухне скамеечку и ведра, услышал, как тихо заржала тракененская лошадь, и подумал: «Неправильно я поступил!»

Лидия и Вольни доили вместе почти два часа — он с правой стороны, она с левой. Все это время они работали рядом, но не обменялись ни единым словом. Лишь иногда украдкой поглядывали друг на друга.

Скоро пальцы Вольни занемели от непривычной работы. Ему приходилось все чаще останавливаться и массировать себе руки, но он упрямо продолжал доить и снова догонял Лидию.

Когда они мыли руки, волосы Лидии коснулись его лица, разгоряченного от работы.

— Как ты думаешь, не взять ли сюда снова Лаппе? — спросил он.

— Для скотины было бы лучше, усатый больше понимает в этом деле.

— А Цанк? Как он к этому отнесется?

— Не знаю.

— Поймет ли?

— У Цанка никогда заранее не узнаешь, что он понимает, а что нет.

Она протянула ему конец полотенца. Он схватил его и внимательно взглянул на Лидию.

И вдруг она откинула ему со лба волосы, так уверенно, словно не раз это делала.

— Ну, иди,— сказала она.— Тебя, наверно, везде ищут, если увидят таким, что подумают...

Лидия рассмеялась звонко, как девушка, набросила на голову платок, расправила плечи и легкой походкой прошла мимо, совсем близко от него.

Вольни вышел во двор. Утренние лучи солнца до боли резали глаза. Он посмотрел вверх, на провода, которые, влажно поблескивая, тянулись над двором. Белогрудые ласточки сидели на проводах, усердно кивая синими головками и громким щебетанием приветствуя утро.

Вольни направился к бывшему господскому дому. Булыжная мостовая блестела от росы. От навозных куч поднимался горький запах гнили. В ветках дикого винограда, оплетавшего стены домов, пламенела осень.

Не успел Вольни подойти к террасе, как из ворот выбежал Шиндель. Веснушки на его лице за время болезни слились в большие ржавые пятна. Губы обметало лихорадкой.

— Что ты опять натворил? — еще издали крикнул он, жадно глотая воздух. — Стоит только свалиться на несколько дней, как вы уже тут начинаете ссориться и даже затеваете драку! — Шиндель тяжело переводил дыхание: он все еще чувствовал в ногах слабость и весь покрылся потом.— Если кто-нибудь из нас оказывает давление на классового врага, тут же говорят: «Товарищ, так нельзя...» А ты? Вместо того, чтобы взять в оборот своего Гриммбергера...

Вольни сердито нахмурился и прошипел:

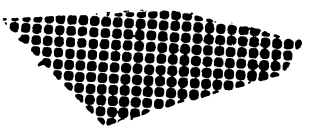
— Возьми себя в руки и думай, прежде чем говоришь! Он бросил взгляд на канцелярию, заметил, как бухгалтер исчез за портьерой, и еще тише добавил: — Правда ведь! Ни черта не знаешь, а дерешь глотку! Устраиваешь для всех спектакль. Вот так, к сожалению, с тобой бывает!

— Ты не увиливай! До тебя здесь никаких драк не бывало. Это точно. Всегда все улаживали должным образом. А ты ни за что ни про что накидываешься на партийного человека, а своего Гриммбергера и пальцем боишься тронуть!

— Что это вы тут уладили должным образом? Закапывали дерьмо в землю, как кошки!

Голос Вольни звучал холодно и необычно раздраженно. Он ушел, даже не попрощавшись.

(Окончание следует)



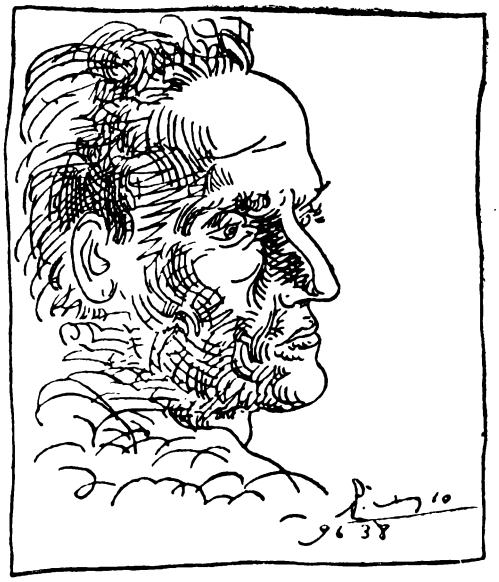


Рис. Пабло Пикассо

СЕСАР ВАЛЬЕХО

Человечьи стихи

(К 25-летию со дня смерти)

Из путаницы линий, струящихся, как языки пламени, возникает исхудалое лицо с запавшими глазами, лицо человека, сжигаемого внутренним огнем... Таким нарисовал Пикассо перуанского поэта Сесара Вальехо, скончавшегося 15 апреля 1938 года в одной из парижских клиник. Только в июле следующего года впервые увидела свет главная книга Вальехо — сборник стихов «Poemas humanos», который он вынашивал больше пятнадцати лет.

Особого внимания этот сборник не привлек. Не до стихов было: только что завершилась испанская трагедия, надвигалась вторая мировая война. Мало кому могло тогда прийти в голову, что через двадцать пять лет — и каких двадцать пять лет! — поэзия Вальехо завоюет такое признание, о каком сам поэт, беспредельно скромный, постоянно недовольный собой, не смел и мечтать.

Предложите сегодня мексиканцу или чилийцу, колумбийцу или кубинцу назвать — ну хотя бы двух — самых, по его мнению, значительных современных поэтов Латинской Америки. Один скажет: «Вальехо и Неруда». Другой: «Мистраль и Вальехо». Третий: «Вальехо и Гильен». У себя на родине Вальехо считается классиком. Революционная Куба издает его стихи невиданным в Америке стотысячным тиражом. В Испании эти стихи пользуются не меньшей известностью, чем стихи Мачадо, Гарсиа Лорки, Эрнандеса. Список вышедших только за последнее время книг и статей, посвященных творчеству перуанского поэта, занимает десятки страниц убористого шрифта. Наконец, несмотря на неимоверные трудности, которые представляет поэзия Вальехо для перевода, она начинает преодолевать и языковой барьер: стихи Вальехо звучат по-английски, по-французски, по-итальянски, а теперь и по-русски.

В чем причина такой популярности?

Многие исследователи считают: в том, что Сесар Вальехо одним из первых внес в поэзию и с непревзойденной доселе силой выразил самобытные черты духовного склада молодых индо-испанских народов. «Творчеством Вальехо,— пишет его соотечественник Густаво Валькарсель,— начинается наша литературная независимость», а эквадорец Гало Рене Перес называет это творчество «наивернейшим воплощением нашей Америки в поэзии».

Все это верно. Первый же, вышедший в 1918 году в Лиме, сборник стихов Вальехо «Черные герольды» поразил читателей тем, как органично сплавлены в нем два начала —испанское и индейское. При этом индейский элемент присутствует в поэзии Вальехо не «цитатно», не в виде фольклорных или языковых заимствований и даже не в виде образов, как, например, у Мистраль или у Неруды. (Кстати сказать, Вальехо вообще не очень щедр на пластические образы, гораздо важнее для него интонация, звучание, расстановка слов в стихе.) Индейское мироощущение как бы растворено в этой поэзии; оно незаметно и в то же время явственно питает собой строй стиха, его настроение, его внутреннюю музыку.

Так, от индейского анимизма, от стремления одушевлять все окружающее идет то бережное, любовное внимание, с каким относится поэт не только к живой природе, но и к мертвым, в нашем представлении, предметам: к какому-нибудь камню, валяющемуся у дороги... Иные поэты прежде всего слышат мир (Блок), иные прежде всего видят его (Маяковский), а вот у Вальехо — изумительное осязание, оно у него порою даже опережает слух и зрение, и поэт входит в мир, как входил в первобытный лес его древний пращур — на ощупь.

И все же сила и обаяние поэзии Вальехо — не в одном этом. Замечательный мыслитель Латинской Америки, основатель Перуанской коммунистической партии Хосе Карлос Мариатеги, отметивший и приветствовавший «индианизм» поэта, указал и на другую, еще более важную особенность его творчества. «Вальехо,— писал он,— испытывает всечеловеческую скорбь. Он страдает не за себя. Душа его «опечалена смертельно» печалью других людей... С этой точки зрения Вальехо принадлежит не только своей расе — он сын своего века, своей эпохи».

В стихах Вальехо, начиная с самых ранних, трепещет обнаженное сердце, настежь распахнутое чужим бедам. Как свои собственные — нет, во много раз сильнее, чем свои собственные! — переживает он страдания изнуренного, «выстекленного потом» погонщика, мучения голодающих бедняков. Чувство жгучей вины за собственное относительное благополучие рождает образ будничный и прекрасный: поэт хотел бы превратить свое сердце не в факел, не в костер, не в звезду, а в обычнейшую печь, чтобы испечь свежий хлеб для голодных.

Боль за ближнего — ведущая страсть всей поэзии и всей жизни Вальехо. («Как, говоря не о себе,— не закричать?» — напишет он незадолго до смерти.) Утолить эту страсть не могли ни христианская религия, ни буржуазная филантропия. Мятежный дух привел поэта в тюрьму. Там он начал писать свою вторую книгу стихов — «Трильсе», вышедшую в 1922 г. А в 1923 г. Вальехо был вынужден навсегда покинуть родину и эмигрировать в Европу. Начинаются годы скитаний, нищеты и мучительных поисков пути. Вальехо перестает публиковать стихи, но статьи его появляются в революционной печати Латинской Америки, в частности — на страницах журнала «Амаута», которым руководил Мариатеги. В 1928 г. он впервые едет в Советский Союз, в 1929 г. отправляется туда снова и на этот раз встречается с Маяковским. Главное впечатление, которое вынес поэт из этих поездок, жена его, Жоржетт Вальехо, передает в своих воспоминаниях такими словами: «От болезней человечества есть лекарство».

Слово для Вальехо было делом, и он ничего не делал наполовину. Поэт вступает в коммунистическую партию. В Мадриде выходит его книга-репортаж «Россия в 1931 году». Для многих читателей Испании и Латинской Америки эта книга стала первым правдивым свидетельством о Советском Союзе, прорвавшимся через заграждения клеветы. Тогда же Вальехо пишет «Вольфрам» — один из первых пролетарских романов в латиноамериканской литературе. А когда началась борьба Испанской республики с международным фашизмом, Вальехо оказался в числе тех, кто устремился на помощь испанскому народу, связал жизнь и творчество с его судьбой. «Мы, писатели,

ответственны сейчас за все то, что делается в мире»,— говорил он, выступая на Втором международном конгрессе писателей в Мадриде. До последних своих дней, уже тяжело больной, Вальехо самоотверженно работал в Комитете защиты Испании в Париже. Последними его словами были: «В Испанию... я должен ехать в Испанию!..»

Стихи, посвященные борьбе испанского народа, вошли в посмертно изданную книгу Вальехо. Она, как уже сказано, называется «Poemas humanos». Это можно перевести как «человеческие» или «человечные стихи», но мне кажется, что мысль поэта по-русски точнее всего передал бы иной, пусть менее употребительный, зато более сердечный эпитет — «человечьи стихи». Ибо книга эта, как и вся поэзия Вальехо,— не об аллегорическом Человеке и не о среднем «человеке вообще», а о живой, неповторимой и незаменяемой человеческой личности. О том человеке, что шагает с буханкой хлеба на плече, и о каменщике — он упал с лесов и разбился. О солдате Испанской республики Рамоне Кольяре и о железнодорожнике Педро Рохасе, который, умирая, начертил пальцем в воздухе: «Да здравствуют товарищи!», о Педро Рохасе, который был не безымянным винтиком, не «незаметным героем», но «мужем и человеком, путейцем и человеком, отцом и тем более человеком», человеком со своими привычками, своими мечтами, своими любимыми словечками, своей единственной, невозместимой жизнью, по своей воле отданной за товарищей, за общее дело.

Нет ничего более чуждого Вальехо, чем индивидуализм; за деревьями он умел видеть лес, и собственная его жизнь — лучшее тому доказательство. Но те, кто за лесом не видят отдельных деревьев, для кого существует лишь «среднее должное»,— такие люди были ему ненавистны. Сегодня, когда забыты многие произведения, авторы которых оперировали исключительно большими числами и отвлеченными категориями, стихи Вальехо живут и побеждают.

Из всех его стихотворений мне особенно дорого то, которое называется «Масса». Оно написано в 1937 г. В конце сражения пал боец. Товарищ стал молить его: «Не умирай! Я так люблю тебя!» Но тело оставалось мертвым (какими словами передать по-русски пронзительную, индейскую тоску этой строки: «Pero el cadaver ¡ay! siguió muriendo»?) Приблизились еще двое, взывая: «Не умирай, мужайся, вернись к жизни!» Но труп был безгласен. Тогда сошлось двадцать, сто, тысяча, пятьсот тысяч человек, пришли миллионы — и все-таки смерть торжествовала. И лишь когда все люди, сколько есть их на земле, окружили тело бойца,— свершилось чудо: мертвец пришел в себя, обнял своего товарища и двинулся вперед...

Сказка? Но не о том ли мечтал и Маяковский («чтоб вся на первый крик: товарищ! — оборачивалась земля») — о мире прекрасных, вольных и гордых людей, для которых каждая человеческая личность будет такой же святыней, как и все человечество? О мире, где солидарность людей сможет творить и не такие чудеса, как воскрешение мертвых. Эту мечту завещал нам поэт Сесар Вальехо.

Л. Осповат

Из книги
«Испания, да минует меня чаша сия...»

■ ■ ■

Отряды нищих бьются за Мадрид,*
штурмуя Рим, входя в Париж и Лондон
и оплетая голени святых
готическими пальцами голодных.
Бродяги мстят за павший Сантандер
у пражских стен, на мексиканских плитах,
казня Христа в безжалостной борьбе,
где нет ни победивших, ни разбитых;

* Стихотворение написано в 1937 г.

извечной муке вверясь до конца,
у ног толпы дерутся, насмерть стоя,
дерутся, плача зернами свинца,
и падают, сражая нищетою.

Полки мольбы, где нищенствует боль,
где молит ярость, заслоняя ружья,
где тащится с протянутой рукой
бежавшее от пороха оружье.
Убогий бессловесный легион,
под похоронный плач, из-за ограды
стреляющий покорною мольбой
из жерла раны —
да !— из жерла раны...

Их толпы — сатанинских и босых;
у каждого порога, камня, дома
встают потенциальные бойцы
с обрубком рук,
чтоб стиснуть горло грома.
Котомки нищих крох,
лохмотья, словно воинские званья,
ружье двойного боя —
кровь и кровь...

Поэт приветствует оружие страданья!

Траурный марш на руинах Дуранго*

Отче пепел испанских селений,
да хранит тебя вечное небо,
отче пепел, восставший из тленья.

Отче пепел, парящий над нами,
да взойдешь ты к небесному трону,
отче пепел, господнее знамя.

Отче пепел, потомок пожара,
да простерт будешь ты
в беспредельность,
отче пепел, потомок пожара.

Отче пепел, предтеча возмездья,
да низринут ты будешь на землю,
отче пепел, предтеча возмездья.

Отче пепел в ладонях простертых,
да оденет господь тебя плотью,
отче пепел, проклятие мертвых.

Отче пепел, железные тучи,
да предстанешь ты в облике мужа,
отче пепел, суровый и жгучий.

* Дуранго — город в Испании, один из трех, разделивших трагическую судьбу Герники. Стихотворение написано в 1937 г.

Отче пепел, о рубище парий,
да не тронет никто твои нити,
отче пепел, о рубище парий.

Отче пепел, убийцами взрытый,
да сойдешь ты, шагая по праху,
отче пепел, с могильною свитой.

Отче пепел, о саван гигантский,
да вовеки хранит тебя небо,
отче наш, горький пепел испанский.

Отче пепел, летящий к рассвету,
да дарует господь тебе крылья,
отче пепел, летящий к рассвету!

Перевод с испанского АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА

Из книги «Человечьи стихи»

Черный камень на белом камне

Умру в Париже я, умру под дождь,
Уже об этом дне я вспоминаю.
Умру в Париже — я не против смерти.
Мне кажется, что я умру в четверг.

Наверно, так. В четверг, сегодня утром,
Я локти уронил на чемодан
И, как ни разу до сих пор, увидел
Сплошное одиночество мое.

Поэт Вальехо умер в дождь, в четверг.
И все, кому он ничего не сделал,
Его хлестали плетью, по лицу.

Но этому остались очевидцы —
Все четверги, все кости на локтях,
Все одиночества, все ливни, все дороги...

■ ■ ■

Одиночка в четыре стены,
О коробка в четыре стены,
Безнадежная вечная цифра!

Четвертует четверка углов
Все четыре конечности тела
Четверней ежедневных оков!

Где ты, ключница, с лаской ключей?
Если б ты увидала, как вечно,

Несомненно и ровно четыре!
Если б мы оказались вдвоем
Против них, чтобы ты ни слезинки
Не прокапала на пол от горя!

О застенок в четыре стены!
Две из них, что гораздо длиннее,
Этой ночью меня истерзали
Тенью двух матерей, уже мертвых,
Но ведущих вдоль бромистых
склонов
Одного и того же ребенка.

Остаюсь я с протянутой — правой,
В ней усилия левой и правой,
Двух, разъятых насилием, рук.
О, ищу я третейской ладони,
Чтоб она распознала на ощупь
Искалеченность духа и тела,
Заключенных в пространство
и время.

Величие и ничтожность

У кого нет выходного костюма?
Кто не завтракает и не ездит в трамвае
Со своею карманной тоской и сигаретой, законной, как точка?

Я, который всего лишь родился,— и только.
Я, который всего лишь родился,—и только.

Кто не пишет по праздникам писем?
Кто о важных, смертельно важных делах
Не кричит, умирая привычно и плача постольку-поскольку?

Я, который рожден одиноким,— и только.
Я, который рожден одиноким,— и только.

Кого никто никогда не зовет: Карлосо?
Кто в жизни ни разу не гладил котенка?
Ах, это я, кто всего лишь родился таким одиноким,— и только.
Ах, это я, кто всего лишь родился таким одиноким,— и только.

Перевод с испанского ЮННЫ МОРИЦ

Колесо голодного

Сквозь собственные свои зубы дымом себя выпускаю,
скуля и тоскуя, таская себя за патлы,
роняя штаны;
нет дела для моего желудка,
для живота нет дела —
поддела меня нищета палочкой за манжет
и вывертывает наизнанку сквозь собственные мои зубы.

Камня, куда бы присесть,
не найдется сегодня мне? Нет?
Хотя бы того, о который
оступается женщина, родившая агнца,
причина и корень.
Этого камня
не найдется сегодня мне? Нет?
Хотя бы другого, который однажды
в душу мою залетел и канул;
хотя бы
известкосердного, хотя бы злого
или негодного даже на то, чтобы кинуть им в человека,—
не найдется сегодня мне? Нет?
Дайте мне этот камень.
Или тот, посреди дороги лежащий,
заставляющий всех спотыкаться
и среди ругани совсем одинокий.
Дайте мне этот камень.
Или хотя бы другой, вознесенный, вершину венчающий,
звучащий лишь раз под разумным чьим-нибудь шагом;
или в крайности этот, запущенный
по благородной кривой
и павший сам по себе,
чтоб остаться самим по себе.
Дайте мне этот камень.

Хлеба куска — его тоже не найдется сейчас для меня?
Большего, чем всегда, не нужно — да я и не жду,—
но дайте мне
камень, куда присесть;
но дайте мне,
пожалуйста, хлеба кусок, с которым присесть;
но дайте мне
что-нибудь, наконец, по-испански
испить, поесть, промолчать и прожить,
а потом я уйду...

В странное что-то
одето мое существо —
грязна и разорвана на мне рубаха,
и нет у меня ничего.
Жутко.

Перевод с испанского М. САМАЕВА

Стремление и вершина

Хочу писать — с пера летит плевок,
Хочу сказать так много — нет дыханья,
Нет просто чисел — есть всегда итог,
Нет пирамиды слов без основанья.

Хочу писать — но сердцем я жесток,
Хочу сказать — но тщетно назиданье,

Нет лавров — есть щавелевый венок,
Нет библии без фальши в толкованье.

Ну что ж, давайте сделаем салат
Из мяса слез, из овощей обмана,
Живую душу превратим в томат...

И будем пить! Сочится кровью рана.
Пить из разбитого давно стакана,
И пусть плодит ворона воронят!

Перевод с испанского И. ЧЕЖЕГОВОЙ

Из книги «Черные герольды»

Осадок

В этот вечер ливень не кончит лить...
И мне не хочется жить.

Этот вечер нежен. Почему бы нет?
Женской прелестью горькой одет.

В этот вечер в Лиме ливень льет,
И я вспоминаю, как глыбой льда
Я рухнул на полевой цветок,
Не расслышав робкое: «Зачем ты так?»

Черные лживые тени, обвал,
Грохот камней, ледниковая гладь,
И молчанье твое расплавляет лед,
Как сургуч, и ставит печать.

Вот почему в этот вечер, как филин,
Я сижу с нахохленным сердцем...

Женщины мимо проходят. Другие.
И разносят по камешку
Груду скорби моей по тебе.
В этот вечер ливень не кончит лить...
И мне не хочется жить.

Перевод с испанского И. ЧЕЖЕГОВОЙ

АНДРЕ МОРУА

Рассказы

НАШ МУЖ...

I. Тереза — Жерому

Эврё, 7 октября 1932 года

Я прочитала твою книгу... Да, ее прочитали все, в том числе и я... Не волнуйся: она мне понравилась... Мне кажется, будь я на твоем месте, меня преследовала бы мысль: «А как Тереза — считает ли книгу справедливой? Страдала ли она, читая ее?» Но тебе, конечно, такие вопросы в голову не приходят. Ты ведь убежден, что проявил не только беспристрастность, но даже и великодушие... Вот какими словами ты описываешь наш брак:

«Пламенно мечтая о женщине, созданной моим воображением, возлюбленной и одновременно помощнице в работе, я не разглядел в Терезе ее подлинного лица. Но в первые же дни совместной жизни я обнаружил в ней черты, которые я мог бы предвидеть и которые, однако, поставили меня в тупик. Я был простолюдин и писатель. Тереза выросла в богатой буржуазной семье. Ей были свойственны все добродетели и пороки ее класса. У меня оказалась верная, скромная, по-своему неглупая жена. Но, увы! Трудно вообразить существо, менее приспособленное к тому, чтобы делить жизнь с человеком, посвятившим себя борьбе и идейному подвижничеству...»

Ты в этом уверен, Жером? Ты уверен, что приобщил меня к жизни «подвижника», когда, уступив твоим мольбам, я согласилась, вопреки советам родителей, выйти за тебя замуж? А ведь сознайся, Жером, я отважилась тогда на смелый поступок. Ты был в те годы безвестным писателем. Твои политические идеи отпугивали и возмущали меня. Я покинула богатый дом, дружную семью, чтобы начать нелегкую совместную жизнь с тобой. Разве я роптала, когда годом позже ты объявил мне, что в Париже работать не можешь, и увез меня в провинцию, в глушь, суровую и мрачную, где во всем твоем доме жила лишь маленькая забитая служанка, единственное существо, которое в ту пору моей жизни казалось мне еще более обездоленным, чем я? Я все терпела, на все соглашалась. Я даже долгое время делала вид, будто счастлива.

Но разве женщина может быть счастлива с тобой, Жером? Иной раз я смеюсь, горько смеюсь, когда в газетах пишут о твоей силе, нравственной стойкости. Ты — сильный?! Право, Жером, я никогда не встречала человека слабодушнее тебя. Ни разу. Нигде. Я пишу это без всякой ненависти. Пора обид миновала, и, с тех пор как мы перестали встречаться, я вновь обрела покой. Но тебе полезно это узнать. Твоя

всегдашняя мнительность, неврастеническая застенчивость, неистребимая жажда похвал, наивный страх перед болезнью, перед смертью — да разве все это признак силы, хотя плоды этих нравственных потрясений — твои романы и вводят в заблуждение твоих учеников?

Ты — сильный? Да какая же это сила, если ты настолько уязвим, что заболеваешь от неуспеха книги, и настолько тщеславен, что стоит глупцу обмолвиться о тебе добрым словом — и ты готов усомниться в его глупости? Тебе и в самом деле раза два или три в жизни пришлось отстаивать свои идеи. Но ты вступал в борьбу только тогда, когда, хладнокровно все взвесив, был заранее уверен в победе. В одну из редких минут откровенности ты сделал мне признание, о чем, наверно, тут же и пожалел с присущей тебе осторожностью, но я не без злорадства храню его в памяти.

«Чем старше становится писатель,— сказал ты,— тем радикальнее должны быть его взгляды. Это единственный способ привлечь к себе молодежь».

Бедные юноши! С наивным восторгом упиваясь твоими «Посланиями», они и представить себе не могут, насколько лжив пыл их автора и как расчетлив его макиавеллизм.

Нет, Жером, ты не борец и не мужчина... Может, на первый взгляд это покажется жестоким, но придется сказать тебе все. Ты никогда не был настоящим любовником. Лишь после того как мы с тобой разошлись, я узнала физическую любовь. Я изведала ее покой и блаженство, узнала счастливые ночи, когда женщина, не ведая больше желаний, засыпает в объятиях сильного мужчины. С тобой я знала лишь грустное подобие любви, жалкую на нее пародию. Я и не подозревала о своем несчастье; я была молода, довольно неопытна; и когда ты твердил мне, что художник должен беречь свои порывы, я верила тебе. Мне хотелось хотя бы спать рядом с тобой; я нуждалась в тепле твоего тела, в капле нежности, в капле жалости, но ты избегал моих объятий, моей постели, даже моей комнаты. И при этом ты даже не подозревал о моем отчаянии.

Ты жил только ради себя, ради шумихи вокруг твоего имени, ради того тревожного любопытства, какое пробуждал в твоих читательницах герой, который на самом деле — ты-то это прекрасно знал — не имел с тобой ничего общего. Три враждебные строчки в какой-нибудь газете волновали тебя больше, чем страдания женщины, любившей тебя.

Тебе случалось уделять мне внимание, но лишь тогда, когда политические деятели или писатели, чьим мнением ты дорожил, приходили к нам обедать. Тогда ты хотел, чтобы я блистала. Накануне таких визитов ты подолгу беседовал со мной; ты уже не ссылался на свою священную работу; ты подробно объяснял, что надо и чего не надо говорить, каковы почтенные причуды такого-то критика и гастрономические вкусы такого-то оратора. В эти дни ты желал, чтобы наш дом казался бедным, ибо это соответствовало твоим идеям, но чтобы при виде нашего угощения у гостей слюнки текли, ибо великие мира сего — тоже люди.

Помнишь ли ты, Жером, то время, когда у тебя появились деньги, большие деньги? Это одновременно и радовало тебя, ведь в глубине души ты самый обыкновенный, жадно стремящийся к земле крестьянин,— и немного смущало, потому что твои идеи плохо согласуются с богатством. Как я потешалась тогда над наивными уловками, с помощью которых твоя алчность пыталась успокоить твою совесть. «Я раздаю почти все деньги»,— говорил ты. Но я-то видела счета и знала, сколько у тебя остается. Иногда я с показным простодушием замечала как бы вскользь:

— А ведь ты сильно разбогател, Жером!

И ты вздыхал:

— Ненавижу этот строй... Увы, пока он существует, приходится к нему приспосабливаться.

К несчастью, нападки на государственный строй вошли в моду, и чем больше ты его осуждал, тем богаче становился. Вот ведь жестокая судьба! Бедняга Жером! Впрочем, надо отдать тебе должное: если дело касалось меня, ты и слышать не хотел о компромиссах. Когда я поняла, что ты стал миллионером, у меня, как у всех женщин, обездоленных в любви, вспыхнула страсть к роскоши, к мехам, драгоценностям. Но тут я встретила самое добродетельное сопротивление.

— Норковая шубка? — говорил ты.— Жемчужное колье? У тебя? Как такое могло взбрести тебе в голову! Разве ты сама не понимаешь, что скажут мои враги, если моя жена уподобится буржуазным дамам, сатирическим изображением которых я прославился?

Да, я все понимала. Я отдавала себе отчет в том, что жена Жерома Ванса должна быть вне подозрений. Правда, себя ты не лишал любимых игрушек — земли и ценностей. Но ведь банковские счета невидимы, а бриллианты слепят глаза. Ты был прав, Жером, как всегда.

Но я снова стерпела все — все, вплоть до последней твоей книги. Я слышу, как вокруг все хором восхваляют смелость твоих взглядов, твою доброту (меж тем ты один из самых злых людей, каких мне приходилось встречать), твое великодушие по отношению ко мне. Обычно я молчу. И лишь иногда подтверждаю: «Совершенно верно, он хорошо относится ко мне, у меня нет никаких оснований жаловаться». Права ли я, давая тебе в руки такой козырь? Разумно ли с моей стороны попустительствовать этой лестной для тебя легенде, которая все растет и ширится вокруг твоего имени? Справедливо ли, чтобы молодежь считала своим учителем человека, которого я хорошо знаю и который совсем не таков, каким все его считают? Иногда я задаю себе все эти вопросы. Но я и пальцем не двину, чтобы что-нибудь изменить. Я даже не стану, следуя твоему примеру, писать в свое оправдание мемуары. Зачем? Ты внушил мне отвращение к слову. Прощай, Жером.

П. Жером — Терезе

Париж, 15 октября 1932 года

Как и в былые времена, когда мы жили вместе, тебе захотелось сделать мне больно... Ну что ж, радуйся, тебе это удалось... Ты себя не знаешь, Тереза... Ты считаешь себя жертвой, в действительности же ты — палач... Я тоже не сразу тебя раскусил. Я считал тебя такой, какой ты хотела казаться,— женщиной доброй, полной жертвенности. Лишь мало-помалу мне открылась твоя ненасытная потребность в раздорах, твоя жестокость, твое вероломство. Натерпевшись в юности унижений от бестактных родителей, ты хочешь взять у жизни реванш. И обращаешь это желание против тех, кто, на свою беду, тебя любит. Когда мы с тобой встретились, я верил в себя. Ты решила убить во мне эту веру: ты стала издеваться над моим умом, над моими взглядами, над моей внешностью. Ты сделала меня посмешищем в моих собственных глазах. Даже освободившись от тебя, я по сей день со стыдом вспоминаю тайные раны, нанесенные мне твоей откровенностью.

Каким безжалостным взглядом ты рассматривала меня! «До чего же ты маленький,— твердила ты,— ну просто коротышка». Я и в самом деле маленького роста, и, как у большинства людей, ведущих сидячий образ жизни, у меня больше жира, чем мускулов. Разве это преступление? Или хотя бы вина? Но я отлично понимал, что в твоих

глазах это во всяком случае предмет для издевки... Любовь нуждается в безоглядном доверии. Вместе с одеждой любящие отбрасывают прочь все страхи, подозрительность, застенчивость. А я, лежа рядом с тобой, все время чувствовал на себе враждебный взгляд женщины, которая, ни на минуту не теряя власти над своими чувствами, с трезвым хладнокровием оценивает меня. Да как же я мог быть хорошим любовником, когда я тебя боялся? Как мог я стать с тобой таким, каким должен быть в любви мужчина: предприимчивым и повинующимся инстинкту, если я чувствовал в своей партнерше лишь неприязнь и ханжескую стыдливость? Ты винишь меня за то, что я избегал твоего ложа. А ты не подумала о том, что сама согнала меня с него?

«И однако,— пишешь ты,— мое решение выйти за тебя было смелым поступком»... Но разве ты уже и тогда не была уверена, что меня ждет в скором времени известность? Твой выбор, Тереза, пал на меня потому, что ты увидела во мне нечто живое, настоящее, что было в диковинку для тебя и твоего окружения. А может, еще и потому, что ты почувствовала мою ранимость: ведь твоя главная, единственная утеха — это причинять боль другому... Мне теперь трудно припомнить, каким я был в пору нашего первого знакомства. Был я действительно человеком незаурядным, верил в свои принципы, в свое призвание... Но ты приложила все усилия к тому, чтобы убить во мне этого человека. Когда меня что-нибудь радовало, ты сокрушала меня своей жалостью. Странное дело. Ты вышла за меня замуж, потому что чувствовала во мне силу. Но именно против этой силы ты и ополчилась. Впрочем, в твоих поступках не следует искать ни логики, ни умысла. Как и многие женщины, ты просто жалкая игрушка своей плоти и своих нервов. Безрадостная юность раз и навсегда сломила и озлобила тебя. Пока ты жила с родителями, ты на них вымещала снедающую тебя ненависть, а с того дня, как твоим спутником жизни стал я, ты начала преследовать меня.

«Вот уж неожиданные попреки...— скажешь ты.— Он высосал эти обвинения из пальца в ответ на мое письмо!..» И ты с торжеством поспешишь указать на то место в книге, которое ты уже старательно отметила: «У меня оказалась верная, скромная, по-своему неглупая жена». Не доверяй этим чрезмерно великодушным строкам, Тереза! Раз уж ты ни перед чем не останавливаешься и вынуждаешь меня к крайности, изволь, я покаюсь тебе! Эта фраза — ложь. Сознательная ложь. Я хотел разыграть великодушие. Я поступил дурно. Лицемерие всегда вредит произведениям искусства. Мне следовало без всякой жалости показать, какое ты исчадие ада и сколько зла ты мне причинила.

«Верная»? Еще до того, как я разошелся с тобой, я уже знал, что ты мне изменяешь. Но зачем было это оглашать? Это только нанесло бы мне ущерб, а тебя украсило бы лестными лаврами ветреницы. «Скромная»? Да у тебя сатанинская гордость, и многие твои поступки вызваны только жаждой властвовать, ослеплять. «Неглупая»? Да, многие теперь находят тебя умной. Ты и в самом деле поумнела. Но знаешь, как это случилось? Это я сделал тебя такой. За двадцать лет ты позаимствовала у меня все, чего тебе недоставало: взгляды, знания, умение выражать свои мысли. И теперь, после долгих лет разлуки, ты все еще живешь той жизнью, какую я в тебя вдохнул, и даже письмо, которым ты надеялась меня сокрушить, всей своей силой обязано мне.

Я тщеславен? Нет, я горд. Я вынужден непрестанно повторять, что верю в свои силы, чтобы стряхнуть с себя злое наваждение — дело твоих рук. Не стану вспоминать все строки твоего письма. Не хочу играть тебе на руку, причиняя себе бесполезные муки. Но одно хочу добавить. «Я горько смеюсь,— пишешь ты,— когда газеты твердят о твоей силе... Я никогда не встречала человека слабодушнее тебя...» Тебе

отлично известно, Тереза, что в данном случае ты смешиваешь разные вещи, хотя и делаешь вид, будто не замечаешь этого. У тебя нет на это права. Каким я был в наших личных отношениях — касается только нас двоих. Теперь, как и ты, я считаю, что в этой борьбе я был слишком слаб. Я держал себя так из жалости, но к жалости зачастую примешивается трусость. А ты прикидываешься, будто не знаешь, что человек, слабодушный в повседневной жизни, может создавать могучие творения. Чаще всего так и бывает — именно потому, что человек слабохарактерен в жизни, его творения обладают огромной силой воздействия. Поверь мне, Тереза, то, что молодежь видит в моих книгах, в них действительно есть! И по зрелом размышлении я прихожу к мысли, что, хотя ты и причинила мне много страданий, за них-то я и должен теперь, когда все во мне перегорело, поблагодарить тебя. Именно твоей постоянной ненависти я во многом обязан тем, чем я стал.

По натуре своей ты прежде всего разрушительница. В эту форму облеклась твоя злоба. Поскольку ты сама не была счастлива, ты ненавидишь счастливых. Поскольку тебе не свойственна чувственность, ты ненавидишь сладострастие. Зависть превратила тебя в неутомимого и проницательного наблюдателя. Подобно лучам, сразу обнаруживающим в громадном куске железа раковину, которая грозит прочности металла, ты мгновенно нащупываешь в человеке его слабое место. В любом достоинстве ты находишь изъян. Это редкий дар, Тереза, но это проклятый дар, ибо ты упорно забываешь, что достоинства все-таки существуют и железные балки выдерживают проверку временем. Мне действительно свойственны все те слабости, которые ты с таким злорадством перечислила,— я сам это знаю. У тебя зоркий глаз, Тереза, на редкость зоркий. Но слабости мои ограждены таким плотным и прочным заслоном, что ни одному человеку не под силу его сокрушить. Даже тебе это не удалось, мое творчество и моя душа вырвались невредимыми из-под твоей пагубной власти.

«Разве женщина,— пишешь ты,— может быть счастлива с тобой?» Так знай же, что после нашего развода я узнал счастливую любовь. Я обрел покой в браке с простой и сердечной женщиной. Мне так и видится твоя усмешка: «Ты — возможно, ну а она?..» Если бы ты хоть мельком увидела Надин, то поняла бы, что и она счастлива. Ведь есть женщины, которые могут находить в жизни радость, не истязая других... Кого ты истязаешь теперь?

III. Надин — Терезе

Париж, 2 февраля 1937 года

Вы, наверно, удивитесь, мадам, получив письмо от меня. Если верить слухам, мы — враги. Не знаю, как Вы относитесь ко мне. Что до меня, то я не только не питаю к Вам ненависти, но, скорее, наоборот, чувствую невольную симпатию. Если прежде, в пору Вашего развода, я в течение нескольких месяцев смотрела на Вас как на соперницу, которую любой ценой следует вытеснить из сердца моего избранника, то вскоре после моего замужества Вы стали как бы моей невидимой сообщницей. Я уверена, что умершие жены Синей Бороды встречаются в памяти их общего супруга. Жером, сам того не желая, рассказывал мне о Вас. А я пыталась представить себе, как Вы держались с этим человеком, таким необычным, таким трудным, и мне часто приходило в голову, что Ваша жестокость была разумнее моего терпения.

После смерти Жерома мне пришлось разбирать его бумаги. Среди них я нашла много Ваших писем. Одно из них произвело на меня особенно сильное впечатление. Я имею в виду письмо, которое Вы напи-

сали пять лет назад, после опубликования «Дневника». Я не раз говорила ему, что эта страница Вас оскорбит. Я просила вычеркнуть ее. Но этот бесхарактерный человек проявлял редкостную твердость и упрямство, когда речь шла о творчестве. Ваше письмо было безжалостным. Но Вы, наверно, удивитесь, узнав, что я нахожу его не лишенным справедливости.

Не подумайте, что я предаю Жерома после его кончины. Я любила Жерома и теперь верна ему; но я беспристрастно сужу его и не умею хитрить. Как писатель, он достоин восхищения: он был и талантлив и честен. О человеке же Вы сказали правду. Нет, Жером не был подвижником, и во всяком случае, если ученики принимали его за подвижника, нас, своих жен, ввести в заблуждение ему не удалось. Он всегда чувствовал потребность окружать свои поступки, свои политические убеждения, вообще всю свою жизнь ореолом святости, но мы-то знаем, что мотивы его поведения были довольно мелки. Он возводил в добродетель свою ненависть к светской суете, но истинная причина этой ненависти крылась в его болезненной застенчивости. Он всегда держал себя с женщинами как внимательный и почтительный друг, однако и в этом сказывался скорее недостаток темперамента, чем душевная мягкость. Он уклонялся от официальных почестей, но и это скорее из гордыни и по расчету, нежели из скромности. И, наконец, ни разу он не принес жертвы, которая не обернулась бы для него выгодой, но при этом он хотел, чтобы мы слепо верили в его непрактичность.

Уверяю Вас, мадам, Жером совершенно не понимал своего истинного характера; этот человек, так сурово и проницательно читавший в душах других людей, сошел в могилу, убежденный в собственной непогрешимости.

Была ли я с ним счастлива? Да, была, несмотря на множество разочарований, потому что мне так и не наскучило изучать это вечно меняющееся, поразительно интересное существо. Сама двойственность этого человека, о которой я сейчас говорила, превращала его в живую загадку. В его обществе я не уставала слушать, расспрашивать, наблюдать. В особенности меня трогала его слабость. В последние годы я относилась к нему скорее как снисходительная мать, чем как влюбленная женщина. Но не все ли равно, как любишь, если любишь? Наедине с собой я его проклинала, но стоило ему появиться — и я прощала все. Впрочем, он и не подозревал о моих страданиях. Да и к чему? Я считала, что женщина, которая сорвала бы с него маску и показала ему в зеркале его подлинное лицо, навлекла бы на себя ненависть Жерома, ни в чем его не убедив. Даже Вы решились высказать ему правду только тогда, когда поняли, что он для Вас потерян навсегда.

И однако, какой след оставили Вы в его жизни! После Вашего развода, живя со мной, Жером год за годом только и делал, что вновь и вновь описывал историю разрыва с Вами. Вы были его единственной героиней, центральным образом всех его книг. В самых различных персонажах, под разными именами я вновь и вновь узнавала Вашу величавую осанку, Вашу резкую прямоту, надменное целомудрие и жесткий блеск Ваших глаз. Ему никогда не удавалось изобразить мои чувства и мои черты. Он неоднократно принимался за это, желая сделать мне приятное. Ах, если бы Вы знали, как я страдала каждый раз, видя, что образ, который он лепит с меня, помимо воли автора постепенно приобретает черты женщины, похожей на Вас. Один из его рассказов назван моим именем — «Надин», но разве не ясно, что его героиня, неприступная и умная девственница,— это тоже Вы? Сколько раз я, бывало, плакала, переписывая главы, где Вы появляетесь то в роли загадочной невесты, то в роли неверной, обожаемой жены, то в роли злодейки — ненавистной, несправедливой и все-таки желанной.

Да, с тех пор как Вы покинули его, Жером жил воспоминаниями, тяжкими воспоминаниями, которые Вы оставили по себе. А ведь я старалась создать ему спокойную, беззаботную жизнь, чтобы он мог целиком посвятить себя творчеству. Теперь я задаюсь вопросом, права ли я была? Быть может, великому таланту нужно страдать? Быть может, однообразие для него пагубнее ревности, ненависти и боли? Ведь и вправду самые человечные свои книги Жером написал в те годы, когда Вы были его женой; а потеряв Вас, он то и дело мысленно возвращался к последним месяцам вашей совместной жизни. Даже жестокость Вашего письма, которое сейчас лежит передо мной, не отрезвила его. Все последние годы он сочинял Вам ответ и в мыслях своих и в книгах. Его последнее, незаконченное произведение — рукопись эта хранится у меня — представляет собой нечто вроде беспощадной исповеди, где, пытаясь себя оправдать, он предается самоистязанию. Ах, как я завидую, мадам, Вашему страшному умению тревожить его сердце, умению, которым Вас вооружало равнодушие!

Зачем я Вам все это говорю теперь? Да потому, что мне уже давно хотелось Вам это высказать. Потому, что только Вы одна можете это понять, а также потому, что моя искренность, я надеюсь, расположит Вас ко мне и Вы согласитесь оказать мне небольшую услугу. Вам известно, что после смерти Жерома о нем много пишут. На мой взгляд, все высказывания о его творчестве довольно нелепы и поверхностны, но в эту область я не намерена вмешиваться. Критики имеют право ошибаться: последнее слово принадлежит потомкам, а я считаю, что книги Жерома — из числа тех, которым суждено пережить автора. Но я не могу хранить молчание, когда искажают биографию Жерома, его личность. Подробности жизни Жерома, интимные черты его характера были известны только нам с Вами, мадам. После долгих колебаний я решила: мой долг — занести свои воспоминания на бумагу.

Итак, я намерена написать книгу о Жероме. О, я знаю, что лишена таланта. Но в данном случае важна не столько форма, сколько факты. По крайней мере я оставлю свидетельство и надеюсь, что в будущем оно пригодится какому-нибудь талантливому биографу для исчерпывающей характеристики личности Жерома. Вот уже несколько месяцев я собираю необходимые документы. Однако мне все еще не хватает сведений об одном периоде — о Вашей помолвке и браке. Быть может, это неприятно и слишком смело, но я решила просто и без церемоний обратиться к Вам и просить Вас о помощи. Пожалуй, я не пошла бы на это, если бы не питала к Вам, как уже писала, необъяснимую, но искреннюю симпатию. Хотя я Вас никогда не видела, у меня такое чувство, будто я знаю вас лучше, чем кто бы то ни было. Интуиция подсказывает мне, что я поступаю правильно, обращаясь к Вам так откровенно, хотя это и граничит с дерзостью.

Напишите, пожалуйста, где и когда я могу встретиться с Вами, чтобы рассказать Вам о моих планах. Я полагаю, Вам нужно время, чтобы найти и разобрать старые бумаги, если Вы их сохранили, но так или иначе, я хотела бы возможно скорее побеседовать с Вами. Хотела бы поделиться с Вами замыслом этой книги. Тогда Вы поймете, что Вам нечего опасаться с моей стороны ни осуждения, ни даже пристрастных оценок. Наоборот, обещаю употребить весь свой женский такт, чтобы воздать Вам должное. Я прекрасно знаю, что Вы построили свою жизнь заново, и позабочусь о том, чтобы не процитировать ни одного документа, не сказать ничего такого, что могло бы поставить Вас теперь в неловкое положение. Заранее благодарю за все, чем Вы сможете — в этом я не сомневаюсь — облегчить мою задачу.

Надин Жером-Ванс

P. S. Этим летом я еду в Уриаж, чтобы, если можно так выразиться, описать с натуры места, где Жером был впервые представлен Вам на террасе отеля «Стендаль». Я хотела бы также посетить имение Ваших родителей.

P. P. S. У меня не хватает сведений о связи Жерома с мадам де Вернье. Известно ли Вам что-либо о ней? Жером непрестанно говорил о Вас, но на вопросы об этом своем юношеском романе отвечал всегда сдержанно, скупо и уклончиво. Верно ли, что мадам де В. приехала к нему в Модену в 1907 году и сопровождала его в поездке по Италии?

Как звали бабку Жерома по отцу — Ортанс или Мелани?

IV. Тереза — Надин

Эврё, 4 февраля 1937 года

К большому моему сожалению, мадам, я ничем не могу Вам помочь. Дело в том, что я сама решила опубликовать «Жизнь Жерома Ванса». Правда, его вдова — Вы, Вы носите его имя, и поэтому томик Ваших воспоминаний будет, без сомнения, хорошо принят публикой. Но нам с Вами не пристало лукавить друг перед другом: согласитесь, мадам, что Вы очень мало знаете Жерома. Вы вышли за него в ту пору, когда он уже стал знаменитостью и его жизнь на людях как бы затмила его личную жизнь. Зато я была свидетельницей рождения таланта и возникновения легенды, к тому же Вы сами любезно признаете, что лучшие из книг Жерома были написаны при мне или посвящены мне.

Не забудьте также, что ни одна серьезная биография Жерома не может обойтись без документов, а они сосредоточены в моих руках. У меня сохранилось две тысячи писем Жерома, писем, полных любви и ненависти, не считая моих ответов, черновики которых я тоже сберегла. Двадцать лет подряд я вырезала все статьи о Жероме и его книгах, собирала письма его друзей и неизвестных почитателей. Я храню все речи Жерома, его лекции и статьи. Управляющий национальной библиотекой, который недавно составил опись этих сокровищ, потому что я намерена преподнести их в дар государству, сказал мне: «Это выдающаяся коллекция». Приведу лишь один пример. Вы спрашиваете, как звали бордоскую бабку Жерома. А у меня на эту Ортанс-Полин-Мелани Ванс заведено целое досье, как, впрочем, и на всех остальных предков Жерома.

Жером любил выставлять себя «человеком из народа». Но это выдумка. В конце XVIII века семейство Ванс — люди весьма зажиточные — владело небольшим поместьем в Перигоре; дед и бабка матери Жерома прибрали к рукам около сотни гектаров земли неподалеку от Мериньяка. При Луи-Филиппе дед Жерома был мэром своей деревушки, а один из братьев деда — иезуитом. Все земляки считали Вансов состоятельными буржуа. Я собираюсь рассказать об этом в своей книге. Не подумайте, что таким образом я хочу подчеркнуть тот снобизм наизнанку, который был одной из слабостей бедняги Жерома. Нет, я намерена быть беспристрастной и даже снисходительной. Но я не хочу ничего приукрашивать. Впрочем, этот снобизм, пожалуй, самый простительный недостаток великого человека, которого мы с Вами, мадам, любили — и... судили.

По отношению к Вам я, разумеется, проявлю не меньшее великодушие, чем Вы по отношению ко мне. Зачем терзать друг друга? Правда, я располагаю письмами, из которых явствует, что, прежде чем стать женой Жерома, Вы были его любовницей, но я не собираюсь их цитировать. Я ненавижу скандалы, кого бы они ни затрагивали — меня

или других. И потом, каковы бы ни были мои обиды на Жерома, я по-прежнему восхищаюсь его творчеством и готова служить ему по мере сил и с полным самоотречением. Поскольку наши книги, видимо, выйдут почти одновременно, нам, вероятно, следовало бы обменяться гранками. Таким образом, мы избегнем противоречий, которые могут вызвать подозрения критики.

Все, что касается старости Жерома, его угасания после первого приступа апоплексии, Вы знаете лучше меня. Этот период его жизни я полностью предоставляю Вам. Я же хочу довести свою книгу до момента, предшествующего нашему разводу (к чему вспоминать о ссорах, которые начались вслед за этим?). Но в эпилоге я кратко расскажу о Вашем замужестве, потом о моем и о том, как я узнала о смерти Жерома в Америке, где жила со своим вторым мужем. Сидя в кинотеатре, я вдруг увидела на экране торжественную церемонию похорон, последние фотографии Жерома и Вас, мадам,— как Вы спускаетесь с трибуны, опершись на руку премьер-министра. По-моему, это очень выигрышный конец для книги.

Впрочем, я совершенно уверена, что и Вы напишете прелестную книжицу.

V. Мадам Жером-Ванс — Издательству Лис

Париж, 7 февраля 1937 года

Я только что узнала, что мадам Тереза Берже (которая, как Вам известно, была первой женой моего мужа) готовит том воспоминаний. Нам необходимо ее опередить и опубликовать нашу книгу как можно скорее. Я представлю Вам рукопись 15 июля. Меня очень порадовало, что Соединенные Штаты и Бразилия сделали заявки на право первого издания.

VI. Тереза — Надин

Эврё, 9 декабря 1937 года

Мадам, в связи с успехом моей книги в Америке (она удостоена премии «Лучшая книга месяца») я недавно получила две подробные телеграммы из Голливуда и, прежде чем ответить на них, считаю своим долгом выяснить Ваше мнение. Представитель одного из крупнейших продюсеров Голливуда предлагает мне экранизировать «Жизнь Жерома Ванса». Вам известно, что Жером очень популярен среди либеральной интеллигенции Соединенных Штатов и его «Послания» считаются там классикой. По причине этой популярности, а также ввиду того, что в Америке образ нашего мужа чуть ли не окружен ореолом святости, продюсер хочет, чтобы и фильм получился трогательно-благородный. Вначале у меня просто волосы встали дыбом от некоторых его требований. Но, поразмыслив, я решила, что мы обязаны пойти на любую жертву, лишь бы завоевать Жерому всемирное признание, а содействовать этому в наше время может только кинематограф. Мы обе хорошо знали Жерома и потому понимаем, что и сам он поступил бы так же: когда речь шла о славе, историческая истина всегда отступала для Жерома на второй план.

Вот три наиболее щекотливых обстоятельства:

а) Голливуд очень дорожит версией о том, что Жером был выходцем из народа, терпел жестокие лишения, и хочет в драматическом свете изобразить его бедственное положение в юные годы. Мы с Вами знаем, что это неправда, но ведь в конце концов самому Жерому такая

версия тоже была по душе. С какой же стати нам с Вами в этом вопросе быть щепетильнее самого героя?

б) Голливуд хочет, чтобы во времена «дела Дрейфуса» Жером занимал решительную позицию и даже поставил на карту всю свою карьеру. Правда, фактически это неточно, а хронологически — невозможно, но подобная неувязка никак не может повредить памяти Жерома, а, скорее, даже наоборот.

в) Наконец, и это самый щекотливый вопрос, Голливуд считает неудобным вводить двух женщин в жизнь Жерома Ванса. Поскольку его первый брак был браком по любви (а конфликт с родителями вносит в него дополнительную нотку романтичности), специфические законы кинематографа требуют, чтобы это был счастливый брак. Поэтому продюсер просит моего разрешения «слить» двух жен Жерома — то есть Вас и меня — в один персонаж. Для концовки фильма он использует подробности, взятые из Вашей книги, но припишет мне Ваше поведение во время болезни и смерти Жерома.

Я предвижу, как оскорбит Вас это последнее предложение, да и сама я вначале его отвергла. Но представитель Голливуда прислал мне телеграмму, в которой привел весьма веские доводы. Роль мадам Ванс будет, разумеется, поручена какой-нибудь кинозвезде. А ни одна крупная актриса не согласится сниматься в фильме, если ей предстоит играть только в первой серии. Он даже приводит пример: для того чтобы заполучить известного актера на роль Босуэлла в «Марии Стюарт», пришлось сочинить какие-то условно идиллические эпизоды и как-то связать Босуэлла с юностью королевы. Согласитесь, что, если даже самые известные события истории приспосабливают таким образом к требованиям экрана, нам с Вами просто не к лицу проявлять смешной педантизм, когда речь идет о наших скромных особах.

Я хочу добавить, что: а) эта единственная героиня не будет похожа ни на Вас, ни на меня, потому что играть нас будет актриса, с которой продюсер в настоящее время связан контрактом, а у нее нет никакого сходства ни с Вами, ни со мной. б) Голливуд предлагает очень крупный гонорар (шестьдесят тысяч долларов, то есть более миллиона франков по нынешнему курсу), и, конечно, если Вы согласитесь на указанные изменения, я готова самым щедрым образом оплатить Ваше соавторство, связанное с использованием Вашей книги.

Прошу Вас ответить мне по телеграфу, так как Голливуд ждет от меня немедленного решения.

VII. Надин — Терезе

(По телеграфу)

10.XII.37 Вопрос слишком важен обсуждения письмах тчк Выезжаю Париж четырнадцатичасовым 23 буду у вас 18 часов тчк Сердечный привет Надин.

VIII. Тереза — Надин

Эврё, 1 августа 1938 года

Дорогая Надин!

Как видите, я снова в моем милом деревенском домике, который Вам знаком и который Вы полюбили. Живу здесь одна, потому что муж мой уехал на три недели путешествовать. Я буду счастлива, если Вы приедете ко мне и проживете здесь, сколько захотите. Вы сможете делать все, что Вам вздумается,— читать, писать, работать; я сама занята сейчас моей новой книгой и предоставлю Вам полную свободу. Если Вы предпочтете посмотреть здешние окрестности, а они преле-

стны,— моя машина в Вашем распоряжении. Но если вечером на досуге Вам захочется посидеть со мной в саду — мы поболтаем с Вами о прошлом, о нашем «печальном прошлом», а также о делах.

Искренне любящая Вас

Тереза Берже

ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА

Не успел я войти в нью-йоркский ресторан «Золотая змея», где был завсегдатаем, как мне сразу же бросился в глаза старичок, сидевший у первого от входа столика перед тарелкой с кровавым бифштексом. По правде говоря, вначале мое внимание привлекло свежее мясо — в эти годы оно было редкостью,— но потом и сам старик с грустным, тонким лицом. Я сразу почувствовал, что уже встречал его раньше где-то, не то в Париже, не то в другом месте. Как только меня усадили за столик, я подозвал хозяина, расторопного и ловкого уроженца Перигора, который сумел превратить этот тесный подвальчик в приют гурманов.

— Скажите-ка, господин Робер, кто этот посетитель, который сидит справа от двери? Ведь он француз?

— Который? Тот, что сидит один за столиком? Это мсье Борак. Он бывает у нас ежедневно.

— Борак? Промышленник? Ну, конечно же, теперь я узнаю. Но прежде я его ни разу у вас не видел.

— Он обычно приходит раньше всех. И всегда один.

Хозяин наклонился ко мне и добавил, понизив голос:

— Чудаки какие-то, он и его жена... Право слово, чудаки. Вот видите, сейчас он завтракает один. А приходите сегодня вечером в семь часов, и вы увидите его жену — она будет обедать тоже одна. Можно подумать, что им тошно глядеть друг на друга. А на самом деле живут душа в душу... Снимают номер в отеле «Дельмонико». Понять их не могу. Загадка, да и только....

— Хозяин,— окликнул гарсон.— Счет на пятнадцатый столик.

Г-н Робер отошел, а я продолжал думать о странной чете. Борак... Ну, конечно, я был с ним знаком в Париже. В годы между двумя мировыми войнами он постоянно бывал у драматурга Фабэра, который испытывал к нему необъяснимое влечение. Как видно, их объединяла страсть к надежному помещению капитала и боязнь потерять нажитые деньги. Борак... Ему должно быть теперь около восьмидесяти. Я вспомнил, что незадолго до 1923 года он удалился от дел, сколотив изрядное состояние. В ту пору он был в отчаянии из-за падения франка.

— Безобразие! — возмущался он.— Сорок лет я трудился в поте лица, чтобы теперь оказаться нищим. Мало того, что моя рента и ценные бумаги больше ни гроша не стоят, акции тоже перестали приносить доход. Мое состояние тает на глазах. Что будет с нами на старости лет?

— Берите пример с меня,— советовал ему Фабэр.— Я обратил все свои деньги в фунты... Это вполне надежная валюта.

Когда я года три-четыре спустя вновь увидел обоих приятелей, они были в смятении. Борак последовал совету Фабэра, но после этого Пуанкаре удалось поднять курс франка, и фунт сильно упал. Теперь Борак думал только о том, как уклониться от подоходного налога, который начал расти.

— Какой вы ребенок,— твердил ему Фабэр.— Послушайтесь меня... На свете есть одна-единственная незыблемая ценность — золото... Если бы в восемнадцатом году вы приобрели золотые слитки, у вас не оказалось бы явных доходов, никто не смог бы облагать вас налогами, и вы были бы теперь куда богаче... Обратите все ваши ценности в золото, и спите себе спокойно.

Супруги Борак послушались совета Фабэра. Они купили золото, абонировали сейф в банке и время от времени, млея от восторга, наведывались в этот финансовый храм поклониться своему идолу. Потом я лет на десять потерял супругов из виду. Встретил я их уже в тридцать седьмом году — у торговца картинами на улице Фобур Сент-Онорэ. Борак держался с грустным достоинством, а мадам Борак, маленькая, чистенькая старушка в черном шелковом платье с жабо из кружев,— наивно и непосредственно. Борак, конфузясь, попросил у меня совета:

— Вы, мсье, сами человек искусства. Как, по-вашему, можно ли еще надеяться на то, что импрессионисты снова поднимутся в цене? Не знаете... Многие считают это возможным, но ведь их полотна и без того уже сильно подорожали... Эх, купить бы мне импрессионистов в начале века... А еще лучше узнать наперед, какая школа войдет в моду, и купить сейчас картины за бесценок. Да вот беда, заранее никто ни за что не может поручиться. Ну и времена! Даже эксперты тут бессильны... Поверите ли, мой дорогой, я их спрашиваю: «На что в ближайшее время поднимутся цены?» А они колеблются, запинаются. Один говорит — на Утрило, другой — на Пикассо... Но все это слишком уж известные имена.

— Ну, а как ваше золото? — спросил я.

— Оно у меня... у меня... Я приобрел еще много новых слитков... Но правительство поговаривает о реквизиции золота, о том, чтобы вскрыть сейфы. Подумать страшно... Вы скажете, что самое умное перевести все за границу. Так-то оно так... Но куда? Британское правительство действует так же круто, как наше. Голландия и Швейцария в случае войны подвергаются слишком большой опасности... Остаются Соединенные Штаты, но со времен Рузвельта даже доллар... И потом придется переехать туда на жительство, чтобы в один прекрасный день мы не оказались отрезанными от нашего состояния.

Не помню, что я тогда ему ответил. Меня начала раздражать эта чета, всецело поглощенная своей кубышкой. У выхода из галереи я простился с ними и долго глядел, как эти две чопорные и зловещие фигурки в черном удаляются осторожными мелкими шажками. И вот теперь я встретил Борака в «Золотой змее» на Лексингтон-авеню. Где его застигла война? Каким ветром занесло в Нью-Йорк? Любопытство меня одолело, и, когда Борак поднялся с места, я подошел к нему и назвался.

— О, еще бы, конечно помню,— сказал он.— Как я рад видеть вас, мсье! Надеюсь, вы окажете нам честь и заглянете к нам на чашку чая. Живем мы в отеле «Дельмонико». Жена будет счастлива... Мы здесь очень скучаем, ведь ни она, ни я не знаем английского...

— И вы постоянно живете в Америке?

— У нас нет другого выхода,— ответил он.— Приходите, я вам все объясню. Завтра к пяти часам.

Я принял приглашение и явился точно в назначенное время. Госпожа Борак была в том же черном шелковом платье с белым кружевным жабо, что и в тридцать седьмом году, только с великолепными жемчугами на шее. Она показалась мне очень удрученной.

— Мне так тоскливо,— жаловалась она.— Мы заперты в этих двух комнатах, а кругом ни одной знакомой души... Вот никогда не думала, что придется доживать свой век в изгнании.

— Но кто же вас принуждает к этому, мадам? — спросил я.— Насколько мне известно, у вас нет особых причин бояться немцев. Мне, конечно, понятно, что вы не хотели жить под их владычеством, но пойти на добровольное изгнание, уехать в страну, языка которой вы не знаете...

— Что вы, немцы тут ни при чем,— сказала она.— Мы приехали сюда задолго до войны.

Ее муж встал, открыл дверь в коридор и, убедившись, что нас никто не подслушивает, запер ее на ключ, возвратился и шепотом сказал:

— Сейчас все объясню. Я уверен, на вашу скромность можно положиться, а дружеский совет пришелся бы нам как нельзя более кстати. У меня здесь, правда, есть адвокат, но вы меня лучше поймете. Видите ли... Не знаю, помните ли вы, что после прихода к власти правительства Народного фронта мы сочли опасным хранить золото во французском банке. И нашли тайный надежный способ переправить его в Соединенные Штаты. Само собой разумеется, мы и сами решили сюда перебраться. Не могли же мы бросить золото на произвол судьбы. Словом, тут и объяснять нечего. Однако в тридцать восьмом году мы обратили золото в бумажные доллары. Мы считали (и оказались правы), что в Америке девальваций больше не будет, да и кое-кто из осведомленных людей сообщил нам вдобавок, что новые геологические изыскания русских понизят курс золота. Тут-то и возник вопрос: как хранить наши деньги? Открыть счет в банке? Обратить их в ценные бумаги? В акции?.. Если бы мы купили ценные бумаги, пришлось бы платить подоходный налог, а он очень велик. Поэтому мы все наше состояние оставили в бумажных долларах. На это были еще и другие причины,— продолжал он все более таинственным тоном.— Мы чувствовали, что приближается война, и боялись, как бы правительство не заморозило банковские счета и не вскрыло сейфы, тем более, что у нас нет американского гражданства... Вот мы и решили всегда хранить наши деньги при себе.

— То есть как при себе? — воскликнул я.— Здесь, в отеле?

Оба кивнули головой, улыбнувшись каким-то подобием улыбки и обменявшись взглядом, полным лукавого самодовольства.

— Да,— продолжал он еле слышно.— Здесь, в отеле. Мы сложили все в большой чемодан — и доллары и немного золота. Чемодан здесь, в нашей спальне.

Борак встал, открыл дверь в смежную комнату и, подведя меня к порогу, показал ничем не примечательный с виду черный чемодан.

— Вот он,— шепнул Борак и почти благоговейно прикрыл дверь.

— А вдруг кто-нибудь проведает о вашем чемодане? Подумайте, какой соблазн для воров! Вы не боитесь этого?

— Нет,— сказал он.— Во-первых, никто о чемодане не знает, кроме нашего адвоката... и вас, а вам я всецело доверяю. Нет уж, поверьте мне, мы все обдумали. Чемодан не привлекает такого внимания, как, скажем, кофр. Никому не придет в голову, что в нем хранится целое состояние. Наконец, ведь мы — жена и я — охраняем эту комнату и днем и ночью.

— И никогда не покидаете ее?

— Вместе — никогда! У нас есть револьвер, мы держим его в ящике, возле чемодана, и один из нас всегда дежурит... Я хожу завтракать во французский ресторан, где мы с вами встретились. Жена там обедает. И чемодан никогда не остается без присмотра. Вам понятно?

— Нет, дорогой господин Борак, непонятно, никак не могу я понять, во имя чего вы обрекли себя на это мучительное затворничество... Налоги? Да черт с ними! Разве этих денег вам не хватит с лихвой до конца жизни?

— Не в этом дело,— ответил он.— Не хочу я отдавать другим то, что нажил с таким трудом.

Я пытался переменить тему разговора. Борак был человек образованный, он знал историю, я попробовал было напомнить ему о коллекции автографов, которую он когда-то собирал, но его жена, в еще большей степени, чем муж, одержимая навязчивой идеей, вновь вернулась к злополучному чемодану.

— Я боюсь одного человека,— шепотом сказала она.— Это немец, метрдотель, который приносит нам в номер утренний завтрак. То, как он иногда поглядывает на эту дверь, внушает мне подозрение. Правда, он всегда застает нас обоих дома, и потому я надеюсь, что опасность не так уж велика.

Другой их заботой была собака. Они держали красивого пуделя, на редкость смышленого, он всегда лежал в углу гостиной, но трижды в день его надо было выводить. Эту обязанность супруги тоже выполняли по очереди. Я ушел от них взбешенный их одержимостью и в то же время пораженный согласием этой удивительной пары.

С тех пор я часто уходил со службы пораньше, чтобы ровно в семь часов попасть в «Золотую змею». Обычно я подсаживался к столику госпожи Борак. Она была словоохотливей мужа и более простодушно поверяла мне свои тревоги и сомнения.

— Эжен — человек редкого ума,— сказала она мне однажды вечером.— Он всегда все предусматривает. Нынче ночью ему вдруг пришло в голову, а что если прикажут обменять деньги в обязательном порядке. Как тогда быть? Ведь нам придется предъявить наши доллары.

— Ну, и что за беда?

— Очень даже большая беда,— возразила госпожа Борак.— В сорок третьем году, когда американское казначейство объявило перепись имущества эмигрантов, мы ведь ничего не предъявляли... А теперь у нас могут быть серьезные неприятности... Но Эжен составил новый план. Говорят, в некоторых республиках Южной Америки вообще нет подоходного налога. Если нам удастся переправить туда наши деньги...

— Но как же их переправить, не заявив об этом на таможне?

— Эжен считает, что сначала надо принять гражданство той страны, куда мы решим переселиться. Если мы станем, например, уругвайцами, то по закону сможем перевезти деньги.

Идея эта так меня восхитила, что на другой день я пришел в ресторан к завтраку. Борак всегда радовался моему приходу.

— Милости прошу,— приветствовал он меня.— Вы пришли как нельзя более кстати: мне нужно навести у вас кое-какие справки. Не знаете ли вы, какие формальности необходимы, чтобы стать гражданином Венесуэлы?

— Право, не знаю,— сказал я.

— А Колумбии?

— Понятия не имею. Лучше всего обратиться в консульства этих государств.

— В консульства? Да вы с ума сошли!.. Чтобы привлечь внимание?

Он возмущенно отодвинул тарелку с жареным цыпленком и вздохнул.

— Ну и времена! Подумать только, что, если бы мы родились в восемьсот тридцатом году, мы прожили бы спокойно всю жизнь, не зная этой финансовой инквизиции и не боясь, что нас ограбят! А нынче что ни страна — то разбой на большой дороге. Даже в Англии... Я там припрятал несколько картин и гобеленов, и теперь хотел их перевезти сюда. И знаете, чего они с меня требуют? Платы за право вывоза в

размере ста процентов стоимости, а ведь это равносильно конфискации... Ну просто грабеж среди бела дня, форменный грабеж...

Вскоре после этого я уехал по делам в Калифорнию, и мне так и не пришлось узнать, кем в конце концов стали Бораки — уругвайцами, венесуэльцами или колумбийцами. Вернувшись через год в Нью-Йорк, я спросил о них у хозяина «Золотой змеи» г-на Робера:

— Как поживает чета Бораков? По-прежнему посещают вас?

— Что вы,— ответил он.— Разве вы не знаете? Она ведь в прошлом месяце умерла, кажется от разрыва сердца, и с того дня я вообще не видел мужа. Должно быть, захворал с горя.

Но мне показалось, что причина исчезновения Борака совсем в другом. Я написал старику несколько слов, выразив ему соболезнование и попросив разрешения его навестить. На другой день он позвонил мне по телефону и пригласил зайти. Он осунулся, похудел, бескровные губы едва шевелились.

— Только вчера узнал о постигшем вас несчастье,— сказал я,— не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, ведь горестная утрата, надо полагать, в довершение всего донельзя усложнила вашу жизнь.

— Нет-нет, нисколько...— ответил он.— Я просто больше вообще не отлучаюсь из дома. Другого выхода у меня нет. Оставить чемодан я не решаюсь, а доверить мне его некому. Потому я и распорядился, чтобы еду мне приносили сюда, прямо в комнату.

— Но ведь вам, наверно, в тягость такое полное затворничество?

— Нет-нет, нисколько. Ко всему привыкаешь. Гляжу из окна на прохожих, на машины... И потом, знаете, при таком образе жизни я, наконец, вкусил чувство полной безопасности. Прежде я отправлялся завтракать и целый час не знал покоя, все время думал, а не случилось ли чего в мое отсутствие? Конечно, дома оставалась моя бедная жена, но я представить себе не мог, как она справится с револьвером, особенно при ее больном сердце... А теперь я держу дверь приоткрытой, и чемодан всегда у меня на глазах. Стало быть, все, чем я дорожу, всегда со мной. И это вознаграждает меня за многие лишения. Вот только Фердинанда жалко.

Пудель услышал свое имя, подошел и, усевшись у ног хозяина, бросил на него вопросительный взгляд.

— Вот видите, сам я теперь не могу его выводить, но зато я нанял рассыльного, «bell boy» как их здесь называют. Не пойму, почему они не могут называть их просто «рассыльными», как везде и всюду? Ей-богу, они меня с ума сведут своим английским языком! Так вот, я нанял мальчишку, и тот за небольшую плату выводит Фердинанда на прогулку. Значит, и эта проблема решена. Я очень вам признателен, мой друг, за вашу готовность помочь мне, но я ни в чем не испытываю нужды, спасибо.

— А в Южную Америку вы раздумали ехать?

— Конечно, друг мой, конечно... Что мне там теперь делать? В Вашингтоне больше не говорят об обмене денег, а в мои годы...

Он и в самом деле сильно постарел, а образ жизни, который он вел, вряд ли шел ему на пользу. Румянец исчез с его щек, и он с трудом говорил.

«Можно ли вообще считать, что он живет?» — подумал я.

Убедившись, что ничем не могу ему помочь, я откланялся. Я решил изредка навещать его, но через несколько дней, раскрыв «Нью-Йорк таймс», сразу обратил внимание на заголовок: «Смерть французского эмигранта. Чемодан, набитый долларами!» Я пробежал заметку: речь шла о моем Бораке. Утром его нашли мертвым; он лежал на черном чемодане, накрывшись одеялом. Умер он естественной смертью, и все его состояние было в целости и сохранности. Я зашел в отель «Дельмо-

нико», чтобы разузнать о дне похорон. У чиновника справочного бюро я спросил, что сталось с Фердинандом.

— Кому отдали пуделя господина Борака?

— Никто его не востребовал,— ответил тот.— И мы отправили его на живодерню.

— А деньги?

— Если не объявятся наследники, они перейдут в собственность американских властей.

— Что ж, прекрасный конец,— сказал я. При этом я имел в виду только судьбу денег.

ЗАВЕЩАНИЕ

амок маркизов де Шардейль был приобретен крупным промышленником, которого болезни и старость вынудили расстаться с делами и удалиться на лоно сельской природы. А вскоре весь Перигор только и говорил о том, с какой роскошью и вкусом восстановлен этот уголок, покинутый прежними владельцами вот уже более ста лет. В особенности восхищались парком. Выписанный из Парижа архитектор и планировщик, построив запруду на реке Лу, создал искусственное озеро и превратил Шардейль в новый Версаль.

В Перигоре, бедной сельской провинции, где большинство владельцев поместий по примеру Савиньяков использует свою землю под огороды, очень мало красивых садов. Цветники Шардейля вызвали оживленные толки в Бриве, Периге и даже в самом Бордо. Однако, когда работы, продолжавшиеся целый год, подошли к концу и новые хозяева въехали в свое поместье, гостей, поспешивших нанести им визит, оказалось гораздо меньше, чем можно было ожидать. В Перигоре к чужакам относятся недоверчиво, а никто толком не знал, что за особа эта госпожа Бернен.

На вид ей было никак не больше тридцати пяти, а мужу самое малое шестьдесят пять. Она была довольно привлекательна и даже в деревенском уединении меняла туалеты по три раза в день. Это насторожило соседей, и они решили, что она не жена, а любовница Бернена. Правда, госпожа де ла Гишарди, первая дама Перигора,— она обосновалась с начала войны в провинции, но по-прежнему знала светский Париж как свои пять пальцев,— подтвердила, что госпожа Бернен — законная жена Бернена и происходит из скромной, но добропорядочной буржуазной семьи, и злым языкам пришлось умолкнуть, ибо в подобном вопросе никто не осмеливался перечить могущественной и осведомленной госпоже де ла Гишарди. Однако некоторые помещики тайком продолжали держаться кощунственного убеждения, будто госпожа Бернен, хоть она и носит имя Бернена, всего-навсего бывшая любовница своего мужа, на которой тот женился в преклонном возрасте.

Но Гастон и Валентина Ромильи, владельцы поместья Прейссак, с холмов которого видны башни Шардейля, решили, что уж кому-кому, а им, ближайшим соседям Берненов, вообще нет никакого резона чваниться перед приезжими. А поскольку чета Бернен в довершение всего оставила свои визитные карточки в Прейссаке и госпожа де ла Гишарди подала пример снисходительного отношения к новым помещикам, Ромильи явились в Шардейль с ответным визитом.

Их приняли с большим радушием, ведь они были в числе первых

гостей. Хозяева не только принялись уговаривать супругов Ромильи остаться в Шардейле до чая, но и предложили им осмотреть дом, парк и службы. Гастон и Валентина почувствовали: Бернены уже начинают тяготиться тем, что, владея всем этим великолепием, они лишены возможности похвалиться им перед соседями.

От времен своего владычества на собственном заводе Бернен сохранил властные замашки и привычку высказываться тоном, не допускающим возражений, о предметах, которые ему совершенно незнакомы, и все же он производил впечатление добряка. Валентину привела в умиление любовь, которую он выказывал жене, маленькой пухленькой блондинке, нежной и веселой. Однако ее покоробило то, что она услышала от госпожи Бернен, когда, осматривая первый этаж и восторгаясь тем, с какой быстротой замок неузнаваемо преобразился, похвалила ванные комнаты, размещенные в нишах старых стен, и лифты, расположенные в башнях.

— Да,— сказала г-жа Бернен,— Адольф хотел, чтобы здесь все было образцовым... Правда, пока Шардейль для нас всего лишь загородный дом, но Адольф знает: когда я останусь одна — надеюсь, конечно, что это случится нескоро,— то поселюсь именно здесь, и он хочет, чтобы в деревне меня окружал такой же комфорт, как в городе... Может, вы слышали, у Адольфа от первого брака много детей. Вот он и принял меры предосторожности: Шардейль куплен на мое имя и полностью принадлежит мне.

На лугу вблизи замка строения бывшей фермы были переоборудованы под конюшни. Гастон восхитился красотой лошадей, великолепием упряжи, выправкой конюхов.

— Лошади — моя любимая утеха,— оживленно сказала госпожа Бернен.— Мой отец служил в кирасирах и с колыбели приучал нас к седлу.

Она потрепала по холке великолепного коня и со вздохом добавила:

— Правда, содержание конюшни обходится очень дорого... Но Адольф и об этом позаботился. В завещании он выделил особые средства для устройства конного завода на территории парка Шардейль. И все это помимо моей доли наследства, не правда ли, Адольф? Таким образом, мне не придется платить лишних налогов.

Разбивка парка еще не была завершена, но общий рисунок цветника уже наметился. В тех местах, к которым архитектор желал привлечь особое внимание гуляющих, стояли прекрасные статуи. Посреди удлиненного бассейна, на искусственном островке из железобетона, рабочие возводили романтическую колоннаду. Хозяева и гости вступили в каштановую аллею. Она обрывалась у группы маленьких строений в стиле перигорских ферм, крытых старой черепицей.

— А я и не знала, что здесь деревня,— заметила Валентина.

— Это вовсе не деревня,— смеясь пояснила госпожа Бернен,— это дома для прислуги. Адольф надумал построить их в виде маленьких дач... Правда, прелестная мысль? Это будет мне на руку... в будущем, конечно... Среди нашей прислуги есть несколько супружеских пар — люди очень преданные, и я хотела бы удержать их у себя, даже когда овдовею... Ну так вот, Адольф откажет каждой семье домик, где она живет, оговорив в завещании, что право на владение аннулируется, если слуга от меня уйдет. Таким образом, мои люди не только будут связаны со мной, но и частично вознаграждены за свой труд, а мне это не будет стоить ни гроша, и я могу ни о чем не беспокоиться. Все это, конечно, не считая доли в наследстве... И дети Адольфа ни к чему не смогут придраться.

— Вы уверены, мадам? Разве это по закону? — спросил Гастон Ромильи.

— Ах, мсье, вы не знаете Адольфа... Он несколько часов кряду про-

сидел со своим адвокатом, отыскивая наилучшую форму для завещания. Вы и представить себе не можете, до чего он внимателен ко мне, несмотря на свои медвежьи ухватки. Правда, Адольф?

Она взяла старика под руку, и тот что-то ласково проворчал. Прогулка затянулась, гостей заставили осмотреть и образцовую молочную ферму, и птичий двор, где кудахтали сотни белоснежных кур какой-то особенно редкой породы. Когда супруги Ромильи очутились наконец одни в своей машине, Валентина спросила:

— Как тебе понравилась эта пара, Гастон?

— Бернен мне понравился,— ответил муж.— Грубоват, самодоволен, но, думаю, в глубине души он добрый малый. А она какая-то чудачка...

— Чудачка? — переспросила Валентина.— По-моему, она просто дрянь. На каждом слове — завещание да завещание... «Когда я овдовею... надеюсь, конечно, не скоро...» Рассуждать в присутствии этого бедняги обо всем, что случится после его смерти! Я просто места себе не находила, не знала, что сказать.

Они долго молчали, проезжая по окутанным вечерним сумраком лугам и заросшим тополями долинам. Гастон, сидя за рулем, не спускал глаз с дороги, на которую то и дело выбегали дети, возвращавшиеся из школы. Внезапно он сказал:

— А знаешь... Вообще-то говоря, он поступил разумно, приняв меры предосторожности, теперь в случае его смерти жена застрахована от всех превратностей. Я его слушал, а сам думал о нас. Напрасно я не составил завещания. Надо бы этим заняться.

— Господь с тобой, милый... Не пугай меня... Во-первых, я умру раньше...

— Почему? Кто может знать наперед. Ты моложе меня. Ты здоровая. А я...

— Молчи. Ты просто мнителен и совершенно здоров. К тому же, если ты умрешь, я тебя не переживу... Разве я могу жить без тебя... Я покончу с собой...

— Как тебе не стыдно, Валентина! Что за вздор! Ты прекрасно знаешь, никто еще не умирал от вдовства, как бы оно ни было горько. И потом, кроме меня, у тебя есть Коллетт, ее муж... внуки...

— У Коллетт своя жизнь... Мы ей больше не нужны.

— Что правда, то правда. Тем более мне следует принять меры, чтобы тебя обеспечить...

Машина въехала в полосу тумана, и они снова замолчали. Немного спустя Валентина заговорила еле слышно:

— Конечно, если злая судьба захочет, чтобы я пережила тебя на несколько месяцев, мне действительно будет спокойней, если у меня... О нет, только не завещание... Мне бы всегда чудилось в нем дурное предзнаменование... Ни в коем случае... Просто бумага, где было бы оговорено, что Прейссак со всеми его угодьями остается в моем пожизненном владении. Наш зять очень мил, но он из рода Савиньяков... Он пошел в отца... Любит землю... Вдруг он захочет округлить свои земли за счет моих, а меня отправит доживать век в какой-нибудь хижине подальше от этих мест... Мне было бы очень больно...

— Это надо предотвратить,— сказал Гастон, слегка помрачнев.— Я готов подписать любую бумагу и, если хочешь, даже завещать тебе Прейссак... Но только законно ли это? Не превышает ли стоимость Прейссака размера твоей доли наследства?

— Немного превышает, но все легко уладить,— сказала Валентина.— Если ты только пожелаешь.

— Как? — спросил он.— Разве ты уже советовалась с нотариусом?

— О нет, что ты, только так, мимоходом,— ответила Валентина.

ЯРМАРКА В НЕЙИ

— Бонниве был всего пятью-шестью годами старше меня,— начал Мофра,— но он сделал такую блестящую, молниеносную карьеру, что я привык видеть в нем скорее покровителя, чем друга. Я был многим обязан ему. Когда его назначили министром общественных работ, он дал мне должность в своей канцелярии, а когда министерство пало, мгновенно пристроил меня в управление префектуры.

Вернувшись к власти, Бонниве взял себе портфель министра колоний. В ту пору у меня была недурная служба в Париже, и я отказался от нового назначения. Мы по-прежнему дружили и часто встречались в семейном кругу, то у него дома, то у меня. Бонниве обожал свою жену Нелли, женщину лет сорока, все еще миловидную и словно созданную для роли супруги министра. Я был женат уже десять лет, и, как вы знаете, мы с Мадлен жили душа в душу.

Однажды в начале июня супруги Бонниве пригласили нас пообедать в одном из ресторанов Булонского леса. Нас было шестеро, мы очень мило проводили время, и к полуночи нам все еще не хотелось расходиться. Бонниве, который был в ударе, предложил посмотреть ярмарку в Нейи. Когда Бонниве сидит в министерском кресле, он любит разыгрывать из себя Гарун-аль-Рашида и слышать, как толпа провожает его шепотом: «Глядите, Бонниве!»

Три немолодые супружеские пары, пытающиеся обрести в младенческих забавах очарование далекого детства, являют взору довольно печальное зрелище. Мы выиграли в различных лотереях макароны, стеклянные безделушки и пряничных зверей. Потом мужская часть нашей компании сбивала в тире вращающиеся маски и поражала на лету яичную скорлупу, вяло подбрасываемую кверху струйками воды. Наконец мы добрались до аттракциона «Железная дорога», рельсы, сделав несколько кругов под открытым небом, скрывались в темном длинном туннеле. Нелли Бонниве предложила прокатиться в поезде. Моей жене затея эта пришлась не очень по душе и сиденья в вагоне показались недостаточно чистыми, но она не хотела нарушать компанию, и мы купили билеты. В толчее на платформе толпа нас разъединила, и мы с Нелли Бонниве оказались наедине в двухместном купе.

Маленький поезд мчался с большой скоростью, а крутые повороты были специально рассчитаны так, чтобы пассажиры то и дело падали друг на друга. На первом же повороте Нелли Бонниве очутилась в моих объятиях. В эту минуту поезд нырнул во мрак туннеля, и то, что случилось в дальнейшие несколько секунд, я сам не могу объяснить. Наши движения иногда не подвластны контролю сознания. Как бы там ни было, почувствовав, что Нелли полулежит у меня на коленях, я стал ее ласкать, как двадцатилетний солдат ласкает девчонку, которую он пригласил на деревенскую ярмарку. Не сознавая, что делаю, я искал ее губы, и в тот момент, когда я прижался к ним, вспыхнул свет. Словно по уговору, мы отшатнулись в разные стороны и растерянно, в полном изумлении уставились друг на друга.

Помню, я пытался разгадать выражение лица Нелли Бонниве. Она приводила в порядок прическу и молча, без улыбки глядела на меня. Наше взаимное замешательство длилось недолго. Поезд уже тормозил, и через минуту мы оказались на платформе, где нас ждали Бонниве, Мадлен и двое наших спутников.

— Пожалуй, мы уже стары для таких забав,— со скукой в голосе заметил Бонниве,— не пора ли по домам?

Мадлен его поддержала, мы добрались до заставы Майо и тут рас-

стались. Целуя руку Нелли, я пытался поймать ее взгляд. Она беспечно болтала с Мадлен и ушла, не подав мне никакого знака.

Я не мог уснуть. Неожиданное приключение нарушило приятную размеренность моей жизни. Я никогда не был бабником, а уж тем более с той поры, как женился на Мадлен. Я всем сердцем любил жену, и между нами царило полное взаимное доверие. К Бонниве я питал искреннюю приязнь и благодарность. Но несмотря на все эти чувства, какой-то бес подзуживал меня поскорее увидеть Нелли и понять, что было в ее взгляде после той минуты самозабвения. Удивление? Гнев? Вы ведь знаете, что даже самые скромные мужчины в глубине души отчаянные донжуаны. Воображение уже рисовало мне давнюю затаенную страсть, которая открылась внезапно, по прихоти случая. Рядом со мной на соседней постели мерно дышала спящая Мадлен.

На другой день у меня оказалось много дел по службе и некогда было вспоминать об удивительном происшествии. А на третий день меня позвали к телефону.

— Вас спрашивают из министерства колоний,— сказал голос в трубке.— Ждите у телефона. С вами будет говорить министр. Минутку.

У меня упало сердце. До сих пор Бонниве никогда не звонил мне сам. Все приглашения и ответы на них обычно передавались через жен. Не было никаких сомнений, что на сей раз речь пойдет о моей дурацкой выходке на железной дороге.

— Алло! — услышал я вдруг го́лос Бонниве.— Это вы, Мофра? Вы не можете сию же минуту приехать ко мне в министерство? Да, безотлагательно... Все объясню вам при личной встрече. Хорошо, жду!

Я повесил трубку... Итак, Нелли принадлежит к той гнусной породе женщин, которые сначала искушают мужчин (я готов был поклясться, что она нарочно в тот вечер упала в мои объятия), а потом жалуются мужьям: «Знаешь, ты напрасно так веришь Бернару... Он совсем не такой уж преданный друг, как ты полагаешь!» О, мерзкие твари!

Занятый поисками такси, чтобы ехать к Бонниве, я только и думал о том, что меня ждет. Дуэль? Я ничего не имел против, по крайней мере все решилось бы само собой, но со времени войны никто на дуэли больше не дерется. Скорее всего Бонниве станет осыпать меня упреками и даст понять, что между нами все кончено. А это означает конец не только очень ценной для меня дружбы, но и, без сомнения, конец моей карьеры, потому что Бонниве человек влиятельный. Все прочат ему в недалеком будущем пост премьера... И как мне объяснить эту непостижимую ссору жене?

Такие мрачные мысли и даже еще похуже теснились в моем мозгу, пока я ехал в министерство. Дело дошло до того, что я стал понимать горемык, которым не хватает мужества вынести свое отчаянное положение и которые поэтому ищут выхода в самоубийстве.

Мне пришлось некоторое время подождать в приемной, заполненной посетителями. Сердце мое учащенно билось. Я пытался сосредоточиться на фреске, изображающей аннамитов, занятых сбором урожая. Наконец секретарь выкликнул мое имя. Я встал. Передо мной была дверь кабинета министра. Как быть — дать ему высказаться или предвосхитить его упреки чистосердечной исповедью?

Бонниве поднялся мне навстречу и крепко пожал руку. Меня просто ошарашила его сердечность. Видимо, у него хватило ума понять, сколь случайным и неумышленным было нелепое происшествие.

— Прежде всего,— сказал Бонниве,— извините, что я так срочно вызвал вас, но сейчас вы сами поймете, что вопрос не терпит отлагательства. Дело в следующем... Мы с Нелли в будущем месяце должны совершить длительную поездку по Западной Африке... Я еду для инспекции, она — ради туризма и новых впечатлений... Я решил

взять с собой не только министерских служащих, но и несколько журналистов, ибо пора наконец французам познакомиться со своими владениями... Собственно говоря, я не собирался рассказывать вам об этой затее, так как вы не чиновник нашего министерства, не журналист и вдобавок у вас свои служебные обязанности, но вчера вечером Нелли сказала мне, что наша поездка по времени почти совпадает с вашим отпуском, а ей куда приятнее и интереснее проводить досуг с вами и вашей женой, чем с нашими официальными спутниками. Вот она и подумала, может быть, вас соблазнит редкая возможность увидеть Западную Африку в таких благоприятных условиях... Словом, если вы согласны, мы включим вас в список участников поездки... Но ответ мне нужен немедленно, потому что мой секретариат заканчивает составление маршрута и списков.

Я поблагодарил его и попросил несколько часов отсрочки, чтобы посоветоваться с женой. Вначале я едва не согласился. Но, оставшись наедине с собой, я вдруг представил себе всю неловкость и низость этой полулюбовной интрижки, которую придется вести на глазах проницательной Мадлен, да еще будучи гостем Бонниве. Нелли была привлекательна, но я ее строго осуждал. За завтраком я рассказал Мадлен о предложении Бонниве, разумеется, не обмолвившись ни словом о его причинах, и мы вместе стали обдумывать, как бы нам повежливей от него отказаться. Мадлен без труда сочинила какие-то давние обязательства, и мы в Африку не поехали.

Я знаю, что с тех самых пор Нелли Бонниве отзывается обо мне не только с иронией, но даже с некоторой неприязнью. Однажды наш друг Ламбер-Леклерк назвал меня в качестве возможного кандидата на пост префекта Сены. Она скорчила презрительную гримаску.

— Мофра! — сказала она.— Упаси бог! Он очень мил, но совершенно лишен инициативы. Он сам не знает, чего хочет.

— Нелли права,— отозвался Бонниве. И я не получил префектуры.

Перевод с французского Ю. ЯХНИНОЙ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРЬЕРЫ

В предпоследнюю субботу каждого месяца в мастерской художника Бельтара собирались: депутат Ламбер-Леклерк (сейчас он уже помощник статс-секретаря в министерстве финансов), писатель Сиврак и драматург Фабэр, автор той самой пьесы «Калибан-король», что еще недавно гремела на сцене театра «Жимназ».

В один из таких вечеров Бельтара представил друзьям своего двоюродного брата — молодого провинциала, решившего посвятить себя литературе.

— Этот мальчик,— объявил Бельтара,— написал роман. На мой взгляд, сочинение его ничуть не хуже других книг подобного рода, и я прошу тебя, Сиврак, прочитать его. У моего кузена нет никаких связей в Париже. Он живет в Байе и работает там инженером.

— Счастливый вы человек,— сказал кузену Фабэр.— Сочинили роман, живете в провинции и ровным счетом никого не знаете в Париже! Ваше дело в шляпе, мсье! Издатели тотчас начнут драться за честь «открыть» ваш талант, и если вы умело поведете дело, то через год ваш успех затмит даже славу нашего друга Сиврака. Но послушайтесь моего

совета: никогда не показывайтесь в столице! Байе... Это очень хорошо придумано — Байе. Мыслимо ли противиться обаянию человека, живущего в Байе? На вид вы славный малый, мсье, и я не хочу умалять ваши достоинства, но, право, гений всегда выше ценится на расстоянии.

— Советую вам сказаться больным,— вмешался Ламбер-Леклерк,— очень многие добились успеха благодаря болезни.

— Но что бы ты ни предпринимал,— сказал Бельтара,— ни в коем случае не бросай службы. Служба — это отличный наблюдательный пост. Если же ты запрешься в своем кабинете, то через год станешь писать как профессионал: твои сочинения будут предельно искусны и невыносимо скучны.

— Болван! — презрительно воскликнул Сиврак.— «Служба — отличный наблюдательный пост!» Как не стыдно, Бельтара, ты — умный человек, а повторяешь такие пошлости! Да может ли вообще писатель наблюдать что-либо, чего он еще раньше не нашел в себе самом? Разве Пруст когда-либо оставлял свою обитель? Разве Толстой покидал свои поля? Когда его спрашивали, кто такая Наташа, он отвечал: «Наташа — это я». А Флобер...

— Прости, что я решаюсь возражать тебе,— отвечал Бельтара,— но Толстой жил в кругу огромной семьи и отчасти именно в этом черпал свою силу. А Пруст часто наведывался в «Ритц», и у него было много друзей, судьбы которых питали его творческое воображение. Что же до Флобера...

— Ясно!..— оборвал его Сиврак.— Но представь себе на минуту, что Пруст не мог бы черпать сюжетов из светской жизни — все равно у него нашлось бы что сказать. Пруст одинаково восхитителен, когда рассказывает о своей болезни, о комнате, где он жил, или о своей старой служанке. А кроме того, я берусь доказать тебе, что сочетание самого блестящего ума с редчайшим знанием жизни еще не обеспечивает появления истинного произведения искусства. Взять, к примеру, нашего друга Шалона... Кто мог лучше и дольше его наблюдать самые разные круги общества? Шалон был на короткой ноге с художниками, писателями, актерами, политическими деятелями, дипломатами, он имел доступ за кулисы сцены, на которой разыгрывается человеческая комедия. Как же он использовал все, чем располагал? Увы, мы знаем, чем это кончилось!..

— В самом деле, куда девался Шалон? — спросил Ламбер-Леклерк. Что с ним? Кто из вас слыхал о нем?

— У нас с ним один издатель,— ответил Сиврак,— и я довольно часто сталкиваюсь у него с Шалоном, но наш друг делает вид, будто не узнает меня.

Наклонившись к уху хозяина дома, молодой провинциал вполголоса осведомился, кто такой Шалон.

— Сиврак,— сказал Бельтара,— расскажи-ка этому младенцу о творческой судьбе Шалона. Для человека его возраста пример этот может быть поучителен.

Сиврак встал и, пересев на край дивана, тотчас начал рассказ, построенный по всем правилам искусства. Он говорил резким ироническим тоном, чеканя слова.

— Не знаю, мсье, приходилось ли вам когда-нибудь слышать о знаменитом выпуске девяносто второго года в классе риторики лицея Генриха Четвертого? Во всяком случае, он стяжал в академических кругах не меньшую известность, чем некогда прославленный выпуск Высшей нормальной школы, когда, как вы знаете, из ее стен вышли Тэн и Прэво-Парадоль, Сарсэ и Эдмон Абу. Да и класс риторики в целом, как до сих пор твердит мне при каждой встрече один из наших старых учителей, был «колыбелью знаменитых мужей». А все только потому, что в этом

классе одновременно учились Бельтара, Ламбер-Леклерк, Фабэр и я. Ламбер-Леклерк, который уже тогда готовился к политическому поприщу, вместе с Фабэром проводил все вечера на скачках...

— Никакого почтения к моему превосходительству...— вздохнул депутат.

— Вы, ваше превосходительство, были единственным из нас, недорослей, чьи склонности уже тогда позволяли предсказать ваше будущее. Бельтара, напротив, не выказывал никакого особого интереса к изобразительным искусствам, а Фабэр — ни малейшего предрасположения к драматургии. Наш учитель литературы, мсье Гамлен, говорил ему: «Бедняга Фабэр, наверно, вы никогда не освоите как следует французский язык». Суждение вполне справедливое, ныне неизвестно почему отвергнутое невежественной публикой. Я же в те годы высшее эстетическое наслаждение находил в том, чтобы рисовать Венеру на полях школьных тетрадей. Наш кружок дополнял Шалон.

Это был белокурый юноша, с тонкими, приятными чертами лица. Он мало утруждал себя уроками, но зато много читал, выбирая любимых поэтов с тем же умением, что и галстуки. Безупречный вкус создал ему громадный авторитет в нашем кружке. Ознакомившись к тому времени с историей «Тринадцати», мы решили — нас четверо да еще Шалон — создать по их примеру свою «Пятерку». Каждый член «Пятерки» дал клятву всегда и во всем поддерживать остальных. Мы условились, что деньги, влияние, связи, доставшиеся на долю одного из нас, будут служить всем членам кружка. Это было прекрасно задумано, но замысел наш так и не претворился в жизнь — окончание лицея разлучило нас. Его превосходительство и я занялись изучением права. Фабэр, которому надо было зарабатывать себе на жизнь, поступил на службу в банк своего дядюшки. Бельтара принялся за медицину. Разлуку довершила военная служба, разбросавшая членов «Пятерки» в разные концы страны. Шесть лет подряд мы почти ничего не слыхали друг о друге.

На художественной выставке девятисотого года я впервые увидал картину Бельтара. Я был удивлен уже тем, что он сделался художником, еще больше изумил меня его талант. Когда человек обнаруживает талант у друга детства, это неизменно повергает его в глубочайшее изумление. Все мы понимаем, что каждый гений кому-нибудь да приходился приятелем, и все же почти невозможно свыкнуться с мыслью, что кто-то из твоих приятелей — гений. Я тотчас написал Бельтара, и он пригласил меня к себе. Мне понравилась его мастерская, и я стал частенько наведываться к нему. После длительного обмена письмами и телеграммами мне удалось наконец созвать «Пятерку» на обед. Тут каждый из присутствовавших рассказал, чем он занимался после окончания лицея.

По воле случая трое из нас избрали отнюдь не тот путь, который был уготован им родителями. Бельтара, вступив в связь с натурщицей, забавы ради написал с нее несколько картин, которые оказались в высшей степени удачными. Эта женщина и ввела его в круг художников. Он стал учиться живописи, и притом весьма успешно. Спустя несколько месяцев он и вовсе оставил медицину.

Затем он поехал на юг Франции — в те края, где родился и вырос. Он написал здесь много портретов марсельских купцов и их жен и заработал на этом тысяч двадцать франков. Когда он возвратился в Париж, эти деньги позволили ему взяться за то, что его интересовало. Он показал мне ряд картин, раскрывавших его творческое «я», как говорили тогда искусствоведы. Фабэр, чей одноактный спектакль был сыгран любителями на вечеринке в доме его дяди, удостоился восторженной похвалы со стороны некоего старого драматурга, приятеля дядюшки. Этот добряк полюбил Фабэра и рекомендовал театру «Одеон» первую

пьесу нашего товарища — «Степь». Ламбер-Леклерк служил секретарем у одного сенатора из департамента Ардеш, и тот обещал выхлопотать ему должность супрефекта. Я же успел написать к тому времени несколько новелл, которые прочитал на собрании «Пятерки».

Шалон молча выслушал нас. Затем он сделал ряд тонких и справедливых замечаний о моих первых литературных опытах. Он сказал, что один из рассказов перекликается с известной новеллой Мериме, а в стиле ощущается слишком явное влияние Баррэса, которым я в ту пору увлекался. Он успел побывать на пьесе Фабэра и, выказав поразительное знание драматургической техники, растолковал автору, как лучше переработать одну из сцен. Вдвоем с Бельтара он обошел его мастерскую и затем с редким знанием дела принялся рассуждать об импрессионистской живописи. Разговорившись с Ламбер-Леклерком, он дал подробный анализ политической ситуации в департаменте Ардеш и тут также обнаружил глубокое знание предмета. Все это снова укрепило нас в прежнем убеждении, что из всех членов кружка самый блистательный, несомненно, Шалон. Уже искренне робея перед ним, мы попросили его в свою очередь поведать нам, как развивалась его карьера.

Унаследовав восемнадцати лет от роду довольно значительное состояние, он поселился вместе со своими книгами в маленькой квартирке и, по его словам, приступил к работе сразу над несколькими произведениями.

Первое было задумано как большой роман в духе гетевского «Вильгельма Мейстера». Однако он должен был составить лишь первый том «Новой человеческой комедии». У Шалона родился также замысел театральной пьесы, в которой он собирался отдать дань одновременно Шекспиру, Мольеру и Мюссе: «Вы понимаете, что я хочу сказать, она должна быть преисполнена фантазии и иронии, легкости и глубокомыслия». Наконец, он уже начал работать над трактатом «О философии духа». «В какой-то мере мой трактат будет перекликаться с Бергсоном,— пояснил он,— но я пойду гораздо дальше в области анализа».

Я нанес ему визит. Мне, ютившемуся тогда в меблированных комнатах, квартира его показалась самым очаровательным уголком на свете. Старинная мебель, несколько копий статуэток из Лувра, отличная репродукция Гольбейна, полки с книгами в роскошных переплетах, оригинальный рисунок Фрагонара — все вместе оставляло впечатление обители настоящего артиста.

Он угостил меня английской сигаретой, ее аромат и даже цвет привели меня в восторг. Я попросил разрешения прочитать начало «Новой человеческой комедии», но Шалон еще не успел дописать первую страницу. Его пьеса не продвинулась дальше заголовка, а в фундамент «Философии духа» было заложено лишь несколько карточек. Зато мы долго любовались прелестным миниатюрным изданием «Дон-Кихота», снабженным восхитительными рисунками, которое он купил у владельца соседней букинистической лавки, рассматривали автографы Верлена, каталоги новых картин. Я провел у него весь вечер: он был чрезвычайно приятным собеседником.

■

Итак, судьба пожелала вновь соединить «Пятерку», и наш кружок сплотился теснее, чем когда бы то ни было.

Шалон, как человек без всяких занятий, обеспечивал связь между членами кружка. Сплошь и рядом он проводил целые дни в мастерской Бельтара. С тех пор как Бельтара написал портрет миссис Джэрвис — супруги американского посла, он очень вошел в моду, к нему то и дело наведывались хорошенькие женщины позировать для портрета. Они

приводили с собой подруг, которым вменялось в обязанность присутствовать на очередном сеансе или оценивать уже законченную работу. Мастерская была битком набита волоокими аргентинками, светловолосыми американками, эстетствующими англичанками, сравнивавшими нашего приятеля с Уистлером. Многие из этих женщин приходили сюда ради Шалона, который развлекал их и вообще нравился им. Бельтара, быстро оценив привлекательность нашего общего друга, умело использовал его обаяние. Для Шалона всегда было приготовлено специальное кресло, справа лежала коробка с сигарами, слева — мешочек с конфетами. Его присутствие оживляло мастерскую, а во время сеансов портретной живописи в его обязанности входило развлекать позирующую даму. Он сделался необходимым еще и потому, что обладал редким даром художественной композиции. Никто лучше него не умел подыскать обрамление, а также позу, идущие к внешности той или иной клиентки. Наделенный поразительным чувством цвета, он не раз указывал художнику на какой-нибудь мимолетно возникший желтый или голубой тон, который следовало тотчас закрепить на полотне.

— Ты мог бы писать блестящие статьи о живописи, старина! — говорил ему Бельтара, восхищенный его многообразными дарованиями.

— Знаю,— невозмутимо отвечал Шалон,— да только я не хочу разменяваться на пустяки.

В мастерской Бельтара он свел знакомство с госпожой Тианж, герцогиней Капри, Селией Доусон и миссис Джэрвис и от каждой получил приглашение на обед. Для них он был «литератор», друг Бельтара, именно так они и представили его гостям: «Господин Шалон, известный писатель». Он стал своего рода литературным консультантом красавиц, пользовавшихся наибольшим успехом в свете. Они водили его с собой в книжные лавки и просили посоветовать, что им читать. Каждой из них он обещал посвятить один из романов, которым предстояло войти в «Новую человеческую комедию».

Многие изливали ему душу. «Прошу вас, расскажите мне историю вашей жизни,— говорил он.— Знание тайных пружин тонкого женского ума необходимо мне, чтобы совладать с огромной махиной, которую я задумал». Его приятельницы убедились, что он не болтлив, и очень скоро стали ему поверять самые пикантные светские тайны. Стоило только Шалону появиться в какой-нибудь гостиной, и к нему тотчас устремлялись самые очаровательные женщины. Привыкнув изливать ему душу, они вскоре нашли, что он замечательный психолог. Стали говорить: «Шалон — самый тонкий и умный из всех мужчин».

— Взяться бы тебе за психологический роман,— сказал я ему однажды.— Никто лучше тебя не смог бы описать современную женщину.

— Не спорю, конечно это так,— отвечал он мне с видом человека, обремененного множеством дел и вынужденного отказываться от забавы, которая могла бы доставить ему известное удовольствие,— но ведь мне нужно двигать мою махину... Как-никак я вынужден сосредоточиться на чем-то одном.

Часто за ним заходил в мастерскую Фабэр и уводил его на репетицию новой пьесы. С того самого времени, как его «Карнавал» был встречен таким шумным успехом, Фабэр стал весьма популярен в театрах парижских бульваров. Бывают минуты, когда доведенные до изнеможения актеры и постановщик чуть ли не готовы бросить пьесу на произвол судьбы, в эти минуты Фабэр рассчитывал на помощь Шалона, на свежесть его восприятия. Тот блестяще справлялся с задачей. Он чувствовал динамику каждой сцены, внутреннюю поступь каждого акта, безошибочно улавливая любую ложную интонацию или чрезмерно затянувшуюся тираду. Поначалу актеров раздражал этот чужак, но очень скоро они привыкли считать его своим. Актеры испокон веков враждуют

с драматургами, но этого человека, который сам ничего не создал, они полюбили искренне. Он быстро завоевал известность в театральном мире, сначала как «друг господина Фабэра», а затем и самостоятельно. Стоило ему улыбнуться контролерам, и они тотчас же кидались отыскивать для него место. Во многих театрах секретари дирекции неизменно приглашали его на каждую генеральную репетицию.

— Из тебя получился бы отличный театральный критик,— говорил Фабэр.

— Разумеется,— отвечал Шалон,— а все же не мое это дело.

Когда каждому из членов «Пятерки» исполнилось тридцать четыре года, я получил премию Гонкуров за свой роман «Голубой медведь», а Ламбер-Леклерк — депутатский мандат. Известность Фабэра и Бельтара с некоторых пор заметно возросла. Дружба, соединявшая нас, нисколько не ослабла. Казалось, без особого труда воплотился в жизнь наш давний романтический план, так сильно занимавший нас в лицее. Наш маленький кружок неторопливо протягивал к разным кругам общества цепкие щупальца. Мы и впрямь представляли собой в Париже известную силу, тем более заметную, что она не была скована официальными рамками.

Конечно, юридическое признание того или иного художественного объединения влечет за собой определенные преимущества. Славу, завоеванную одним из его членов, публика автоматически приписывает всем остальным. А название кружка, если только оно удачно выбрано, возбуждает любопытство. Так в тридцатые годы было простительно не знать, кто такой Сент-Бёв, но быть незнакомым с романтиками считалось позором. Однако неудобства, сопутствующие официальному признанию кружков, пожалуй, еще очевиднее преимуществ. Упадок славы, как раньше ее блеск, распространяется на всех членов кружка без исключения. Доктрины и манифесты легко подпадают под обстрел. Вольным стрелкам легче сражаться.

У каждого из нас была своя область деятельности, а потому мы не знали ни зависти, ни соперничества. Вместе мы составляли чудесный ансамбль, спаянный взаимным восхищением. Едва только один из нас проникал в какой-нибудь новый салон, он тотчас начинал так живо расхваливать всех остальных членов кружка, что тут же добивался для них приглашения. Большинство людей до того заражены леностью ума, что всегда готовы принять суждение, вынесенное каким-либо авторитетом. Фабэра считали крупным драматургом, потому что так отзывался о нем я, а сам я слыл «глубочайшим из романистов», потому что так характеризовал меня Фабэр. Когда всё в той же мастерской Бельтара мы устроили свой собственный прием, нам без особого труда удалось собрать у себя всех, с кем только стоило водить знакомство в Париже. Это был прелестный вечер. Хорошенькие женщины сыграли нам небольшую комедию Фабэра на фоне декораций Бельтара. Разумеется, истинной душой вечера все наши гости считали Шалона. У него было столько же свободного времени, сколько обаяния. Мы и не заметили, как он стал законодателем нашей светской жизни. Когда нам говорили: «Ваш обворожительный друг...» — мы знали, что речь идет о Шалоне.

Он по-прежнему ничего не делал — под этим я подразумеваю не только то, что он не добавил ни единой строки к задуманному роману, как, впрочем, и к пьесе, и к трактату «Философия духа»,— нет, Шалон бездельничал в самом прямом смысле этого слова. Он не только не выпустил в свет ни единой книги, но за всю свою жизнь вообще не написал ни одной журнальной статьи, ни даже газетной заметки, ни разу не выступил с речью. Не то чтобы ему было трудно добиться издания своих книг — он был знаком, и притом весьма близко, с лучшими издателями и редакторами журналов. Нельзя также утверждать, будто он решил

навсегда остаться в роли наблюдателя по своему собственному, свободно сделанному и заранее обдуманному выбору. Нет, пожалуй, Шалон испытывал обычную тягу к славе. Безделие его было результатом различных и взаимно переплетавшихся причин — врожденной лености, неустойчивых интересов, своего рода паралича воли. Художник всегда в чем-то ущербен, именно эта ущербность и отрывает его от реальности, заставляет «парить» над ней. Шалон же слишком уютно расположился в жизни, и она совершенно его удовлетворяла. Его безграничная леность отражала всю полноту его счастья.

К тому же не было писателя, который не называл нашего друга «мой дорогой собрат» и не посылал бы ему своих книг. По мере того как каждый из нас взбирался на очередную ступень иерархической лестницы, олицетворявшей парижское общество, где за кажущейся вольностью скрывается беспощадный контроль, Шалон тоже продвигался вперед, и ему также перепадали почести, заработанные тем или другим из нас. Мы бережно заботились о том, чтобы его самолюбие никоим образом не ущемлялось. Так какой-нибудь свежеиспеченный генерал, слегка смущенный честью, которой, как он опасается, обязан случаю, силится оказать протекцию старому приятелю по Сен-Сиру.

Понемногу около нас начали вертеться молодые люди, искавшие нашей поддержки. Шалона, бывшего с нами на равной ноге, они называли не иначе как «дорогой учитель»: поколение это славится осмотрительностью. Возможно, в своем кругу они и спрашивали друг у друга: «А что он такое написал? Ты читал какую-нибудь из его книг?» Случалось, иной невежда начинал расточать ему похвалы за «Голубого медведя» или «Калибана».

— Простите,— сухо отвечал Шалон, и в тоне его сквозила обида.— Это и в самом деле стоящие вещи, но только не мои.

К тому же из нас пятерых он был единственным, охотно соглашавшимся просматривать чужие рукописи и давать советы, бесполезные, как и все советы, но неизменно тонкие и мудрые.

Эта дутая слава складывалась так медленно и таким естественным путем, что никого из нас она не удивляла. Мы были бы изумлены и обижены, если бы кто-нибудь вдруг забыл пригласить нашего друга на одну из тех официальных церемоний, где обычно собираются «деятели литературы и искусства». Но никто никогда не забывал этого делать. Лишь изредка, когда судьба сталкивала нас с каким-нибудь замечательным, но бедным, одиноким и безвестным художником, обиженным публикой и власть имущими, мы иной раз на какое-то мгновение задумывались над парадоксальностью успеха, выпавшего на долю Шалона. «Да,— думали мы,— быть может, это и впрямь несправедливо, но что поделаешь? Так было, так будет. К тому же у того, другого, есть талант, выходит, так или иначе он остается в выигрыше».

Однажды утром, придя к Шалону завтракать, я увидел в углу его комнаты усердного и весьма симпатичного юношу, сортировавшего какие-то старые журналы. Шалон представил его: «Мой секретарь».

Спустя несколько дней Шалон рассказал, что платит ему триста франков в месяц и что расход этот несколько стесняет его. «Да что поделаешь,— добавил он сокрушенно,— нашему брату трудно обходиться без секретаря».

■

Война девятьсот четырнадцатого года — точно ударом сабли — перерубила пополам жизнь каждого из нас.

Бельтара пошел в драгуны, Фабэр стал служить летчиком в Салониках, а Ламбер-Леклерк, отделавшись почетным ранением, вернулся

в парламент и вскоре получил должность помощника статс-секретаря. Шалон сначала был солдатом интендантской службы при каком-то складе, откуда его отозвало ведомство пропаганды. Когда мы с Фабэром демобилизовались, он оказался нам чрезвычайно полезен: за время нашего длительного отсутствия мы успели утратить контакты с парижским светом, он же, напротив, близко сошелся со многими влиятельными людьми.

Бельтара получил крест за военные заслуги. Фабэр уже давно был представлен к награде. Ламбер-Леклерк добился от своего коллеги по департаменту искусств, чтобы меня включили в первую партию штатских, награжденных сразу же после перемирия. «Четверка» угостила меня чудесным обедом с икрой, осетриной и водкой в одном из тех русских ресторанов, какие появились здесь после революции. Музыканты в шелковых кафтанах наигрывали цыганские мелодии. Нам показалось, а может быть, это было влияние музыки, что Шалон немного загрустил.

Домой я возвращался вместе с Фабэром, жившим в том же квартале. Стояла прекрасная зимняя ночь. Шагая по Елисейским полям, мы говорили только о Шалоне.

— Бедняга! — заметил я.— Как горько, должно быть, в его годы, оглянувшись назад, увидеть одну пустоту!..

— Ты думаешь, он сознает это? По-моему, он просто великолепен в своей беспечности...

— Не знаю. Скорее всего, он воспринимает жизнь двояким образом. Когда все идет хорошо, когда повсюду ему поют хвалу и наперебой зазывают к себе, он и не вспоминает, что ничем не заслужил такого почета. Но в глубине души он не может не сознавать этого. Тревога постоянно гнездится в нем и прорывается наружу, как только вокруг него стихает гул восхищения. Взять, к примеру, сегодняшний вечер, когда вы так тепло говорили о моих книгах, а я отвечал вам, как умел, разве мог в эти минуты Шалон не чувствовать, что самому-то ему нечего сказать о себе?

— Но бывают люди, совершенно лишенные честолюбия и поэтому не знающие зависти!

— Конечно, бывают, да только вряд ли Шалон из их числа. Человек такого рода должен быть либо предельно скромным, однажды сказавшим себе: «Все это для меня недосягаемо», либо непомерно гордым и потому провозгласившим: «Ничего этого мне не надобно». А нашему Шалону надобно то же, что и всем, да только леность берет в нем верх над честолюбием. Уверяю тебя, положение его нелегкое.

Мы долго говорили на эту тему, каждый из нас охотно возвращался к ней. На фоне ни с чем не сравнимого творческого бесплодия Шалона мы еще явственнее ощущали собственную плодовитость, и это приятное чувство порождало в наших сердцах острую жалость к другу.

Назавтра мы с Фабэром отправились в министерство к Ламбер-Леклерку.

— Мы хотим,— сказал я ему,— поделиться с тобой мыслями, возникшими у нас вчера, после нашей встречи... Не думаешь ли ты, что Шалону неприятно видеть, как мы четверо щеголяем наградами, тогда как он один оставлен в стороне? Награды не имеют значения, говоришь ты? Согласен, но ведь ничто вообще не имеет значения. Награда — это символ. Наконец, если она и впрямь лишена всякого значения, то почему бы Шалону не быть в числе награжденных, подобно всем нам и многим другим?

— Лично я не возражаю, — ответил Ламбер-Леклерк,— но для этого нужны какие-то заслуги...

— Что? — возмутился депутат из глубин дивана, на котором возлежал.— Не мог я сказать такую пошлость!

— Прости, но Фабэр может подтвердить. Ты сказал: нужна хотя бы видимость заслуг...

— Так-то уж лучше,— согласился Ламбер-Леклерк.— Ведь я не имел никакого отношения к департаменту искусств и не мог поступать так, как мне заблагорассудится. Помнится, однако, я сказал вам тогда, что, если Шалон согласен получить награду по моему ведомству, то есть по департаменту продовольственного снабжения, дело это нетрудно уладить.

— Чепуха все это! — отмахнулся рассказчик.— Но готов признать,— ты скоро сдался. Прошло немного времени, и Шалон также получил крест. Вручая ему заявление, которое он должен был подписать, я был несколько раздосадован тем, что все сделанное нашими руками он воспринял как нечто вполне закономерное. И я имел неосторожность сказать ему, что нам было нелегко вырвать для него награду.

— В самом деле? — спросил он.— А я, наоборот, полагал, что это чрезвычайно просто.

— Да, если бы мы могли перечислить твои заслуги...

Но удивление его было так велико, что я поспешил переменить тему разговора.

■

Друзья и почитатели Шалона устроили в его честь небольшой банкет. Ламбер-Леклерк привел с собой министра просвещения, оказавшегося толковым малым. Пришли также два академика, писатель — лауреат Гонкуровской премии, актрисы и представители высшего света. Атмосфера с самого начала была отличная. Человек, если только его не мучит зависть или страх, в общем животное незлобивое. А Шалон никому не мешал и каждому был симпатичен. Уж коль скоро представилась возможность обласкать его, все были рады стараться. В глубине души гости понимали, что герой вечера — это фикция, которую они сами создали. Они были признательны ему за то, что своим существованием он всецело обязан их доброй воле. В причудливом взлете его фортуны они видели верное подтверждение собственного могущества, поскольку они сами сотворили эту славу из ничего. Людовик XIV всегда благоволил к людям, которые были обязаны ему всем,— во все времена избранники судьбы схожи в этом с Королем-Солнцем.

За десертом один из поэтов прочитал прелестные стихи. Министр произнес небольшую речь, «слегка сдобренную дружеской иронией», как сказали бы братья Гонкуры. Он говорил о глубоком и неоценимом влиянии Шалона на современную французскую литературу, о его таланте собеседника, о Ривароле и Маллармэ. Все обедавшие поднялись из-за стола и стоя приветствовали юбиляра. Затем Шалон произнес ответную речь, исполненную изящества и скромности. Его слушали с добрым, проникновенным волнением. Одним словом, бывают же удачные вечера, а этот вечер выдался на редкость славный.

Я отвез Шалона домой в моем автомобиле.

— Все было очень мило,— сказал я ему.

Он улыбнулся счастливой улыбкой.

— Да, не правда ли? — отозвался он.— А всего приятнее мне показалось, что гости говорили совершенно искренне.

И он был прав.

■

Таким образом перед Шалоном — на радость его друзьям — открывалась прямая и великолепная карьера, ровная, как королевская дорога. Ни единого пятнышка на ней, ни одного провала — преимущество

ничтожества в том и состоит, что оно неуязвимо. В мечтах мы уже видели, как наш друг прикалывает к лацкану пиджака розетку кавалера Почетного легиона, а немного погодя надевает и галстук, свидетельствующий о принадлежности к высшим чинам этого ордена. В некоторых домах даже поговаривали о том, не пора ли избрать Шалона в Академию. Как-то раз княгиня Т. робко заговорила об этом с академиком, от которого зависят выборы «бессмертных». Он ответил: «Да, мы уже и сами подумывали о нем, но сейчас это еще было бы несколько преждевременно». Лицо Шалона постепенно обретало ту просветленность, которую дает высшая мудрость или же полнейшая праздность, что, впрочем, быть может, одно и то же.

Как раз в это время к нему вдруг начала проявлять интерес миссис Глэдис Пэкс. Глэдис Ньютон Пэкс была богатой и хорошенькой американкой, которая, как почти все богатые и хорошенькие американки, проводила (да и сейчас проводит) большую часть года во Франции. У нее своя квартира на улице Франциска I и свой дом на юге Франции. Ее муж Уильям Ньютон Пэкс был председателем правления «Юниверсэл раббер компани» и нескольких железнодорожных обществ. Сам он жил в Европе только во время отпуска.

Все мы были давно знакомы с Глэдис Пэкс, которая всегда страстно увлекалась современной литературой, живописью и музыкой. В пору дебюта Бельтара она уделила ему много внимания. Она покупала его картины, заказала ему свой портрет и помогла получить заказ на тот самый портрет миссис Джэрвис, который положил начало славе художника. Два года подряд она говорила со своими друзьями лишь об одном Бельтара, давала обеды в честь Бельтара и наконец пригласила его провести зиму в ее доме в Напуле, чтобы он мог там спокойно поработать.

Вскоре к Бельтара пришел успех, а успех начисто убивал интерес миссис Пэкс к ее протеже. Глэдис отличается замечательным умом, но в своей любви к искусству напоминает некоторых биржевых маклеров — тех самых, что пренебрегают общепризнанными ценностями и упорно интересуются лишь акциями мелких фирм, пока еще не известных широкой публике, но перспективных, как явствует из добытых ими секретных и точных сведений. Ей нравятся писатели, которых никто не издает, безвестные драматурги, чьи пьесы в лучшем случае раза три показал какой-нибудь архисовременный театр, музыканты типа Эрика Сати (до того как у него появились последователи) или же эрудиты, знатоки какой-нибудь редкой и сложной области, например трудов по буддизму или китайскому искусству.

Впрочем, среди людей, которым она покровительствовала, не было еще ни единой бездарности, ни даже посредственности. Глэдис умна и наделена вкусом. Но страх перед всем банальным, вульгарным способен отвратить ее от самого лучшего, что есть на свете. Я не могу представить себе Глэдис Пэкс, зачитывающуюся Толстым или Бальзаком. Она одевается отлично, у самой лучшей портнихи, но сразу же бросает платье, даже самое изящное и любимое, если только узнает, что у него появился двойник. Точно так же она обращается и со своими писателями и художниками: как только ее подруги начинают их признавать, она «уступает» их своей прислуге.

Кажется, я сам виноват в том, что она взяла на прицел Шалона. Однажды вечером, на обеде у Элен де Тианж, меня посадили рядом с Глэдис. Случилось так, сам не знаю почему, что мы заговорили о Шалоне, и, помнится, я сказал:

— Нет, он никогда ничего не издавал, но у него большие замыслы и уже есть наброски некоторых работ.

— Вы видели их?

— Да, но я ничего не могу о них рассказать. Это чрезвычайно беглые заметки.

Я говорил безо всякого умысла, но этого было достаточно, чтобы возбудить любопытство женщины типа Глэдис Пэкс. Сразу же после обеда она захватила Шалона в плен и, к великой досаде Элен, любившей, чтобы на ее приемах группы беседующих непрерывно менялись, больше не отпускала его от себя в течение всего вечера. Я наблюдал за ними издалека. «Мне следовало бы предвидеть это,— говорил я себе.— Но Шалон для Глэдис Пэкс — лучшая находка. Она ищет неизвестное, скрытое от всех. Но никто не может похвалиться более узким читательским кругом, чем Шалон, вообще не располагающий читателями. И где найти что-либо более скрытое от людей, чем его произведения, которые до сих пор не написаны? Физик, добивающийся все большего разрежения воздуха в баллоне, стремится к созданию абсолютного вакуума. Так и Глэдис Пэкс — в поисках самых миниатюрных масштабов творчества она неизбежно должна была столкнуться с вакуумом. В лице Шалона она обрела его. Это подлинный венец карьеры для обоих. Видно, я невольно осчастливил их».

Следующий день действительно ознаменовал начало эры Шалона в жизни Глэдис Пэкс. Условились, что он будет обедать у нее три раза в неделю, что она придет к нему посмотреть его рукописи, а будущей зимой увезет его в Напуль, «чтобы он мог там спокойно поработать». Несколько дней меня мучил страх при мысли о первом знакомстве Глэдис Пэкс с рукописями Шалона. Я опасался, не сочтет ли даже она его заметки слишком скупыми. Но оказалось, что я проявил излишнюю трусость и полное непонимание обстановки. На следующий день после первого ознакомления с рукописями я встретил ее — она была в восторге: «There is more in this,— заявила она.— В заметках и замыслах вашего друга — больше оригинальных мыслей, чем в пространных сочинениях Генри Джеймса...» Все шло отлично.

Духовная идиллия продолжалась около двух месяцев. За это время Глэдис Пэкс успела оповестить весь Париж о том, что она решила заняться изданием произведений незаслуженно обиженного гения, иначе говоря — нашего Шалона. Она уже подыскала издателя и теперь занималась поисками человека, который перевел бы книгу Шалона на английский язык. Она представила Шалона всем знаменитым иностранцам, проезжавшим через Париж,— Джорджу Муру и Пиранделло, Гофмансталю и Синклеру Льюису. Затем, исчерпав все возможные способы рекламы, она потребовала, чтобы Шалон дал ей хоть какой-нибудь текст.

Она удовлетворилась бы самой малостью, коротеньким эссе, небольшой брошюрой, наконец хоть несколькими страницами любой рукописи, однако Шалон, который, по своему обыкновению, и не думал приниматься за работу, ничем не мог ее порадовать. Он объявил ей это с безмятежностью, в ту пору ничем еще не омраченной. Но Глэдис Пэкс не могла оставить гения «нераскрытым». Раз десять в жизни она уже брала под свое крылышко безвестных, бедных и робких людишек, по прихоти судьбы наделенных даром писать книги, создавать картины или сочинять музыку, и за какие-нибудь несколько месяцев превращала каждого в знаменитость, знакомства с которой все искали и перед которой благоговели. Эти метаморфозы доставляли ей острое наслаждение. Она твердо и с полным основанием верила в свое умение находить таких людей и создавать им известность. Уж коль скоро она взяла на себя роль наставницы Шалона, тот обязан был приняться за работу, хотел он того или нет.

Не знаю, как она добилась своего — скорее всего, лестью, а может быть, заманчивыми обещаниями (в кокетстве я ее не подозре-

ваю, я всегда знал, что Глэдис совершенно холодна и полна добродетели), — но однажды утром ко мне в сильном смущении явился Шалон.

— Я пришел спросить у тебя совета,— сказал он.— Глэдис Пэкс предлагает предоставить мне на зиму свой дом в Напуле, чтобы я мог там спокойно поработать. Сказать по правде, не очень-то хочется расставаться с Парижем... К тому же я не ощущаю сейчас прилива творческих сил... Но знаю, что мое согласие доставит ей большую радость. Она сильно увлечена моим романом, и мысль о том, что за несколько месяцев уединения я, быть может, завершу свой труд, довольно заманчива...

«Завершить свой труд» — выражение это показалось мне забавным эвфемизмом, ведь, насколько мне было известно, Шалон даже не начинал работать над романом. Но поскольку он говорил с невозмутимой серьезностью, я не стал придираться к словам.

— Что ж,— отвечал я ему,— я в восторге от этой идеи. Миссис Пэкс тысячу раз права. Ты, бесспорно, обладаешь большим талантом,— твои повседневные и самые обычные беседы с людьми — это же готовые главы блестящей книги. Если женская забота и восхищение, а также покой помогут тебе наконец высказать мысли, которые, как мы хорошо знаем, у тебя накопились,— все мы будем очень рады... Соглашайся, старина, ты не только мне, но и всем нам доставишь большое удовольствие...

Он поблагодарил меня и спустя несколько дней зашел проститься. За всю зиму мы получили от него лишь несколько открыток. В феврале я отправился в Напуль проведать его.

■

Владение Пэксов чрезвычайно красиво, они реставрировали небольшой замок, возвышающийся над заливом и выстроенный в ярко выраженном провансальском стиле. Контраст между суровостью окрестного пейзажа и чуть ли не сказочным уютом, царящим в доме, создает ощущение волшебства. Сады спускаются книзу по искусственным террасам: чтобы разбить их на скалистом склоне, понадобилось доставить горы бетона. За огромные деньги Пэксы вывезли из Италии кипарисы, живописно оттеняющие назойливо декоративный пейзаж. Когда я вошел, дворецкий объявил мне, что мсье Шалон работает. Ждать пришлось довольно долго.

— Ах, дорогой мой,— сказал Шалон, соблаговолив наконец выйти ко мне,— право, я не знал, что такое труд. Пишу, и ощущение радости, щедрости чувств не покидает меня. Одолевают, оглушают мысли. Перо не успевает запечатлевать образы, воспоминания, идеи, возникшие в моей памяти. Скажи, знакомо это тебе?

Я смиренно признался, что лишь очень редко испытывал пароксизм изобилия. Однако, сказал я, вполне естественно, что в этом он счастливее меня, к тому же долгое молчание, видно, позволило ему накопить такой материал, какой и не снился никому из нас.

Я провел весь вечер с ним наедине (миссис Пэкс еще не возвратилась из Парижа) и нашел в нем любопытные перемены. В былые времена он немало славился занимательностью своей беседы. Мне самому, располагавшему лишь скудным досугом для чтения, было крайне важно иметь в лице Шалона приятеля, который читал решительно все. Ему я был обязан открытием самых интересных молодых писателей. Поскольку каждый свой вечер он отдавал то посещению театра, то какому-нибудь светскому приему, в Париже никто не знал большего числа всевозможных историй, интимных драм, анекдотов. А главное — Шалон был одним из тех редких друзей, с которыми всегда можно было говорить о

себе, о своей работе, чувствуя при этом, что твой рассказ действительно интересует собеседника и, слушая тебя, он вовсе не думает о чем-то своем. А это всегда чрезвычайно приятно.

Однако человек, которого я застал в Напуле, был совсем не похож на того, прежнего Шалона. Вот уже два месяца, как он не раскрывал ни одной книги, ни с кем не видался. Он говорил — в буквальном смысле слова — только о своем романе. Я начал рассказывать ему о наших общих друзьях. Несколько минут он слушал меня, а затем, вынув из кармана маленькую книжечку, принялся записывать.

— Что ты делаешь? — спросил я.

— О, пустяки, просто мне пришла в голову одна мыслишка, связанная с моим романом, и я боюсь упустить ее...

Минуту спустя, когда я повторил ему остроумное словцо одного из клиентов Бельтара, записная книжка снова оказалась тут как тут...

— Опять! Это уже похоже на манию!

— Дорогой мой, пойми: я вывел в своей книге персонаж, кое-чем напоминающий нашего Бельтара. То, что ты сейчас рассказал, может мне пригодиться.

Он весь был во власти того омерзительного всепоглощающего усердия, какое обычно свойственно начинающим. Я привез с собой несколько глав моей новой книги и собирался прочитать их Шалону, стремясь, как всегда, узнать его мнение. Но добиться, чтобы он выслушал меня, оказалось невозможным. И я решил, что он стал невыносимо скучен. Окончательно же я потерял терпение, когда Шалон стал пренебрежительно отзываться об авторитетах, перед которыми мы всегда преклонялись.

— Значит, тебя восхищает естественность Стендаля? — спросил он.— И повергает тебя в изумление?.. Ну что ж... А все же ни «Пармская обитель», ни «Красное и черное» не поднимаются над уровнем газетных «романов с продолжением». Мне кажется, можно писать несравненно лучше...

Я был почти рад, когда пришло время прощаться.

■

Вернувшись в Париж, я сразу же по достоинству оценил, каким замечательным «импресарио» была Глэдис Пэкс. В столице уже много толковали о книге Шалона и толковали именно так, как надо. Здесь не было и следов той грубой и шумной рекламы, которая отталкивает утонченную публику. Казалось, Глэдис сумела найти секрет создания романтической славы и окружить имя своего избранника ее неярким таинственным ореолом.

Со всех сторон меня засыпали вопросами: «Вы вернулись с юга? Шалона видели? Говорят, книга его восхитительна?»

Глэдис Пэкс провела весь март в Напуле и вскоре сообщила нам, что роман почти завершен, но Шалон еще ничего ей не показывал. Он заявил, что его детище представляет собой единое целое и знакомить кого бы то ни было с отрывками означало бы безжалостно раздирать это целое на части.

Наконец в начале апреля Глэдис известила нас, что Шалон возвращается в Париж. По его просьбе она на одну из ближайших суббот пригласила нас к себе — послушать чтение романа.

О, это чтение! Наверно, никто из нас за всю свою жизнь не забудет его. Гостиную в доме на улице Франциска I убрали точно для театрального спектакля. Свет всюду погасили: горела одна-единственная венецианская лампа, чье молочно-белое сияние мягко освещало фигуру читавшего, рукопись и красивую ветку шиповника, стоявшую позади Шалона в вазе из китайского фарфора.

Телефон был выключен. Слуги получили приказ ни при каких условиях не тревожить нас. Шалон нервничал, держался с ложной веселостью и излишним фатовством, но миссис Пэкс сияла радостью торжества. Она усадила его в кресло, поставила перед ним стакан воды, поправила абажур. Он надел толстые роговые очки, откашлялся и наконец начал читать.

После первых же десяти фраз мы с Фабэром переглянулись. Есть такие виды искусства, где легко ошибиться в оценке, где новизна аспекта, оригинальность манеры ошеломляют зрителя, искажая его суждение, но писатель — тот виден с первых же слов. А тут нам сразу открылось самое худшее: Шалон не умел писать, совсем-совсем не умел. Когда начинающий молод, то наивность, непосредственность его книги могут показаться привлекательными. Шалон же написал неуклюже и пошло. От этого утонченного и многоопытного человека мы скорее могли ожидать чрезмерной усложненности. Но столкнулись мы с совершенно иным: то, что мы слышали, могла бы написать любая мидиентка. В романе назойливо проступала дидактическая линия, унылая и примитивная. Когда Шалон подошел к третьей главе, нам — вслед за ничтожностью формы — открылась также ничтожность сюжета. Мы смотрели друг на друга с отчаянием, Бельтара еле заметно пожал плечами. Его взгляд говорил мне: «Ну кто бы подумал?» А Фабэр качал головой и бормотал: «Возможно ли?» Я же следил за Глэдис Пэкс. Понимала ли она, подобно нам, чего стоила книга Шалона?

Сначала она слушала Шалона с радостным удовлетворением, но вскоре стала беспокойно ерзать на стуле и время от времени вопросительно поглядывала на меня. «Какой провал! — подумал я.— Что же ей сказать?»

Читка длилась более двух часов, и за это время никто из присутствовавших не разомкнул рта. До чего же патетичны плохие книги! Самые лучшие намерения воплощаются с детской беспомощностью, широко раскрывается в книге наивная душа автора. Слушая Шалона, я с изумлением обнаружил, что в душе его гнездился целый мир разочарований и грусти, попранных надежд. Я подумал, что было бы забавно написать книгу о человеке, сочинившем плохой роман. Надо бы дать в книге весь текст романа, который позволил бы взглянуть на автора с неожиданной стороны. Шалон читал, и вдохновлявшие его добрые чувства, скованные уродливо нелепой формой, напоминали трогательную и смехотворную любовь чудовища.

Когда он кончил, какое-то время все хранили молчание. Мы надеялись, что нас выручит Глэдис Пэкс. В конце концов ведь она была хозяйкой дома и устроительницей этого вечера. Но лицо ее дышало мрачной враждебностью. Бельтара, как верный сын юга, наделенный поистине замечательным хладнокровием, понял, что надо спасать положение, и тут же экспромтом произнес подходящую тираду. Объяснив наше молчание волнением, он выразил благодарность миссис Пэкс, без которой, сказал он, никогда не была бы написана эта прекрасная книга. Обернувшись ко мне, он заключил:

— Сиврак, я полагаю, сочтет за честь отнести ее своему издателю.

— О,— сказал я,— моему или какому-нибудь другому, все равно... Кажется, миссис Пэкс...

— Нет, зачем же другому? — живо возразил Шалон.— Твой издатель мне нравится, он знает свое дело. Если ты согласен взять на себя этот труд, я буду тебе очень признателен.

— Ну, разумеется, дорогой мой, нет ничего проще.

Молчание миссис Пэкс становилось неприличным. Она позвонила слугам, велела принести апельсиновый сок и печенье. Шалон начал про-

щупывать гостей: для полноты счастья ему нужны были конкретные похвалы.

— Что вы думаете об образе Алисы?

— Очень хорош! — сказал Бельтара.

— Не правда ли, мне удалась сцена примирения?

— Это самый лучший эпизод книги,— сказал Бельтара.

— О нет! — возразил Шалон.— Совсем нет. Самый лучший — это момент встречи Джорджианы с Сильвио.

— Ты прав,— согласился Бельтара,— эта сцена еще сильнее.

Миссис Пэкс отвела меня в угол.

— Прошу вас,— сказала она,— будьте со мной откровенны. Ведь это жалкий лепет, не правда ли? Совсем-совсем безнадежный?

Я утвердительно кивнул.

— Как же это могло случиться? — продолжала она.— Если бы только я могла подумать... Но он казался таким умницей...

— Он и есть умница, дорогая миссис Пэкс. Талант писателя и светское остроумие — разные вещи. Но ошибиться тут немудрено.

— Нет, нет, то, что он написал, ниже всякой критики... А главное, нельзя допустить, чтобы книга вышла в свет. После всего, что я о ней говорила... Надо сказать ему, что это чушь, не правда ли, что это просто срам?

— Погодите, умоляю вас. Вы не представляете себе, какую рану вы ему нанесете. Завтра, встретясь с ним с глазу на глаз, я попытаюсь все объяснить ему. Но сегодня пощадите его. Уверяю вас, иначе нельзя.

Назавтра, как только я попытался подвергнуть критике какую-то деталь его книги, Шалон встретил мое деликатное и робкое замечание таким негодующим высокомерием, что я понял: он взвинчен до предела. Мужество тут же оставило меня.

Мой долгий опыт убедил в полной бесплодности подобных начинаний. К чему еще раз разыгрывать известную сцену из «Мизантропа»? Я знал, что в ответ услышу неизменное в таких случаях: «А я утверждаю, что стихи мои хороши»,— и у меня недостанет жестокости дать на это надлежащий ответ. Разумнее было сразу же отступить. Уходя, я взял рукопись и тут же отнес своему издателю, сказав лишь, что это книга Шалона.

— В самом деле? — переспросил он.— Книга Шалона? Я просто в восторге оттого, что вы приберегли ее для меня. Я уже много слышал о ней. Очень признателен вам, дорогой друг, за то, что вы принесли ее мне. Как вы думаете, может, сразу предложить ему контракт на десять лет вперед?

Я посоветовал ему немного с этим повременить. У меня еще теплилась слабая надежда, что он прочитает рукопись и откажется ее издавать. Но вы ведь все знаете, как делаются эти дела. Наши имена — мое и Шалона — служили издателю порукой, и он отправил рукопись в набор, даже не просмотрев ее. Эта весть утешила Шалона, огорченного поведением своей покровительницы.

Миссис Пэкс три дня дожидалась результатов моих усилий. Когда же узнала, чем все кончилось, она, как честная и непреклонная протестантка, сурово отчитала меня за малодушие, Шалону же написала сухое письмо. Назавтра он с удивлением и негодованием показал его нам. Он долго искал причину, которая могла бы служить объяснением столь вопиющей несправедливости со стороны Глэдис. В конце концов он остановился на одной версии, совершенно абсурдной, но избавлявшей его от унижения. Он вообразил, будто Глэдис Пэкс узнала себя в образе чуть-чуть смешной англичанки, выведенной в его книге. После этого он вновь обрел прежнее безмятежное спокойствие и больше о ней не вспоминал.

■

Спустя три месяца книга вышла в свет.

В газетах появились неплохие отклики. Парижский свет был слишком расположен к Шалону, чтобы решиться огорчить его без всякой надобности. Критики из числа его друзей сказали о книге несколько добрых слов, другие же молчали.

Зато с потрясающей быстротой распространилась устная молва. Несколько дней подряд, кого бы я ни встретил, каждый бросался ко мне со словами: «Ну, что вы скажете о Шалоне? Виданное ли дело? Это же бог знает что!» Через месяц весь Париж, не читая книги, уже знал, что ее и не стоит читать. В витринах книжных магазинов блекли краски на обложках романа: сначала они сделались бледно-лимонного цвета, затем постепенно стали чернеть. К концу года почти весь тираж возвратился к издателю. Он потерял все затраченные средства, а Шалон между тем уверял, будто тот его ограбил.

Провал книги немало озлобил его. Отныне он начал делить человечество на две категории: «тех, кто хорошо отнесся к моей книге», и «тех, кто плохо отнесся к ней». Это чрезвычайно осложняло его общение с людьми. Когда мы хотели пригласить кого-нибудь пообедать с нами, Шалон говорил:

— Нет, этого не зовите! Терпеть его не могу!

— Почему? — удивлялся Фабэр.— Он умен и вообще неплохой малый.

— Он неплохой малый? — возмущался Шалон.— Да он даже ни слова не написал мне о моей книге.

Этот человек, ранее слывший таким скромным и обаятельным, начал страдать невыносимым тщеславием. Он неизменно носил в кармане одну и ту же хвалебную рецензию, опубликования которой я добился с огромным трудом, и читал ее каждому встречному.

Стоило какому-нибудь критику перечислить наиболее талантливых романистов нашего поколения — и Шалон негодовал, не обнаружив в этом списке своего имени. «Биду — подлец!» — говорил он. Или: «От Жалу я этого не ждал!..» В конце концов подобно тем безумцам, которые, обвинив во всех грехах соседей, затем объявляют врагами собственную жену и детей, он вдруг решил, что и «Пятерка» недостаточно хорошо отнеслась к его книге, и постепенно отдалился от нас.

Быть может, в какой-нибудь другой, менее искушенной среде он по-прежнему встречал то слепое почитание, которое мы так долго выказывали ему. Три раза подряд он не явился на наши встречи. Бельтара написал ему, но ответа не получил. Тогда было решено, что я сам отправлюсь к нему как посланец всей «Четверки».

— В сущности,— говорили мы,— бедняга же не виноват, что начисто лишен таланта!

Я застал его дома, и он принял меня, но в обращении его сквозила холодность.

— Нет, нет,— отвечал он мне.— Все дело в том, что люди подлы, и вы ничем не лучше других. Пока я был у вас на ролях советчика, восторженного поклонника ваших успехов, вы оставались моими друзьями. Но как только я вздумал сам заняться творчеством, как только ты, да, именно ты, почувствовал во мне возможного соперника, ты сделал все, чтобы замолчать мою книгу.

— Я? Да если бы ты знал, чего только я не сделал в твоих интересах!..

— Знаю... Видел, как это происходит: пьют будто за здравие, а выходит — за упокой!..

— Боже мой, Шалон, ты чудовищно несправедлив! Да вспомни тот

день, когда ты пришел ко мне сказать, что ты уезжаешь в Напуль, где сможешь наконец спокойно поработать. Ты колебался, говорил, что не чувствуешь подъема творческих сил; если бы я не поддержал тебя тогда, ты бы остался. Я же ободрил тебя, похвалил твое решение!..

— Вот именно,— сказал Шалон.— Этого-то я никогда вам не прошу — ни Глэдис Пэкс, ни тебе.

Он поднялся, подошел к двери и распахнул ее в знак того, что разговор окончен. Уходя, я успел расслышать следующие поразительные слова:

— Вы загубили мою карьеру.

■

— Но всего любопытнее,— заметил Бельтара,— что Шалон был совершенно прав.

СОБОР

18... году у витрины торговца картинами на улице Сент-Онорэ как-то раз остановился студент. В витрине была выставлена картина Манэ «Собор в Шартре». В те времена работами Манэ восхищались лишь немногие любители живописи, но прохожий обладал верным вкусом: красота «Собора» привела его в восторг. День за днем он возвращался все к той же лавке, чтобы посмотреть на картину. Наконец он решился войти в магазин, осведомиться о ее цене.

— Что ж,— сказал продавец,— картина эта уже довольно долго простояла здесь. За две тысячи франков я готов ее уступить.

Студент не располагал подобной суммой, но в провинции у него были родные, не лишенные достатка. Когда он уезжал в Париж, дядя сказал ему: «Я знаю, как живется молодым людям в столице. Если тебе до зарезу понадобятся деньги, напиши мне». Студент попросил торговца не продавать картины в течение недели, сам же написал дяде.

У нашего героя была в Париже любовница. Будучи замужем за человеком намного старше ее, она изнывала от скуки. Была она в меру вульгарна, довольно глупа и очень хороша собой. В тот самый вечер, когда студент узнал, сколько стоит Манэ, его любовница сказала ему:

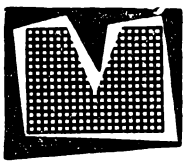
— Завтра я жду мою подругу по пансиону. Она приедет из Тулона, чтобы повидаться со мной. Мужу моему развлекать нас некогда — вся надежда на вас.

Назавтра прибыла из Тулона подруга вместе со своей приятельницей. В течение нескольких дней студенту пришлось водить трех дам по Парижу. Он сам платил за все — за обеды, поездки в фиакре и развлечения — и не заметил, как ушли деньги, отпущенные ему на месяц. Он взял в долг у приятеля и уже начал тревожиться, как быть дальше, когда пришло письмо от дядюшки. В него было вложено две тысячи франков. Студент с облегчением вздохнул. Он уплатил долги и сделал подарок любовнице. А «Собор» купил коллекционер, который много лет спустя передал свои картины в Лувр.

Сейчас тот студент — старый и знаменитый писатель. Но сердце его осталось молодым. Он по-прежнему в восторге замирает на месте при виде прекрасного пейзажа или красивой женщины. Выходя из своей квартиры, он часто сталкивается на улице с пожилой дамой, которая

живет в соседнем доме. Эта дама — его бывшая любовница. Лицо ее заплыло жиром, под глазами, когда-то столь прекрасными, набухли мешки, над верхней губой торчат седые волоски. Она передвигается с трудом — видимо, дряблые ноги плохо служат ей. Писатель кланяется, но не задерживаясь спешит дальше: он знает ее злобный нрав, и ему тягостно вспоминать, что когда-то он любил ее.

Иногда он заходит в Лувр и поднимается в зал, где висит «Собор». Он долго разглядывает картину и вздыхает.



МУРАВЬИ

ежду двумя стеклянными пластинками, скрепленными бумагой, суетилось и хлопотало целое племя крошечных коричневых уродцев. Продавец насыпал муравьям немного песка, и те прорыли в нем ходы, причем все они вели к одной точке. Там же, в самой середине, почти недвижимо восседала жирная самка. Это была Королева — муравьи кормили ее и почтительно заботились о ней.

— С ними нет никаких хлопот,— сказал продавец.— Достаточно раз в месяц положить каплю меда вон в то отверстие... Одну-единственную каплю... А уж муравьи сами унесут мед и разделят его между собой...

— Одну каплю в месяц? — удивилась молодая женщина. — Неужто хватит одной капли, чтобы прокормить весь этот народец?

На ней была широкая белая соломенная шляпа и платье из цветастого муслина, оставлявшее плечи и руки открытыми. Продавец грустно посмотрел на нее.

— Одной капли вполне хватит,— повторил он.

— Как это мило! — сказала она.

И купила прозрачный муравейник.

■

— Милый, ты еще не видел моих муравьев?

Белоснежная ручка с крашеными ногтями сжимала стеклянный муравейник. Мужчина, сидевший рядом с молодой женщиной, восхищенно взглянул на ее склоненный затылок.

— С тобой не соскучишься, дорогая... Ты постоянно вносишь в жизнь новизну и разнообразие... Вчера вечером мы слушали Баха... Сегодня... забавляемся муравьями...

— Гляди, милый,— сказала она с детской живостью, которую он так любил (а она знала это)... — Видишь вон ту громадную муравьиху? Это Королева... Работницы прислуживают ей... Я сама кормлю их... И поверишь ли, милый, им хватает одной капли меда в месяц!.. Разве это не поэтично?

Прошла неделя — муравьи за это время успели надоесть и мужу, и любовнику. Молодая женщина сунула муравейник за зеркало, стоявшее на камине в ее комнате. В конце месяца она забыла положить в муравейник каплю меда. Муравьи умерли медленной голодной смертью. До самого конца они берегли немного меду для Королевы, и она погибла последней.

Перевод с французского С. ТАРХАНОВОЙ

ЦЗОУ ДИ-ФАНЬ

Лучший стих

Перевод с китайского
Л. ЧЕРКАССКОГО

Я вижу поэта в буче кипучей,
В рабочем окружении:
«Товарищ Маяковский,
прочтите
лучшее
ваше
стихотворение».
И гаркнул он,
сбившись с поэтического тона,
Громче
иерихонских хайл:
«Товарищи!
Рабочими
и войсками Кантона
взят
Шанхай!..»
Так было:
Янцзы.
Чужие суда
Вгрызались в китайские города.
Наши кровь и мозг пришельцы угрюмо
Грузили в бездонные трюмы.
Церковных проповедей вкус
Понял китайский крестьянин:
Наши братья, а не Иисус,
Прибиты к кресту гвоздями!
В каждой груди скрывалась гроза,
В каждой руке вырастало знамя,
И раскрывали люди глаза,
И гнев убивал намертво.
Империалистов долой!
Мы в битвах прошли
Тысячи тысяч ли.
Крепки, как канат, худы и юны,
Мы шли, и вы посылали нам уголь в стужу.
Доктор Бэтьюн! Мы никогда не забудем Бэтьюна —
Он кровь свою отдавал раненым и контуженным.

Сердце в груди согреется,
Если рядом друга душа,—
Мы вместе дрались, корейцы,
Под соснами гор Чанбошань.
А еще мне сегодня помнится,
И сердце радостью полнится:
Мы пели с друзьями-японцами
Песню о красном солнце.
И африканские братья
Стояли молча под пальмами —
Мы чуяли жаркие ваши объятия,
Рукопожатия дальние.
Нам Маяковский спешил помочь,
Голос гремел,
до нас долетая:
«Пираты мира,
прочь
руки от Китая!»
Жар ваших душ
и сердец тепло
Прошли сквозь годы и дальность.
Нам помогла выкорчевывать зло
Трудящихся
солидарность!

ХАРПЕР ЛИ

Убить пересмешника...

РОМАН

Перевод с английского
Н. ГАЛЬ и Р. ОБЛОНСКОЙ

Глава 17

— Джим,— сказала я,— а вон там не Юэлы сидят?

— Ш-ш,— сказал Джим.— Мистер Тейт дает показания.

Мистер Тейт для такого случая принарядился. На нем был самый обыкновенный костюм, так что он стал похож на всех людей — ни высоких сапог, ни кожаной куртки, ни пояса с патронами. С этой минуты я перестала его бояться. Он сидел в свидетельском кресле, подавшись вперед, зажав руки между колен, и внимательно слушал прокурора.

Этого прокурора, мистера Джилмера, мы почти не знали. Он был из Эбботсвила; мы его видели только во время судебных сессий, да и то редко, потому что обычно нас с Джимом суд мало интересовал. Мистер Джилмер был совсем лысый, с гладко выбритым лицом, ему можно было дать и сорок лет, и все шестьдесят. Сейчас он стоял к нам спиной, но мы знали — один глаз у него косит, и он ловко этим пользуется: он на тебя и не смотрит, а кажется, так и сверлит взглядом, и от этого присяжные и свидетели его боялись. Присяжные воображали, что он строго за ними следит, и старались слушать внимательно, и свидетели тоже.

— ...своими словами, мистер Тейт,— говорил он.

— Так вот,— сказал мистер Тейт собственным коленкам и потрогал очки. — Меня вызвали...

— Может быть, вы будете обращаться к присяжным, мистер Тейт? Благодарю вас. Кто именно вас вызвал?

— Меня позвал Боб... то, бишь, вот он, мистер Боб Юэл, это было вечером...

— Когда именно, сэр?

— Вечером двадцать первого ноября, — сказал мистер Тейт. — Я как раз собирался домой, и тут ко мне вошел Бо... мистер Юэл, сам не свой, и сказал — идем скорей, один черномазый снасильничал над моей дочкой.

— И вы пошли?

— Ну конечно. Вскочил в машину и помчался.

— И что вы застали на месте происшествия?

Окончание. Начало в № 3.

— Она лежала на полу в первой комнате, как войдешь — направо. Она была порядком избита, я помог ей подняться на ноги, и она ополоснула лицо, там в углу стояло ведро, и сказала, что ей уже получше. Я спросил, кто ее обидел, и она сказала — Том Робинсон...

Судья Тейлор до сих пор внимательно разглядывал свои ногти, а тут поднял голову, будто ожидал возражений, но Аттикус молчал.

— ...я спросил: это он ее так исколотил? И она сказала — да. Я спросил, одолел ли он ее, и она сказала — да. Тогда я пошел за Робинсоном и привел его к Юэлам. Она признала, что это он самый и есть, я его и забрал. Вот и все.

— Благодарю вас,— сказал мистер Джилмер.

Судья Тейлор сказал:

— Есть вопросы, Аттикус?

— Да, — сказал мой отец.

Он сидел за своим столом, не посередине, а сбоку, закинув ногу на ногу, одна рука его лежала на спинке стула.

— А вы врача вызвали, шериф? — спросил Аттикус. — Или, может быть, кто-нибудь другой вызвал?

— Нет, сэр, — сказал мистер Тейт.

— Никто не позвал врача?

— Нет, сэр, — повторил мистер Тейт.

— Почему? — спросил Аттикус чуть погромче.

— Ну, очень просто. Это было ни к чему, мистер Финч. Она была порядком избита. Сразу видно было, что дело неладно.

— Но врача вы не вызвали? И, пока вы там были, никто другой за врачом не посылал, и не привел врача, и ее к врачу не отвел?

— Нет, сэр...

Тут вмешался судья Тейлор:

— Он уже три раза ответил вам на вопрос, Аттикус. Врача он не вызывал.

— Я только хотел удостовериться,— сказал Аттикус, и судья улыбнулся.

Рука Джима спокойно лежала на перилах галереи; а тут он вдруг вцепился в них изо всей силы и шумно перевел дух. Я поглядела вниз, в зал, там никто особенно не волновался, и я подумала: что это он разыгрывает трагедию? Дилл слушает спокойно и преподобный Сайкс рядом с ним — тоже.

— Ты чего? — шепотом спросила я, но Джим только сердито на меня зашипел.

— Шериф, — сказал Аттикус, — вы говорите, она была сильно избита. Как именно?

— Ну-у...

— Вы просто опишите, Гек, какие увечья вы заметили.

— Ну, лицо было избито. И на руках повыше локтя видны были синяки, прошло-то уже с полчаса...

— Откуда вы знаете?

Мистер Тейт усмехнулся.

— Виноват, это я с их слов. Во всяком случае, она была порядком избита, когда я туда пришел, и под глазом здоровенный фонарь.

— Под которым глазом?

Мистер Тейт мигнул и обеими руками пригладил волосы.

— Дайте-ка сообразить,— сказал он негромко и поглядел на Аттикуса так, будто думал: о каких пустяках спрашивает!

— Может быть, вспомните? — сказал Аттикус.

Мистер Тейт ткнул пальцем в кого-то невидимого прямо перед собой и сказал:

— Левый глаз.

— Одну минуту, шериф, — сказал Аттикус. — Левый глаз — это если она перед вами стоит или если она смотрит в ту же сторону, что и вы?

— А, да, верно,— сказал мистер Тейт,— стало быть, это правый. У нее правый глаз был подбит, мистер Финч. Теперь я припоминаю, и щека и вся эта сторона в ссадинах и распухла...

Мистер Тейт опять замигал, словно вдруг что-то понял. Повернулся и поглядел на Тома Робинсона. И Том Робинсон поднял голову, будто почувствовал его взгляд.

Аттикус, видно, тоже что-то понял и порывисто поднялся.

— Шериф, повторите, пожалуйста, что вы сказали.

— Я сказал, у нее подбит был правый глаз.

— Не то...

Аттикус подошел к столу секретаря, наклонился и стал смотреть, как у того рука быстро бегает по бумаге. Секретарь остановился, перелистал блокнот со стенограммой и прочитал:

«Мистер Финч, теперь я припоминаю, щека и вся эта сторона в ссадинах и распухла».

Аттикус выпрямился и поглядел на мистера Тейта.

— Повторите, пожалуйста, Гек, какая сторона?

— Правая сторона, мистер Финч, но были и еще синяки, про них тоже рассказать?

Аттикус, видно, уже хотел задать новый вопрос, но передумал и сказал:

— Да, так какие там были еще синяки?

И, пока мистер Тейт отвечал, Аттикус повернулся к Тому Робинсону, будто хотел сказать — такого уговора у нас не было!

— ...руки были в синяках и ссадинах, и шею она мне показала. У нее на горле пальцы так и отпечатались...

— На горле, кругом? И сзади на шее тоже?

— Со всех сторон, мистер Финч, оно и не удивительно.

— Вот как?

— Ну да, сэр, у нее шея тоненькая, всякий может ее обхватить и...

— Пожалуйста, отвечайте на вопрос только да или нет, шериф,— сухо сказал Аттикус, и мистер Тейт умолк.

Аттикус сел на свое место и кивнул прокурору, тот мотнул головой в сторону судьи, судья кивнул мистеру Тейту — и он неловко поднялся и сошел с возвышения.

Внизу люди завертели головами, зашаркали ногами, поднимали повыше младенцев, а нескольких малышей чуть не бегом вывели из зала. Негры позади нас тихонько перешептывались; Дилл спрашивал преподобного Сайкса, в чем тут суть, но тот сказал, что не знает. Пока что было очень скучно: никто не кричал и не грозил, юристы не препирались между собою, все шло так просто и буднично — кажется, к немалому разочарованию всех собравшихся. Аттикус держался так мирно и доброжелательно, будто тут судились из-за какой-нибудь пустячной недвижимости. У него был особый дар успокаивать разгоравшиеся страсти, так что и дело об изнасиловании оказывалось сухим и скучным, как проповедь. Я уже не вспоминала с ужасом запах водочного перегара и хлева, сонных, угрюмых незнакомцев, хриплый голос, окликнувший в темноте: «Мистер Финч! Они ушли?» При свете дня наш дурной сон рассеялся, все кончится хорошо.

В публике все почувствовали себя так же непринужденно, как судья Тейлор,— все, кроме Джима. Он многозначительно усмехнулся, поглядел по сторонам и сказал что-то такое про прямые и косвенные улики — ну и задается, подумала я.

— Роберт Ли Юэл! — громко вызвал секретарь суда.

Вскочил человечек, похожий на бентамского петуха, и с гордым видом прошествовал на свидетельское место, у него даже шея покраснела, когда он услыхал свое имя. А когда он повернулся и стал присягать на Библии, мы увидели, что и лицо у него совсем красное. И ни капельки он не похож на генерала, в честь которого его назвали. Надо лбом торчит клок редких, недавно вымытых волос; нос тонкий, острый и блестит; а подбородка почти и не видать — он совсем сливается с тощей морщинистой шеей.

— ...и да поможет мне бог,— хрипло прокаркал он.

В каждом небольшом городе вроде Мейкомба найдутся свои Юэлы. Никакие экономические приливы и отливы не меняют их положения — такие семьи живут, точно гости, в своем округе, все равно, процветает он или переживает глубочайший упадок. Ни один самый строгий школьный инспектор не заставит их многочисленных отпрысков ходить в школу; ни один санитарный инспектор не избавит их от врожденных недостатков, от всевозможных паразитов и болезней, которые всегда одолевают тех, кто живет в грязи.

Мейкомбские Юэлы жили за городской свалкой в бывшей негритянской лачуге. Деревянные стены были все в заплатах из рифленого железа, крыша вместо черепицы выложена расплющенными консервными банками, и только по общим очертаниям можно догадаться, какова была эта лачуга вначале — квадратная, в четыре крохотные каморки, которые все выходили в длинный и узкий коридор, она неуклюже стояла на четырех неровных глыбах песчаника. Окна были не окна, а просто дыры в стене, летом их затягивали грязной марлей от мух, которые кишели на грудах отбросов.

Мухам приходилось туго, потому что Юэлы каждый день перерывали всю свалку и свою добычу (ту, что была несъедобна) стаскивали к лачуге; казалось, тут играл какой-то сумасшедший ребенок: вместо изгороди торчали обломанные сучья, палки от старых метел, швабр и тому подобных орудий, и все это было увенчано ржавыми молотками, кривыми граблями, поломанными лопатами, топорами и мотыгами, прикрученными к палкам обрывками колючей проволоки. За этими заграждениями виднелся грязный двор, где на чурбаках и камнях были расставлены и разложены жалкие останки древнего «фордика», поломанное зубоврачебное кресло, старый-престарый холодильник и еще всякая всячина: рваные башмаки, отжившие свой век радиоприемники, рамы от картин, жестянки из-под консервов, и кругом усердно копались в земле тощие рыжие куры.

Впрочем, один угол этого двора своим видом приводил весь Мейкомб в недоумение. Вдоль изгороди стояли в ряд шесть облупившихся эмалированных ведер, а в них пышно цвели алые герани, так заботливо ухоженные, как будто они принадлежали самой мисс Моди Эткинсон (если бы только мисс Моди стала терпеть у себя в саду какую-то герань!). Говорили, что их развела Мэйелла Юэл.

Никто толком не знал, сколько в этом доме детей. Одни говорили — шестеро, другие — девять; когда кто-нибудь шел мимо, в окнах всегда торчали чумазые физиономии. Мимо почти никто и не ходил, разве только на рождество, когда приходский совет раздавал подарки беднякам, а мэр Мейкомба просил нас немножко помочь городскому мусорщику, и мы сами сносили на свалку осыпавшиеся елки и всякий хлам, оставшийся после праздника.

В минувшее рождество Аттикус и нас взял с собой. Грунтовая дорога бежала от шоссе стороной мимо свалки к небольшому негритянскому поселку, который начинался ярдах в пятистах за домом Юэлов Надо было либо возвращаться на шоссе, либо пройти до самого поселка и уже после этого повернуть к свалке; почти все выбирали именно этот

путь, мимо негритянских домишек. В холодных декабрьских сумерках они казались чистенькими и уютными, синеватый дымок поднимался из труб, двери были отворены и ярко светились от огня, пылавшего в очаге. И пахло в морозном воздухе превкусно — курами, поджаренным до хруста салом. Мы с Джимом различили еще запах жареной белки, а наш отец сумел учуять еще и опоссума, и кролика — недаром он вырос вдали от города; однако все эти ароматы развеялись, когда мы поехали обратно мимо владений Юэлов.

Человечек, стоявший сейчас на возвышении для свидетелей, обладал одним лишь преимуществом перед своими ближайшими соседями: если его долго отмывать дегтярным мылом в очень горячей воде, кожа его становилась белой.

— Мистер Роберт Юэл? — спросил мистер Джилмер.

— Так и прозываюсь, капитан,— ответил свидетель,— вы и сами знаете.

Мистер Джилмер настороженно выпрямился, и мне стало его жалко. Наверно, пора кое-что объяснить. Я слышала, дети юристов, глядя, как ожесточенно спорят их родители в суде, начинают думать, будто адвокат противной стороны — личный враг их отца, и тяжело переживают бурные прения сторон, а потом страшно изумляются, когда в первый же перерыв отец выходит из зала суда под руку со своим мучителем. Мы с Джимом на этот счет не заблуждались. Выигрывал наш отец дело или проигрывал, это не было для нас трагедией. К сожалению, я не могу описать никаких наших бурных переживаний на эту тему, а если бы и попыталась, это было бы неправдой. Мы, конечно, сразу замечали, если прения становились более желчными, чем того требовала профессиональная этика, но так бывало, когда выступал не наш отец, а другие адвокаты. В жизни своей я не слышала, чтобы Аттикус повысил голос, разве что свидетель был туг на ухо. Мистер Джилмер делал свое дело, Аттикус — свое. К тому же Юэл был свидетель Джилмера и мог бы отвечать ему повежливее.

— Вы отец Мэйеллы Юэл? — задал мистер Джилмер следующий вопрос.

— Может, и нет, только теперь уж этого не узнать, мать-то померла,— был ответ.

Судья Тейлор зашевелился. Он медленно повернул свое вертящееся кресло и добродушно посмотрел на свидетеля.

— Вы отец Мэйеллы Юэл? — повторил он вопрос, но таким голосом, что в зале разом перестали смеяться.

— Да, сэр,— кротко ответил Юэл.

Судья Тейлор сказал помягче:

— Вы сегодня первый раз в суде? Помнится, я прежде вас не видал.— Юэл кивнул, что да, первый раз, и судья продолжал: — Так вот, давайте условимся. Пока я тут судьей, в этом зале никто не произнесет ни одного непристойного слова ни по какому поводу. Понятно?

Юэл кивнул, но я не уверена, что он и правда понял. Судья вздохнул и сказал:

— Продолжайте, мистер Джилмер.

— Благодарю вас, сэр. Мистер Юэл, не будете ли вы так добры рассказать нам своими словами, что произошло вечером двадцать первого ноября?

Джим усмехнулся и откинул волосы со лба. «Своими словами» — это была вечная присказка мистера Джилмера. Мы часто думали: чьими еще словами, по его мнению, может заговорить свидетель.

— Стал-быть, вечером двадцать первого иду я из лесу с охапкой хворосту, дошел до забора — и слышу, Мэйелла визжит в доме, как свинья недорезанная...

Тут судья Тейлор пронзительно глянул на свидетеля, но, видно, решил, что слова эти сказаны без злого умысла, и только спросил сонным голосом:

— В какое время это было, мистер Юэл?

— Да перед закатом. Так вот, стал-быть, слышу, Мэйелла визжит так, что чертям тошно... — и мистер Юэл осекся под новым грозным взглядом судьи.

— Итак, она громко кричала,— подсказал мистер Джилмер.

Мистер Юэл в растерянности поглядел на судью.

— Ну, услыхал я, как она орет, бросил хворост и побежал со всех ног, да наскочил на забор, насилу выпутался из проволоки, подбежал к окошку и вижу...— Юэл весь побагровел, выпрямился и ткнул пальцем в Тома Робинсона, — вижу, этот черномазый брюхатит мою Мэйеллу!

В зале суда у мистера Тейлора всегда царили тишина и спокойствие, и ему редко приходилось пускать в ход свой молоток, но тут он колотил по столу добрых пять минут. Аттикус подошел к нему и что-то ему говорил, мистер Гек Тейт — первое официальное лицо округа — стоял в проходе и призывал битком набитый зал к порядку. Среди негров позади нас прошел глухой ропот.

Преподобный отец Сайкс потянулся мимо нас с Диллом и дернул Джима за рукав.

— Мистер Джим, — сказал он,— вы бы лучше отвели мисс Джин-Луизу домой. Мистер Джим, вы меня слышите?

Джим повернул голову.

— Иди домой, Глазастик. Дилл, отведи ее домой.

— Ты меня заставь, попробуй, — сказала я, с радостью вспомнив спасительное разъяснение Аттикуса.

Джим свирепо посмотрел на меня.

— Я думаю, это не беда, отец Сайкс, она все равно ничего не понимает.

Я была смертельно оскорблена.

— Пожалуйста, не задавайся! Я все понимаю не хуже тебя!

— Да ладно тебе. Она этого не понимает, отец Сайкс, ей еще и девяти нет.

В черных глазах преподобного Сайкса была тревога.

— А мистер Финч знает, что вы все здесь? Неподходящее это дело для мисс Джин-Луизы, да и для вас тоже, молодые люди.

Джим покачал головой.

— Мы слишком далеко, он нас тут не увидит. Да вы не беспокойтесь, отец Сайкс.

Я знала: Джим возьмет верх, его сейчас никакими силами не заставишь уйти. До поры до времени мы с Диллом в безопасности, но если Аттикус поднимет голову, он может нас заметить.

Судья Тейлор отчаянно стучал молотком, а мистер Юэл самодовольно расселся в свидетельском кресле и любовался тем, что натворил. Стоило ему сказать два слова, и беззаботная публика, которая пришла сюда развлечься, обратилась в мрачную, взбудораженную толпу — она ворчала, медленно затихая, будто загипнотизированная все слабеющими ударами молотка, и наконец в зале суда стало слышно только негромкое тук-тук-тук, будто судья легонько постукивал по скамье карандашом.

Судья Тейлор убедился, что публика опять стала послушная, и откинулся на спинку кресла. Вдруг стало видно, что он устал и что ему уже много лет, недаром Аттикус сказал — они с миссис Тейлор не так уж часто целуются, ему, наверно, уже под семьдесят.

— Меня просили очистить зал от публики или по крайней мере удалить женщин и детей,— сказал судья Тейлор.— До поры до времени я отклонил эту просьбу. Люди обычно видят и слышат то, что они хотят

увидеть и услышать, и, если им угодно приводить на подобные спектакли своих детей, это их право. Но одно я вам говорю твердо: вы будете смотреть и слушать молча, иначе придется вам покинуть этот зал, но прежде, чем вы его покинете, я призову все это сборище к ответу за оскорбление суда. Мистер Юэл, соблаговолите, по возможности, давать показания, не выходя из рамок благопристойности. Продолжайте, мистер Джилмер.

Мистер Юэл походил на глухонемого. Я уверена, он никогда раньше не слыхивал таких слов, с какими к нему обратился судья Тейлор, и не мог бы их повторить, хотя беззвучно шевелил губами, но суть он, видно, понял. Самодовольное выражение сползло с его лица и сменилось тупой сосредоточенностью, но это не обмануло судью Тейлора: все время, пока Юэл оставался на возвышении для свидетелей, судья не сводил с него глаз, будто бросал вызов — попробуй-ка сделай что-нибудь не так!

Мистер Джилмер и Аттикус переглянулись. Аттикус уже опять сидел на своем месте, подперев кулаком щеку, и нам не видно было его лица. Мистер Джилмер явно приуныл. Он приободрился, только когда услыхал вопрос судьи Тейлора:

— Мистер Юэл, вы видели, что обвиняемый вступил в половые сношения с вашей дочерью?

— Видел.

Публика хранила молчание, но обвиняемый что-то негромко сказал. Аттикус пошептал ему на ухо, и Том Робинсон умолк.

— Вы сказали, что подошли к окну? — спросил мистер Джилмер.

— Да, сэр.

— Насколько высоко оно от земли?

— Фута три.

— И вам хорошо видна была комната?

— Да, сэр.

— Как же выглядела комната?

— Ну, стал-быть, все раскидано, как после драки.

— Как вы поступили, когда увидели обвиняемого?

— Стал-быть, побежал я кругом, к двери, да не поспел, он вперед меня из дому выскочил. Я его хорошо разглядел. А догонять не стал, уж больно за Мэйеллу расстроился. Вбегаю в дом, а она валяется на полу и ревет белугой...

— И как вы тогда поступили?

— Стал-быть, я во всю прыть — за Тейтом. Черномазого-то я враз признал, он по ту сторону в осином гнезде живет, мимо нас всякий день ходит. Вот что я вам скажу, судья, я уж пятнадцать лет требую с наших окружных властей: выкурите, мол, оттуда черномазых, с ними по соседству и жить-то опасно, да и моему именью один вред...

— Благодарю вас, мистер Юэл,— торопливо прервал его мистер Джилмер.

Свидетель почти сбежал с возвышения и налетел на Аттикуса, который встал со своего места, чтобы задать ему вопрос. Судья Тейлор позволил всем присутствующим немного посмеяться.

— Одну минуту, сэр,— дружелюбно сказал Аттикус.— Вы разрешите задать вам два-три вопроса?

Мистер Юэл попятился к свидетельскому креслу, сел и уставился на Аттикуса высокомерным и подозрительным взглядом — в округе Мейкомб свидетели всегда так смотрят на адвоката противной стороны.

— Мистер Юэл,— начал Аттикус,— в тот вечер, видимо, вы много бегали. Помнится, вы сказали, что бежали к дому, подбежали к окну, вбежали в дом, подбежали к Мэйелле, побежали за мистером Тейтом. А за доктором вы заодно не сбегали?

— А на что он мне сдался? Я и сам видел, что к чему.

— Одного я все-таки не понимаю, — сказал Аттикус.— Разве вас не беспокоило состояние Мэйеллы?

— Еще как,— сказал мистер Юэл.— Я ведь сам видел, кто тут виноватый.

— Нет, я не о том. Вы не подумали, что характер нанесенных ей увечий требует немедленного медицинского вмешательства?

— Чего это?

— Вы не подумали, что к ней сейчас же надо позвать доктора?

Свидетель отвечал — нет, не подумал, он отродясь не звал в дом докторов, а если их звать, выкладывай пять долларов.

— Это все? — спросил он.

— Не совсем,— небрежно заметил Аттикус.— Мистер Юэл, вы ведь слышали показания шерифа, не так ли?

— Чего это?

— Вы находились в зале суда, когда мистер Гек Тейт сидел на вашем теперешнем месте, не так ли? И вы слышали все, что он говорил, не так ли?

Мистер Юэл подумал-подумал и, видно, решил, что ничего опасного в этом вопросе нет.

— Да, слыхал,— сказал он.

— Вы согласны с тем, что он правильно описал увечья, нанесенные Мэйелле?

— Чего еще?

Аттикус обернулся к мистеру Джилмеру и улыбнулся. Мистер Юэл, видно, решил не баловать защитника вежливым обхождением.

— Мистер Тейт показал, что правый глаз у Мэйеллы был подбит, и лицо...

— Ну да,— сказал свидетель,— Тейт правильно говорил, я со всем согласный.

— Значит, согласны? — мягко сказал Аттикус. — Я только хотел удостовериться.

Он подошел к секретарю, сказал что-то, и секретарь несколько минут подряд развлекал нас показаниями мистера Тейта, читал он их так выразительно, точно это были цифры из биржевого бюллетеня: «...который глаз левый... а да верно стало быть правый у нее правый глаз был подбит мистер Финч теперь я припоминаю и щека и вся... (секретарь перевернул страницу) вся эта сторона была в ссадинах и распухла... шериф повторите пожалуйста что вы сказали... я сказал у нее подбит был правый глаз...»

— Благодарю вас, Берт,— сказал Аттикус.— Вы слышали это еще раз, мистер Юэл. Имеете вы что-либо к этому добавить? Согласны ли вы с показаниями шерифа?

— Тейт все верно говорил. У нее под глазом был фонарь, и сама вся избитая.

Этот человечек, видно, уже позабыл, как его сперва пристыдил судья. Он явно решил, что Аттикус противник не опасный. Он опять раскраснелся, напыжился, выгнул грудь колесом и больше прежнего стал похож на рыжего петуха. Мне показалось — он сейчас лопнет от важности, и тут Аттикус спросил:

— Мистер Юэл, умеете ли вы читать и писать?

— Протестую,— прервал мистер Джилмер.— Непонятно, при чем тут грамотность свидетеля, вопрос несущественный и к делу не относится.

Судья Тейлор хотел что-то сказать, но Аттикус его опередил:

— Ваша честь, если вы разрешите задать этот вопрос и в дополнение еще один, вы все поймете.

— Хорошо, попробуем,— сказал судья Тейлор,— но смотрите, чтобы мы действительно поняли, Аттикус. Протест отклоняется.

Мистер Джилмер, кажется, с таким же любопытством, как и все мы, ждал ответа — при чем тут образование мистера Юэла?

— Повторяю вопрос,— сказал Аттикус.— Умеете вы читать и писать?

— Ясно, умею.

— Не будете ли вы любезны доказать нам это и написать свою фамилию?

— Ясно, докажу. А как же, по-вашему, я расписываюсь, когда получаю пособие?

Ответ мистера Юэла пришелся по вкусу его согражданам. Внизу зашептались, захихикали — видно, восхищались его храбростью.

Я забеспокоилась. Аттикус как будто знает, что делает, а все-таки мне казалось — он дал маху. Никогда, никогда, никогда на перекрестном допросе не задавай свидетелю вопрос, если не знаешь заранее, какой будет ответ,— это правило я усвоила с колыбели. А то ответ может оказаться совсем не такой, как надо, и погубит все дело.

Аттикус полез во внутренний карман и достал какой-то конверт, потом из жилетного кармана вытащил самопишущую ручку. Он двигался медленно, с ленцой и повернулся так, чтобы его хорошо видели все присяжные. Он снял колпачок самописки и аккуратно положил на стол. Легонько встряхнул ручку и вместе с конвертом подал ее свидетелю.

— Не будете ли вы так любезны расписаться вот здесь? — сказал он.— И, пожалуйста, чтобы все присяжные видели, как вы это делаете.

Мистер Юэл расписался на обратной стороне конверта, очень довольный собой, поднял голову и встретил изумленный взгляд судьи Тейлора: судья уставился на него так, будто на свидетельском месте вдруг пышно зацвела гардения; мистер Джилмер тоже смотрел с удивлением, даже привстал. И все присяжные смотрели на Юэла, один даже подался вперед и обеими руками ухватился за барьер.

— Чего не видали? — спросил свидетель.

— Вы, оказывается, левша, мистер Юэл,— сказал судья Тейлор.

Мистер Юэл сердито обернулся к нему и сказал — при чем тут левша, он человек богобоязненный, и нечего Аттикусу Финчу над ним измываться. Всякие жулики-адвокатишки вроде Аттикуса Финча всегда над ним измывались и его обжуливали. Он уже говорил, как было дело, и еще хоть сорок раз скажет то же самое. Так он и сделал. На новые вопросы Аттикуса он твердил одно: он заглянул в окно, потом погнался за черномазым, потом побежал к шерифу. В конце концов Аттикус его отпустил.

Мистер Джилмер задал ему еще один вопрос:

— Кстати, насчет того, что вы подписываетесь левой рукой: может быть, вы одинаково пользуетесь обеими руками, мистер Юэл?

— Ясно, нет. Я и одной левой управляюсь не хуже всякого другого. Не хуже всякого другого,— повторил он, злобно глянув в сторону защиты.

Джим втихомолку ужасно веселился. Он легонько постукивал кулаком по перилам и один раз прошептал:

— Теперь мы его приперли к стенке.

Я этого совсем не думала: по-моему, Аттикус старался доказать, что мистер Юэл мог и сам исколотить Мэйеллу. Это я поняла. Раз у нее подбит правый глаз и вообще правая сторона лица, значит, ее избил левша. Шерлок Холмс и Джим Финч тоже так подумали бы. Но, может быть, и Том Робинсон тоже левша. Как и мистер Гек Тейт, я представила, что передо мной кто-то стоит, вообразила себе стремительную схватку и решила — наверно, Том Робинсон держал Мэйеллу правой рукой, а колотил левой. Я сверху посмотрела на него. Он сидел к нам спиной, но видно было, какие у него широкие плечи и крепкая шея. Конечно, он без труда бы с ней справился. Напрасно Джим цыплят до осени считает.

Глава 18

Но тут кто-то прогудел:

— Мэйелла-Вайолет Юэл!

На свидетельское место пошла молодая девушка. Пока она с поднятой рукой клялась говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, и да поможет ей бог, она казалась тоненькой и хрупкой, а потом села в кресло лицом к нам, и стало видно, что она крепкая и, наверно, привыкла к тяжелой работе.

У нас в округе сразу узнаешь, кто моется часто, а кто раз в год. Мистер Юэл был весь как ошпаренный, будто кожа у него стала особенно чувствительной и беззащитной, когда с нее содрали слой за слоем всю грязь. А Мэйелла, видно, старалась быть опрятной, и я вспомнила про красные герани во дворе Юэлов.

Мистер Джилмер попросил Мэйеллу рассказать присяжным своими словами, что произошло вечером двадцать первого ноября прошлого года — своими словами, пожалуйста.

Мэйелла сидела и молчала.

— Где вы были в тот вечер в сумерки? — терпеливо начал мистер Джилмер.

— На крыльце.

— На котором крыльце?

— У нас только одно крыльцо, парадное.

— Что вы делали на крыльце?

— Ничего.

Вмешался судья Тейлор:

— Вы просто нам расскажите, что произошло. Вы разве не можете рассказать?

Мэйелла вытаращила на него глаза и вдруг заплакала. Она зажала рот руками и всхлипывала все громче. Судья Тейлор дал ей поплакать, потом сказал:

— Ну, хватит. Только говори правду, и никого не надо бояться. Я понимаю, тебе все это непривычно, но стыдного тут ничего нет и страшного тоже. Чего ты так испугалась?

Мэйелла что-то сказала себе в ладони.

— Что такое? — переспросил судья.

— Вон его,— всхлипнула она и показала на Аттикуса.

— Мистера Финча?

Она закивала изо всех сил.

— Не хочу я. Он меня допечет, вон как папашу допек — левша да левша...

Судья Тейлор почесал свою седую голову. Видно, ему еще не случалось сталкиваться с такой трудной задачей.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Девятнадцать с половиной,— сказала Мэйелла.

Судья Тейлор откашлялся и безуспешно попробовал смягчить голос.

— Мистер Финч совсем не хотел тебя пугать,— пробурчал он,— а если бы и захотел, я ему не дам. Для того я тут и сижу. Ты уже взрослая девушка, сядь-ка прямо и расскажи су... скажи нам, что с тобой случилось. Просто возьми и расскажи, ладно?

— Она дурочка? — шепотом спросила я Джима.

Джим искоса поглядел вниз, на свидетельницу.

— Кто ее знает,— сказал он.— Разжалобить судью у нее ума хватило, но, может, она просто... ну, не знаю я.

Мэйелла успокоилась, еще раз испуганно поглядела на Аттикуса и повернулась к мистеру Джилмеру.

— Значит, сэр, была я на крыльце, и... и он шел мимо, а у нас во дворе стоял старый гардероб, папаша его купил на растопку... папаша велел мне его расколоть, а сам пошел в лес, а мне чего-то немоглось, и тут он идет...

— Кто он?

Мэйелла ткнула пальцем в сторону Тома Робинсона.

— Я бы вас попросил выражаться яснее,— сказал мистер Джилмер.— Секретарю трудно заносить в протокол жесты.

— Вон тот,— сказала Мэйелла.— Робинсон.

— Что же было дальше?

— Я ему и говорю — поди сюда, черномазый, расколи гардероб, а я тебе дам пятачок. Ему-то это хоть бы что. Он вошел во двор, а я пошла в дом за деньгами, оборотилась, а он на меня и набросился. Он за мной шел по пятам, вон что. И как схватил меня за горло и давай ругаться и говорить гадости... Я давай отбиваться и кричать, а он меня душит. И давай меня бить...

Мистер Джилмер дал Мэйелле немного прийти в себя; она все скручивала жгутом носовой платок, потом развернула и стала утирать лицо, а платок был весь в пятнах, потому что у нее руки потные. Она ждала, что мистер Джилмер опять задаст ей вопрос, но он ничего не спросил, и она сказала:

— ...ну, он повалил меня на пол, и придушил, и одолел.

— А вы кричали? — спросил мистер Джилмер.— Кричали и отбивались?

— Еще как, я орала во все горло и брыкалась, я орала во всю мочь.

— А дальше что было?

— Дальше я не больно помню, а потом смотрю, папаша стоит надо мной и орет: это кто тебя? Это кто тебя? А потом я вроде обмерла, а потом очнулась, а мистер Тейт меня подхватил с полу и ведет к ведру с водой.

Пока Мэйелла рассказывала, она словно почувствовала себя уверенней, но не так, как ее отец: он был нахальный, а она какая-то себе на уме, точно кошка — сидит и щурится, а хвост ходит ходуном.

— Так вы говорите, что отбивались, как могли? Сопротивлялись изо всех сил? — спрашивал мистер Джилмер.

— Ясное дело,— сказала она, в точности как ее отец.

— И вы уверены, что он все-таки вас одолел?

Лицо Мэйеллы покривилось, и я испугалась, что она опять заплачет. Но она сказала:

— Он чего хотел, то и сделал.

Мистер Джилмер отер ладонью лысину и этим напомнил, что день выдался жаркий.

— Пока достаточно,— приветливо сказал он,— но вы оставайтесь на месте. Я думаю, страшный зубастый мистер Финч тоже захочет вас кое о чем спросить.

— Обвинителю не положено настраивать свидетелей против защитника,— чопорно сказал судья Тейлор.— Во всяком случае, сегодня это ни к чему.

Аттикус встал, улыбнулся, но не подошел к свидетельскому возвышению, а расстегнул пиджак, сунул большие пальцы в проймы жилета и медленно направился к окну. Выглянул на улицу, но, наверно, ничего интересного не увидел, повернулся и подошел к свидетельнице. По долголетнему опыту я поняла: он старается молча что-то решить.

— Мисс Мэйелла,— сказал он с улыбкой,— я пока совсем не собираюсь вас пугать. Давайте-ка лучше познакомимся. Сколько вам лет?

— Я уж говорила, девятнадцать, я вон судье говорила.— Мэйелла сердито мотнула головой в сторону судьи Тейлора.

— Да, да, мэм, совершенно верно. Вы уж будьте ко мне снисходительны, мисс Мэйелла, память у меня уже не прежняя, старость подходит, и если я вдруг спрошу то, что вы уже говорили, вы ведь мне все-таки ответите, правда? Вот и хорошо.

По лицу Мэйеллы я не могла понять, с чего Аттикус взял, будто она согласна ему отвечать. Она смотрела на него злыми-презлыми глазами.

— Словечка вам не скажу, коли вы надо мной насмехаетесь,— объявила она.

— Как вы сказали, мэм? — переспросил ошарашенный Аттикус.

— Коли вы меня на смех подняли.

Судья Тейлор сказал:

— Мистер Финч вовсе не поднимал тебя на смех. Что это ты выдумала?

Мэйелла исподтишка поглядела на Аттикуса.

— А что он меня обзывает мэм да мисс Мэйелла! Я не нанималась насмешки терпеть, больно надо!

Аттикус опять неторопливо направился к окнам и предоставил судье Тейлору управляться самому. Не такой человек был судья Тейлор, чтоб его жалеть, но мне прямо жалко его стало: он так старался растолковать Мэйелле, что к чему.

— У мистера Финча просто привычка такая,— сказал он.— Мы с ним работаем тут в суде уже сколько лет, и мистер Финч всегда со всеми разговаривает вежливо. Он не хочет над тобой насмехаться, он только хочет быть вежливым. Такая уж у него привычка.

Судья откинулся на спинку кресла.

— Продолжайте, Аттикус, и пусть из протокола будет ясно, что над свидетельницей никто не насмехался, хоть она и думает иначе.

Интересно, называл ее кто-нибудь когда-нибудь мэм и мисс Мэйелла? Наверно, нет, раз она обижается на самое обыкновенное вежливое обращение. Что же это у нее за жизнь? Очень быстро я это узнала.

— Итак, вы говорите, вам девятнадцать лет,— сказал Аттикус.— Сколько у вас братьев и сестер?

Он отвернулся от окна и подошел к свидетельскому возвышению.

— Семеро,— сказала Мэйелла, и я подумала, неужели все они такие же, как тот, которого я видела в свой первый школьный день.

— Вы старшая? Самая большая?

— Да.

— Давно ли скончалась ваша матушка?

— Не знаю... давно.

— Ходили вы когда-нибудь в школу?

— Читать и писать умею не хуже папаши.

Мэйелла разговаривала прямо как мистер Джингл в книжке, которую я когда-то читала.

— Долго ли вы ходили в школу?

— Две зимы... а может, три... сама не знаю.

Медленно, но верно я стала понимать, к чему клонит Аттикус: задавая вопросы, которые мистер Джилмер не мог счесть настолько несущественными и не относящимися к делу, чтобы протестовать, он понемногу наглядно показал присяжным, что́ за жизнь была в доме Юэлов. Вот что узнали присяжные: на пособие семье все равно не прокормиться, да скорее всего папаша его просто пропивает... иной раз он по нескольку дней пропадает где-то на болоте и возвращается хмельной; вообще-то на дворе не так и холодно, можно и разутыми бегать, а уж если захолодает, из обрезков старой автомобильной шины можно смастерить шикарную обувку; воду в дом носят ведрами из ручья, который бежит сбоку

свалки... у самого дома мусор не кидают... ну, а насчет чистоты, так это каждый сам для себя старается: хочешь помыться — притащи воды; меньшие ребятишки из простуды не вылезают, и у всех у них чесотка; была одна леди, она все приходила и спрашивала Мэйеллу, почему, мол, больше не ходишь в школу, и записывала, что ответишь; так ведь двое в доме умеют читать и писать, на что еще и остальным учиться... они папаше и дома нужны.

— Мисс Мэйелла,— словно против воли сказал Аттикус,— у такой молодой девушки, как вы, наверно, есть друзья и подруги. С кем вы дружите?

Свидетельница в недоумении нахмурила брови.

— Дружу?

— Ну да, разве вы не встречаетесь со своими сверстниками или с кем-нибудь немного постарше или помоложе? Есть у вас знакомы юноши и девушки? Самые обыкновенные друзья?

До сих пор Мэйелла отвечала недружелюбно, но спокойно, а тут вдруг снова разозлилась.

— Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер Финч?

Аттикус счел это достаточно ясным ответом на свой вопрос.

— Вы любите своего отца, мисс Мэйелла? — спросил он затем.

— То есть как это — люблю?

— Я хочу сказать — он добрый, вам легко с ним ладить?

— Да он ничего, покладистый, вот только когда...

— Когда — что?

Мэйелла перевела взгляд на своего отца — он все время сидел, откачнувшись на стуле, так что стул спинкой опирался на барьер. А теперь он выпрямился и ждал, что она ответит.

— Когда ничего,— сказала Мэйелла.— Я ж говорю, он покладистый.

Мистер Юэл опять откачнулся на стуле.

— Только тогда не очень покладистый, когда выпьет? — спросил Аттикус так мягко, что Мэйелла кивнула.

— Он когда-нибудь преследовал вас?

— Чего это?

— Когда он бывал... сердитый, он вас никогда не бил?

Мэйелла поглядела по сторонам, потом вниз, на секретаря суда, потом подняла глаза на судью.

— Отвечайте на вопрос, мисс Мэйелла,— сказал судья Тейлор.

— Да он меня отродясь и пальцем не тронул,— решительно заявила Мэйелла.— Даже и не дотронулся.

Очки Аттикуса сползли на кончик носа, он их поправил.

— Мы с вами приятно побеседовали, мисс Мэйелла, а теперь, я думаю, пора перейти к делу. Вы сказали, что просили Тома Робинсона расколоть... что расколоть?

— Гардероб, такой старый комод, у него сбоку ящики.

— Том Робинсон был вам хорошо знаком?

— Чего это?

— Я говорю: вы знали, кто он такой, где он живет?

Мэйелла кивнула.

— Кто он — знала, он мимо дома всякий день ходил.

— И тогда вы в первый раз попросили его зайти к вам во двор?

От этого вопроса Мэйелла даже немножко подскочила. Аттикус опять пропутешествовал к окну, он все время так делал: задаст вопрос, отойдет, выглянет в окно и стоит, ждет ответа. Он не видал, как она подскочила, но, кажется, догадался. Обернулся к ней и поднял брови. И опять начал:

— И тогда...

— Да, в первый раз.

— А до этого вы никогда не просили его войти во двор?

Теперь он уже не застал Мэйеллу врасплох.

— Ясно, не просила, никогда не просила.

— Довольно ответить и один раз,— спокойно заметил Аттикус.— И вы никогда не поручали ему никакой случайной работы?

— Может, и поручала,— снисходительно ответила Мэйелла.— Мало ли кругом черномазых.

— Не припомните ли еще какой-нибудь такой случай?

— Нет.

— Ну хорошо, перейдем к тому, что произошло в тот вечер. Вы сказали, что, когда вы вошли в комнату и обернулись, Том Робинсон стоял позади вас — так?

— Да.

— И вы сказали, что он схватил вас за горло и начал ругаться и говорить гадости — так?

— Так.

Вдруг оказалось, что память у Аттикуса совсем не плохая.

— Вы сказали: он схватил меня, и придушил, и одолел — так?

— Так и сказала.

— И вы помните, что он бил вас по лицу?

Свидетельница замялась.

— Вы как будто хорошо помните, что он вас душил. И вы все время отбивались, не так ли? Вы «брыкались и орали изо всех сил». А помните вы, как он бил вас по лицу?

Мэйелла молчала. Казалось, она старается что-то понять. Я даже подумала: может, она, как мы с мистером Тейтом, старается представить себе, как против нее стоит человек. Потом она посмотрела на мистера Джилмера.

— Это ведь очень простой вопрос, мисс Мэйелла, послушайте еще раз. Помните ли вы, как обвиняемый бил вас по лицу? — Теперь Аттикус говорил уже не так мягко и добродушно; голос у него стал юридический — сухой, бесстрастный.— Помните ли вы, как он бил вас по лицу?

— Нет, чтоб ударил, не помню. То, бишь, да, ударил.

— Последние слова можно считать вашим окончательным ответом?

— А? Ну да, ударил... не помню я, ничего я не помню... все получилось так быстро...

Судья Тейлор сурово посмотрел на Мэйеллу.

— Не надо плакать, молодая особа...— начал он.

Но Аттикус сказал:

— Дайте ей поплакать, если ей хочется, ваша честь. Времени у нас сколько угодно.

Мэйелла сердито потянула носом и посмотрела на Аттикуса.

— Я вам на все отвечу... вытащил меня сюда и еще насмехается! Я вам на все отвечу...

— Вот и прекрасно,— сказал Аттикус.— Не так уж много и осталось. Итак, мисс Мэйелла, вы свидетельствуете, что подсудимый ударил вас, схватил за шею, придушил и одолел. Я хотел бы знать, вполне ли вы уверены, что указали настоящего виновника. Не опознаете ли вы перед нами человека, который совершил над вами насилие?

— А конечно, вот он самый и есть.

Аттикус повернулся к своему подзащитному.

— Встаньте, Том. Пусть мисс Мэйелла хорошенько на вас посмотрит. Это и есть тот самый человек, мисс Мэйелла?

Том Робинсон повел широкими плечами, обтянутыми простой бумажной рубашкой. Встал и оперся правой рукой на спинку стула. Вид у него был какой-то странный, будто он покривился на один бок, но

это не потому, что он криво стоял. Левая рука у него была на добрый фут короче правой и висела, как неживая. Кисть руки была маленькая, сухая, даже с галереи было видно, что он ею ничего делать не может.

— Смотри, Глазастик! — выдохнул Джим.— Смотри! Преподобный отец, да он калека!

Преподобный Сайкс перегнулся через меня и шепотом сказал Джиму:

— У него рука попала в машину — он еще мальчиком был, убирал хлопок у мистера Дольфуса Реймонда, и рука попала в машину... он тогда чуть кровью не истек... все мясо с костей сорвало.

— Это и есть тот самый человек, который совершил над вами насилие, мисс Мэйелла?

— Ясно, он самый.

Аттикус задал еще один вопрос, одно только слово:

— Как?

Мэйелла пришла в ярость.

— Уж не знаю как, а только снасильничал... я ж говорю, все получилось больно быстро...

— Давайте рассуждать спокойно,— начал Аттикус, но мистер Джилмер прервал его: он протестует, на этот раз не потому, что вопрос несущественный и к делу не относится, а потому, что Аттикус запугивает свидетельницу.

Судья Тейлор захохотал.

— Бросьте, Горас, сидите и не выдумывайте. Уж если кто кого запугивает, так скорее свидетельница — Аттикуса.

Кроме судьи Тейлора в зале не засмеялась ни одна душа. Даже младенцы притихли, я вдруг подумала: может, они задохнулись у груди матерей.

— Итак, мисс Мэйелла,— сказал Аттикус,— вы свидетельствуете, что подсудимый вас бил и душил... вы не говорили, что он потихоньку подкрался сзади и ударил вас так, что вы потеряли сознание, вы сказали — вы обернулись, а он сзади стоит...— Аттикус отошел к своему столу и теперь постукивал по нему костяшками пальцев в такт каждому слову.— Не угодно ли вам пересмотреть какую-либо часть ваших показаний?

— Вы хотите, чтоб я говорила, чего не было?

— Нет, мэм, я хочу, чтобы вы сказали то, что было. Пожалуйста, скажите нам еще раз, как было дело?

— Я уж сказала.

— Вы сказали, что обернулись и увидели его сзади себя. И тогда он начал вас душить?

— Да.

— А потом перестал душить и ударил по лицу?

— Ну да, я уж говорила.

— И подбил вам правый глаз кулаком правой руки?

— Я пригнулась, и... и у него кулак соскользнул, вон что. Я пригнулась, и кулак соскользнул.

Мэйелла наконец поняла, что к чему.

— Вы вдруг все это очень ясно припомнили. Совсем недавно ваши воспоминания были не так отчетливы, не правда ли?

— Я сказала — он меня ударил.

— Ну, хорошо. Он вас душил, ударил, а потом изнасиловал — так?

— Ну, ясно.

— Вы девушка крепкая, что же вы делали все это время — стояли смирно?

— Я ж вам говорила, я орала изо всех сил, и брыкалась, и отбивалась...

Аттикус медленно снял очки, уставился на Мэйеллу здоровым правым глазом и засыпал ее вопросами. Судья Тейлор прервал его.

— Задавайте по одному вопросу за раз, Аттикус. Дайте свидетельнице ответить.

— Хорошо. Почему вы не убежали?

— Я старалась, но...

— Старались? Что же вам помешало?

— Я... он сбил меня с ног. Вот как было, он меня сбил с ног и навалился на меня.

— И вы все время кричали?

— Ясно, кричала.

— Как же вас не услышали братья и сестры? Где они были? На свалке?

Никакого ответа.

— Где они были? Почему они не сбежались на ваши крики? Ведь от вашего дома до свалки не так далеко, как до леса?

Никакого ответа.

— А может быть, вы закричали только тогда, когда увидели в окне своего отца? А до той минуты вы и не думали кричать, так?

Никакого ответа.

— Может быть, вы начали кричать не из-за Тома Робинсона, а из-за своего отца? Так было дело?

Никакого ответа.

— Кто вас избил? Том Робинсон или ваш отец?

Никакого ответа.

— Что увидел в окно ваш отец — преступное насилие или полнейшее нежелание его совершить? Почему бы вам не сказать правду, девочка,— разве не Боб Юэл вас избил?

Аттикус отвернулся от Мэйеллы, лицо у него стало такое, как будто у него разболелся живот, а у Мэйеллы лицо было испуганное и злобное. Аттикус сел на свое место и начал протирать очки носовым платком.

Мэйелла вдруг обрела дар речи:

— Мне надо кой-чего сказать.

Аттикус поднял голову.

— Вы хотите рассказать нам, как все было на самом деле?

Но она не услыхала сочувствия в его голосе.

— Мне надо кой-чего сказать, а потом я больше ни словечка не скажу. Этот черномазый меня одолел, и коли все вы, благородные господа, так ему это и спустите, стал-быть, все вы просто вонючие подлые трусы, вот вам и весь сказ, подлые вы трусы, вся ваша шайка. И зазря вы тут благородничали, мистер Финч, и зазря вы меня обзывали мэм, и мисс Мэйелла, и по-всякому...

Тут она расплакалась по-настоящему. Плечи ее тряслись от гневных рыданий. Больше она ни на один вопрос не стала отвечать, даже мистеру Джилмеру, который пытался хоть чего-то от нее добиться. Я думаю, не будь она такая бедная и темная, судья Тейлор ее арестовал бы за оскорбление суда и всех присутствующих. Аттикус каким-то образом — я не очень понимала, как именно,— задел ее больное место, но ему это не доставило никакого удовольствия. Он сидел за своим столом, понурив голову, а Мэйелла спустилась с возвышения и пошла мимо него на свое место и поглядела на него с такой злобой и ненавистью — я никогда в жизни не видала, чтоб кто-нибудь так смотрел.

Мистер Джилмер сказал судье, что пока у него больше вопросов нет, и судья Тейлор сказал:

— Нам всем пора отдохнуть. Сделаем перерыв на десять минут.

Аттикус и мистер Джилмер сошлись перед креслом судьи, пошептались о чем-то и вышли в дверь позади свидетельского возвышения, и это

было как сигнал, что всем нам можно немного размяться. Только тут я заметила, что сижу на самом краешке скамьи и ноги у меня онемели. Джим встал, потянулся и зевнул, за ним Дилл, а преподобный Сайкс стал утирать лицо шляпой. Жара невыносимая, сказал он.

Мистер Бракстон Андервуд, который все время смирно сидел в кресле, отведенном для представителя печати, и впитывал, как губка, показания свидетелей, теперь обвел сердитым взглядом галерею для цветных и встретился со мной глазами. Фыркнул и отвернулся.

— Джим,— сказала я,— мистер Андервуд нас видел.

— Это ничего. Аттикусу он не скажет, он просто напечатает про это в хронике в своей «Трибюн».

И Джим опять стал что-то объяснять Диллу — наверно, что́ до сих пор было самое интересное, а мне казалось, ничего такого и не было. Аттикус и мистер Джилмер не вели друг с другом долгих споров; мистер Джилмер как будто даже нехотя выступал в роли обвинителя; свидетели отвечали послушно и почти не упирались. Но Аттикус когда-то сказал нам, что всякий юрист, который вздумает толковать на свой лад свидетельские показания, в конце концов получает от судьи Тейлора суровую отповедь. Аттикус хотел, чтоб я поняла: с виду судья Тейлор ленивый и сонный, но его не проведешь, а это главное. Аттикус сказал — он хороший судья.

Скоро судья Тейлор вернулся и опять забрался в свое вертящееся кресло. Вытащил из жилетного кармана сигару и стал задумчиво ее разглядывать. Я ткнула Дилла локтем в бок. Осмотрев сигару, судья свирепо куснул ее.

— Мы иногда нарочно приходим на него смотреть,— объяснила я Диллу.— Теперь ему до вечера хватит. Ты только смотри.

Не подозревая, что за ним наблюдают с галереи, судья Тейлор ловко выдвинул губами откушенный кончик сигары... хлоп! — он попал прямо в плевательницу, мы даже слышали, как «снаряд» плюхнулся в самую середку.

— Пари держу, если на меткость, так его никто не переплюнет,— пробормотал Дилл.

Обычно во время перерыва публика расходилась из зала, а сегодня никто с места не двинулся. Даже Бездельники остались, хотя им не удалось пристыдить людей помоложе, чтоб уступили место, и пришлось все время стоять у стен. В общественную уборную мистер Гек Тейт, кажется, распорядился никого не пускать, кроме судейских.

Аттикус с мистером Джилмером вернулись, и судья Тейлор посмотрел на свои часы.

— Скоро четыре,— сказал он.

Загадочно и непонятно: часы на здании суда за это время должны были пробить два раза по меньшей мере, а я их ни разу не слыхала.

— Может быть, попробуем сегодня же и закончить? — спросил судья Тейлор.— Как ваше мнение, Аттикус?

— Пожалуй, можно и закончить,— сказал Аттикус.

— Сколько у вас свидетелей?

— Один.

— Что ж, послушаем его.

Глава 19

Томас Робинсон подошел к свидетельскому месту и правой рукой приподнял левую. Он положил эту неживую руку на переплет Библии. Но едва он отнял правую руку, искалеченная левая соскользнула с Библии и ударилась о стол секретаря. Том опять стал поднимать ее, но судья Тейлор буркнул:

— И так хорошо, Том.

Том принес присягу и занял место для свидетелей. Аттикус быстро-быстро стал его спрашивать, и вот что мы узнали: Тому двадцать пять лет, женат, трое детей; к суду привлекался: один раз был приговорен к месяцу тюрьмы за нарушение общественного порядка.

— Значит, было нарушение порядка,— сказал Аттикус.— В чем же оно выразилось?

— Подрался с одним человеком, он хотел пырнуть меня ножом.

— И ему это удалось?

— Да, сэр, самую малость. Вы видите, я...— Том неловко повел левым плечом.

— Вижу,— сказал Аттикус.— Осудили вас обоих?

— Да, сэр, и мне пришлось отбывать срок — штраф-то я не мог заплатить. А он за себя заплатил.

Дилл перегнулся через меня и спросил Джима, что же это Аттикус делает. Джим сказал — Аттикус показывает присяжным, что Тому скрывать нечего.

— Вы знакомы с Мэйеллой-Вайолет Юэл? — спросил Аттикус.

— Да, сэр. Мне мимо них всякий день ходить на плантацию и обратно.

— На чью плантацию?

— Я собираю хлопок у мистера Линка Диза.

— Вы и в ноябре собирали хлопок?

— Нет, сэр, осенью и зимой я работаю у мистера Диза в саду. Я у него работаю круглый год. У него там и пекановые деревья и еще много всякого дела.

— Вы сказали, что вам приходится каждый день ходить мимо дома Юэлов на работу и обратно. А другой дороги нет?

— Нет, сэр, другой я не знаю.

— Мисс Юэл когда-нибудь заговаривала с вами, Том?

— А как же, сэр. Я как иду мимо, всегда кланяюсь, а один раз она велела мне зайти во двор и порубить гардероб.

— Когда она велела вам порубить этот... гардероб?

— Прошлый год, мистер Финч, по весне. Я почему помню, была самая пора окапывать хлопок, и у меня была при себе мотыга. Я говорю, у меня инструмента-то нет, одна мотыга, а она говорит — дам тебе топор. Дала она мне топор, я и порубил гардероб. Она тогда говорит: «Что ж, придется дать тебе пятак, а?» А я говорю — нет, мэм, ничего мне не надо. И пошел домой. Той весной это было, мистер Финч, больше года прошло.

— А еще когда-нибудь вы туда заходили?

— Да, сэр.

— Когда?

— Да сколько раз.

Судья Тейлор потянулся было за молотком, но так его и не поднял. Ропот в зале стих сам собою.

— При каких обстоятельствах это было?

— Не пойму, сэр?

— Почему вы много раз заходили к ним во двор?

Лоб у Тома Робинсона разгладился.

— Она меня звала, сэр. Я мимо иду, а у нее всегда какая-никакая работа для меня, то дров наколоть, то лучины нащепать, то воды натаскать. Цветы эти красные, она их всякий день поливала...

— Вам платили за эти услуги?

— Нет, сэр, только в тот первый раз она хотела дать пятак. Так ведь я не для платы. Мистер-то Юэл, видать, ей не больно помогал, и ребятишки тоже, а лишнис-то пятаки откуда ей взять.

— А где были другие дети?

— Так они всегда тут же, во дворе. Я работаю, а они глядят — которые тут же, которые в окно высунутся.

— Мисс Мэйелла разговаривала с вами?

— Да, сэр, разговаривала.

Том Робинсон давал показания, а я вдруг подумала: видно, эта Мэйелла Юэл все равно что одна на свете. Страшила Рэдли — и то не такой одинокий, хоть он и сидит двадцать пять лет взаперти. Когда Аттикус спросил, есть ли у нее друзья, она даже и не поняла, а потом подумала — он над ней насмехается. Она такая жалкая, все равно как эти мулаты, про которых говорил Джим: белые с ней не знаются, потому что она живет со свиньями, а негры — потому что она белая. Она не может водить компанию с неграми, как мистер Дольфус Реймонд, у нее ведь нет своей земли на берегу и она не из хорошей семьи. Про Юэлов никто не скажет: «Это у них в роду». Мейкомб им дает пособие, подарки на рождество — и поворачивается спиной. Один Том Робинсон, наверно, и обходился с ней по-человечески. А она говорила — он ее одолел, и, когда показания давала, смотрела на него, как на самую грязную грязь. Тут я услышала голос Аттикуса.

— Случалось ли вам когда-либо преступать границы участка Юэлов? Заходили вы когда-нибудь на их участок без особого приглашения от кого-либо из хозяев?

— Нет, сэр, никогда, мистер Финч. Как можно, сэр.

Аттикус нам не раз объяснял, как понять, говорит свидетель правду или лжет — тут главное даже не смотреть на него, но слушать. Так я и сделала — на один вопрос Том три раза сказал «нет», но сказал спокойно, не хныкал, не канючил, и я ему поверила, хоть он и говорил больше, чем надо. Видно было, что он порядочный негр, а порядочный негр никогда не пойдет в чужой двор, если его не звали.

— Что произошло с вами, Том, вечером двадцать первого ноября прошлого года?

Внизу в зале все разом вздохнули и подались вперед. И негры позади нас тоже.

Кожа у Тома была совсем черная, но не блестящая, а как тусклый бархат. На черном лице блестели белки глаз, и, когда он говорил, зубы так и сверкали. Не будь он калекой, он был бы прямо красивый.

— Иду я в тот вечер домой, мистер Финч,— начал он.— А мисс Мэйелла стоит на крыльце, она вам так и сказала. У них было больно тихо, а почему — я не знаю. Я иду и удивляюсь, отчего это тихо, а она меня кликнула, велела зайти помочь. Я и вошел во двор, поглядел кругом, думал, надо дров нарубить, а их не видать, а она говорит: нет, говорит, у меня для тебя в доме дело есть. Дверь соскочила с петель, а зима на носу. Я спросил у мисс Мэйеллы отвертку. А она говорит, отвертка найдется. Ну, я поднялся на крыльцо, а она говорит — иди в дом. Вошел я, поглядел дверь и говорю: мисс Мэйелла, а дверь вроде в порядке. Отворил дверь, затворил — и петли в порядке. А она взяла да и захлопнула дверь. Я все думал, мистер Финч, почему это так тихо, а тут понял, детишек-то ни одного нет, и спрашиваю — мисс Мэйелла, а куда ж все детишки подевались?

Черное лицо Тома начало блестеть, и он провел рукой по лбу.

— Я спрашиваю, куда, говорю, детишки подевались,— повторил он,— а она эдак засмеялась... и говорит, в город пошли, мороженое есть. Полный год я им копила семь пятаков, а все ж таки накопила. Все пошли в город.

Тому было явно не по себе, и не оттого, что он вспотел.

— А вы ей что на это ответили, Том? — спросил Аттикус.

— Я ответил вроде того, что ловко это вы с ними, мисс Мэйелла.

А она говорит: ты так думаешь? Только она, видно, меня не поняла... Я-то думал, какая она ловкая, что накопила денег, и какая добрая к детишкам.

— Понимаю вас, Том,— сказал Аттикус.— Продолжайте.

— Ну, я сказал, я пойду, раз у вас для меня работы нет, а она говорит, есть. Я спросил, какая, а она велела: влезь вон на стул и сними тот ящик с гардероба.

— Не с того гардероба, который вы порубили на дрова? — спросил Аттикус.

Том улыбнулся.

— Нет, сэр, это другой. Высокий, под самый потолок. Я снял ящик, стал слезать, а она... она вдруг взяла да... да и обхватила меня, мистер Финч. Я до того напугался, спрыгнул, стул и опрокинулся... Только этот один стул и опрокинулся, а другое все по местам стояло, когда я уходил, мистер Финч. Бог свидетель.

— А после того, как вы опрокинули стул, что было?

У Тома будто язык отнялся. Он поглядел на Аттикуса, потом на присяжных, потом на мистера Андервуда, который сидел напротив него.

— Том, вы поклялись говорить всю правду. Скажете вы ее нам?

Том растерянно провел рукой по губам.

— Что же дальше было?

— Отвечай на вопрос,— сказал судья Тейлор. Он уже на треть сжевал свою сигару.

— Я спрыгнул со стула, мистер Финч, повернулся, а она как накинется на меня...

— Накинулась на вас? С кулаками?

— Нет, сэр, она... она меня обняла. Обхватила обеими руками.

На этот раз судья Тейлор громко стукнул своим молотком, и в ту же минуту в зале зажегся свет. Еще не стемнело, но солнце уже не светило в окна. Судья Тейлор живо навел порядок.

— А потом что она сделала?

Том через силу глотнул.

— Она встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. И говорит, отродясь с мужчиной не целовалась, хоть черномазого поцелую. А что отец с ней делает, так это не в счет. Поцелуй и ты меня, черномазый, говорит. Я говорю: отпустите меня, мисс Мэйелла, и хотел бежать, а она загородила дверь, не толкать же мне ее. Не хотел я ее толкать, мистер Финч, и говорю: пропустите меня; а тут как раз мистер Юэл заглянул в окно и давай кричать.

— Что он сказал?

Том Робинсон опять глотнул и вытаращил глаза.

— Не могу я это сказать... не могу... тут народ, дети...

— Что он сказал, Том? Вы должны повторить присяжным, что он сказал.

Том Робинсон крепко зажмурился.

— Он сказал: «Чертова шлюха, я тебя убью».

— А потом что было?

— Я сразу убежал, мистер Финч, не знаю я, что потом было.

— Том, вы изнасиловали Мэйеллу Юэл?

— Нет, сэр.

— Нанесли вы ей какие-нибудь побои?

— Нет, сэр.

— Вы противились ее заигрываньям?

— Я старался, мистер Финч. Я старался, только я не хотел быть грубым. Не хотел быть грубым, не хотел ее толкать.

Тут мне пришло в голову — Том очень воспитанный, прямо как Аттикус. Только после отец мне объяснил, и я поняла, в какое трудное

положение попал Том: что бы там ни было, а посмей он ударить белую женщину — и ему конец, вот он и кинулся бежать, а раз бежит, значит, виноват.

— Давайте вернемся к мистеру Юэлу, Том,— сказал Аттикус.— Он вам что-нибудь сказал?

— Нет, сэр. Может, он что и сказал, да меня-то уже не было...

— Достаточно,— оборвал Аттикус.— А то, что вы слышали, кому он говорил?

— Он говорил мисс Мэйелле, мистер Финч, и смотрел на нее.

— И потом вы убежали?

— Да, сэр.

— Почему вы убежали?

— Напугался, сэр.

— Почему вы испугались?

— Были бы вы черный, мистер Финч, вы бы тоже напугались.

Аттикус сел. К свидетельскому месту пошел мистер Джилмер, но в это время в публике поднялся мистер Линк Диз и объявил:

— Вот что я вам всем скажу. Этот малый работает у меня восемь лет, и ни разу я его ни в чем дурном не заметил. Ни разу.

— Попридержите язык, сэр! — загремел судья Тейлор. Сейчас он был вовсе не сонный и весь покраснел. Удивительное дело, несмотря на сигару, он говорил очень внятно.— Линк Диз,— заорал он,— если вам есть что сказать, извольте это говорить в положенное время и под присягой, а пока чтоб вашего духа тут не было. Понятно? Черт меня подери, стану я тут слушать этого фрукта.

Судья Тейлор свирепо поглядел на Аттикуса: попробуй, мол, скажи хоть слово, но Аттикус наклонил голову и только посмеивался про себя. Аттикус когда-то говорил: судья Тейлор очень любит метать громы и молнии, иногда даже хватает через край, но адвокаты пропускают его грозные тирады мимо ушей. Я поглядела на Джима, а он только покачал головой.

— Это ведь не то что присяжный встал да заговорил,— сказал он.— Тогда бы он, наверно, так не разъярился. А мистер Линк просто нарушает порядок.

Судья Тейлор велел секретарю вычеркнуть из протокола все после слов: «Были бы вы черный, мистер Финч, вы бы тоже напугались», а присяжным сказал не обращать внимания на такое вмешательство. Он сердито глядел на проход — наверно, ждал, чтоб мистер Линк Диз закрыл за собой дверь. Потом сказал:

— Давайте, мистер Джилмер.

— Был ты приговорен к месяцу тюрьмы за нарушение общественного порядка, Робинсон? — спросил мистер Джилмер.

— Да, сэр.

— Что ты сделал с тем черномазым?

— Он поколотил меня, мистер Джилмер.

— Да, но осудили-то тебя, верно?

Аттикус поднял голову.

— Это был мелкий проступок, и это уже записано в протоколе, ваша честь.— Мне показалось, голос у него усталый.

— Все равно, пускай свидетель ответит,— сказал судья Тейлор тоже усталым голосом.

— Да, сэр, меня посадили на месяц.

Теперь мистер Джилмер станет уверять присяжных, что раз человека осудили за нарушение общественного порядка, значит, и замыслить насилие над Мэйеллой Юэл он тоже может; только для этого мистер Джилмер и завел этот разговор. Такие доводы всегда годятся.

— Робинсон, ты отлично умеешь одной рукой и гардеробы рубить, и дрова колоть, верно?

— Да, сэр, сдается мне, что так.

— У тебя хватает силы придушить женщину и повалить ее на пол?

— Я никогда этого не делал, сэр.

— Но силы у тебя на это хватит?

— Сдается мне, что так, сэр.

— Давно на нее заглядывался, а, парень?

— Нет, сэр, никогда я на нее не глядел.

— Так ты что же, из одной любезности ей и дрова колол и вещи перетаскивал, а, парень?

— Я ей старался помочь, сэр.

— Ишь ты, какой благородный. Ведь ты и на плантации работал, да и дома всегда дело найдется, а?

— Да, сэр.

— Почему ж ты свои дела не делал, а работал на мисс Юэл?

— Я и свои дела делал, сэр.

— Хлопот, значит, было по горло. А чего ради?

— Что «чего ради», сэр?

— Чего ради ты для нее так старался?

Том Робинсон ответил не сразу.

— Да вот, я уж говорил, помочь-то ей вроде некому,— сказал он неуверенно

— А мистер Юэл, а семеро ребят?

— Да ей вроде никто не помогал...

— И ты колол ей дрова и делал всякую другую работу просто так, по доброте сердечной, а, парень?

— Да вот, хотел ей помочь...

Мистер Джилмер криво усмехнулся и поглядел на присяжных.

— Смотри ты, какой добрый... Столько работал, и все задаром?

— Да, сэр. Я ее жалел, она вроде одна за них за всех старалась...

— Ах вот оно что, жалел? Это ты-то ее жалел? — Мистер Джилмер чуть не подпрыгнул под потолок.

Свидетель понял, что сказал не то, и беспокойно переступил с ноги на ногу. Но ничего уже нельзя было поправить. Всем сидящим внизу ответ Тома Робинсона сильно не понравился. А чтобы его получше запомнили, мистер Джилмер долго не задавал следующего вопроса.

— Итак,— заговорил он наконец,— двадцать первого ноября ты, как всегда, шел мимо дома Юэлов, и она позвала тебя и попросила расколоть гардероб?

— Нет, сэр.

— Ты отрицаешь, что шел мимо дома?

— Нет, сэр... Она сказала, у нее есть для меня работа в доме...

— Она говорит, что попросила тебя расколоть гардероб, так?

— Нет, сэр, не так.

— Значит, ты говоришь, что она лжет?

Аттикус вскочил, но Том обошелся без его помощи.

— Я не говорю — она лжет, мистер Джилмер, просто она ошибается.

Мистер Джилмер задал еще десяток вопросов: он хотел, чтоб Том подтвердил рассказ Мэйеллы. Но Том стоял на своем: мисс Мэйелла ошибается.

— А разве мистер Юэл не выгнал тебя из дому, парень?

— Нет, сэр, не думаю.

— Что значит «не думаю»?

— Он не успел меня выгнать, я сам сразу убежал.

— Насчет этого ты очень откровенен. А почему, собственно, ты так сразу убежал?

— Так вот, сэр, я напугался.

— Чего же ты напугался, если у тебя совесть чиста?

— Я уж говорил, сэр: черному опасно попасть в такую... в такую переделку.

— Но ведь ты не попал в переделку, ты утверждаешь, что устоял перед мисс Юэл. Или, может, ты убежал со страху, что она тебя поколотит, эдакого детину?

— Нет, сэр, я боялся попасть под суд, а все равно попал.

— Боялся, что тебя арестуют, боялся, что придется отвечать за то, что натворил?

— Нет, сэр, боялся — придется отвечать за то, чего не делал.

— Ты это что же, парень, дерзишь мне?

— Нет, сэр, что вы.

Дальше я уже не слушала вопросов мистера Джилмера — Джим велел мне увести Дилла. Дилл почему-то расплакался и никак не мог перестать; сперва он всхлипывал тихонько, а потом громче, громче, и все вокруг услыхали. Джим сказал, если я не уведу Дилла, он меня все равно заставит, и преподобный Сайкс тоже сказал, что надо бы мне пойти,— и я пошла. Дилл в тот день был вроде здоров, ничего у него не болело, наверно, он просто еще не пришел в себя после своего побега.

— Ты что, заболел? — спросила я, когда мы сошли вниз.

Мы вышли на крыльцо, Дилл изо всех сил старался взять себя в руки. На крыльце одиноко сидел мистер Линк Диз.

— Что-нибудь случилось, Глазастик? — спросил он, когда мы проходили мимо.

— Нет, сэр,— сказала я на ходу.— Только вон Дилл чего-то скис.

— Пойдем под деревья,— сказала я Диллу.— Это ты, наверно, от жары.

Мы выбрали самый тенистый виргинский дуб и уселись под ним.

— Нет, просто я не мог его слушать,— сказал Дилл.

— Кого, Тома?

— Да нет же, этого противного Джилмера, как он его мучает.

— Так ведь это его работа, Дилл. А как же. Ведь если б у нас не было обвинителей, так, наверно, и защитников не было бы.

Дилл терпеливо вздохнул.

— Знаю, Глазастик. Но он уж так придирался — оттого мне и тошно стало.

— Ему так полагается, Дилл, он вел перекрестный...

— Но ведь с другими он не так...

— Так то были его свидетели.

— А все равно мистер Финч Мэйеллу и старика Юэла совсем не так допрашивал. А этот все время называет Тома «парень» и насмехается, и, что тот ни скажет, он все оборачивается к присяжным — видали, мол, как врет.

— Ну, знаешь, Дилл, в конце концов Том ведь просто негр.

— Ну и пусть. А все равно это нечестно. Нечестно с ними так обращаться. Нельзя так разговаривать с человеком... Меня прямо тошнит.

— Да мистер Джилмер вообще такой, он со всеми так, Дилл. Ты еще не знаешь, какой он бывает злой, а тут... знаешь, мистер Джилмер, по-моему, вовсе не так и старался. Нет, они все так, все юристы.

— Мистер Финч не такой.

— Он не в счет, Дилл, он...— Я старалась вспомнить, как тогда хорошо сказала мисс Моди Эткинсон. Ага, вот: — Он всегда одинаковый — что в суде, что на улице.

— Я не про то,— сказал Дилл.

— Я понимаю, про что ты, малыш,— сказал кто-то у нас за спиной.

Нам показалось — это заговорил дуб, но это был мистер Дольфус Реймонд. Он выглянул из-за дерева.

— Ты ведь не неженка, просто тебе от этого тошно, так я говорю?

Глава 20

— Поди сюда, сынок, у меня есть средство, от которого тебе полегчает.

Мистер Дольфус Реймонд был нехороший человек, и его приглашение мне не очень понравилось, но я пошла за Диллом. Почему-то мне казалось, Аттикусу не понравится, если мы заведем дружбу с мистером Реймондом, а уж о тете Александре и говорить нечего.

— На,— сказал он и протянул Диллу бумажный пакет с двумя торчащими соломинками.— Глотни-ка, тебе сразу полегчает.

Дилл пососал соломинку, улыбнулся и стал тянуть вовсю.

— Ха-ха,— сказал мистер Реймонд; видно, ему нравилось совращать ребенка.

— Ты поосторожней, Дилл,— предостерегающе сказала я.

Дилл отпустил соломинку и ухмыльнулся.

— Да это просто кока-кола, Глазастик.

Мистер Реймонд сел и прислонился к дубу. Раньше он лежал на траве.

— Только смотрите, малыши, теперь не выдайте меня, ладно? Не то погибло мое честное имя.

— Так что же, вы пьете из этого мешка просто кока-колу? Самую обыкновенную кока-колу?

— Совершенно верно, мэм,— сказал мистер Реймонд. От него хорошо пахло: кожей, лошадьми, хлопковым семенем. И на нем были сапоги для верховой езды, таких в Мейкомбе никто больше не носил.— Только это я и пью... как правило.

— Значит, вы просто притворяетесь пья...— Я прикусила язык.— Прошу прощения, сэр. Я не хотела быть неве...

Мистер Реймонд фыркнул, он ни капельки не обиделся, и я постаралась найти слова повежливее:

— А почему же вы так все делаете не так?

— Почему... а, ты хочешь знать, почему я притворяюсь? Что ж, это очень просто,— сказал он.— Некоторым не нравится, как я живу. Конечно, я могу послать их к черту: не нравится — и не надо, мне плевать. Мне и в самом деле плевать. Но я не посылаю их к черту, понятно?

— Нет, сэр, непонятно,— сказали мы с Диллом.

— Понимаете, я стараюсь дать им повод, чтоб они не зря бранились. Людям куда приятней браниться, если у них есть повод. Приедешь в город, а приезжаю я не часто, идешь и качаешься, нет-нет, да и отхлебнешь вон из этого мешка, ну, люди и говорят: опять этот Дольфус Реймонд под мухой; где же пьянице отказаться от своих привычек. Где уж ему с собой сладить, вот он и живет не как люди.

— Это нечестно, мистер Реймонд, представляться еще хуже, чем вы есть...

— Верно, нечестно, зато людям так куда удобнее. Скажу тебе по секрету, мисс Финч, не такой уж я пьяница, но ведь им вовек не понять, что я живу, как живу, просто потому, что мне так нравится.

Наверно, мне не следовало слушать этого грешника, ведь у него дети — мулаты, а ему даже не совестно, но уж очень мне было интересно. Никогда еще я не встречала человека, который нарочно возводил бы

на себя напраслину. Но почему он доверил нам свой самый большой секрет? Я так и спросила.

— Потому что вы дети и можете это понять,— сказал он,— и потому что я слышал вон его...

Он кивнул на Дилла.

— Ему еще пока невтерпеж смотреть, если кому-то плохо приходится. Вот подрастет, тогда не станет из-за этого ни плакать, ни расстраиваться. Может, ему что и покажется, ну, скажем, не совсем справедливым, но плакать он не станет, еще несколько лет — и не станет.

— О чем плакать, мистер Реймонд? — Дилл вспомнил, что он мужчина.

— О том, как люди измываются друг над другом и даже сами этого не замечают. О том, как белые измываются над цветными и даже не подумают, что цветные ведь тоже люди.

— Аттикус говорит, обмануть цветного в десять раз хуже, чем белого,— пробормотала я.— Говорит, хуже этого нет ничего на свете.

— Ну, не думаю...— сказал мистер Реймонд.— Мисс Джин-Луиза, твой папа не такой, как все, ты этого еще не понимаешь, ты пока слишком мало видела на своем веку. Ты даже наш город еще толком не разглядела, но для этого тебе достаточно сейчас вернуться в зал суда.

И тут я спохватилась: ведь мистер Джилмер, наверно, уже всех допросил. Я поглядела на солнце, оно быстро опускалось за крыши магазинов на западной стороне площади. Я сама не знала, что выбрать, что интереснее — мистер Реймонд или пятая сессия окружного суда.

— Пошли, Дилл,— сказала я наконец.— Ты уже ничего?

— Ага. Рад был познакомиться, мистер Реймонд, спасибо за питье, оно отлично помогает.

Мы перебежали площадь, взлетели на крыльцо, потом по лестнице и пробрались на галерею. Преподобный Сайкс сберег наши места.

В зале было тихо, и я опять подумала, куда же подевались все младенцы. От сигары судьи Тейлора виднелся один только кончик; мистер Джилмер за своим столом что-то писал на желтых листках, кажется, он старался обогнать секретаря — у того рука так и бегала по бумаге.

— Ах, чтоб тебе,— пробормотала я.— Прозевали.

Аттикус уже сказал половину своей речи. У него на столе лежали какие-то бумаги — наверно, он их достал из своего портфеля, который стоял на полу возле стула. И Том Робинсон теребил их.

— ...и несмотря на отсутствие прямых улик этот человек обвинен в преступлении, караемом смертью, и предстал перед судом...

Я ткнула Джима в бок.

— Давно он говорит?

— Только разобрал улики,— прошептал Джим.— Вот увидишь, Глазастик, мы выиграем. Непременно выиграем. Он в пять минут ничего от них не оставил. Он так все просто объяснил, ну ...прямо как я бы стал объяснять тебе. Ты и то бы поняла.

— А мистер Джилмер?..

— Ш-шш. Ничего нового, все одно и то же. Теперь молчи.

Мы опять стали смотреть вниз. Аттикус говорил спокойно, равнодушно, так он обычно диктовал письма. Он неторопливо расхаживал перед скамьями присяжных, и они, кажется, слушали со вниманием: они все на него смотрели — и, по-моему, одобрительно. Наверно, потому, что он не кричал.

Аттикус замолчал на минуту и вдруг повел себя как-то очень странно. Он положил часы с цепочкой на стол и сказал:

— Если позволите, ваша честь...

Судья Тейлор кивнул, и тогда Аттикус сделал то, чего никогда не делал ни прежде, ни после, ни на людях, ни дома: расстегнул жилет,

расстегнул воротничок, развязал галстук и снял пиджак. Дома, пока не придет время ложиться спать, он всегда ходил застегнутый на все пуговицы, и сейчас для нас с Джимом он был все равно что голый. Мы в ужасе переглянулись.

Аттикус сунул руки в карманы и пошел к присяжным. На свету блеснула золотая запонка и колпачки самопишущей ручки и карандаша.

— Джентльмены,— сказал он. И мы с Джимом опять переглянулись: так он дома говорил — Глазастик. Теперь голос у него уже был не сухой и равнодушный, он говорил с присяжными, будто встретил знакомых на углу у почты.

— Джентльмены,— говорил он,— я буду краток, но я бы хотел употребить оставшееся время, чтобы напомнить вам, что дело это несложное, вам не надо вникать в запутанные обстоятельства, вам нужно другое: уяснить себе, виновен ли обвиняемый, уяснить настолько, чтобы не осталось и тени сомнения. Начать с того, что дела этого вообще не следовало передавать в суд. Дело это простое и ясное, как дважды два.

Обвинение не представило никаких медицинских доказательств, что преступление, в котором обвиняют Тома Робинсона, вообще имело место. Обвинитель ссылается лишь на двух свидетелей, а их показания вызывают серьезные сомнения, как стало ясно во время перекрестного допроса, более того, обвиняемый решительно их опровергает. Обвиняемый не виновен, но в этом зале присутствует тот, кто действительно виновен.

Я глубоко сочувствую главной свидетельнице обвинения, но как ни глубоко мое сочувствие, ему есть пределы — я не могу оправдать свидетельницу, когда она старается переложить свою вину на другого, зная, что это будет стоить ему жизни.

Я говорю «вина», джентльмены, потому что свидетельница виновата. Она не совершила преступления, она просто нарушила суровый, освященный временем закон нашего общества, закон столь непреклонный, что всякого, кто его нарушил, изгоняют из нашей среды, как недостойного. Она жертва жестокой нужды и невежества, но я не могу ее жалеть: она белая. Она прекрасно знала, как непозволительно то, что она совершает, но желание оказалось для нее важнее закона — и, упорствуя в своем желании, она нарушила закон. Она уступила своему желанию, а затем повела себя так, как хоть раз в жизни ведет себя каждый. Она поступила, как поступают все дети,— попыталась избавиться от обличающей ее улики. Но ведь перед нами не ребенок, который прячет краденое лакомство: она нанесла своей жертве сокрушительный удар — ей необходимо было избавиться от того, кто обо всем этом знал. Он не должен больше попадаться ей на глаза, не должен существовать. Она должна уничтожить улику.

Что же это за улика? Том Робинсон, живой человек. Она должна избавиться от Тома Робинсона. Том Робинсон самим своим существованием напоминал ей о том, что она совершила. Что же она совершила? Она хотела соблазнить негра. Она — белая — хотела соблазнить негра. Она совершила поступок, который наше общество не прощает: поцеловала черного. И не какого-нибудь старика негра, а молодого, полного сил мужчину. До этой минуты для нее не существовало закона, но, едва она его преступила, он безжалостно обрушился на нее.

Ее отец увидел это. Что он на это сказал, мы знаем из показаний обвиняемого. Что же сделал ее отец? Мы не знаем, но имеются косвенные улики, указывающие, что Мэйелла Юэл была зверски избита кем-то, кто действовал почти исключительно левой рукой. Отчасти мы знаем, что сделал мистер Юэл: он поступил так, как поступил бы на его месте каждый богобоязненный христианин, каждый почтенный белый человек.

Он добился ареста Тома Робинсона, дав соответствующие показания, которые, несомненно, подписал левой рукой, и вот Том Робинсон оказался на скамье подсудимых, и вы все видели, как он присягнул на Библии, положив на нее свою единственную здоровую руку — правую.

Итак, тихий, порядочный, скромный негр, у которого хватило дерзости «пожалеть» белую женщину, вынужден оспаривать слова двух белых. Я не стану вам напоминать, как они выглядели и как вели себя, когда давали показания,— вы сами это видели. Свидетели обвинения, за исключением шерифа округа Мейкомб, предстали перед вами, джентльмены, перед судом, в бесстыдной уверенности, что в их показаниях никто не усомнится, в уверенности, что вы, джентльмены, как и они, исходите из предположения — порочного предположения, вполне естественного для людей подобного сорта,— будто *все* негры лгут, *все* негры безнравственны от природы, *всех* негров должны опасаться наши женщины. А это по самой сути своей, джентльмены, есть ложь, черная, как кожа Тома Робинсона, и вы не хуже меня знаете, что это ложь. А между тем вам известна и правда, вот она: некоторые негры лгут, некоторые негры безнравственны, некоторых негров должны опасаться женщины — и белые, и черные. Но ведь то же самое можно сказать обо всем человечестве, а не только об одной какой-то расе. В этом зале не найдется ни одного человека, который бы ни разу за всю свою жизнь не солгал, ни разу не поступил безнравственно, и нет на свете мужчины, который хоть раз не посмотрел бы на женщину с вожделением.

Аттикус замолчал и вытащил носовой платок. Потом снял очки и протер их, и мы сделали еще одно открытие: никогда до этой минуты мы не видели, чтобы он вспотел,— он был из тех, на чьем лице никогда не увидишь испарины, а сейчас оно блестело, как от загара.

— Еще одно, джентльмены, и я заканчиваю. Томас Джефферсон сказал однажды, что все люди созданы свободными и равными; слова эти янки и моралисты из вашингтонских департаментов с восторгом швыряют нам в лицо. Ныне, в тысяча девятьсот тридцать пятом году, есть люди, которые склонны повторять эти слова к месту и не к месту по любому поводу. Вот вам один из самых нелепых примеров: педагоги переводят из класса в класс тупиц и лентяев наравне со способными учениками и пресерьезно объясняют, что иначе нельзя, ибо все люди созданы равными и дети, оставляемые на второй год, невыносимо страдают от сознания своей неполноценности. Но мы знаем, люди не созданы равными в том смысле, как кое-кто хочет нас уверить: иные выделяются умом, у других по воле случая больше возможностей, третьи умеют больше заработать, иным женщинам лучше удаются пироги, короче говоря — иные люди рождаются значительно более одаренными, чем остальные.

Но в одном отношении в нашей стране все люди равны, есть у нас одно установление, один институт, перед которым все равны — нищий и Рокфеллер, тупица и Эйнштейн, невежда и ректор университета. Институт этот, джентльмены, не что иное, как суд. Все равно, будь то Верховный суд Соединенных Штатов, или самый скромный мировой суд где-нибудь в глуши, или вот этот достопочтенный суд, где вы сейчас заседаете. У наших судов есть недостатки, как у всех человеческих установлений, но суд в нашей стране великий уравнитель, и перед ним поистине все люди равны.

Я не идеалист и вовсе не считаю суд присяжных наилучшим из судов, для меня это не идеал, но существующая, действующая реальность. Суд в целом, джентльмены, не лучше, чем каждый из вас, присяжных. Суд разумен лишь постольку, поскольку разумны присяжные, а присяжные в целом разумны лишь постольку, поскольку разумен каждый из них. Я уверен, джентльмены, что вы беспристрастно рассмотрите

показания, которые вы здесь слышали, вынесете решение и вернете обвиняемого его семье. Бога ради, исполните свой долг.

Последние слова Аттикус произнес едва слышно и, уже отвернувшись от присяжных, сказал еще что-то, но я не расслышала. Как будто он говорил не суду, а сам себе. Я толкнула Джима в бок.

— Что он сказал?

— По-моему, он сказал — бога ради, поверьте ему.

Тут через мои колени перегнулся Дилл и дернул Джима за рукав.

— Гляди-ка! — и показал пальцем.

Мы поглядели, и сердце у нас ушло в пятки. Через зал, по среднему проходу, прямо к Аттикусу шла Кэлпурния.

Глава 21

Она застенчиво остановилась у барьера и ждала, пока ее заметит судья Тейлор. На ней был свежий фартук, в руках — конверт.

Наконец судья Тейлор увидел ее и спросил:

— Это ты, Кэлпурния?

— Да, сэр,— сказала она.— Пожалуйста, сэр, можно я передам записку мистеру Финчу? Она к этому... к этому делу не относится...

Судья Тейлор кивнул, и Аттикус взял у Кэлпурнии письмо. Открыл его, прочел и сказал:

— Ваша честь, я... это от сестры. Она пишет, что пропали мои дети, их нет с двенадцати часов... я... разрешите...

— Я знаю, где они, Аттикус,— перебил мистер Андервуд.— Вон они на галерее для цветных... Они там ровно с восемнадцати минут второго.

Отец обернулся и поглядел наверх.

— Джим,— окликнул он.— Иди вниз.

Потом что-то сказал судье, но мы не услышали. Мы протиснулись мимо преподобного Сайкса и пошли к лестнице. Внизу нас ждали Аттикус и Кэлпурния. У Кэлпурнии лицо было сердитое, у Аттикуса измученное.

— Мы выиграли, да? — Джим даже подпрыгивал от радости.

— Не знаю,— коротко сказал Аттикус.— Вы все время были здесь? Ступайте с Кэлпурнией, поужинайте и оставайтесь дома.

— Ой, Аттикус, позволь нам вернуться! — взмолился Джим.— Пожалуйста, позволь нам послушать приговор, ну, пожалуйста, сэр.

— Неизвестно, когда это будет, присяжные могут вернуться в любую минуту...— Но мы уже чувствовали, что Аттикус немного смягчился.— Что ж, вы уже столько слышали, можете дослушать до конца. Вот что, пойдите поужинайте и можете вернуться... только ешьте не спеша, ничего важного вы не упустите, и, если присяжные еще будут совещаться, вы дождетесь их вместе с нами. Но думаю, что все кончится еще до вашего возвращения.

— Ты думаешь, его так быстро оправдают? — спросил Джим.

Аттикус открыл было рот, но так ничего и не сказал, повернулся и ушел.

Я стала молить бога, чтобы преподобный Сайкс сберег наши места, но вспомнила, что, как только присяжные удалились, публика валом повалила из зала суда, и бросила молиться: сейчас все, наверно, толпятся в аптеке, в забегаловке, в гостинице — разве что они и ужин с собой прихватили.

Кэлпурния повела нас домой.

— ...всех вас надо выдрать как следует. Слыханное ли дело: детям— и такое слушать! Мистер Джим, как же это вы додумались, маленькую

сестренку на такой процесс повели? Мисс Александра как узнает, ее прямо удар хватит. Да разве годится детям такое слушать...

На улицах уже горели фонари, и фонарь за фонарем освещал разгневанный профиль Кэлпурнии.

— Я-то думала, у вас какая-никакая голова на плечах, мистер Джим. Слыханное ли дело, потащить туда сестренку! Слыханное ли дело, сэр! И вам не совестно, неужто у вас совсем никакого соображения нету?

Я ликовала. Столько всего случилось за один день, сразу и не разберешься, а теперь вот Кэлпурния дает жару своему драгоценному Джиму — какие еще чудеса нас ждут сегодня?

Джим только хихикал.

— Кэл, а тебе самой разве не интересно, что там было?

— Придержите язык, сэр! Вам бы от стыда глаз не подымать, а у вас все хиханьки да хаханьки...— Кэлпурния снова обрушилась на Джима, грозила ему самыми страшными карами, но он и ухом не повел.— Извольте идти в дом, сэр! Если мистер Финч вас не выдерет, так я выдеру, — привычно закончила она и поднялась на крыльцо.

Джим ухмыльнулся, вошел в дом, и Кэлпурния молча кивнула в знак того, что Дилл может ужинать с нами.

— Только сейчас же позвони мисс Рейчел и скажи, что ты у нас,— велела она Диллу. — Она с ног сбилась, всюду бегала, тебя искала... Смотри, утром возьмет да и отправит тебя назад в Меридиан.

Нас встретила тетя Александра и чуть в обморок не упала, когда Кэлпурния сказала ей, где мы были. Мы сказали, что Аттикус позволил нам вернуться, и она за весь ужин ни слова не вымолвила — наверно, очень на него обиделась. Она уныло уставилась в свою тарелку и стала ковырять в ней вилкой, а Кэлпурния щедро накладывала Джиму, Диллу и мне картофельный салат с ветчиной, наливала нам молоко и все время ворчала себе под нос: «Постыдились бы»...

— Да ешьте потихоньку, не торопитесь,— скомандовала она под конец.

Преподобный Сайкс сберег для нас места. Удивительное дело, мы проужинали целый час, а еще удивительнее, что в зале суда почти ничего не изменилось; только скамьи присяжных опустели и подсудимого нет. Судья Тейлор тоже уходил, но, как раз когда мы усаживались, он вернулся.

— Почти никто и с места не двинулся,— сказал Джим.

— Когда присяжные ушли, некоторые из публики тоже вышли,— сказал преподобный Сайкс.— Мужчины принесли женам поесть, и матери покормили детей.

— А они давно ушли? — спросил Джим.

— С полчаса. Мистер Финч и мистер Джилмер говорили еще немного, а потом судья Тейлор напутствовал присяжных.

— Ну и как он? — спросил Джим.

— Что он сказал? О, он говорил прекрасно. Я на него ничуть не в обиде, он все сказал по справедливости. Вроде как — если вы верите в одно, значит, должны вынести такой приговор, а если в другое, значит — эдакий. Кажется мне, он немного склонялся в нашу сторону... — Преподобный Сайкс почесал в затылке.

Джим улыбнулся.

— Ему не положено склоняться ни в какую сторону, отец Сайкс, но не беспокойтесь, мы все равно выиграли,— сказал он с видом знатока.— Никакой состав присяжных не может обвинить на основании таких показаний...

— Не будьте так уверены, мистер Джим, я на своем веку ни разу не видал, чтобы присяжные решили в пользу цветного против белого...

Но Джим заспорил и стал разбирать все показания в свете своих собственных взглядов на закон об изнасиловании: если она не против, это уже не изнасилование, но надо, чтоб ей исполнилось восемнадцать (это у нас, в Алабаме), а Мэйелле все девятнадцать. А если ты против, так брыкайся и кричи, и уж тогда надо, чтоб тебя осилили, совладали с тобой, а лучше всего так стукнули, чтоб свалить без сознания. А если тебе восемнадцати нет, тогда все это не обязательно.

— Мистер Джим,— несмело перебил преподобный Сайкс,— маленькой леди не стоило бы слушать про такие вещи...

— А, да она ж не понимает, о чем речь,— возразил Джим. — Это все дела взрослые, верно, Глазастик?

— Ничего подобного, прекрасно я все понимаю. — Наверно, я сказала это уж очень убедительно: Джим замолчал и больше про это не заговаривал.

— Который час, отец Сайкс? — спросил он.

— Скоро восемь.

Я поглядела вниз и увидела Аттикуса: он шагал вдоль окон, потом пошел вдоль барьера к скамьям присяжных. Посмотрел на скамьи, на судью Тейлора и пошел назад к окнам. Я поймала его взгляд и помахала ему. Он кивнул в ответ и пошел своей дорогой.

Мистер Джилмер разговаривал у окна с мистером Андервудом. Берт, секретарь суда, курил папиросу за папиросой; он откинулся на стуле, задрал ноги на стол. Одни только судейские — Аттикус, мистер Джилмер, спавший крепким сном судья Тейлор и Берт — вели себя, как обычно. Никогда еще я не видела, чтобы в переполненном зале суда было так тихо. Иногда закапризничает младенец, пробежит кто-нибудь из детей, а взрослые сидят, будто в церкви. И на галерее вокруг нас негры ждали не шевелясь, с истинно библейским терпением.

Дряхлые часы, поднатужась, пробили восемь гулких ударов, которые отдались у нас во всем теле.

Когда пробило одиннадцать, я уже ничего не чувствовала, я давно устала бороться со сном, прислонилась к уютному боку преподобного Сайкса и задремала. Но тут разом проснулась и, чтобы не заснуть снова, принялась старательно считать головы внизу: оказалось шестнадцать лысых, четырнадцать могли сойти за рыжих, сорок черных и каштановых и... тут я вспомнила: один раз, когда Джим ненадолго увлекся психологическими опытами, он сказал — если много народу, ну, хоть полный стадион, изо всех сил станет думать про одно и то же, ну, хоть чтоб загорелось дерево в лесу, это дерево возьмет и загорится само собой. Я вдруг обрадовалась: вот бы попросить всех, кто сидит внизу, изо всех сил думать, чтоб Тома Робинсона освободили, но потом сообразила: если все так же устали, как я, ничего у нас не получится.

Дилл положил голову на плечо Джима и спал крепким сном, и Джим сидел совсем тихо.

— Как долго, правда? — сказала я.

— Ясно, долго, Глазастик,— весело ответил Джим.

— А ведь по-твоему выходило — они все решат в пять минут.

Джим поднял брови.

— Ты еще кое-чего не понимаешь,— сказал он, а я так устала, мне даже не захотелось спорить. Но, наверно, я была вовсе не сонная, потому что стала чувствовать себя как-то странно. Совсем как прошлой зимой, меня даже дрожь пробрала, а ведь было жарко. Чувство это делалось все сильнее, и наконец в зале суда стало совсем как в холодное февральское утро, когда замолчали пересмешники, и плотники, которые строили мисс Моди новый дом, перестали стучать молотками, и все двери у всех соседей закрылись наглухо, точно в доме Рэдли. Безлюдная, пустынная, замершая в ожидании улица — и битком набитый зал суда.

Эта душная летняя ночь — все равно что то зимнее утро. Вошел мистер Гек Тейт и говорит с Аттикусом, и мне кажется: на нем высокие сапоги и охотничья куртка. Аттикус уже не расхаживает по залу, он поставил ногу на перекладину стула, слушает мистера Тейта и медленно поглаживает коленку. Вот-вот мистер Тейт скажет:

— Стреляйте, мистер Финч...

Но вместо этого он властно крикнул:

— К порядку!

И все поспешно подняли головы. Мистер Тейт вышел из зала и вернулся с Томом Робинсоном. Он провел его на место возле Аттикуса и остановился рядом. Судья Тейлор очнулся, выпрямился и настороженно уставился на пустые скамьи присяжных.

Дальше все было как во сне: вернулись присяжные, они двигались медленно, как пловцы под водой, и голос судьи Тейлора доносился слабо, словно издалека. И тут я увидела то, что замечаешь, на что обращаешь внимание, только если у тебя отец адвокат, и это было все равно, что смотреть, как Аттикус выходит на середину улицы, вскидывает ружье, спускает курок,— и все время знать, что ружье не заряжено.

Присяжные никогда не смотрят на подсудимого, если они вынесли обвинительный приговор. Когда эти присяжные вернулись в зал, ни один из них не взглянул на Тома Робинсона. Старшина передал мистеру Тейту лист бумаги, мистер Тейт передал его секретарю, а тот — судье.

Я зажмурилась. Судья Тейлор читал: «Виновен... виновен... виновен... виновен». Я украдкой поглядела на Джима: он так вцепился в перила, что пальцы побелели, и от каждого «виновен» плечи у него вздрагивали, как от удара. Судья Тейлор что-то говорил. Он зачем-то сжимал в руке молоток, но не стучал им. Будто в тумане я увидела, что Аттикус собрал со стола бумаги и сунул в портфель. Щелкнул замком, подошел к секретарю суда, что-то ему сказал, кивнул мистеру Джилмеру, потом подошел к Тому Робинсону и стал ему что-то шептать. И положил руку ему на плечо. Потом снял со спинки стула свой пиджак и накинул его. И вышел из зала, но не в ту дверь, как всегда. Он быстро прошел через весь зал к южному выходу — видно, хотел поскорей попасть домой. Я все время смотрела на него. Он так и не взглянул наверх.

Кто-то легонько толкнул меня, но мне не хотелось оборачиваться, я не отрываясь смотрела на людей внизу, на Аттикуса, который одиноко шел по проходу.

— Мисс Джин-Луиза.

Я оглянулась. Все стояли. Вокруг нас и по всей галерее негры вставали с мест.

Голос преподобного Сайкса прозвучал издалека, как перед тем голос судьи Тейлора:

— Встаньте, мисс Джин-Луиза. Ваш отец идет.

Глава 22

Настал черед Джима плакать. Мы пробирались сквозь шумную веселую толпу, а по его лицу бежали злые слезы. Неправильно это, твердил он всю дорогу до угла площади, где нас ждал Аттикус. Аттикус стоял под уличным фонарем, и лицо у него было такое, словно ничего не случилось, жилет застегнут, воротничок и галстук на месте, цепочка от часов блестит, весь он спокойный и невозмутимый, как всегда.

— Неправильно это, Аттикус,— сказал Джим.

— Да, сын, неправильно.

Мы пошли домой.

Тетя Александра еще не ложилась. Она была в халате, и — вот честное слово — корсета она не снимала.

— Мне очень жаль, брат,— негромко сказала она.

Она никогда еще не называла Аттикуса братом, и я покосилась на Джима, но он не слушал. Он смотрел то на Аттикуса, то в пол — может, он думал, Аттикус тоже виноват, что Тома Робинсона осудили.

— Что с ним? — спросила тетя про Джима.

— Ничего, он скоро придет в себя,— ответил Аттикус. — Ему это не так-то легко далось.— Отец вздохнул.— Я иду спать. Если утром не выйду к завтраку, не будите меня.

— Прежде всего неразумно было разрешать детям...

— Здесь их родной дом, сестра,— сказал Аттикус.— Так уж мы для них его устроили, пусть учатся в нем жить.

— Но им совершенно незачем ходить в суд и пачкаться в этой...

— Это в такой же мере округ Мейкомб, как и собрания миссионерского общества.

— Аттикус,— глаза у тети Александры стали испуганные,— я никак не ожидала, что ты способен из-за этого ожесточиться.

— Я не ожесточился, просто устал. Я иду спать.

— Аттикус,— угрюмо сказал Джим.

Аттикус приостановился в дверях.

— Что, сын?

— Что же они сделали, как они могли?

— Не знаю как, но смогли. Они делали так прежде и сделают еще не раз, и плачут при этом, видно, одни только дети. Покойной ночи.

Но утром все всегда кажется не так страшно. Аттикус, по обыкновению, поднялся ни свет ни заря, и, когда мы понуро вошли в гостиную, он уже уткнулся в «Мобил реджистер». На сонном лице Джима был написан вопрос, который он еще не мог толком выговорить.

— Погоди волноваться,— успокоил его Аттикус, когда мы все вошли в столовую.— Мы еще повоюем. Подадим апелляцию, еще не все потеряно. Господи боже мой, Кэл, это еще что такое? — Аттикус во все глаза уставился на свою тарелку.

— Папаша Тома Робинсона прислал вам сегодня цыпленка, а я его зажарила.

— Скажи ему, что для меня это большая честь, ведь даже у президента наверняка не подают к завтраку цыплят. А это что такое?

— Булочки,— сказала Кэлпурния. — Их прислала Эстелла, которая кухаркой в гостинице.

Аттикус посмотрел на нее в недоумении, и она сказала:

— А вы подите поглядите, что в кухне делается, мистер Финч.

Мы тоже пошли. Кухонный стол ломился от всякой снеди: толстые ломти копченой свинины, помидоры, бобы, даже виноград. Аттикус увидел банку засоленных свиных ножек и усмехнулся.

— Как вы думаете, тетя позволит мне есть это в столовой?

— Прихожу утром, а у нас все заднее крыльцо завалено. Они... они очень благодарны вам за все, что вы сделали, мистер Финч. Это... это ведь не слишком дерзко с их стороны?

В глазах Аттикуса стояли слезы. Он ответил не сразу.

— Передай им, что я очень признателен,— сказал он наконец. — Передай им... передай, чтоб они никогда больше этого не делали. Времена слишком тяжелые...

Он заглянул в столовую, извинился перед тетей Александрой, надел шляпу и отправился в город.

В прихожей послышались шаги Дилла, и Кэлпурния не стала убирать со стола завтрак, к которому Аттикус так и не притронулся. Дилл, как всегда, жевал передними зубами и рассказывал нам, что сказала

после вчерашнего вечера мисс Рейчел: если Аттикус Финч желает прошибать стену лбом — что ж, лоб-то его, не чей-нибудь.

— Я бы ей сказал,— проворчал Дилл, обгладывая куриную ножку,— да с ней сегодня не очень-то поспоришь. Говорит, полночи из-за меня проволновалась, хотела заявить шерифу, чтоб меня разыскивали, да он был в суде.

— Ты больше не бегай никуда, не сказавшись. Ты ее только хуже злишь,— сказал Джим.

Дилл покорно вздохнул.

— Да я ей сорок раз говорил, куда иду... Просто ей слишком мерещатся змеи в шкафу. Вот спорим, она каждое утро за завтраком выпивает пол-литра — два полных стакана, я точно знаю. Своими глазами видел.

— Не говори так, Дилл,— сказала тетя Александра. — Детям не пристало так говорить. Это... это бесстыдство.

— Я не бесстыдник, мисс Александра. Разве говорить правду бесстыдство?

— Так, как ты говоришь,—бесстыдство.

Джим сверкнул на нее глазами, но только сказал Диллу:

— Пошли. Виноград возьми с собой.

Когда мы вышли на веранду, мисс Стивени Кроуфорд захлебываясь рассказывала про суд мистеру Эйвери и мисс Моди Эткинсон. Они оглянулись на нас и опять заговорили. Джим издал воинственный клич. А я пожалела, что у меня нет оружия.

— Ненавижу, когда большие на меня смотрят,— сказал Дилл.— Сразу кажется, будто что-нибудь натворил.

— Поди сюда, Джим Финч,— закричала мисс Моди.

С тяжелым вздохом Джим слез с качелей.

— И мы с тобой,— сказал Дилл.

Мисс Стивени так и нацелилась на нас своим любопытным носом. Кто же это нам позволил пойти в суд? Она-то нас не видала, но сегодня с утра в городе только и разговору, что мы сидели на галерее для цветных. Это что же, Аттикус усадил нас туда, чтобы?.. Там, верно, дышать было нечем среди всех этих?.. И неужели Глазастик поняла все это?.. А досадно, верно, нам было, когда нашего папочку разбили в пух и прах?

— Помолчи, Стивени,— ледяным тоном сказала мисс Моди. — Я не намерена все утро торчать на крыльце... Джим Финч, я позвала тебя, чтобы узнать, не желаешь ли ты и твои коллеги отведать пирога. Я поднялась в пять часов, чтобы его испечь, так что лучше соглашайся. Прошу нас извинить, Стивени. До свиданья, мистер Эйвери.

На кухонном столе у мисс Моди красовался большой пирог и два маленьких. Маленьких нужно бы было три. Не похоже было на мисс Моди, чтоб она забыла про Дилла, и, наверно, лица у нас стали удивленные. Но тут она отрезала кусок от большого пирога и протянула Джиму.

Мы ели и чувствовали — это мисс Моди дает нам понять, что ее отношение к нам ни капельки не изменилось. Она тихо сидела на стуле и смотрела на нас.

И вдруг сказала:

— Не горюй, Джим. В жизни все не так плохо, как кажется.

Когда дома, не на улице, мисс Моди собиралась произнести длинную речь, она упиралась ладонями в колени и языком поправляла вставные зубы. Так она сделала и сейчас, а мы сидели и ждали.

— Вот что я хочу вам сказать: есть на свете люди, которые для того и родились, чтобы делать за нас самую неблагодарную работу. Ваш отец тоже такой.

— Ладно уж,— безнадежным голосом сказал Джим.

— Никаких «ладно уж», сэр,— сказала мисс Моди.— Ты еще недостаточно взрослый, чтоб уразуметь мои слова.

Джим уставился на свой недоеденный пирог.

— Чувствуешь себя как гусеница в коконе, вот что,— сказал он.— Будто спишь спеленутый в теплом углу и ветерок на тебя не подует. Я всегда думал, мейкомбцы самые лучшие люди на свете, по крайней мере с виду-то они такие.

— Мы самые благополучные люди на свете,— сказала мисс Моди.— Не часто обстоятельства призывают нас доказать, что мы и в самом деле христиане, но уж когда это случится, у нас есть на то люди вроде Аттикуса.

Джим горько улыбнулся.

— Хорошо, если бы все в нашем округе так думали.

— Ты и не подозреваешь, как нас много.

— Разве? — Джим повысил голос. — Кто хоть чем-нибудь помог Тому Робинсону, ну кто?

— Прежде всего его друзья цветные и люди вроде нас. Вроде судьи Тейлора, вроде мистера Гека Тейта. Перестань жевать, Джим Финч, и пошевели мозгами. Тебе не приходило в голову, что судья Тейлор не случайно назначил Аттикуса защитником Тома? Что у судьи Тейлора могли быть на это свои причины?

Вот это мысль! Если обвиняемый не мог нанять адвоката, защитником обычно назначали Максвелла Грина, самого молодого из мейкомбских адвокатов, так как ему надо было набираться опыта. И, значит, Тома Робинсона должен был бы защищать Максвелл Грин.

— Подумай-ка об этом.— продолжала мисс Моди.— Это ведь не случайно. Вчера вечером я сидела на крыльце и ждала. Я все ждала вас из суда, ждала и думала: Аттикус Финч не выиграет дело, не может выиграть, но он единственный в наших краях способен заставить присяжных так долго ломать голову над таким делом. И я говорила себе: что ж, мы идем вперед... Это один только шаг, крохотный, младенческий, а все-таки шаг вперед.

— Это все разговоры... Но неужели наши просвещенные судьи и адвокаты не могут справиться с дикарями присяжными? — пробормотал Джим. — Вот я вырасту...

— Об этом уж ты потолкуй с отцом,— сказала мисс Моди.

Мы спустились по прохладным новым ступенькам, вышли на солнце и увидели, что мистер Эйвери и мисс Стивени Кроуфорд все еще стоят и разговаривают. Они прошли по тротуару и стояли теперь у дома мисс Стивени. И к ним шла мисс Рейчел.

— А я когда вырасту, наверно, стану клоуном, — сказал Дилл.

Мы с Джимом от удивления стали как вкопанные.

— Да, клоуном,— сказал он.— Ничего у меня с людьми не получается, я только и умею, что смеяться над ними, вот я и пойду в цирк и буду смеяться до упаду.

— Ты все перепутал, Дилл,— сказал Джим.— Сами клоуны грустные, а вот над ними все смеются.

— Ну и пусть, а я буду другой клоун. Буду стоять посреди арены и смеяться всем в лицо. Вон погляди туда,— мотнул он головой.— Это разве люди? Им только на помеле летать. Тетя Рейчел уже и летает.

Мисс Стивени и мисс Рейчел нетерпеливо махали нам — верно сказал Дилл: настоящие ведьмы.

— О, чтоб вас! — выдохнул Джим. — А не подойти нельзя, невежливо.

Что-то случилось. Мистер Эйвери был весь красный — он так расчихался, чуть не сбил нас с ног, когда мы подошли. Мисс Стивени прямо вся тряслась, мисс Рейчел схватила Дилла за плечо.

— Иди сейчас же во двор и носа не высовывай. На улице опасно,— сказал она.

—А почему? — спросила я.

— Вы что, не слыхали? Весь город только об этом и говорит...

Тут на пороге появилась тетя Александра и позвала нас, но было уже поздно. Мисс Стивени захлебываясь сообщила нам, что сегодня утром мистер Боб Юэл остановил Аттикуса на углу у почты, плюнул ему в лицо и сказал — дай только срок, он еще с этим адвокатишкой расправится.

Глава 23

— Я бы предпочел, чтобы Боб Юэл не жевал табак,— только и сказал об этом Аттикус.

По словам мисс Стивени Кроуфорд, дело было так: Аттикус выходил с почты, к нему подошел мистер Юэл, обругал его, плюнул ему в лицо и погрозился убить. Мисс Стивени сказала (а когда она рассказывала это второй раз, уже выходило, будто она все видела своими глазами по дороге от газетного киоска) — Аттикус и бровью не повел, только вынул платок, утерся и стоял и слушал, как мистер Юэл честил его, да такими словами, что она их нипочем не повторит, скорей язык себе откусит. Мистер Юэл не привык воевать в открытую, а тут еще Аттикус никак не отвечал на его брань, он тогда и говорит: что, говорит, черномазым пятки лизать не гордый, а драться гордый? Нет, сказал Аттикус, просто старый, сунул руки в карманы и пошел прочь, рассказывала мисс Стивени. Уж в этом Аттикусу Финчу не откажешь — он иной раз так срежет...

Но мы с Джимом выслушали все это без всякого удовольствия.

— А все-таки прежде он был самый меткий стрелок во всем округе,— сказала я.— Он мог...

— Не станет он ходить с ружьем, Глазастик,— сказал Джим.— Да у него и ружья-то нет... Ты же знаешь, он и у тюрьмы тогда без ружья сторожил. Он мне сказал: ходить с оружием — значит, только набиваться, чтоб в тебя стреляли.

— Сейчас другое дело,— сказала я.— Давай попросим его, пускай у кого-нибудь одолжит ружье.

Мы попросили, и Аттикус сказал — чепуха.

Дилл сказал — нам надо взывать к доброму сердцу Аттикуса: ведь, если мистер Юэл его убьет, мы помрем с голоду и еще достанемся тете Александре, и ведь, ясное дело, как только Аттикуса схоронят, она сразу уволит Кэлпурнию. Джим сказал — может, на Аттикуса подействует, если я стану реветь и кататься по полу, ведь я еще маленькая, да к тому же девочка. Это тоже не помогло.

Но потом Аттикус увидел, что мы уныло бродим вокруг дома, не едим, забросили все игры, и понял, до чего мы напуганы. Как-то вечером он принес Джиму новый футбольный журнал; Джим нехотя перелистал его и бросил. Тогда Аттикус спросил:

— Что тебя тревожит, сын?

— Мистер Юэл,— напрямик сказал Джим.

— А что случилось?

— Ничего. Мы за тебя боимся, надо, чтоб ты с ним что-то сделал.

Аттикус невесело усмехнулся.

— Что же с ним сделать? Заставить его подписать пакт о ненападении?

— Когда человек говорит, что он с тобой расправится, это не шутка.

— Он и не шутил тогда,— сказал Аттикус.— Попробуй-ка на мину-

ту влезть в шкуру Боба Юэла, Джим. На суде я окончательно доказал, что ни одному его слову верить нельзя, если ему до этого хоть кто-нибудь верил. Ему необходимо было на ком-нибудь это выместить, такие люди иначе не могут. Что ж, если оттого, что он плюнул мне в лицо и пригрозил убить, на долю Мэйеллы досталось меньше побоев, пусть так. Должен же он был на ком-то сорвать зло, так уж лучше на мне, чем на своих ребятишках. Понимаешь?

Джим кивнул.

— Нам нечего бояться Боба Юэла, он уже отвел душу,— сказал Аттикус.

И тут вошла тетя Александра.

— Я в этом совсем не так уверена, Аттикус,— сказала она.— Такой на все пойдет, лишь бы отомстить за обиду. Ты же знаешь этих людей.

— Но что мне такого может сделать Юэл, сестра?

— Какую-нибудь гадость исподтишка,— сказала тетя Александра.— Уж не сомневайся.

— В Мейкомбе мало что можно сделать исподтишка,— возразил Аттикус.

Больше мы не боялись. Лето кончалось, и мы не теряли времени даром. Аттикус объяснил нам, что Тому Робинсону ничто не грозит, пока его дело не рассмотрят в следующей инстанции, и что его, скорее всего, освободят или в крайнем случае назначат новое разбирательство. А пока он на Энфилдской ферме, в Честерском округе, в семидесяти километрах от Мейкомба. Я спросила, позволяют ли жене и детям навещать Тома, но Аттикус сказал — не позволяют.

— А что с ним будет, если апелляция не поможет? — спросила я как-то вечером.

— Тогда его посадят на электрический стул,— сказал Аттикус,— если только губернатор не смягчит приговор. Подожди волноваться, Глазастик. Мы вполне можем выиграть это дело.

Джим растянулся на диване и читал «Популярную механику».. Тут он поднял голову и сказал:

— Это все неправильно. Даже если он виноват, он никого не убил. Он никого не лишил жизни.

— Ты же знаешь, по законам штата Алабама за изнасилование полагается смертная казнь,— сказал Аттикус.

— Да, сэр, но присяжные не должны были присуждать его к смерти... если уж решили, что он виновен, присудили бы двадцать лет.

— К двадцати годам,— поправил Аттикус.— Том Робинсон — цветной, Джим. Ни один состав присяжных в наших краях, разбирая подобное дело, не скажет: «Мы считаем, что ты виноват, но не очень». Тут могло быть либо оправдание, либо самый суровый приговор.

Джим помотал головой.

— Нет, это все неправильно, только я не пойму, в чем ошибка... может, изнасилование не надо считать таким тяжким преступлением...

Аттикус уронил газету на пол. Он согласен с законом об изнасиловании, вполне согласен, но весьма опасно, когда прокурор требует смертного приговора и присяжные его выносят на основании одних лишь косвенных улик. Тут он увидел, что я тоже слушаю, и объяснил:

— Иными словами, для того чтобы человека приговорили к смерти, скажем, за убийство, требуется один или два очевидца. Надо, чтобы кто-то мог сказать: «Да, я там был, я сам видел, как он спустил курок».

— Но ведь очень многих вешали на основании косвенных улик,— возразил Джим.

— Знаю, и многие из них, вероятно, этого заслуживали... Но если нет очевидцев, всегда остается сомнение, иногда лишь тень сомнения.

Закон называет это «разумное сомнение», но, по-моему, мы не имеем права даже на тень сомнения. В противном случае всегда остается возможность, пусть даже маловероятная, что осужденный невиновен.

— Значит, опять выходит, что во всем виноваты присяжные. Тогда надо с ними покончить,— убежденно сказал Джим.

Аттикус очень старался сдержать улыбку, но не сумел.

— Уж слишком ты с нами крут, сын. Я думаю, можно найти лучший выход: изменить закон. Так изменить, чтобы для самых тяжких преступлений определять наказание мог только судья.

— Тогда поезжай в Монтгомери, пускай изменят закон.

— Ты даже не подозреваешь, как это трудно. Мне не дожить до того времени, когда изменят закон, а ты, если и доживешь, будешь уже стариком.

Джиму это не понравилось.

— Нет, сэр, с присяжными надо покончить. Ведь вот Том не виновен, а они сказали — виновен.

— Будь на месте этих присяжных ты и еще одиннадцать таких, как ты, Том уже вышел бы на свободу,— сказал Аттикус.— Жизнь не успела еще отучить тебя рассуждать ясно и здраво. Двенадцать присяжных, которые осудили Тома, в повседневной жизни люди вполне разумные, но ты сам видел: что-то помешало им рассуждать здраво. То же самое ты видел и в ту ночь перед тюрьмой. Они ушли тогда не потому, что у них верх взял разум, но потому, что они натолкнулись на нас. Есть в нашей жизни что-то такое, отчего люди теряют голову: они бы и хотели быть справедливыми, да не могут. Когда у нас в суде белый выступает против черного, выигрывает всегда белый. Такова неприкрашенная правда жизни.

— Все равно неправильно,— упрямо сказал Джим. Кулаком он постукивал себя по коленке.— При таких уликах нельзя осудить человека, нельзя — и все.

— По-твоему, нельзя, и ты бы не осудил, а вот они осудили. И чем старше ты будешь становиться, тем больше такого увидишь. В суде, более чем где бы то ни было, с человеком должны поступать по справедливости, какого бы цвета ни была его кожа, но люди ухитряются приносить с собой на скамью присяжных все свои предубеждения. Становясь старше, ты все больше будешь замечать, как белые каждый день на каждом шагу обманывают черных, но вот что я тебе скажу, сын, и ты это запомни: если белый так поступает с черным, кто бы ни был этот белый, как бы он ни был богат, из какой бы хорошей семьи ни вышел, все равно он — подонок.

Аттикус говорил совсем тихо, но это последнее слово нас оглушило. Я подняла голову — глаза у него горели.

— Белый негодяй, который пользуется невежеством негра,— что может быть гнуснее? Не надо обманывать себя — счет все растет, и рано или поздно расплаты не миновать. Надеюсь, вам не придется это пережить.

Джим почесал в затылке. И вдруг широко раскрыл глаза.

— Аттикус,— сказал он,— почему люди вроде нас и мисс Моди никогда не бывают присяжными? Наши городские никогда не бывают, а все только какие-то из самой глуши.

Аттикус откинулся в своей качалке. Почему-то он был очень доволен Джимом.

— Я все ждал, когда ты до этого додумаешься,— сказал он.— На то есть много причин. Прежде всего, мисс Моди не может быть присяжной, потому что она женщина...

Я возмутилась:

— Разве в Алабаме женщинам нельзя?

— Вот именно. Как я подозреваю, это для того, чтобы оберечь нежных дам от грязных дел, таких вот, как дело Тома. И потом,— Аттикус усмехнулся,— боюсь, мы бы ни одно разбирательство не довели до конца: дамы все время задавали бы вопросы.

Мы с Джимом расхохотались. Мисс Моди присяжная — вот бы поглядеть! А миссис Дюбоз в своем кресле на колесах: «Прекрати этот стук, Джон Тейлор, я хочу кой о чем спросить этого человека!» Пожалуй, наши предки рассудили мудро.

— Ну, а что до людей вроде нас, нам тоже придется платить по тому счету,— продолжал Аттикус.— Мы получаем таких присяжных, каких заслужили. Во-первых, наши храбрые мейкомбцы слишком равнодушны. Во-вторых, они боятся. Потом, они...

— Почему боятся? — спросил Джим.

— Ну... допустим, мистеру Линку Дизу придется решать, сколько должна мисс Рейчел уплатить мисс Моди, если она, скажем, сбила ее машиной. Линку ведь не захочется терять ни одну из этих покупательниц, правда? Вот он и говорит судье Тейлору, что не может заседать в суде, ему не на кого оставить магазин. И судья Тейлор его освобождает. Иной раз и сердится, а все-таки освобождает.

— А почему мистер Диз думает, что мисс Моди или мисс Рейчел перестанут у него покупать? — спросила я.

— Мисс Рейчел перестанет, а мисс Моди нет,— сказал Джим.— Аттикус, но ведь это тайна, кто из присяжных за что голосует.

Отец усмехнулся.

— Тебе предстоит еще многое уразуметь, сын. Да, предполагается, что это тайна. Став присяжным, человек должен принимать решения и высказывать их. Люди этого не любят. Это ведь не всегда приятно.

— Насчет Тома присяжные уж конечно решали наспех,— пробормотал Джим.

Аттикус взялся за кармашек для часов.

— Нет, не наспех,— сказал он почти про себя.— Понимаешь, именно потому я и подумал: может быть, это все-таки начало. Присяжные совещались не один час. Приговор, вероятно, все равно был предрешен, но обычно такие дела отнимают всего несколько минут. А на этот раз...— Аттикус замолчал на полуслове и посмотрел на нас.— Вам, наверно, интересно будет узнать, что был там один присяжный, которого насилу уломали... вначале он требовал безоговорочного оправдания.

— Кто же это? — удивился Джим.

Глаза Аттикуса весело блеснули.

— Не надо бы говорить, но я вам все-таки скажу. Это один ваш приятель из Старого Сарэма.

— Из Канингемов? — заорал Джим.—Из... я их никого не видел... Нет, ты шутишь! — Он исподлобья смотрел на Аттикуса.

— Это их родич. Я как почуял — и не отвел его. Прямо как почуял. Мог бы отвести, но не отвел.

— Одуреть можно! — изумился Джим.— Только что они его чуть не убили, а через минуту чуть не выпустили... Нет, ввек мне не понять, что это за народ за такой.

Аттикус сказал — просто надо их узнать. Он сказал — с тех самых пор, как Канингемы переселились в Новый Свет, они ни у кого ничего не брали и не принимали. И еще: уж если заслужил их уважение, они за тебя в огонь и в воду. А ему кажется, даже, вернее сказать, мерещится, сказал Аттикус, что в ту ночь, когда они повернули от тюрьмы, они преисполнились уважением к Финчам. И потом, сказал он, переубедить Канингема может только чудо, да и то в паре с другим Канингемом.

— Будь у нас в этом составе два Канингема, присяжные так никогда и не вынесли бы приговора.

— И ты не отвел из присяжных человека, который накануне хотел тебя убить? — медленно сказал Джим.— Как же ты мог пойти на такой риск, Аттикус, как ты мог?

— Если разобраться, риск был не так уж велик. Какая разница между двумя людьми, если оба они готовы засудить обвиняемого? А вот между человеком, который готов осудить, и человеком, несколько сбитым с толку, разница все-таки есть, согласен? Из всего списка только о нем одном я не знал наверняка, как он проголосует.

— А кем он приходится мистеру Уолтеру Канингему? — спросила я.

Аттикус встал, потянулся и зевнул. Даже нам еще не время было спать, но ему хотелось почитать газету. Он поднял ее с полу, сложил и легонько хлопнул меня по макушке.

— Сейчас прикинем,— прогудел он.— Ага, вот. Дважды двоюродный брат.

— Это как же?

— Две сестры вышли за двух братьев. Больше ничего не скажу, соображай сама.

Я думала-думала и решила: если б я вышла за Джима, а у Дилла была бы сестра и он на ней женился, наши дети были бы дважды двоюродные.

— Вот это да, Джим,— сказала я, когда Аттикус ушел.— Ну и чудные эти Канингемы. Тетя, вы слышали?

Тетя Александра крючком вязала коврик и не смотрела на нас, но прислушивалась. Она сидела в своем кресле, рабочая корзинка стояла рядом на полу, коврик расправлен на коленях. Я никогда не могла понять, почему настоящие леди вяжут шерстяные коврики в самую жару.

— Да, слышала,— сказала она.

Мне вспомнилась та давняя злополучная история, когда я кинулась на выручку Уолтеру Канингему-младшему. Как хорошо, что я тогда это сделала.

— Вот пойдем в школу, и я позову Уолтера к нам обедать,— объявила я, совсем забыв, что поклялась себе при первой же встрече его отлупить.— А иногда можно зазвать его к нам и после уроков. А потом Аттикус отвезет его в Старый Сарэм. А когда-нибудь он, может, и переночует у нас, ладно, Джим?

— Там видно будет,— сказала тетя Александра.

Эти слова у нее всегда означали угрозу, а вовсе не обещание. Я удивилась.

— А почему нет, тетя? Они хорошие люди.

Она поглядела на меня поверх своих рабочих очков.

— Я нисколько не сомневаюсь, что они хорошие люди, Джин-Луиза. Но они не нашего круга.

— Тетя хочет сказать, они неотесанные, Глазастик,— объяснил Джим.

— А что это — неотесанный?

— Ну, грубый, любит музыку погромче и всякое такое.

— Подумаешь, я тоже люблю...

— Не говори глупостей, Джин-Луиза,— сказала тетя Александра.— Суть в том, что, если даже отмыть Уолтера Канингема до блеска, надеть на него башмаки и новый костюм, он все равно не будет таким, как Джим. К тому же все Канингемы чересчур привержены спиртному. Женщины из рода Финчей не интересуются подобными людьми.

— Те-о-тя,— протянул Джим,— ей же еще и девяти нет.

— Все равно, пусть знает.

Спорить с тетей Александрой было бесполезно. Я сразу вспомнила, как она в последний раз стала мне поперек дороги. Почему — я так и не

поняла. Я тогда мечтала побывать дома у Кэлпурнии — мне было до смерти интересно; я хотела быть ее гостьей, поглядеть, как она живет, увидеть ее друзей. Но это, оказалось, так же невозможно, как побывать на луне. На этот раз тактика тети Александры была другая, но цель та же. Может, для того она и поселилась у нас, чтобы помогать нам в выборе друзей. Я могла сколько угодно спорить:

— Раз они хорошие люди, почему мне нельзя хорошо обходиться с Уолтером?

— Я не предлагала тебе обходиться с ним плохо. Будь с ним учтивой и приветливой, со всеми надо быть любезной, милочка. Но совершенно незачем приглашать его в дом.

— Тетя, а если б он был нам родня?

— Но он нам не родня, а если бы и так, все равно я сказала бы тебе то же самое.

— Тетя,— вмешался Джим,— Аттикус говорит, выбираешь друзей, а родных-то не выберешь, и признавай их, не признавай — все равно они тебе родня, и, если их не признавать, это просто глупо.

— Узнаю вашего отца,— сказала тетя Александра,— и все-таки, повторяю, Джин-Луизе незачем приглашать Уолтера Канингема в этот дом. Будь он ей хоть дважды двоюродный племянник, все равно его незачем принимать у себя в доме, разве только он придет к Аттикусу по делу. И хватит об этом.

Запрет окончательный и бесповоротный, но все-таки теперь ей придется дать объяснение.

— Тетя, а я хочу играть с Уолтером, почему нельзя?

Тетя Александра сняла очки и посмотрела на меня в упор.

— А вот почему,— сказала она.— Потому... что он... подонок. Вот почему я не позволяю тебе с ним играть. Я не потерплю, чтобы ты водила с ним компанию, и перенимала его привычки, и училась у него бог весть чему. Твоему отцу и без того хватает с тобой хлопот.

Уж не знаю, что бы я сделала, если бы не Джим. Он удержал меня за плечи, обхватил одной рукой и повел к себе. Аттикус услыхал, как я реву от злости, и заглянул в дверь.

— Это ничего, сэр,— сердито сказал Джим,— это просто так.

Аттикус скрылся.

— На, держи, Глазастик.— Джим порылся в кармане и вытащил пакетик жевательной резинки. Не сразу я ее разжевала и почувствовала вкус.

Джим стал наводить порядок у себя на столике. Волосы у него надо лбом и на затылке торчали торчком. Наверно, они никогда не улягутся, как у настоящего мужчины, разве что он их сбреет, тогда, может, новые отрастут аккуратно, как полагается. Брови у него стали гуще, а сам он сделался какой-то тонкий и все тянулся и тянулся кверху.

Он оглянулся и, наверно, подумал, что я опять зареву, потому что сказал:

— Сейчас я тебе кое-что покажу. Только никому не говори.

Я спросила, а что. Он смущенно улыбнулся и расстегнул рубашку.

— Ну, и что?

— Ну, разве не видишь?

— Да нет.

— Да волосы же.

— Где?

— Да вон же.

Он только что меня утешал, и я сказала — это прелесть, но ничего не увидала.

— Правда, очень мило, Джим.

— И под мышками тоже,— сказал он.— На будущий год уже можно будет играть в футбол. Глазастик, ты не злись на тетю.

Кажется, только вчера он говорил мне, чтобы я сама ее не злила.

— Понимаешь, она не привыкла к девочкам. По крайней мере к таким, как ты. Она хочет сделать из тебя леди. Может, ты бы занялась шитьем или чем-нибудь таким?

— Черта с два. Просто она меня терпеть не может. Ну и пускай. Это я из-за Уолтера Канингема взбесилась — зачем она его обозвала подонком, а вовсе не потому, что она сказала — Аттикусу со мной и так много хлопот. Мы с ним один раз все это выяснили. Я спросила: правда, ему со мной много хлопот? А он сказал, не так уж много, пускай я не выдумываю, что ему со мной трудно. Нет, это из-за Уолтера... Джим, он никакой не подонок. Он не то что Юэл.

Джим скинул башмаки и задрал ноги на постель. Сунул за спину подушку и зажег лампочку над изголовьем.

— Знаешь что, Глазастик? Теперь я разобрался. Я все думал, думал и вот разобрался. На свете есть четыре сорта людей. Обыкновенные — вот как мы и наши соседи; потом такие, как Канингемы,— лесные жители; потом такие, как эти Юэлы со свалки; и еще негры.

— А как же китайцы и канадцы, которые в Болдуинском округе?

— Я говорю про Мейкомбский округ. Вся штука в том, что мы не любим Канингемов, Канингемы не любят Юэлов, а Юэлы просто терпеть не могут цветных.

Я сказала: а почему же тогда эти присяжные, которые все были вроде Канингемов, не оправдали Тома назло Юэлам?

Джим от меня отмахнулся, как от маленькой.

— Знаешь, я сам видел, когда по радио музыка, Аттикус притопывает ногой,— сказал Джим,— и он ужасно любит подбирать поскребышки со сковородки...

— Значит, мы вроде Канингемов,— сказала я.— Тогда почему же тетя...

— Нет, погоди, вроде-то вроде, да не совсем. Аттикус один раз сказал: тетя потому так похваляется семьей, что у нас всего и наследства — хорошее происхождение, а за душой ни гроша.

— Все-таки я не пойму, Джим... Аттикус мне один раз сказал: все эти разговоры про старинный род одна глупость, все семьи одинаково старинные. А я спросила: и у цветных, и у англичан? И он сказал — конечно.

— Происхождение — это не то, что старинный род,— сказал Джим.— Я думаю, тут все дело в том, давно ли твоя семья умеет читать и писать. Глазастик, я над этим знаешь сколько голову ломал, и, по-моему, в этом вся суть. Давным-давно, когда Финчи еще жили в Египте, кто-нибудь из них, наверно, выучил два-три иероглифа, а потом научил своего сына.— Джим рассмеялся.— Представляешь, тетя гордится тем, что ее прапрадедушка умел читать и писать... прямо смех с этими женщинами, чем гордятся!

— Ну и очень хорошо, что умел, а то кто бы научил Аттикуса и всех предков, а если б Аттикус не умел читать, мы б с тобой пропали. Нет, Джим, по-моему, хорошее происхождение это что-то не то.

— Тогда чем же, по-твоему, мы все-таки отличаемся от Канингемов? Мистер Уолтер и подписывается-то с трудом, я сам видел. Просто мы читаем и пишем дольше, чем они.

— Но ведь никто не рождается грамотный, всем надо учиться с самого начала. Уолтер знаешь какой способный, он только иногда отстает, потому что пропускает уроки: ведь ему надо помогать отцу. А так он человек как человек. Нет, Джим, по-моему, все люди одного сорта. Просто люди.

Джим отвернулся и стукнул кулаком по подушке. А когда опять обернулся, он был уже чернее тучи. Опять на него нашло, я знала — когда он такой, надо быть поосторожнее. Брови сдвинуты, губы в ниточку. Он долго молчал.

— В твои годы я тоже так думал,— сказал он наконец.— Если все люди одного сорта, почему ж они тогда не могут ужиться друг с другом? Если все одинаковые, почему они так задаются и так презирают друг друга? Знаешь, Глазастик, я, кажется, начинаю кое-что понимать. Кажется, я начинаю понимать, почему Страшила Рэдли весь век сидит взаперти... Просто ему не хочется на люди.

Глава 24

Кэлпурния уж так накрахмалила свой фартук, что он на ней колом стоял. Руки у нее были заняты подносом с шарлоткой. Спиной она осторожно открыла дверь. Просто чудо, как легко и ловко она управлялась с тяжелыми подносами, полными всяких лакомств. Тете Александре это тоже, наверно, очень нравилось, потому что она позволила сегодня Кэлпурнии подавать на стол.

Сентябрь уже на носу. Завтра Дилл уезжает в Меридиан, а сегодня они с Джимом пошли к Заводи. Джим с негодованием обнаружил, что до сих пор никто не потрудился научить Дилла плавать, а это, на его взгляд, все равно что не уметь ходить. Уже второй день они после обеда уходили к ручью, а меня с собой не брали, сказали — голышом им удобнее, и я коротала время то с Кэлпурнией, то с мисс Моди.

Сегодня наш дом был во власти тети Александры и миссионерского общества. К нам в кухню доносился голос миссис Грейс Мерриуэзер, она рассказывала про ужасную жизнь мрунов — так мне, по крайней мере, послышалось. Они выбрасывают женщин из хижин, когда приходит их срок, уж не знаю, что это за срок такой; они лишены чувства семьи — это, конечно, для тети большое огорчение, и когда детям исполняется тринадцать лет, они их подвергают чудовищным испытаниям; они все в сифилисе и уховертках; они жуют хинную кору, выплевывают жвачку в общий котел, варят, а потом напиваются пьяные.

Тут дамы решили сделать перерыв и подкрепиться.

Я не знала, идти мне в столовую или не идти. Тетя Александра велела мне прийти к чаю; пока обсуждаются дела, я могу с ними не сидеть, сказала она, мне это будет неинтересно. На мне было розовое воскресное платье, туфли и нижняя юбка, и, если я что-нибудь на себя пролью, Кэлпурнии придется к завтрашнему дню все это стирать. А у нее и так сегодня много хлопот. Так что лучше уж я не пойду.

— Помочь тебе, Кэл? — Мне очень хотелось быть полезной.

Кэлпурния приостановилась в дверях.

— Сиди тут в уголке тихо, как мышка,— сказала она.— Вот я вернусь, и ты поможешь мне ставить все на подносы.

Она отворила дверь, и деловитое жужжанье стало громче, доносились голоса: ах, какая шарлотка, право, Александра, я такой не видывала... Что за прелесть... У меня никогда так не подрумянивается, ну, никогда... И тарталетки с ежевикой — вы подумайте... Кэлпурния?.. вы только подумайте... вам всякий скажет, что жена священника опять... Ну, да, конечно, а ее младшенький даже еще и не ходит...

Разговоры смолкли — значит, там принялись за угощение. Вернулась Кэлпурния и поставила на поднос массивный серебряный кофейник, оставшийся от нашей мамы.

— Такой кофейник нынче в диковинку,— сказала Кэлпурния,— таких больше не делают.

— Можно я его понесу?

— Только осторожнее, смотри не урони. Поставь его в конце стола возле мисс Александры. Там, где чашки с блюдцами. Она будет разливать.

Я попробовала тоже отворить дверь задом, но дверь ни капельки не поддалась. Кэлпурния ухмыльнулась и отворила мне дверь.

— Осторожнее, он тяжелый. Не гляди на него, тогда не разольешь.

Я прибыла благополучно, тетя Александра наградила меня ослепительной улыбкой.

— Посиди с нами, Джин-Луиза,— сказала она. Она не сдавалась, она хотела непременно сделать из меня настоящую леди.

Так уж повелось у нас в Мейкомбе — глава каждого дамского кружка приглашает соседок на чашку чая, все равно, пресвитерианки они, баптистки или еще кто — вот почему здесь были и мисс Рейчел (совсем трезвая, ни в одном глазу!), и мисс Моди, и мисс Стивени Кроуфорд. Мне стало как-то неуютно, и я села около мисс Моди и подумала: зачем это наши леди надевают шляпы, просто чтобы перейти через дорогу? Настоящие леди, когда их много сразу, всегда меня немножко пугают, и мне очень хочется сбежать, но тетя Александра говорит — это потому, что я избалованная.

Все они были в неярких ситцевых платьях и казались такими свеженькими, будто никакой жары не было и в помине; почти все сильно напудренные, но без румян; и у всех одинаковая губная помада — натуральная. Лак на ногтях тоже натуральный, и только кое у кого из молодых — ярко-розовый. И пахли все восхитительно. Я придумала наконец, куда девать руки: покрепче ухватилась за ручки кресла и, пока со мной никто не заговорил, сидела тихо и молчала.

— Какая же ты сегодня нарядная, мисс Джин-Луиза,— сказала мисс Моди и улыбнулась, блеснув золотыми зубами.— А где же сегодня твои штаны?

— Под платьем.

Я вовсе не хотела шутить, но все засмеялись. Я тут же поняла свою оплошность, даже щекам стало горячо, но мисс Моди смотрела на меня серьезно. Она никогда не смеялась надо мной, если я не шутила.

Потом вдруг стало тихо, и мисс Стивени Кроуфорд крикнула мне через всю комнату:

— А кем ты будешь, когда вырастешь, Джин-Луиза? Юристом?

— Не знаю, мисс, я еще не думала...— благодарно сказала я. Как это хорошо, что она заговорила о другом. И я поспешно начала выбирать, кем же я буду. Сестрой милосердия? Пилотом? — Знаете...

— Да ты не смущайся, говори прямо. Я думала, ты хочешь стать юристом, ты ведь уже бываешь в суде.

Дамы опять засмеялись.

— Ох уж эта Стивени,— сказал кто-то.

И мисс Стивени, очень довольная успехом, продолжала:

— Разве тебе не хочется стать юристом?

Мисс Моди тихонько тронула мою руку, и я ответила довольно кротко:

— Нет, мисс, просто я буду леди.

Мисс Стивени поглядела на меня подозрительно, решила, что я не хотела ей дерзить, и сказала только:

— Ну, для этого надо прежде всего почаще надевать платье.

Мисс Моди сжала мою руку, и я промолчала. Рука у нее была теплая, и мне стало спокойно.

Слева от меня сидела миссис Грейс Мерриуэзер, надо было быть вежливой и занять ее разговором. Под ее влиянием мистер Мерриуэзер обратился в ревностного методиста и не считал для себя зазорным рас-

певать псалмы. Весь Мейкомб сходился на том, что это миссис Мерриуэзер сделала из него человека и добропорядочного члена общества. Ведь миссис Мерриуэзер самая благочестивая женщина в городе, это всякий знает. О чем бы с ней поговорить?

— Что вы сегодня обсуждали? — спросила я наконец.

— Несчастных мрунов, деточка,— сказала она и пошла, и пошла. Больше вопросов не понадобилось.

Когда миссис Мерриуэзер рассказывала о каких-нибудь несчастных, ее большие карие глаза сразу наполнялись слезами.

— Они живут там у себя в джунглях, и никто о них не заботится, кроме Граймса Эверетта,— сказала она.— И знаешь, поблизости ни одного белого, только этот святой человек, Граймс Эверетт.

Миссис Мерриуэзер разливалась соловьем, каждое слово она произносила с необыкновенным чувством:

— Нищета... невежество... безнравственность — никто, кроме мистера Граймса Эверетта, не знает, как они живут. Когда наш приход послал меня... мистер Граймс Эверетт сказал мне...

— Разве он здесь, мэм? Я думала...

— Он приезжал в отпуск. Граймс Эверетт сказал мне: миссис Мерриуэзер, вы не представляете, не представляете себе, с чем мы там вынуждены бороться. Вот как он сказал.

— Да, мэм.

— И я ему сказала: мистер Эверетт, все мы, прихожанки методистской епископальной церкви в городе Мейкомбе, штат Алабама, единодушно вас поддерживаем. Вот как я ему сказала. И знаешь, сказала я так и тут же в сердце своем дала клятву. Я сказала себе: как только вернусь домой, я всем расскажу о мрунах, всем поведаю о миссии Граймса Эверетта. И вот видишь, я держу слово.

— Да, мэм.

Миссис Мерриуэзер покачала головой, и ее черные кудряшки запрыгали.

— Джин-Луиза,— сказала она,— тебе посчастливилось. Ты живешь в христианской семье, в христианском городе, среди христиан. А в том краю, где трудится Граймс Эверетт, царят грех и убожество.

— Да, мэм.

— Грех и убожество... Что вы говорите, Гертруда? — сказала миссис Мерриуэзер совсем другим голосом и повернулась к своей соседке слева.— А, да-да. Что ж, я всегда говорю: простим и забудем, простим и забудем. Долг церкви помочь ей отныне жить, как подобает христианке, и в истинно христианском духе воспитывать детей. Кому-нибудь из наших мужчин следует пойти туда и сказать их священнику, чтобы он ее подбодрил.

— Прошу прощенья, миссис Мерриуэзер,— перебила я,— это вы про Мэйеллу Юэл?

— Мэй... Нет, деточка. Про жену этого черного. Тома... Тома...

— Робинсона, мэм.

Миссис Мерриуэзер опять повернулась к своей соседке.

— В одно я глубоко верю, Гертруда,— продолжала она,— только, к сожалению, не все со мной согласны. Если мы дадим им понять, что мы их прощаем, что все забыто, это пройдет само собой.

— Э-э... миссис Мерриуэзер,— еще раз перебила я,— что пройдет само собой?

Она опять повернулась ко мне. Как многие бездетные люди, она с детьми всегда разговаривала каким-то не своим голосом.

— Ничего, Джин-Луиза,— медлительно и величаво сказала она.— Просто кухарки и работники на плантациях недовольны, но они уже успокаиваются; после этого суда они целый день ворчали.

И она повернулась к миссис Фэрроу.

— Вот что я вам скажу, Гертруда, нет на свете ничего противнее надутой черной физиономии. Надуют губы, прямо смотреть тошно. Зайдешь в кухню — и все настроение портится. Знаете, что я сказала своей Софи, Гертруда? Софи, сказала я, ты сегодня плохая христианка. Иисус Христос никогда не ворчал и не жаловался... И знаете, Гертруда, ей это пошло на пользу. То она все смотрела в пол, а тут подняла глаза и говорит: «Да, мэм, миссис Мерриуэзер, Иисус никогда не ворчал». Никогда не надо упускать случая направить грешную душу на стезю господню — вот что я вам скажу, Гертруда.

Мне вспомнился старинный маленький орган в часовне на «Пристани Финча». Я тогда была совсем маленькая, и, если весь день вела себя хорошо, Аттикус позволял мне нагнетать воздух в мехи, а сам в это время одним пальцем подбирал какую-нибудь песенку. Последняя нота звучала до тех пор, пока в органе хватало воздуху. У миссис Мерриуэзер, видно, кончился весь воздух, и, пока она запасалась новым, миссис Фэрроу приготовилась заговорить.

У миссис Фэрроу была прекрасная фигура, бесцветные глаза и маленькие ножки. И седая голова вся в тугих колечках — видно, только-только от парикмахера. После миссис Мерриуэзер она считалась самой благочестивой женщиной в Мейкомбе. У нее была смешная привычка — она как-то присвистывала, перед тем как заговорить.

— С-с-с... То же самое я на днях говорила брату Хатсону. С-с-с... брат Хатсон, говорю я, мы, кажется, ведем безнадежную борьбу, безнадежную. С-с-с... а их это ничуть не трогает. Мы наставляем их до изнеможения, мы выбиваемся из сил, пытаясь обратить их на путь истинный, и все равно ни одна порядочная женщина в наши дни не может спокойно спать в своей постели. И он мне сказал: «Уж не знаю, миссис Фэрроу, к чему мы идем». С-с-с... совершенно справедливо, вы совершенно правы, говорю.

Миссис Мерриуэзер понимающе кивнула. Ее голос перекрыл позвякиванье чашек и деликатное чавканье гостий, жующих сласти. Она сказала:

— Говорю вам, Гертруда, есть в нашем городе неплохие люди, которые глубоко заблуждаются. Хорошие люди, но они глубоко заблуждаются. А ведь они думают, что поступают правильно. Я не намерена называть имена, но кое-кто в нашем городе совсем недавно воображал, будто поступает правильно, а на самом деле только их взбудоражил. Только того и добился. Может быть, тогда казалось, что это правильно, я уж, конечно, не знаю, я в этом не так уж разбираюсь, но когда эти все ходят надутые... недовольные... Если б моя Софи и на другой день пришла такая, мне пришлось бы ее уволить, вот что я вам скажу. Этой черной дурехе и невдомек, что сейчас депрессия, а ей без моего доллара с четвертью в неделю не прожить, я ее только потому и держу.

— Его кусок у вас поперек горла не становится, нет?

Это сказала мисс Моди. И в углах рта у нее появились две сердитые складки. Она все время молча сидела рядом со мной и держала на коленке чашку кофе. Я давно уже не прислушивалась к разговору, с тех пор как перестали говорить про жену Тома Робинсона, гораздо интересней было вспоминать «Пристань Финча» и реку. Тетя Александра перепутала: пока они говорили о делах, было страшно и увлекательно, а за чаем я чуть не умерла со скуки.

— Право, я не понимаю, что вы имеете в виду, Моди,— сказала миссис Мерриуэзер.

— Прекрасно понимаете,— отрезала мисс Моди.

И больше не прибавила ни слова. Когда мисс Моди сердилась, она говорила мало, но так, что пробирала дрожь. Сейчас ее что-то очень

рассердило, и ее серые глаза стали такие же ледяные, как и голос. Миссис Мерриуэзер покраснела, глянула на меня и отвела глаза. Ее соседку, миссис Фэрроу, мне было не видно.

Тетя Александра поднялась из-за стола, быстро подошла к ним с каким-то угощением и оживленно заговорила с миссис Мерриуэзер и с миссис Гейтс. В разговор вступила миссис Перкинс, и тетя Александра стушевалась. Она с благодарностью посмотрела на мисс Моди, и я подумала: странный народ женщины. Тетя Александра никогда особенно не дружила с мисс Моди, а тут вдруг она ее за что-то молча благодарит. А за что — непонятно. Хорошо хоть, тетя Александра может быть благодарной за помощь, значит, ее все-таки можно пронять. Скоро и я войду в этот мир, где благоухающие леди, кажется, только и делают, что лениво покачиваются в качалках, медленно обмахиваются веерами и пьют прохладительные напитки — этого не миновать.

Но с отцом и вообще среди мужчин мне куда лучше. Ведь мистер Гек Тейт ни за что не станет заманивать тебя в ловушку невинными вопросами, а потом поднимать на смех; Джим и тот не станет чересчур насмехаться, разве что ляпнешь какую-нибудь глупость. Дамы, по-моему, побаиваются мужчин и не очень-то их одобряют. А мне они нравятся. Пускай они сколько угодно ругаются, и пьют, и в азартные игры играют, и табак жуют, а все равно в них что-то есть; пускай они какие угодно плохие, а мне они все равно нравятся... Они не...

— Лицемеры, миссис Перкинс, прирожденные лицемеры,— говорила миссис Мерриуэзер.— Мы, южане, по крайней мере хоть в этом не грешны. А там их освободили, а за один стол с ними не садятся. Мы по крайней мере не обманываем их, не говорим: да, вы ничуть не хуже нас, но только держитесь от нас подальше. Мы просто говорим: вы живите по-своему, а мы будем жить по-своему. Эта миссис Рузвельт, видно, сошла с ума — надо было просто-напросто сойти с ума, чтобы поехать в Бирмингем и заседать там вместе с ними... Будь я мэром Бирмингема, я бы...

Мэром Бирмингема никто из нас не был, а вот если бы мне на денек стать губернатором штата Алабама, я бы мигом выпустила Тома Робинсона на свободу — миссионерское общество и ахнуть бы не успело. На днях Кэлпурния говорила кухарке мисс Рейчел, что Том совсем отчаялся, и, когда я вошла в кухню, она не замолчала. Она сказала — ему тяжко в тюрьме, и тут уж Аттикус ничем ему помочь не может, и, перед тем как Тома увезли, он напоследок сказал Аттикусу: «Прощайте, мистер Финч, теперь вы ничего для меня сделать не можете, так что и не старайтесь зря». Кэлпурния сказала — Аттикус ей говорил: в тот день, как Тома взяли в тюрьму, он сразу потерял надежду. Она сказала — Аттикус его все уговаривал, держись, мол, изо всех сил, не теряй надежду, а уж сам-то Аттикус изо всех сил старается, чтоб его освободили. Кухарка мисс Рейчел спросила, а почему Аттикус просто не сказал: «Тебя наверняка выпустят» — и все, ведь это было бы для Тома большое утешение. А Кэлпурния сказала: «Ты так говоришь, потому что не знаешь закона. Поживи в доме у законника, первым делом узнаешь — ни на что нельзя отвечать прямо «да» или «нет». Мистер Финч не мог его обнадежить, раз еще сам не знал наверняка».

Хлопнула парадная дверь, и я услышала в прихожей шаги Аттикуса. Который же это час? Он никогда не возвращается в такую рань. А уж в дни, когда у тети собирается миссионерское общество, задерживается в городе до поздней ночи.

Он остановился в дверях. Шляпу он держал в руке, лицо у него было совсем белое.

— Прошу прощенья, сударыни,— сказал он.— Пожалуйста, продолжайте, я не хочу вам мешать. Александра, ты не выйдешь на минуту в кухню? Мне ненадолго нужна Кэлпурния.

Он прошел не через столовую, а через коридор и вошел в кухню с черного хода. Мы с тетей уже ждали его. Почти тотчас отворилась дверь столовой, и вошла мисс Моди. Кэлпурния приподнялась с табуретки.

— Кэл,— сказал Аттикус,— ты мне нужна, мы сейчас поедем к Элен Робинсон...

— Что случилось? — испуганно спросила тетя Александра, не сводя с него глаз.

— Том умер.

Тетя Александра обеими руками зажала рот.

— Его застрелили,— сказал Аттикус.— Он пытался бежать. Во время прогулки. Говорят, он вдруг как безумный кинулся к забору и стал на него карабкаться. У всех на глазах...

— Неужели его не попытались остановить? Неужели стреляли без предупреждения? — Голос у тети Александры дрожал.

— Нет, конечно, часовые кричали, чтоб он вернулся. Несколько раз стреляли в воздух, а уж потом в него. Его убили, когда он был уже на самом верху. Говорят, если б не искалеченная рука, он убежал бы — так быстро это произошло. В него попало семнадцать пуль. Вовсе незачем было столько стрелять. Идем, Кэл, ты поможешь мне сказать Элен.

— Да, сэр,— пробормотала Кэл, руки ее тряслись, она никак не могла развязать фартук.

Мисс Моди подошла и помогла ей.

— Это последняя капля, Аттикус,— сказала тетя Александра.

— Все зависит от точки зрения,— сказал он.— У них там двести негров, не все ли равно — одним больше, одним меньше. Для них он не Том, а только арестант, который пытается удрать.

Аттикус прислонился к холодильнику, сдвинул очки на лоб и потер глаза.

— Мы вполне могли выиграть дело,— сказал он.— Я ему это говорил, но, по совести, я не мог обещать наверняка. А Том уже ничего хорошего не ждал от белых, вот он и решился на такой отчаянный шаг. Готова, Кэл?

— Да, сэр, мистер Финч.

— Тогда идем.

Тетя Александра опустилась на табуретку Кэлпурнии и закрыла лицо руками. Она не шевелилась, она сидела так тихо, я даже подумала — вдруг она сейчас упадет в обморок. Мисс Моди дышала так, будто только что поднялась по лестнице, а в столовой весело щебетали гостьи.

Я думала, тетя Александра плачет, но потом она отняла руки, а глаза были сухие. Только лицо усталое. Она заговорила ровным голосом, без всякого выражения.

— Не могу сказать, чтобы я одобряла все, что он делает, Моди, но он мой брат, и я хочу знать одно — когда же все это кончится.— Она повысила голос: — У него сердце разрывается. Он старается не подавать виду, но у него сердце разрывается. У него было такое лицо, когда... чего еще им от него надо, Моди, чего им еще надо?

— Кому, Александра? — спросила мисс Моди.

— Этому городу. Они с удовольствием предоставляют ему делать за них все то, что боятся сделать сами: как бы на этом не потерять пятак! Они с удовольствием предоставляют ему делать то, что боятся делать сами, и пускай он загубит на этом свое здоровье, они...

— Тише, Александра, услышат,— сказала мисс Моди.— А ты никогда не думала об этом иначе? Понимают это у нас в Мейкомбе или не понимают, но мы ему платим самую высокую дань, какой только можно удостоить человека. Мы доверяем ему отстаивать справедливость.

— Кто — мы? — Тетя Александра и не подозревала, что спрашивает, совсем как ее двенадцатилетний племянник.

— Горсточка людей, которые убеждены, что правда существует не только для белых; горсточка людей, которые убеждены, что суд должен быть справедливым для всех, не только для нас; горсточка людей, у которых довольно смирения, чтобы, глядя на негра, говорить себе: если б не милость божья, я мог бы очутиться на его месте.— Голос мисс Моди опять звучал решительно, как всегда.— Горсточка мейкомбцев из хороших семей, вот кто!

Если бы я слушала повнимательней, я бы теперь немножко лучше поняла то, что толковал Джим о хорошем происхождении, но меня вдруг затрясло, и я никак не могла перестать. Я однажды видела Энфилдскую ферму, и Аттикус показывал мне двор для прогулок. Он был большой, как футбольное поле.

— Перестань дрожать,— скомандовала мисс Моди, и я перестала.— Поднимайся, Александра, мы и так оставили их слишком надолго.

Тетя Александра встала и оправила платье. Вынула из-за корсажа платок и вытерла нос. Потом пригладила волосы и спросила:

— По мне что-нибудь заметно?

— Ровным счетом ничего,— сказала мисс Моди.— Ты взяла себя в руки, Джин-Луиза?

— Да, мэм.

— Тогда идемте к нашим дамам,— хмуро сказала она.

Она отворила дверь столовой, и голоса стали громче. Тетя Александра шла впереди меня, переступая порог, она высоко подняла голову.

— У вас пустая чашка, миссис Перкинс,— сказала она.— Позвольте, я налью вам еще кофе.

— Кэлпурнию послали ненадолго по делу, Грейс,— сказала мисс Моди.— Позвольте предложить вам тарталеток с ежевикой. Слыхали вы, что сделал на днях мой двоюродный брат, тот, который увлекается рыбной ловлей?..

Так они обходили столовую — от одной смеющейся гостьи к другой, наливали кофе, угощали сластями, как будто только и было огорчений, что приходится пока хозяйничать без Кэлпурнии.

Вся столовая уже снова негромко жужжала.

— Да-с, миссис Перкинс, этот Граймс Эверетт святой мученик... Надо было жениться, они и сбежали... Каждую субботу в косметическом кабинете... Как только зайдет солнце... Он ложится спать с... С курами, целая корзина с больными курами, Фред говорит, с этого все и началось. Фред говорит...

Тетя Александра посмотрела на меня через стол и улыбнулась. И кивком показала на блюдо с домашним печеньем. Я осторожно подняла блюдо и тихонько двинулась к миссис Мерриуэзер. Так любезно, как только умела, я спросила, не угодно ли ей печенья. В конце концов, если в такую минуту тетя может оставаться настоящей леди, так и я могу.

Глава 25

— Не надо, Глазастик. Отнеси ее за порог.

— Джим, ты что, спятил?

— Сказано тебе, отнеси ее за порог.

Я вздохнула, подобрала гусеницу с полу, отнесла на заднее крыльцо и вернулась на свою раскладушку. Был уже сентябрь, но ночи все еще стояли теплые, и мы по-прежнему спали на задней веранде. Еще не исчезли светляки, и всякие ночные жучки и мотыльки, которые все лето вечерами бьются в стекла, еще не переселились куда-то, как всегда осенью. Гусеница, наверно, вползла по ступенькам, а потом под дверью.

Я увидела ее, когда положила книжку на пол возле раскладушки. Эти гусеницы не длинней дюйма, а если до нее дотронуться, она сразу сворачивается в тугой серый клубок. Я растянулась на животе и ткнула в гусеницу пальцем. Она свернулась. Потом, наверно, решила, что опасность миновала, и медленно развернулась. Все ее сто ног задвигались, она немножко проползла, и я опять ее тронула. Она свернулась. Мне хотелось спать, и я решила ее прикончить. Я уже протянула руку, и тут меня остановил Джим.

Он смотрел сердито. Наверно, это тоже потому, что у него такая полоса; уж скорей бы он с ней разделался. Конечно, животных Джим никогда не мучил, но я понятия не имела, что он жалеет еще и насекомых.

— А почему нельзя ее раздавить? — спросила я.

— Потому что она тебе не мешает,— в темноте ответил Джим. Он уже погасил свою лампу.

— Значит, ты теперь не убиваешь ни мух, ни москитов, такая, значит, у тебя полоса,— сказала я.— Когда передумаешь, ты мне скажи. Только я не дам, чтоб меня кусали муравьи, так и знай.

— А, заткнись ты,— сонным голосом отозвался Джим.

Это Джим с каждым днем все больше становился похож на девчонку, а совсем не я. Я удобно улеглась на спину и собралась спать, а пока что думала про Дилла. Он уехал первого сентября и пообещал вернуться в ту же минуту, как начнутся каникулы: кажется, до его родных наконец дошло, что он любит проводить лето в Мейкомбе. Мисс Рейчел взяла нас с собой в такси на Мейкомбскую узловую, и Дилл махал нам из окна вагона, пока совсем не исчез с глаз долой. Но не из сердца вон: я по нему скучала. За последних два дня Джим научил его плавать...

Учил его плавать. Я вспомнила, что мне тогда рассказал Дилл, и всякий сон прошел.

К Заводи ведет проселочная дорога, которая сворачивает от Меридианского шоссе примерно в миле от города. По шоссе всегда подвезут — или на фургоне с хлопком, или на попутной машине, а по проселку дойти совсем недалеко, но возвращаться домой в сумерки, когда машин почти уже нет и приходится всю дорогу идти пешком, не так-то приятно, и поэтому купальщики стараются не задерживаться допоздна.

Дилл рассказывал: они только вышли с Джимом на шоссе и вдруг видят — навстречу едет Аттикус. Он вроде их и не заметил, и они замахали руками. Тогда он наконец затормозил. Они к нему подбежали, а он говорит:

— Вы лучше подождите какую-нибудь машину, которая идет в город. А я не скоро вернусь.

Сзади сидела Кэлпурния.

Джим заспорил, потом стал просить, и Аттикус сказал:

— Ладно, поезжайте с нами, только уговор: из машины не выходить.

По дороге к дому Тома Робинсона Аттикус рассказал им, что случилось.

Свернули с шоссе и мимо свалки, мимо Юэлов медленно поехали к негритянскому поселку. Во дворе у Тома целая куча черных ребятишек играла в камешки. Аттикус остановил машину и вышел. Кэлпурния пошла за ним во двор.

Дилл слышал — Аттикус спросил одного из мальчишек:

— Где твоя мама, Сэм?

И Сэм ответил:

— Она у Стивенсов, мистер Финч. Сбегать за ней?

Аттикус сперва вроде не знал, как быть, потом сказал — ладно, и Сэм побежал со всех ног.

— Играйте, играйте, мальчики,— сказал Аттикус ребятам.

Из дома вышла совсем маленькая девочка и уставилась на Аттикуса. Во все стороны у нее торчали тоненькие косички, и на каждой — яркий бант. Она улыбнулась во весь рот и заковыляла к Аттикусу, но она была совсем маленькая и не умела сойти со ступенек. Дилл сказал — Аттикус подошел к ней, снял шляпу и протянул ей палец. Она уцепилась за палец, и Аттикус помог ей сойти с крыльца. Потом подвел ее к Кэлпурнии.

Тут пришла Элен, за ней вприпрыжку бежал Сэм. Элен сказала:

— Добрый вечер, мистер Финч. Не присядете ли?

И замолчала. И Аттикус стоит и молчит.

— И вдруг она упала, Глазастик,— сказал Дилл.— Как стояла, так и упала, будто какой-то великан наступил на нее и раздавил. Вот так — хлоп! — Дилл топнул ногой.— Прямо как букашку.

Кэлпурния с Аттикусом подняли Элен и повели в дом, а у нее ноги не идут. Их долго не было, потом вышел один Аттикус. Когда ехали обратно мимо свалки, кто-то из Юэлов что-то заорал вслед, но что, Дилл не разобрал. О смерти Тома в Мейкомбе говорили два дня; за два дня о случившемся успел узнать весь округ. «Слыхали?.. Нет?.. Говорят, он как помчится со всех ног...» Жителей Мейкомба ничуть не удивила смерть Тома. Ясное дело, сдуру дал тягу. Черномазые — они все безмозглые, где уж им думать о будущем, вот и кинулся бежать очертя голову, себе на погибель. И ведь вот что забавно, Аттикус Финч, наверно, вызволил бы его, но ждать?.. Черта с два. Все они такие. Никакой положительности в них нет. И ведь этот самый Робинсон был женат по закону, говорят, содержал себя чисто, церковь посещал, все как полагается, а как дошло до дела, так и выходит — все одна только видимость. Черномазый — он черномазый и есть.

Собеседник в свою очередь сообщал кое-какие подробности, а потом уже и говорить стало не о чем до самого четверга, когда вышла «Мейкомб трибюн». В колонке, посвященной жизни цветных, появился коротенький некролог, но была еще и передовая.

Мистер Б. Андервуд не пожалел резких слов и нисколько не опасался, что потеряет на этом подписчиков и объявления. (Но жители Мейкомба не таковы: мистер Андервуд может драть глотку сколько влезет и писать все, что в голову взбредет, подписчики и объявления останутся при нем. Хочешь выставлять на посмешище себя и свою газету — сделай милость.) Мистер Андервуд не вдавался в рассуждения о судебных ошибках, он писал так ясно, что его понял бы и ребенок. Он просто объяснял, что убивать калек — грех, все равно стоят ли они, сидят или бегут. Он сравнивал смерть Тома с бессмысленным убийством певчих птиц, которых истребляют охотники и дети,— ударился в поэзию, решил Мейкомб, надеется, что его передовую перепечатает «Монтгомери эдвертайзер».

Как же это так, думала я, читая передовую мистера Андервуда. Бессмысленное убийство?.. До последнего часа в деле Тома все шло по закону, его судили открытым судом, и приговор вынесли двенадцать хороших, честных людей; мой отец защищал его как мог. Но потом я поняла, что хотел сказать мистер Андервуд: Аттикус изо всех сил старался спасти Тома Робинсона, старался доказать этим людям, что Том не виновен, но все было напрасно, ибо в глубине души каждый из них уже вынес приговор. Том был обречен в ту самую минуту, когда Мэйелла Юэл подняла крик.

От одного имени Юэл меня затошнило. Всему Мейкомбу сразу же стало известно мнение мистера Юэла о кончине Тома, а по каналу, по которому всегда безотказно передавались сплетни — через мисс Стивени

Кроуфорд,— оно докатилось и до нас. При Джиме (глупости, он уже не маленький, пускай слушает) мисс Стивени рассказала тете Александре, что мистер Юэл сказал — один готов, осталось еще двое. Джим сказал — я зря боюсь, этот Юэл просто трепло. И еще сказал — если я проболтаюсь Аттикусу, если хоть как-то покажу ему, что я знаю, он, Джим, никогда больше не станет со мной разговаривать.

Глава 26

Опять начались занятия, а с ними наши ежедневные походы мимо дома Рэдли. Джим был теперь в седьмом классе и учился в другой школе, а я — в третьем классе, и расписание у нас было совсем разное, так что мы только утром ходили вместе в школу да встречались за столом. Он бегал на футбол, но ему еще не хватало ни лет, ни силы, и он пока только таскал команде ведрами воду. Но и это он делал с восторгом и почти каждый день пропадал там до темноты.

Дом Рэдли уже не страшил меня больше, но он стоял под гигантскими дубами все такой же мрачный, угрюмый и неприветливый. В погожие дни мистер Натан Рэдли по-прежнему ходил в город; Страшила, конечно, все еще сидел там у себя — ведь никто пока не видел, чтобы его оттуда вынесли. Иногда, проходя мимо старого дома, я чувствовала угрызения совести: как мы, наверно, тогда мучили Артура Рэдли — какому же затворнику приятно, когда дети заглядывают к нему в окна, забрасывают удочкой письма и по ночам бродят в его капусте?

И несмотря на все это — два пенни с головами индейцев, жевательная резинка, куколки из мыла, медаль, сломанные часы на цепочке. Джим, наверно, где-нибудь все это припрятал. Один раз я приостановилась и посмотрела на то дерево: ствол вокруг цементной пломбы стал толще. А сама пломба пожелтела.

Раза два мы его чуть не увидали, этим не всякий может похвастать.

Но каждый раз, когда я проходила мимо, я надеялась его увидеть. Может, когда-нибудь мы его все-таки увидим. Интересно, как это будет: вот я иду мимо, а он сидит на качелях.

— Здрасте, мистер Артур,— скажу я, будто всю жизнь с ним здороваюсь.

— Добрый вечер, Джин-Луиза,— скажет он, будто всю жизнь здоровается со мной.— Просто прелесть, что за погода, правда?

— Да, сэр, просто прелесть,— скажу я и пойду своей дорогой.

Но все это только мечты. Никогда мы его не увидим. Он, наверно, и правда выходит из дому, когда зайдет луна, и заглядывает в окно к мисс Стивени Кроуфорд. Я бы уж лучше смотрела на кого-нибудь другого, но это его дело. А на нас он и не поглядит никогда.

— Уж не взялась ли ты опять за старое? — спросил Аттикус однажды вечером, когда я вдруг заявила, что надо же мне, пока жива, хоть раз поглядеть на Страшилу Рэдли.— Если так, я тебе сразу скажу: прекрати это. Я слишком стар, чтобы гонять тебя с их двора. К тому же лазить там опасно. Тебя могут застрелить. Ты ведь знаешь, мистер Натан стреляет в каждую тень, даже в босоногую, которая оставляет следы тридцатого размера. Тебе повезло, что ты осталась жива.

Я тут же прикусила язык. И подумала: какой Аттикус замечательный. Ведь за все время он первый раз показал нам, что знает кое о чем куда больше, чем мы думали. А ведь все это было сто лет назад. Нет, только летом... нет, прошлым летом, когда... Что-то у меня все спуталось. Надо спросить Джима.

Столько всего с нами случилось с тех пор, и оказывается, Страшила Рэдли — не самое страшное. Аттикус сказал — он не думает, что еще что-нибудь случится, жизнь всегда быстро входит в колею. Пройдет время — и забудут, что жил когда-то на свете Том Робинсон, из-за которого было столько разговоров.

Может, Аттикус и прав, но от того, что случилось этим летом, мы не могли вздохнуть свободно — будто в комнате, где душно и накурено. Мейкомбские жители никогда не говорили со мной и с Джимом о деле Тома, наверно, они говорили об этом со своими детьми и смотрели они на это, видимо, так: мы не виноваты, что Аттикус наш отец, и поэтому, несмотря на Аттикуса, пускай дети относятся к нам хорошо. Сами дети нипочем бы до этого не додумались. Если б наших одноклассников не сбивали с толку, каждый из нас раз-другой подрался бы, и на том бы все и кончилось. А так нам приходилось высоко держать голову и вести себя, как полагается джентльмену и леди. Это немножко напоминало эпоху миссис Генри Лафайет Дюбоз, только никто на нас не орал. Но вот что чудно́ и непонятно: хоть Аттикус, по мнению Мейкомба, и плохой отец, а в законодательное собрание штата его все равно опять выбрали единогласно. Нет, видно, все люди какие-то странные, и я стала держаться от них подальше и не думала про них, пока можно было.

Но однажды в школе мне волей-неволей пришлось о них подумать. Раз в неделю у нас бывал час текущих событий. Каждый должен был вырезать в газете статью, внимательно прочитать и пересказать в классе. Предполагалось, будто это убережет ребят от многих бед: ученику придется стоять у всех на виду, и он постарается принять красивую позу и приобретет хорошую осанку; ему придется коротко пересказать прочитанное, и он научится выбирать слова; ему придется запомнить текущие события, а это укрепит его память; ему придется стоять одному, а это усилит его желание оказаться опять вместе со всеми.

Весьма глубокий замысел, но, как обычно, в Мейкомбе из него не вышло ничего путного. Во-первых, дети фермеров газет почти никогда и не видали, так что текущие события обременяли одних городских ребят, и это окончательно убеждало загородных, что учителя заняты только городскими. Те же из загородных, кому попадались газеты, обычно выбирали статьи из «Радикального листка», который наша учительница мисс Гейтс и за газету-то не считала. Не знаю, почему она хмурилась, когда кто-нибудь пересказывал статью из «Радикального листка», но, кажется, в ее глазах это было все равно что бить баклуши, есть на завтрак сдобные булочки, вертеться перед зеркалом, распевать «Сладко пение осла» — в общем, делать все то, от чего учителя должны нас отучать, за это им и деньги платят.

Но все равно мало кто из нас понимал, что такое текущие события, Коротышка, великий знаток коров и коровьих привычек, подошел уже к середине рассказа про дядюшку Нэтчела, но тут мисс Гейтс остановила его:

— Это не текущие события, Чарлз. Это реклама.

А вот Сесил Джейкобс знал, что такое текущие события. Когда настал его черед, он вышел к доске и начал:

— Старик Гитлер...

— Адольф Гитлер, Сесил,— поправила мисс Гейтс.— Когда о комнибудь говоришь, не надо называть его «стариком».

— Да, мэм,— сказал Сесил.— Старик Адольф Гитлер расследует евреев...

— Преследует, Сесил...

— Нет, мэм, мисс Гейтс, тут так написано... Ну, и вот, старик Адольф Гитлер гоняет евреев, сажает их в тюрьмы, отнимает все ихнее

имущество и ни одного не выпускает за границу, и он стирает всех слабоумных.

— Стирает слабоумных? Стирает с лица земли?

— Да нет же, мэм, мисс Гейтс, ведь у них-то ума не хватает постирать да помыться; полоумный-то разве может содержать себя в чистоте? Ну и вот, теперь Гитлер затеял прижать всех полуевреев и не спустит их с глаз, боится, как бы они ему чего не напортили, и, по-моему, это дело плохое, такое мое текущее событие.

— Молодец, Сесил,— сказала мисс Гейтс.

И Сесил гордый пошел на свое место.

На задней парте кто-то поднял руку.

— Как это он так может?

— Кто может и что именно? — терпеливо спросила мисс Гейтс.

— Ну, как Гитлер может взять да и засадить столько народу за решетку, а где же правительство, что ж его не остановят?

— Гитлер сам правительство,— сказала мисс Гейтс и сразу воспользовалась случаем превратить обучение в активный процесс; она подошла к доске и большими печатными буквами написала: ДЕМОКРАТИЯ.

— Демократия,— прочла она.— Кто знает, что это такое?

— Мы,— сказал кто-то.

Я вспомнила лозунг, который мне один раз во время выборов объяснял Аттикус, и подняла руку.

— Так что же это, по-твоему, Джин-Луиза?

— Равные права для всех, ни для кого никаких привилегий,— процитировала я.

— Молодец, Джин-Луиза, молодец,— мисс Гейтс улыбнулась. Перед словом «демократия» она такими же большими печатными буквами приписала У НАС.— А теперь скажем все вместе: у нас демократия.

Мы сказали.

— Вот в чем разница между Америкой и Германией,— сказала мисс Гейтс.— У нас демократия, а в Германии диктатура. Дик-та-ту-ра. Мы в нашей стране никого не преследуем. Преследуют других люди, зараженные предрассудками. Пред-рас-су-док,— произнесла она по слогам.— Евреи — прекрасный народ, и я просто понять не могу, почему Гитлер думает иначе.

Кто-то любознательный в среднем ряду спросил:

— А как, по-вашему, мисс Гейтс, почему евреев не любят?

— Право, не знаю, Генри. Они полезные члены общества в любой стране, более того, это народ глубоко религиозный. Гитлер хочет уничтожить религию, может быть, поэтому он их и не любит.

— Я, конечно, не знаю,— громко сказал Сесил,— но они вроде меняют деньги или еше чего-то, только все равно, что ж их за это преследовать! Ведь они белые, верно?

— Вот пойдешь в седьмой класс, Сесил,— сказала мисс Гейтс,— тогда узнаешь, что евреев преследуют с незапамятных времен, их даже изгнали из их собственной страны. Это одна из самых прискорбных страниц в истории человечества. А теперь займемся арифметикой, дети.

Я никогда не любила арифметику и просто стала смотреть в окно. Только один-единственный раз я видела Аттикуса по-настоящему сердитым — когда Элмер Дейвис по радио рассказывал про Гитлера. Аттикус рывком выключил приемник и сказал: «Ф-фу!» Один раз я его спросила, почему он так сердит на Гитлера, и Аттикус сказал:

— Потому что он сбесился.

Нет, так не годится, раздумывала я, пока весь класс решал столбики. Один бешеный, а немцев миллионы. По-моему, они бы сами могли засадить его за решетку, а не давать, чтоб он их сажал. Что-то еще здесь не так... Надо спросить Аттикуса.

Я спросила, и он ответил — не может он ничего сказать, сам не понимает, в чем тут дело.

— Но это хорошо — ненавидеть Гитлера?

— Ничего нет хорошего, когда приходится кого-то ненавидеть.

— Аттикус,— сказала я,— я все-таки не понимаю. Мисс Гейтс говорит, это ужас, что́ Гитлер делает, она даже стала вся красная...

— Другого я от нее и не ждал.

— Но тогда...

— Что тогда?

— Ничего, сэр.

И я ушла, я не знала, как объяснить Аттикусу, что у меня на уме, как выразить словами то, что я смутно чувствовала. Может, Джим мне растолкует. В школьных делах Джим разбирается лучше Аттикуса.

Джим весь день таскал воду и совсем выбился из сил. На полу около его постели стояла пустая бутылка из-под молока и валялась кожура от десятка бананов, не меньше.

— Что это ты сколько всего уплел? — спросила я.

— Тренер говорит, если я через год наберу двадцать пять фунтов, я смогу играть,— сказал он.— А так быстрей всего поправишься.

— Если только тебя не стошнит,— сказала я.— Джим, мне надо у тебя кое-что спросить.

— Давай выкладывай.— Он отложил книгу и вытянул ноги.

— Мисс Гейтс хорошая, правда?

— Хорошая. Мы у нее учились, она ничего.

— Она знаешь как ненавидит Гитлера...

— Ну и что?

— Понимаешь, сегодня она говорила, как нехорошо, что он так скверно обращается с евреями. Джим, а ведь преследовать никого нельзя, это несправедливо, правда? Даже думать про кого-нибудь по-подлому нельзя, правда?

— Да, конечно, Глазастик. Какая тебя муха укусила?

— Понимаешь, мы когда в тот раз выходили из суда, мисс Гейтс... она шла по лестнице перед нами... ты, наверно, ее не видел... она разговаривала с мисс Стивени Кроуфорд. И вот она сказала — пора их проучить, они совсем от рук отбились, скоро, пожалуй, захотят брать нас в жены. Как же так, Джим, сама ненавидит Гитлера, а сама так противно говорит про наших здешних...

Джим вдруг рассвирепел. Он соскочил с кровати, схватил меня за шиворот да как тряхнет.

— Не хочу больше слышать про этот суд, не хочу, слышишь, не хочу! Поняла? Чтоб я больше не слышал от тебя про это, поняла? А теперь убирайся!

Я так удивилась — даже не заплакала. На цыпочках вышла из комнаты и как можно тише притворила за собой дверь, а то еще Джим услышит стук и опять разозлится. Я вдруг очень устала и захотела к Аттикусу. Он был в гостиной, я подошла и хотела взобраться к нему на колени.

Аттикус улыбнулся.

— Ты уже такая большая, что не умещаешься у меня на коленях.— Он прижал меня покрепче и сказал тихонько: — Ты не расстраивайся из-за Джима, Глазастик. У него сейчас трудное время. Я слышал, как он на тебя накричал.

Аттикус сказал — Джим очень старается что-то забыть, но забыть он не сможет, он может только до поры до времени об этом не думать. А немного погодя он опять сможет об этом думать — и тогда во всем сам разберется. И тогда он опять станет самим собой.

Глава 27

Как и говорил Аттикус, понемногу все уладилось. До середины октября все в Мейкомбе шло, как обычно, только с двумя горожанами случилось два незначительных происшествия. Нет, три, и прямо они нас, Финчей, не касались, но немножко все-таки касались.

Первое — мистер Боб Юэл получил и почти сразу потерял работу, в тридцатые годы это был единственный случай, я никогда не слыхала, чтобы еще кого-нибудь, кроме него, уволили с общественных работ за лень. Короткая вспышка славы породила еще более короткую вспышку усердия, но его работа длилась не дольше его известности: очень скоро о нем забыли так же, как и о Томе Робинсоне. Тогда он опять стал аккуратно каждую неделю являться за пособием и, получая чек, угрюмо ворчал что-то насчет разных ублюдков, которые воображают, будто управляют городом, а честному человеку не дают заработать на жизнь. Рут Джоунз, которая выдавала пособие, рассказывала — мистер Юэл прямо говорил, будто Аттикус отнял у него работу. Она совсем расстроилась, даже пошла к Аттикусу в контору и все ему сказала. Аттикус сказал — пускай мисс Рут не волнуется, если Боб Юэл желает обсудить это с ним, дорога в контору ему известна.

Второе происшествие случилось с судьей Тейлором. Судья Тейлор не посещал воскресную вечернюю службу, а миссис Тейлор посещала. Воскресные вечера судья Тейлор с наслаждением проводил один в своем большом доме, он уютно устраивался в кабинете и читал записки Боба Тейлора (с которым он хоть и не состоял в родстве, но очень был бы рад состоять). В один из таких вечеров судья упивался витиеватым стилем и цветистыми метафорами и вдруг услышал какое-то противное царапанье.

— Пшла вон,— приказал судья своей разжиревшей дворняге по имени Энн Тейлор.

Но никакой собаки в комнате не было: царапанье доносилось откуда-то со стороны кухни. Судья Тейлор, тяжело ступая, пошел к черному ходу, чтобы выпустить Энн, и оказалось — дверь веранды качается, будто ее только что распахнули. Какая-то тень мелькнула за углом, но кто это, судья не разобрал. Когда миссис Тейлор вернулась из церкви, муж сидел в кресле, погруженный в записки Боба Тейлора, а на коленях у него лежал дробовик.

Третье происшествие случилось с Элен Робинсон, вдовой Тома. Если мистера Юэла забыли, как Тома Робинсона, то и Тома Робинсона забыли, как когда-то Страшилу Рэдли. Но мистер Линк Диз, у которого работал Том, не забыл его. Мистер Линк Диз взял на работу Элен. Она ему была даже не нужна, но он сказал — у него на душе уж очень тяжко: скверно все получилось. Я так и не поняла, кто же присматривает за детьми Элен, пока ее нет дома. Кэлпурния говорила — Элен тяжело, ей каждый день приходится делать крюк, лишнюю милю, чтобы обойти Юэлов; в первый раз она пошла мимо их дома, а они стали швырять в нее чем попало. Мистер Линк Диз заметил, что она каждое утро приходит не с той стороны, и в конце концов допытался у нее почему.

— Это ничего, сэр, мистер Линк, вы, пожалуйста, не беспокойтесь,— просила его Элен.

— Черта с два,— сказал мистер Линк.

Он велел ей после работы прийти к нему в магазин. Она пришла, и мистер Линк запер магазин, нахлобучил шляпу и пошел ее провожать. Он повел Элен короткой дорогой, мимо Юэлов. На обратном пути он остановился у их развалившихся ворот.

— Юэл! — крикнул он.— Эй, Юэл!

Из окон всегда глазели бесчисленные Юэлы-младшие, но сейчас не видно было ни души.

— Знаю я вас, все попрятались, лежите на полу. Так вот, имей в виду, Боб Юэл: если я еще хоть раз услышу, что ты не даешь моей Элен ходить этой дорогой, ты у меня мигом попадешь за решетку, так и знай! — Мистер Линк сплюнул и пошел домой.

На следующее утро Элен пошла на работу короткой дорогой. Никто в нее ничем не швырял, но, когда она миновала дом Юэлов, она обернулась и увидела, что мистер Юэл идет за ней. Она пошла дальше, а он все не отставал и дошел за ней до самого дома мистера Линка Диза. И всю дорогу он вполголоса ругался всякими словами. Она совсем перепугалась и позвонила мистеру Линку Дизу в магазин, который был неподалеку от дома. Мистер Линк вышел из магазина и видит — мистер Юэл облокотился на его забор.

— Чего вытаращился на меня, Линк Диз, будто я невидаль какая? Я не лезу к тебе в...

— Во-первых, не висни на моем заборе, ты, вонючее отродье. Мне не по карману красить его заново. Во-вторых, держись подальше от моей кухарки, не то пойдешь под суд за оскорбление...

— Я ее пальцем не тронул, Линк Диз, охота была связываться с черномазой!

— А для этого и трогать не надо, хватит того, что ты ее напугал, а если за словесное оскорбление под замок не сажают, я тебя притяну по закону об оскорблении женщины, так что убирайся с глаз долой! Лучше ты ее не трогай, со мной шутки плохи!

Мистер Юэл, видно, понял, что это не шутки: Элен больше на него не жаловалась.

— Не нравится мне это, Аттикус, очень не нравится,— отозвалась об этих событиях тетя Александра.— Этот Юэл, видно, затаил злобу на всех, кто связан с тем делом. Такие люди ужасно мстительны, я только не понимаю, почему он не успокоился после суда... Он же своего добился?

— А я, кажется, понимаю,— сказал Аттикус.— В глубине души он, наверно, сознает, что мало кто в Мейкомбе поверил их с Мэйеллой россказням. Он-то думал оказаться героем, а что получилось?.. Ладно, негра мы осудим, а ты, голубчик, убирайся-ка обратно на свалку. Но теперь он как будто свел счеты со всеми, так что он должен бы быть доволен. Вот погода переменится, и он тоже успокоится.

— Но зачем он забрался к Джону Тейлору? Он, видно, не знал, что Джон дома, а то бы не полез... Ведь по воскресеньям вечерами у Джона горит свет только в кабинете и на парадном крыльце...

— Мы ведь не знаем наверняка, что это Боб Юэл забрался к Тейлору,— сказал Аттикус.— Хотя я догадываюсь. Я обличил его во лжи, а Джон выставил его дураком. Все время, пока Юэл давал показания, я боялся взглянуть на Джона, боялся, что не сумею сохранить серьезность. Джон смотрел на него такими глазами, словно увидал цыпленка о трех ногах или квадратное яйцо. Так что ты меня не уверяй, будто судьи не пытаются влиять на присяжных.— Аттикус усмехнулся.

К концу октября наша жизнь вошла в привычную колею — школа, игры, уроки.

Джиму, видно, удалось выкинуть из головы то, что он хотел забыть, а наши одноклассники милостиво позволили нам забыть о странностях нашего отца. Сесил Джейкобс один раз спросил меня — может, Аттикус радикал? Я спросила Аттикуса, и это его так насмешило, я даже обиделась, но он сказал — это он не надо мной смеется.

— Скажи Сесилу, что я такой же радикал, как дядюшка Римус.

Тетя Александра процветала. Мисс Моди, как видно, одним махом заткнула рот всему миссионерскому обществу, и тетя опять там всем

заправляла. Угощения ее стали еще восхитительнее. Из рассказов миссис Мерриуэзер я еще больше узнала про жизнь несчастных мрунов: они совсем не знают семейных уз, все племя — одна большая семья. У ребенка столько отцов, сколько в селении мужчин, и столько матерей, сколько женщин. Граймс Эверетт прямо из сил выбивается, хочет научить их уму-разуму, и ему никак не обойтись без наших молитв.

Мейкомб опять стал самим собой. Он теперь совсем такой же, как в прошлом году и в позапрошлом, если не считать двух небольших перемен. Во-первых, из витрин и с окон автомашин исчезли плакатики Национальной администрации восстановления промышленности — «Мы вносим свою лепту». Я спросила Аттикуса, почему их сняли, и он сказал — НАВП скончалась. Я спросила, кто ее убил, и он сказал — девять старцев.

Вторая перемена в Мейкомбе не имела государственного значения. Прежде канун Дня всех святых в Мейкомбе праздновали как придется. Ребята развлекались, кто как умел, а если одному вздумается куда-нибудь что-нибудь взгромоздить, ну, например, легкую коляску на крышу платной городской конюшни, в помощниках недостатка не было. Но родители решили, что в прошлом году, когда нарушен был покой мисс Тутти и мисс Фрутти, дело зашло уж слишком далеко.

Мисс Тутти и мисс Фрутти Барбер были старые девы, сестры, и жили они в единственном на весь Мейкомб доме с погребом. Про них говорили, будто они из республиканцев, ведь они переселились к нам из Клэнтона, штат Алабама, в 1911 году. Их привычки всех нас удивляли, и никто не понимал, зачем им понадобился погреб, но он им понадобился и был вырыт, и остаток жизни они только и делали, что гоняли оттуда все новые поколения юных мейкомбцев.

Мало того, что по своим привычкам мисс Тутти и мисс Фрутти (на самом деле их звали Сара и Фрэнсис) были янки, они были еще и глухие. Мисс Тутти не признавалась в этом и жила в мире безмолвия, но мисс Фрутти была очень любопытная и завела себе слуховую трубку, такую большую, что Джим сказал — это от граммофона.

Ребята все это знали и помнили. День всех святых был уже на носу, и вот несколько озорников дождались, пока обе мисс Барбер уснули крепким сном, пробрались к ним в гостиную (во всем городе на ночь запирались одни только Рэдли) и потихоньку перетаскали оттуда в погреб всю мебель. (Свое участие в этой вылазке я решительно отрицаю.)

— Я их слышала! — этот вопль разбудил ни свет ни заря соседей мисс Тутти и мисс Фрутти.— Грузовик подъехал к самым дверям! Они топали, как лошади. Теперь они, наверно, уже в Новом Орлеане!

Мисс Тутти была уверена, что их мебель похитили бродячие торговцы мехами, которые два дня назад проезжали через Мейкомб.

— Они такие че-ор-ные,— говорила она.— Сирийцы.

Был вызван мистер Гек Тейт. Он осмотрел место происшествия и сказал — это работали свои, мейкомбские. Мисс Тутти сказала — мейкомбских она всегда по говору узнает, а ночью у них в гостиной разговаривали не по-мейкомбски.

Мисс Тутти требовала ищеек, на меньшее она не согласна, и мистеру Тейту пришлось отшагать за ними десять миль. Мистер Тейт пустил собак по следу, а они от парадного крыльца сразу же кинулись вокруг дома и стали лаять на дверь погреба. Три раза мистер Тейт подводил их к парадному крыльцу и отпускал, и все три раза они бежали к погребу. Тогда он наконец догадался. К полудню никто из ребят уже не появлялся на улице босиком, и никто не снимал башмаков, пока собак не увели.

И вот мейкомбские леди сказали — в этом году все будет по-другому. Школьный зал будет открыт, взрослым покажут живые картины,

а для детей будут разные забавы — лови яблоко, помадка на веревочке, поймай осла за хвост. Кроме того, за лучший самодельный костюм для маскарада будет выдан приз — двадцать пять центов.

Мы с Джимом взвыли. Не то чтобы мы собирались что-нибудь такое учинить, дело в принципе. Джим считал — он все равно уже слишком взрослый для Дня всех святых; он сказал — его в этот вечер в школу не заманишь. Ну и ладно, решила я, меня проводит Аттикус.

Но скоро я узнала, что в этот вечер буду представлять на сцене. Миссис Грейс Мерриуэзер придумала удивительно оригинальную живую картину под названием «Округ Мейкомб — Per Aspera ad Astra *», и я буду представлять окорок. Она решила — это будет восхитительно, если дети в костюмах изобразят сельскохозяйственную продукцию нашего округа: Сесила Джейкобса нарядят коровой; из Эгнес Бун выйдет прелестная восковая фасоль; еще кто-нибудь будет земляным орехом, и еще много-много всего — пока не иссякнут воображение миссис Мерриуэзер и запас детей.

Как я поняла на двух репетициях, от нас только и требовалось выйти слева из-за сцены, как только миссис Мерриуэзер нас назовет (она была не только автор, но и ведущая). Вот она выкрикнет «окорок» — значит, мне выходить. А под конец мы все торжественно споем: «Мейкомб, Мейкомб, тебе верны навеки»,— и миссис Мерриуэзер развернет государственный флаг Америки.

Мой костюм нетрудно было придумать. У миссис Креншо, городской портнихи, было ничуть не меньше воображения, чем у миссис Мерриуэзер. Миссис Креншо взяла проволочную сетку и согнула ее в форме копченого окорока. Обтянула сетку коричневой материей и раскрасила, как окорок. Я присяду, и кто-нибудь на меня сверху эту штуковину нахлобучит. Она доходила мне почти до колен. Миссис Креншо заботливо прорезала для меня два глазка. Она очень хорошо все сделала, Джим сказал — я настоящий окорок с ногами. Правда, были тут и кое-какие неудобства: в костюме было жарко, тесно, нельзя почесать нос и нельзя вылезти из него без посторонней помощи.

Я думала, когда наступит День всех святых, вся наша семья придет смотреть, как я представляю, но меня ждало разочарование. Аттикус очень старался меня не обидеть, но все-таки сказал — он сегодня очень устал, и ему не под силу смотреть живые картины. Он целую неделю провел в Монтгомери и вернулся только под вечер. Но, если я попрошу Джима, Джим меня проводит.

Тетя Александра сказала — ей просто необходимо пораньше лечь, она весь день украшала сцену и совсем измучилась... И вдруг она замолчала на полуслове. Опять открыла рот, хотела что-то сказать, но так и не сказала.

— Тетя, что с вами? — спросила я.

— Нет, нет, ничего,— сказала она.— Что-то у меня мороз по коже.

Уж не знаю, что это вдруг на нее напало, но она сразу встряхнулась и предложила мне устроить в гостиной домашний просмотр. Джим втиснул меня в костюм, стал в дверях гостиной, выкрикнул: «О-окорок!»— точь-в-точь миссис Мерриуэзер,— и я прошествовала в гостиную. Аттикус и тетя Александра были в восторге.

Потом я пошла в кухню и покрасовалась перед Кэлпурнией, и она сказала — на меня любо поглядеть. Я хотела сбегать показаться мисс Моди, но Джим сказал — она, наверно, все равно будет на представлении.

Теперь уже неважно, пойдут они или нет. И Джим сказал — он меня проводит. Так началось наше с ним самое долгое путешествие.

---

* Через тернии к звездам *(лат.)*.

Глава 28

Никогда еще последний день октября не был такой теплый. Мы даже не надели куртки. Поднялся ветер, и Джим сказал — на обратном пути мы, пожалуй, попадем под дождь. Луны не было.

Уличный фонарь на углу отбрасывал черные тени на дом Рэдли. Джим тихонько засмеялся.

— Спорим, сегодня их никто не потревожит,— сказал он.

Джим нес мой костюм, держать его было довольно неловко. Какой Джим все-таки у нас воспитанный.

— А все равно здесь жутко, правда? — сказала я.— Страшила, конечно, никому не хочет зла, а все равно я рада, что ты пошел со мной.

— Да разве Аттикус тебя отпустил бы одну? — сказал Джим.

— А почему нет? Тут всего-то завернуть за угол да через двор.

— Школьный двор слишком большой, маленьким девочкам не годится ходить по нему в темноте,— поддразнил Джим.— Или, может, ты не боишься привидений?

Мы захохотали. Мы давно уже взрослые. Привидения, жар-пар, колдовство, тайные знаки — все растаяло, как туман на восходе солнца.

— Какое это у нас тогда было заклинание? — сказал Джим.— Жив, не помер, свет души, пропусти, не задуши.

— Замолчи,— сказала я. Мы как раз шли мимо дома Рэдли.

Джим сказал:

— Наверно, Страшилы нет дома. Слушай.

Высоко над нами в темноте одинокий пересмешник распевал подряд все свои песенки, он даже не подозревал, на чьем дереве сидит; он то посвистывал синицей, то трещал, точно рассерженная сойка, то горько жаловался.

Мы повернули за угол, и я споткнулась о корень. Джим хотел меня поддержать, но только уронил в пыль мой костюм. Я все-таки не упала, и мы пошли дальше.

Потом мы свернули в школьный двор. Там было темно, хоть глаз выколи.

— Джим, а откуда ты знаешь, куда идти? — спросила я через несколько шагов.

— Сейчас мы под большим дубом — чувствуешь, тут прохладнее? Смотри, осторожней, не споткнись опять.

Теперь мы шли медленно, чуть не ощупью, чтобы не налететь на дерево. Этот дуб был одинокий и старый-престарый. Нам вдвоем нипочем бы его не обхватить. Он стоял далеко от учителей, от ябедников и любопытных соседей — правда, рядом были Рэдли, но Рэдли не суют нос в чужие дела. И в его тени столько бывало драк и запретных сражений в кости, что земля тут была твердая, как камень.

Впереди сверкали окна школьного зала, но они нас только слепили.

— Не смотри вперед, Глазастик,— сказал Джим.— Смотри под ноги, тогда не упадешь.

— Зря ты не взял фонарик, Джим,— сказала я.

— Я не знал, что такая темень. Думал, еще будет видно. Это все из-за туч. И их, наверно, не скоро разгонит.

И тут на нас кто-то прыгнул. Джим как заорет!

В лицо нам ударил свет, это Сесил Джейкобс светил на нас фонариком и так и плясал от восторга.

— Ага, попались! — вопил он.— Так и знал, что вы пойдете этой дорогой!

— Что ты тут один делаешь? Ты разве не боишься Страшилы Рэдли?

Родители благополучно доставили Сесила в школу, он увидел, что

нас нет, и отправился к дубу — он знал наверняка, что мы придем этой дорогой. Только думал, нас проводит мистер Финч.

— Вот еще! Нам всего-то ходу — за угол завернуть,— сказал Джим.— Чего ж тут бояться?

А все-таки здорово это у Сесила получилось. Он нас и правда напугал и теперь имел право раззвонить об этом по всей школе.

— Слушай,— сказала я,— ты же сегодня корова? Где же твой костюм?

— Там, за сценой,— сказал он.— Миссис Мерриуэзер говорит, живая картина еще не скоро. Клади свой костюм за сценой рядом с моим, Глазастик, и пошли к ребятам.

Джим обрадовался. Чего лучше — я буду не одна. А значит, ему можно побыть с людьми своего возраста.

Когда мы пришли в зал, там был уже весь Мейкомб, не было только Аттикуса, дам, которые сбились с ног, пока украшали школу, да наших отщепенцев и затворников. Тут, кажется, собрался весь округ: вестибюль был битком набит принарядившимися окрестными жителями. На первом этаже, по обе стороны широкого коридора, были устроены всякие развлечения, и всюду толпился народ.

— Ой, Джим, я забыла деньги.

— Зато Аттикус не забыл,— сказал Джим.— Вот, держи тридцать центов, это на шесть жетончиков. Ну, пока.

— Ладно,— сказала я, очень довольная, что у меня есть тридцать центов и Сесил.

Мы с Сесилом прошли через боковую дверь в зал, а потом за кулисы. Я отделалась от своего костюма и поскорей убежала, пока меня не заметила миссис Мерриуэзер — она стояла у столика перед первым рядом и второпях что-то черкала и исправляла в своей шпаргалке.

— У тебя сколько денег? — спросила я Сесила.

У него тоже оказалось тридцать центов, значит, мы равны. Первым делом мы потратили по пять центов на комнату ужасов, но она нас ни капельки не испугала: мы вошли в темный седьмой класс, и поселившийся здесь на время вампир повел нас вдоль стен и велел трогать разные непонятные предметы и уверял, что это разные куски разрезанного человека.

— Вот глаза,— сказал вампир, и мы нащупали на блюдце две виноградины без кожицы.

— Вот сердце,— на ощупь оно напоминало сырую печенку.

— А вот его кишки,— и вампир ткнул наши руки в тарелку холодных макарон.

Мы обошли еще несколько развлечений. Купили по мешочку восхитительно вкусного печенья, которым прославилась миссис Тейлор. Я хотела попытать счастья — поймать ртом яблоко, плавающее в сиропе, но Сесил сказал — это не-ги-ги-енично. Его мама сказала, так можно подхватить какую-нибудь заразу — ведь я не первая пробую.

— У нас в Мейкомбе сейчас нет никакой заразы,— заспорила я.

Но Сесил сказал — его мама говорит, есть после чужих не-ги-гиенично. Я потом спросила тетю Александру, и она сказала — так рассуждают только гордецы.

Мы хотели купить помадки, но тут прибежали гонцы миссис Мерриуэзер и сказали, чтоб мы шли за кулисы — скоро нам представлять. Зал заполнялся народом; перед сценой, внизу, уже занял свои места мейкомбский школьный оркестр; зажглись огни рампы, и красный бархатный занавес волновался и ходил ходуном, такая за ним поднялась суматоха.

За кулисами мы с Сесилом попали в узкий коридор, битком набитый взрослыми в самодельных треуголках, в шапках армии конфедератов и в касках времен мировой войны. Ребята в костюмах, которые

должны были изображать всевозможные дары сельского хозяйства, теснились у маленького окошка.

— Кто-то смял мой костюм! — жалобно закричала я.

Галопом примчалась миссис Мерриуэзер, расправила сетку и втиснула меня внутрь.

— Жива, Глазастик? — спросил Сесил. — У тебя голос прямо как из подземелья.

— И у тебя тоже, — сказала я.

Оркестр заиграл гимн, и слышно было, что все встали. Потом забил турецкий барабан. Миссис Мерриуэзер объявила из-за столика:

— Округ Мейкомб — Per Aspera ad Astra.

Опять ударил турецкий барабан.

— Это значит,— перевела миссис Мерриуэзер для невежд,— из грязи — к звездам. — И добавила неизвестно зачем: — Живая картина.

— А то они без нее не поймут,— прошептал Сесил, но на него сразу же шикнули.

— Весь город это знает,— еле слышно прошептала я.

— А загородные? — сказал Сесил.

— Потише там,— прикрикнул мужской голос, и мы замолчали.

Опять пробил турецкий барабан. И миссис Мерриуэзер похоронным голосом стала рассказывать про округ Мейкомб. Он самый старый во всем штате, когда-то он был частью территории Миссисипи и Алабамы, первым из белых людей в эти девственные леса вступил пятиюродный прадедушка нашего судьи по наследственным делам — и пропал без вести. Потом сюда пришел бесстрашный полковник Мейкомб, в честь которого и назван наш округ.

Генерал Эндрю Джексон облек его властью, но неуместная самонадеянность полковника Мейкомба и неумение ориентироваться навлекли несчастье на всех, кто участвовал вместе с ним в сражениях с индейцами племени Ручья. Полковник Мейкомб во что бы то ни стало хотел отвоевать этот край для демократии, но его первый поход стал для него последним. Через гонца — индейца из дружественного племени ему был передан приказ: двигаться на юг. Чтобы узнать, где юг, полковник сверился с лишайником на деревьях, а подчиненным, которые хотели было указать ему на ошибку, не дал рта раскрыть и отправился в поход с твердым намерением разгромить врага, но вместо этого завел свои войска на северо-запад, в первобытные дебри, и лишь много позже их вывели оттуда поселенцы, передвигавшиеся в глубь страны.

Миссис Мерриуэзер рассказывала про подвиги полковника Мейкомба целых полчаса, а тем временем я сделала открытие: если согнуть коленки, ноги умещаются под костюмом, и тогда можно кое-как посидеть. Я сидела, слушала жужжание миссис Мерриуэзер вперемежку с грохотом барабана и незаметно уснула крепким сном.

После мне рассказали, что́ было дальше: миссис Мерриуэзер подошла к грандиозному финалу. «О-ко-рок»,— проворковала она спокойно и уверенно, ибо и сосны, и восковая фасоль являлись мгновенно. Подождала чуть-чуть, потом позвала погромче: «О-ко-рок!» Но ничто не явилось, и тогда она крикнула во весь голос: «Окорок!»

Наверно, сквозь сон я ее услышала, а может быть, меня разбудил оркестр — он заиграл гимн, — но я выбрала для своего появления ту самую минуту, когда миссис Мерриуэзер торжественно развернула на сцене государственный флаг. Не то что выбрала, просто мне захотелось быть вместе со всеми.

Мне потом рассказали, судья Тейлор выскочил из зала и так хохотал и хлопал себя по коленкам — миссис Тейлор даже принесла ему воды и какую-то пилюлю.

Миссис Мерриуэзер не зря старалась, успех был огромный, все кри-

чали и хлопали, но все равно она утащила меня за кулисы и сказала — я погубила ее живую картину. Я готова была сквозь землю провалиться, но тут за мной пришел Джим, и он мне посочувствовал. Он сказал — с того места, где он сидел, меня и видно-то не было. Не пойму, как он догадался, какая я несчастная, я ведь еще не вылезла из костюма, но он сказал — я все делала как надо, просто немножко опоздала, вот и все. Когда все совсем плохо, Джим теперь умеет утешить почти как Аттикус. Но и Джим не уговорил меня показаться на люди и согласился ждать за кулисами, пока все не уйдут из зала.

— Хочешь снять эту штуку, Глазастик? — спросил он.

— Не хочу,— сказала я.— Так и пойду.— Пускай никто не видит, как мне плохо.

— Подвезти вас домой? — спросил кто-то.

— Нет, сэр, спасибо,— сказал Джим.— Нам совсем близко.

— Берегитесь привидений,— посоветовал тот же голос.— А верней сказать, пускай привидения берегутся Глазастика.

— Ну вот, уже почти никого нет,— сказал Джим.— Пошли.

Мы через зал прошли в коридор и спустились по лестнице. На улице по-прежнему было темным-темно. Несколько машин еще не отъехали, но они стояли по другую сторону школы, и от их фар нам было мало толку.

— Если кто-нибудь поедет в нашу сторону, нам будет виднее,— сказал Джим.— Слушай, Глазастик, давай я буду тебя держать за косточку. А то как бы ты не потеряла равновесие.

— Мне все видно.

— Ну да, но вдруг ты потеряешь равновесие.

Что-то легонько надавило мне на макушку, наверно, Джим ухватился за ножку окорока.

— Чувствуешь?

— Угу...

Мы пошли темным школьным двором и все время глядели под ноги, но ничего не было видно.

— Джим,— сказала я,— я забыла туфли, они там, за сценой.

— Ладно, пошли назад.— Но только мы повернули, свет в окнах погас.— Завтра возьмешь,— сказал Джим.

— Так ведь завтра воскресенье,— возразила я, когда Джим повернул меня к дому.

— Попросишь сторожа, он тебя впустит... Глазастик...

— А?

— Нет, ничего.

Джим долго молчал. Интересно, про что он думает. Сам скажет, когда захочет — наверно, когда придем домой. Его рука надавила мне на макушку, по-моему, уж слишком сильно. Я мотнула головой.

— Джим, ну чего ты...

— Помолчи минуту, Глазастик,— сказал он и сильнее сжал ножку окорока. Дальше мы шли молча.

— Минута уже прошла,— сказала я.— Про что ты все время думаешь? — Я повернулась к Джиму, но было так темно, лица совсем не видать.

— Мне что-то послышалось,— сказал он.— Постой-ка.

Мы остановились.

— Слышишь что-нибудь? — спросил Джим.

— Нет.

Через пять шагов он снова меня остановил.

— Джим, ты что, хочешь меня напугать? Я уже не маленькая, я...

— Тише,— сказал Джим, и я поняла: он меня не разыгрывает.

Вечер был совсем тихий. Я даже слышала дыхание Джима. Изредка по моим босым ногам пробегал ветерок, а ведь когда мы шли в школу,

он задувал вовсю. Сейчас все стихло, как перед бурей. Мы прислушивались.

— Собака залаяла,— сказала я.

— Нет, не то,— сказал Джим.— Это слышно, когда мы идем, а остановимся — и не слышно.

— Это мой костюм шуршит. А, знаю, просто ты меня разыгрываешь, потому что сегодня такой день.

Это я уговаривала не Джима, а сама себя, потому что, как только мы пошли, я поняла, про что он. Мой костюм тут был ни при чем.

— Это все Сесил,— немного погодя сказал Джим.— Ну, теперь он нас не проведет. Пойдем потише, пускай не думает, что мы трусим.

Теперь мы ползли, как черепахи. Я спросила, как это Сесил идет за нами в такой темнотище и почему же он на нас не наткнулся.

— А я тебя вижу, Глазастик,— сказал Джим.

— Как же так? А мне тебя не видно.

— У тебя полоски сала светятся. Миссис Креншо намазала их светящейся краской, чтоб они блестели. Я тебя очень хорошо вижу, и Сесилу, наверно, тебя видно, вот он за нами и идет. Ладно же, пускай не думает, что провел нас.

Я вдруг обернулась и закричала во все горло:

— Сесил Джейкобс мокрая ку-урица!

Мы остановились. Но Сесил не отозвался, только где-то у школы откликнулось эхо — ку-урица.

— Вот я его,— сказал Джим.— Э-эй!!

— Эй-эй-эй-эй,— откликнулась школа.

Что-то непохоже на Сесила — так долго терпеть: раз уж ему удался какой-нибудь фокус, он его сорок раз повторит. Сесил бы уже давно на нас прыгнул.

Джим опять меня остановил. Потом сказал очень тихо:

— Глазастик, ты можешь снять с себя эту штуку?

— Могу, но ведь на мне почти ничего нет.

— Твое платье у меня.

— В темноте мне его не надеть.

— Ладно,— сказал он.— Ничего.

— Джим, ты боишься?

— Нет. Мы, наверно, уже около дуба. А там уже и дорога в двух шагах. И уличный фонарь видно.

Джим нарочно говорил медленно, очень ровным голосом. Интересно, долго еще он будет рассказывать мне сказки про Сесила?

— Давай запоем, а, Джим?

— Не надо. Тише, Глазастик, не шуми.

Мы шли все так же медленно. Если пойти быстрее, непременно ушибешь палец или споткнешься о камень. Джим знает это не хуже меня, а ведь я босиком. Может, это ветер шумит в деревьях. Да, но ветра никакого нет, и деревьев тут нет, один только старый дуб.

Наш спутник шаркал и волочил ноги, будто у него тяжелые башмаки. И на нем холщовые штаны; я думала, это шелестят листья, а это его штаны шуршат и шуршат на каждом шагу.

Песок у меня под ногами стал холодный — значит, мы у самого дуба. Джим надавил мне на макушку. Мы остановились и прислушались.

На этот раз шарканье продолжалось. Холщовые штаны все шуршали и шуршали. Потом все стихло. Потом он побежал, он бежал прямо на нас, тяжело, неуклюже — мальчишки так не бегают.

— Беги, Глазастик! Беги! — закричал Джим.

Я сделала один огромный шаг и чуть не упала; руки у меня были все равно что связаны, кругом тьма — разве тут удержишь равновесие.

— Джим, помоги! Джим!

Что-то смяло на мне проволочную сетку. Железо чиркнуло о железо, я упала на землю и откатилась подальше. Я изо всех сил барахталась и извивалась, стараясь вырваться из своей клетки. Где-то совсем рядом дрались, топали, тяжело возили ногами и всем телом по земле, по корням. Кто-то подкатился ко мне — Джим! Он мигом вскочил и потащил меня за собой, но я совсем запуталась в проволоке, я успела высвободить только голову и плечи, и мы недалеко ушли.

Мы были уже у самой дороги, как вдруг Джим отдернул руку и опрокинулся на землю. Опять послышался шум драки, что-то хрустнуло, и Джим пронзительно крикнул.

Я кинулась на крик и налетела на чей-то живот. Человек охнул и хотел схватить меня за руки, но они были под костюмом. Живот у него был мягкий, но руки как железо. Он сдавил меня так, что я не могла вздохнуть. И пошевелиться не могла. Вдруг его рвануло в сторону, он опрокинулся на землю и чуть не повалил меня тоже. Наверно, это Джим подоспел.

Иногда соображаешь очень медленно. Меня совсем оглушило, и я стояла столбом. Шум драки затихал; кто-то захрипел, и опять стало очень тихо.

Тихо, только кто-то дышит тяжело-тяжело и спотыкается. Кажется, он подошел к дубу и прислонился к нему. И страшно закашлялся, со всхлипом, его всего так и колотило.

— Джим?

Никакого ответа, только тяжелое дыхание совсем близко.

— Джим?

Джим не отвечал.

Тот человек отошел от дуба, начал шарить в темноте, наверно, что-то искал. Потом он протяжно, со стоном вздохнул и потащил по земле что-то тяжелое. И тут я начала понимать, что под дубом нас уже четверо.

— Аттикус?..

Кто-то тяжелыми, неуверенными шагами уходил к дороге.

Я пошла к тому месту, где, как мне казалось, он только что стоял, и принялась торопливо водить ногами по земле. Скоро я на кого-то наткнулась.

— Джим?

Босой ногой я нащупала штаны, пряжку пояса, пуговицы, потом что-то непонятное, потом воротник и лицо. На лице колючая щетина — нет, это не Джим. Запахло винным перегаром.

Я побрела туда, где, я думала, проходит дорога. Я не знала, верно ли иду — ведь меня столько раз поворачивали в разные стороны. Но я все-таки вышла на дорогу и увидела уличный фонарь. Под фонарем шел человек. Шел неровными шагами, будто нес что-то очень тяжелое. Он повернул за угол. Он нес Джима. Рука Джима свисала перед ним и как-то нелепо болталась.

Когда я дошла до угла, человек уже шел по нашему двору. Открылась дверь, из нее упал свет, на секунду я увидела Аттикуса — он сбежал с крыльца, вдвоем они внесли Джима в дом.

Я дошла до двери, а они уже шли по коридору. Навстречу мне бежала тетя Александра.

— Позвони доктору Рейнолдсу! — крикнул из комнаты Джима Аттикус.— Где Глазастик?

— Она здесь! — И тетя Александра потащила меня к телефону. Она очень торопилась, и я не поспевала за ней.

— Я сама дойду, тетя,— сказала я.— Вы лучше звоните.

Она схватила трубку.

— Дайте доктора Рейнолдса, Юла Мэй, скорее! Отец дома, Агнес-

са? О господи, где же он? Пожалуйста, как только он вернется, скажите, чтобы шел к нам. Пожалуйста, это очень спешно!

Тете Александре незачем было называть себя, в Мейкомбе все знают друг друга по голосу.

Из комнаты Джима вышел Аттикус. Не успела тетя Александра дать отбой, Аттикус выхватил у нее трубку. Постучал по рычагу, потом сказал:

— Пожалуйста, соедините меня с шерифом, Юла Мэй. Гек? Это Аттикус Финч. Кто-то напал на моих детей. Джим ранен. Между нашим домом и школой. Я не могу отойти от мальчика. Пожалуйста, съездите туда за меня, посмотрите, может быть, он еще недалеко ушел. Вряд ли вы его сейчас найдете, но, если найдете, я хотел бы на него взглянуть. А теперь мне надо идти. Спасибо, Гек.

— Аттикус, Джим умер?

— Нет, Глазастик. Займись ею, сестра! — крикнул он уже из коридора.

Трясущимися пальцами тетя Александра стала распутывать на мне смятый, изорванный костюм на проволочной сетке. Не сразу ей удалось меня освободить.

— Ты цела, детка? — опять и опять спрашивала она.

Какое это было облегчение — вылезти наружу! Руки у меня уже затекли, и на них отпечатались красные шестиугольники. Я стала их растирать, и они немного отошли.

— Тетя, Джим умер?

— Нет... нет, детка, он без сознания. Вот придет доктор Рейнолдс, тогда мы узнаем, насколько серьезно он ранен. Что с вами случилось, Джин-Луиза?

— Не знаю.

Больше она не спрашивала. Она пошла и принесла мне одеться; если бы мне тогда это пришло в голову, я бы уж не дала ей про это забыть: тетя была так расстроена, что принесла мне комбинезон!

— На, оденься, детка,— сказала она и подала мне тот самый наряд, который всегда терпеть не могла.

Она побежала к Джиму, потом опять вышла ко мне в прихожую. Рассеянно погладила меня и опять ушла к Джиму.

К дому подъехала машина. Шаги доктора Рейнолдса я знала не хуже, чем шаги Аттикуса. Он помог нам с Джимом появиться на свет и пройти через все детские болезни, какие только существуют, он лечил Джима, когда Джим вывалился из нашего домика на платане,— и мы с ним всегда оставались друзьями. Доктор Рейнолдс говорил: будь у нас нрав погорячее, все было бы по-другому, но мы ему не поверили.

Он стал на пороге и сказал: — Боже милостивый! — и пошел было ко мне, потом сказал: — Ну, ты по крайней мере на ногах.— И повернул прочь. Он знал в нашем доме каждый закоулок. И знал: если мне плохо пришлось, значит, и Джиму не лучше.

Прошло десять тысячелетий, и доктор Рейнолдс вернулся.

— Джим умер? — спросила я.

— Ничего подобного,— сказал доктор и присел передо мной на корточки.— У него шишка на лбу, точь-в-точь как у тебя, и сломана рука. Посмотри-ка сюда, Глазастик... нет, головой не верти, только скоси глаза. А теперь вон в ту сторону. Перелом у него скверный, насколько могу сейчас судить — в локте. Похоже, что кто-то старался открутить ему руку напрочь... теперь посмотри на меня.

— Значит, он не умер?

— Да нет же! — Доктор Рейнолдс поднялся.— Сегодня мы мало что можем сделать, только устроить его поудобнее. Надо будет сделать рентгеновский снимок... вероятно, придется ему на время положить руку в

гипс. Но ты не беспокойся, он будет у нас как новенький. У мальчишек все заживает в два счета.

Доктор Рейнолдс говорил, а сам все разглядывал меня и осторожно ощупывал шишку, которая надувалась у меня на лбу.

— А у тебя нигде ничего не сломано, как тебе кажется? — пошутил он.

Я невольно улыбнулась.

— Значит, по-вашему, он не умер, нет?

Доктор Рейнолдс надел шляпу.

— Ну, понятно, я могу и ошибаться, но, по-моему, он даже очень живой. Все симптомы налицо. Поди взгляни на него, а когда я вернусь, мы с тобой решим окончательно.

У доктора Рейнолдса походка молодая и легкая. Мистер Гек Тейт ходит по-другому. Под его тяжелыми башмаками веранда так и застонала, и дверь он отворил неуклюже, но на пороге он ахнул совсем как доктор Рейнолдс. Потом прибавил:

— Ты цела, Глазастик?

— Да, сэр, я пойду к Джиму. Аттикус и все тоже там.

— Я с тобой,— сказал мистер Тейт.

Тетя Александра заслонила лампу в изголовье Джима полотенцем, и в комнате было полутемно. Джим лежал на спине. Одна щека у него была разбита. Левая рука торчала вбок и согнулась в локте, только не в ту сторону, в какую надо. Джим хмурил брови.

— Джим?..

— Он тебя не слышит, Глазастик, — сказал Аттикус,— он выключен, знаешь, как радио выключают. Он уже приходил в себя, но доктор Рейнолдс его усыпил.

— Да, сэр.

Я отошла к стене. Комната Джима большая, квадратная. В качалке у камина сидит тетя Александра. В углу стоит тот человек, который принес Джима, он прислонился к стене. Какой-то незнакомый, видно, из загородных. Наверно, смотрел наше представление, а потом оказался поблизости, когда все это случилось. Услыхал, наверно, наши крики и прибежал на выручку.

Аттикус стоял у постели Джима.

Мистер Гек Тейт остановился на пороге. Шляпу он держал в руке, карман штанов оттопыривался — видно было, что там фонарик. Мистер Тейт был в своей охотничьей куртке, бриджах и высоких сапогах.

— Входите, Гек,— сказал Аттикус.— Нашли что-нибудь? Не представляю, какой негодяй способен на такое, но надеюсь, вы его найдете.

Мистер Тейт посопел носом. Пронзительно посмотрел на человека в углу, кивнул ему, потом обвел взглядом комнату — посмотрел на Джима, на тетю Александру, потом на Аттикуса.

— Присядьте, мистер Финч, — любезно предложил он.

— Давайте все сядем,— сказал Аттикус.— Вот вам стул, Гек. Я принесу другой из гостиной.

Мистер Тейт подсел к письменному столу Джима. Подождал Аттикуса — он вернулся и тоже сел. Почему-то он не принес стула для человека в углу; но ведь Аттикус знает привычки фермеров лучше, чем я. Иногда приедет к нему кто-нибудь из глуши за советом, привяжет своего мула во дворе под платаном, и Аттикус так и беседует с ним на заднем крыльце. Этому, наверно, тоже уютнее там, в углу.

— Мистер Финч, — сказал шериф,— сейчас я вам скажу, что я там нашел. Нашел платье какой-то девочки — оно у меня в машине. Это твое, Глазастик?

— Да, сэр, если розовое и с вышивкой, значит мое.

Мистер Тейт вел себя так, будто давал показания в суде. Он любит рассказывать все по-своему, чтоб ни прокурор, ни защитник ему не мешали, и иногда это получается довольно длинно.

— Еще я нашел какие-то странные клочки бурой материи...

— Это мой костюм, мистер Тейт.

Мистер Тейт погладил свои колени. Потер левую руку и стал рассматривать каминную доску, потом его, кажется, очень заинтересовал самый камин. Потом он стал ощупывать пальцами нос.

— В чем дело, Гек? — сказал Аттикус.

Мистер Тейт поднял руку и потер себе сзади шею.

— Там на школьном дворе под дубом лежит Боб Юэл, и между ребер у него торчит кухонный нож. Он мертв, мистер Финч.

Глава 29

Тетя Александра встала и ухватилась за каминную доску. Мистер Тейт поднялся и хотел ей помочь, но она только покачала головой. Аттикусу первый раз в жизни изменила его всегдашняя учтивость, он так и остался сидеть.

Мне почему-то все вспоминалось, как мистер Боб Юэл тогда сказал — дай только срок, он с Аттикусом расправится. Он чуть не расправился с Аттикусом, и на этом ему пришел конец.

— Вы уверены? — каким-то тусклым голосом спросил Аттикус.

— Как есть мертвый, — подтвердил мистер Тейт. — Окончательно и бесповоротно. Больше он вашим детишкам ничего плохого не сделает.

— Я не о том...

Аттикус говорил, как во сне. Стало видно, какой он старый,— только по этому всегда и можно узнать, что у него нехорошо на душе: упрямый подбородок обмяк, морщины вдоль щек сделались глубже, и уже не так заметно, что волосы у него черные, как смоль, зато сразу замечаешь, что виски седые.

— Может быть, перейдем в гостиную? — сказала наконец тетя Александра.

— С вашего позволения, я бы предпочел остаться здесь, если только это Джиму не вредно,— сказал мистер Тейт.— Я бы хотел взглянуть на его ранения, а Глазастик нам пока что расскажет... как все это было.

— Вы разрешите мне уйти? — спросила тетя Александра.— Сейчас я тут не нужна. Аттикус, если я понадоблюсь, я буду у себя.— Тетя Александра пошла к двери, но вдруг остановилась и обернулась. — У меня сегодня было предчувствие, Аттикус,— начала она. — Я... это все моя вина. Мне надо было...

Мистер Тейт поднял руку.

— Идите отдыхать, мисс Александра. Я понимаю, вы переволновались. Только вы себя не мучайте... ведь это если на всякое предчувствие обращать внимание, так и с места не сойдешь — знаете, вроде кошки, которая ловит себя за хвост. Мисс Глазастик, попробуй-ка нам рассказать, как было дело, покуда не забыла. Ладно? Вы видели, что он за вами идет?

Я подошла к Аттикусу, и он меня обнял. Я уткнулась головой ему в колени.

— Мы пошли домой. Я сказала — Джим, я забыла туфли. Мы хотели вернуться, а тут в школе погас свет. Джим сказал — возьмешь туфли завтра...

— Подними голову, Глазастик, а то мистеру Тейту ничего не слышно,— сказал Аттикус.

Я забралась к нему на колени.

— Потом Джим сказал — помолчи минуту. Я думала, это он про что-нибудь думает, он не любит, когда ему мешают думать... а потом он сказал — ему что-то послышалось. Мы думали, это Сесил.

— Какой Сесил?

— Сесил Джейкобс. Он нас сегодня один раз напугал, мы и подумали — это опять он. Он сегодня был корова. За лучший костюм давали приз — четвертак. Только я не знаю, кто его получил...

— Где вы с Джимом были, когда подумали, что это Сесил?

— Совсем близко от школы. Я ему покричала...

— Что покричала?

— Сесил Джейкобс жирная курица, что ли. Он ничего не ответил... тогда Джим заорал ему «эй» или еще что-то, да громко, во все горло...

— Погоди минуту, Глазастик,— сказал мистер Тейт.— Вы слышали, как они кричали, мистер Финч?

Аттикус сказал — нет. У него было включено радио. И у тети Александры в спальне тоже. Он это помнит, потому что она попросила, чтоб он у себя немножко приглушил, а то ей ничего не слышно. Аттикус улыбнулся:

— Я всегда включаю радио на всю катушку.

— Интересно, а соседи что-нибудь слышали? — сказал мистер Тейт.

— Вряд ли, Гек. Почти все вечером тоже слушают радио или ложатся с петухами. Может быть, Моди Эткинсон еще не спала, да и то вряд ли.

— Рассказывай, Глазастик,— сказал мистер Тейт.

— Ну, Джим покричал, и мы пошли дальше. Мистер Тейт, у меня голова в этом костюме была закутанная, но тогда я уже и сама слышала. Шаги слышала. Мы идем — и за нами кто-то идет, мы остановимся — и он остановится. Джим сказал — ему меня видно, потому что миссис Креншо намазала мой костюм светящейся краской. Я была окорок.

— Как так? — удивился мистер Тейт.

Аттикус объяснил ему, что́ я представляла и как был устроен мой костюм.

— Вы бы ее видели, когда она пришла домой,— сказал он.— Вся эта конструкция превратилась в кашу.

Мистер Тейт потер подбородок.

— А я не мог понять, откуда на нем эти знаки. Рукава у него все в мелких дырочках. И в нескольких местах под этими дырочками руки чем-то проколоты. Дайте-ка мне взглянуть на эту штуку, сэр.

Аттикус принес жалкие остатки моего наряда. Мистер Тейт поворачивал их и так, и сяк и расправил, чтобы представить себе, как было раньше.

— Похоже, что эта штука спасла ей жизнь,— сказал он.— Посмотрите.

Длинным пальцем он ткнул в мой костюм. На тусклой проволочной сетке ярко блестела царапина.

— Боб Юэл знал, чего хочет,— пробормотал мистер Тейт.

— Он был не в своем уме,— сказал Аттикус.

— Уж извините, мистер Финч, только вы сильно ошибаетесь. Никакой он был не сумасшедший, просто подлец подлецом. Гад ползучий, расхрабрился спьяну убивать детишек. С вами-то сойтись лицом к лицу храбрости не хватило.

Аттикус покачал головой.

— Не могу себе представить, чтобы человек был способен...

— Есть такая порода людей, мистер Финч, их надо приканчивать без разговоров, да и то обидно пулю тратить. Вот и Юэл был такой.

— Я думал, в тот день, когда он грозился меня убить, он отвел душу — и дело с концом. А уж если ему этого мало, он со мной и расправится.

— Ну, нет! Пакостить несчастной негритянке — вот это пожалуйста, и судье Тейлору — тоже, когда он думал, что судьи дома нет, и, по-вашему, он посмел бы с вами повстречаться лицом к лицу среди бела дня? — Мистер Тейт вздохнул.— Рассказывай дальше, Глазастик. Значит, ты услышала, что он идет за вами...

— Да, сэр. Когда мы дошли до старого дуба...

— А откуда ты в такой темноте узнала, что вы дошли до старого дуба?

— Я шла босиком, а Джим говорит, под деревом земля всегда холоднее.

— Придется сделать его помощником шерифа. Давай дальше.

— Тогда меня вдруг что-то схватило и смяло мой костюм... кажется, я присела и вывернулась... слышу, под дубом вроде дерутся... как будто они всё налетали на него и стукались. Джим меня нашел и потащил к дороге. Кто-то... мистер Юэл, наверно, дернул его и повалил. Они еще подрались, потом как-то странно захрустело... Джим как закричит...

Я запнулась. Так вот что это было — у Джима сломалась рука.

— Ну вот, Джим как закричит, и больше я его не слышала, а потом... мистер Юэл, наверно, хотел задавить меня до смерти... потом кто-то его дернул и повалил. Я думала, это Джим подоспел. Больше я ничего не знаю...

— А дальше что было? — мистер Тейт так и уставился на меня.

— Кто-то там ходил и спотыкался, и все пыхтел и кашлял... прямо разрывался. Сперва я думала, это Джим, только по голосу было не похоже, и я стала искать Джима на земле. Я думала, это Аттикус пришел нас выручать и очень устал...

— Кто же это был?

— Да вот он, мистер Тейт, пускай он вам сам скажет, как его зовут.

И я чуть было не ткнула пальцем в того человека в углу, но поскорей опустила руку, пока Аттикус не рассердился. Ведь показывать пальцем невежливо.

Тот человек все стоял у стены. Он все время так стоял, с тех пор как я вошла в комнату,— прислонился к стене и руки скрестил на груди. Когда я стала на него показывать, он опустил руки и дотронулся до стены. Руки у него были совсем белые, будто они никогда не бывали на солнце; в комнате у Джима было довольно темно, а стена кремовая, и даже удивительно, как на ней выделялись эти белые-белые руки.

После рук я посмотрела на его штаны хаки, они были все в песке, а грубая бумажная рубаха разорвана. Он был очень худой, лицо тоже совсем белое, как руки, только подбородок немножко темнее. Худые щеки ввалились; рот большой; виски впалые, как будто в них ямки; а серые глаза светлые-светлые, мне даже показалось — он слепой. И на макушке редкие бесцветные волосы, прямо как пух.

Когда я стала показывать на него пальцем, руки у него съехали по стене, и на ней остались пятна, потому что ладони вспотели, и он взял и зацепился большими пальцами за пояс. Его как-то передернуло, будто ножом царапнули по стеклу, а я все смотрела на него разинув рот, и под конец лицо у него сделалось не такое деревянное. Он тихонько улыбнулся, и тогда у меня на глазах почему-то выступили слезы, и лицо нашего соседа вдруг расплылось.

— Привет, Страшила! — сказала я.

Глава 30

— Мистер Артур, дружок,— мягко поправил меня Аттикус.— Джин-Луиза, это мистер Артур Рэдли. Думаю, что ты ему уже знакома.

Уж если Аттикус мог в такой час по всем правилам представить меня Страшиле Рэдли... ну, на то он и Аттикус.

Я невольно кинулась к постели Джима, Страшила посмотрел на меня и опять тихо, робко улыбнулся. Мне от стыда стало жарко, и я сделала вид, будто хотела только поправить на Джиме одеяло.

— Нет-нет, не трогай его! — сказал Аттикус.

Мистер Гек Тейт через свои роговые очки в упор смотрел на Страшилу. Он уже хотел что-то сказать, но тут в прихожей послышались шаги доктора Рейнолдса.

— Вы все здесь,— сказал он с порога.— Добрый вечер, Артур, в первый раз я вас не заметил.

Удивительное дело, голос у него был такой же бодрый и непринужденный, как походка, будто он вот так здоровался со Страшилой каждый день всю свою жизнь... это было, пожалуй, еще удивительней, чем то, что Страшила тут, у нас в комнате... хотя... ну да, ведь и Страшила Рэдли тоже, наверно, иногда болеет. А может быть, и нет.

Доктор Рейнолдс принес с собой что-то большое, завернутое в газету. Он положил этот сверток на письменный стол Джима и снял пиджак.

— Ну, теперь ты сама видишь, что он живой? — сказал мне доктор Рейнолдс.— Сейчас я тебе скажу, как я это узнал. Когда я начал его осматривать, он меня здорово лягнул. Пришлось его прочно усыпить, а то он не давал до себя дотронуться. Ну, брысь отсюда.

— Э-э...— начал Аттикус и покосился на Страшилу.— Пойдемте на веранду, Гек. Стульев там сколько угодно, и еще не так прохладно.

Почему это Аттикус приглашает нас не в гостиную, а на веранду? А, понятно: в гостиной очень яркий свет.

Мы гуськом пошли из комнаты за мистером Тейтом — Аттикус ждал его у двери и хотел было пойти первым, но передумал и пропустил его вперед.

Странная у людей привычка — при самых удивительных обстоятельствах они ведут себя как ни в чем не бывало. И я, оказывается, тоже.

— Идемте, мистер Артур,— вдруг сказала я.— А то как бы вам у нас тут не запутаться. Вы ведь не очень хорошо знаете дорогу. Сейчас я вас провожу на веранду, сэр.

Он посмотрел на меня сверху вниз и кивнул.

Я вывела его через прихожую, мимо гостиной, на веранду.

— Может быть, присядете, мистер Артур? Эта качалка очень удобная.

Когда-то мне почти так и представлялось: он сидит на веранде... просто прелесть что за погода, правда, мистер Артур?

Да, погода просто прелесть. Как во сне, я отвела его к той качалке, которая была подальше от Аттикуса и мистера Тейта. Она стояла в самой тени. В темноте Страшиле будет уютнее.

Аттикус сел на качели, мистер Тейт — в кресло рядом. На них падал яркий свет из окон гостиной. Я села возле Страшилы.

— Так вот, Гек,— заговорил Аттикус,— мне кажется, прежде всего нужно... о господи, никак не соберусь с мыслями...— Аттикус сдвинул очки на лоб и прижал пальцы к глазам.— Джиму еще нет тринадцати... или уже исполнилось... никак не вспомню. Как бы то ни было, этим займется окружной суд...

— Чем займется, мистер Финч? — Мистер Тейт подался вперед в своем кресле.

— Разумеется, это чистейшая самозащита, но мне надо пойти в контору и просмотреть статью...

— Мистер Финч, вы что? По-вашему, Боба Юэла убил Джим? Так, что ли?

— Вы же слышали, что говорит Глазастик, тут нет никаких сомнений. Она говорит — Джим подоспел и оторвал от нее Юэла... вероятно, в темноте он как-то перехватил у Юэла нож... завтра мы это выясним.

— Стоп, мистер Финч,— сказал мистер Тейт.— Джим вовсе не ударил Боба Юэла ножом.

Минуту Аттикус молчал. Он так посмотрел на мистера Тейта, будто взвешивал его слова. А потом покачал головой.

— Это очень великодушно с вашей стороны, Гек, и я понимаю, в вас говорит ваше доброе сердце, но не вздумайте ничего такого затевать.

Мистер Тейт поднялся и подошел к перилам. Сплюнул в кусты, потом сунул руки в карманы штанов и повернулся к Аттикусу.

— Чего не затевать? — спросил он.

— Извините мою резкость,— просто сказал Аттикус,— но я не допущу, чтобы эту историю замяли. Для меня это невозможно.

— Никто и не собирается ничего замять, мистер Финч.

Мистер Тейт говорил спокойно, но так упрямо расставил ноги, будто врос в пол. Между моим отцом и шерифом шел какой-то непонятный поединок.

Настал черед Аттикуса подняться и подойти к перилам. «Э-кхм»,— сказал он и тоже сплюнул во двор. Сунул руки в карманы и повернулся к мистеру Тейту.

— Вы не сказали этого вслух, Гек, но я знаю, о чем вы думаете. Спасибо вам за это. Джин-Луиза...— он обернулся ко мне.— Ты говоришь, Джим оттащил от тебя мистера Юэла?

— Да, сэр, тогда я так подумала... я...

— Вот видите, Гек? Огромное вам спасибо, но я не желаю, чтобы мой сын вступал в жизнь с таким грузом на совести. Самое лучшее — сделать все в открытую. Пускай люди знают все, как есть, пускай будет суд. Я не желаю, чтобы у него за спиной всю жизнь шептались, чтобы кто-то мог о нем сказать: «А, Джим Финч... пришлось его папаше раскошелиться, чтоб вызволить его из той скверной истории». Чем скорей мы с этим покончим, тем лучше.

— Мистер Финч,— невозмутимо сказал мистер Тейт,— Боб Юэл напоролся на собственный нож. Он сам себя заколол.

Аттикус отошел в угол веранды. И уставился на ветку глицинии. До чего они оба упрямые, каждый на свой лад! Интересно, кто первый уступит. У Аттикуса упрямство тихое, его почти никогда и не заметишь, а все равно иногда он ужасно неподатливый, не хуже Канингемов. Мистер Тейт не такой сдержанный, он так и рубит сплеча, но он такой же упорный, как мой отец.

— Гек,— сказал Аттикус, все еще стоя к нам спиной,— замять это дело значит просто-напросто закрыть для Джима дорогу, к которой я старался его подготовить. Иногда мне кажется, что я никуда не годный отец, но кроме меня у них никого нет. Прежде чем посмотреть на кого бы то ни было, Джим смотрит на меня — и я стараюсь жить так, чтобы всегда иметь право в ответ смотреть ему прямо в глаза... а если я пойду на такое попустительство, я уже не смогу спокойно встретить его взгляд, и с этой минуты он для меня потерян. Я не хочу терять его и Глазастика, ведь кроме них у меня ничего нет.

— Мистер Финч,— мистер Тейт все еще стоял, расставив ноги,

будто врос в пол,— Боб Юэл упал и напоролся на собственный нож. Я могу это доказать.

Аттикус круто обернулся. Глубже засунул руки в карманы.

— Гек, неужели вы не можете меня понять? У вас тоже есть дети, но я старше вас. Когда мои дети станут взрослыми, я буду уже стариком, если вообще до этого доживу, но сейчас я... если они перестанут верить мне, они вообще никому не будут верить. Джим и Глазастик знают, как все это было на самом деле. Если они услышат, что я всем говорю, будто это случилось как-то по-другому... они для меня потеряны, Гек. Я не могу дома быть одним человеком, а на людях другим.

Мистер Тейт приподнялся на носках, опять опустился на пятки и терпеливо сказал:

— Он швырнул Джима наземь, споткнулся о корень дуба и — вот смотрите, я покажу.

Мистер Тейт вытащил из бокового кармана длинный складной нож. И тут на веранду вышел доктор Рейнолдс.

— Этот сукин... покойник там под дубом, доктор, сразу, как войдете в школьный двор,— сказал ему мистер Тейт.— Есть у вас фонарь? Вот, возьмите лучше мой.

— Я могу въехать во двор и зажечь фары,— сказал доктор Рейнолдс, но все-таки взял у мистера Тейта фонарик.— Джим в порядке. До утра, думаю, не проснется, так что вы не беспокойтесь. Это и есть нож, которым его убили, Гек?

— Нет, сэр, тот торчит в нем. Судя по ручке, обыкновенный кухонный нож. Кен с катафалком, верно, уже там, доктор, так что до свиданья.

Мистер Тейт неожиданно раскрыл нож.

— Вот как это было,— сказал он и сделал вид, что споткнулся; он наклонился, и левая рука с ножом дернулась вперед и вниз.— Вот так, видите? Он его сам себе воткнул между ребер. А потом повалился на него всей тяжестью и вогнал по рукоятку.

Мистер Тейт сложил нож и сунул в карман.

— Глазастику восемь лет,— сказал он.— Она сильно испугалась и не могла толком понять, что происходит.

— Вы ее еще не знаете,— хмуро сказал Аттикус.

— Я не говорю, что она все это сочинила, я говорю — она сильно испугалась и не могла толком понять, что происходит. Тьма была такая, хоть глаз выколи. Тут в свидетели годится только человек, привычный к темноте, такой, что видит не хуже кошки...

— Я на это не пойду,— тихо сказал Аттикус.

— *О черт подери, да я не о Джиме забочусь!*

Мистер Тейт так топнул ногой, что в спальне мисс Моди зажегся свет. И у мисс Стивени Кроуфорд зажегся свет. Аттикус и мистер Тейт поглядели через дорогу, потом друг на друга. Помолчали.

Потом мистер Тейт заговорил тихо-тихо:

— Мистер Финч, мне очень неприятно с вами спорить, когда вы в таком состоянии. Не дай бог никому пережить такое, как вам нынче вечером. Не знаю, как вы еще на ногах держитесь. Но одно я знаю — такой уж вышел случай, что вы, видно, не в силах понять самые простые вещи, а нам надо нынче же во всем разобраться, завтра будет уже поздно. Боб Юэл заполучил в зоб кухонный нож.

И мистер Тейт стал говорить — зря Аттикус уверяет, будто у мальчишки такого роста и сложения, как Джим, да еще со сломанной рукой, могло еще хватить пороху, чтобы в этакой темнотище сладить со взрослым мужчиной и убить его.

— Гек,— вдруг прервал его Аттикус,— а что это у вас за складной нож? Откуда вы его взяли?

— У одного пьяного,— хладнокровно ответил мистер Тейт.

Я изо всех сил старалась вспомнить. Мистер Юэл набросился на меня... потом упал... наверно, это Джим подоспел. По крайней мере, так я тогда подумала...

— Гек?

— Я же сказал — я взял этот нож сегодня в городе у одного пьяного. А тот кухонный нож Юэл, наверно, отыскал где-нибудь на свалке. Наточил его и ждал удобного случая... вот именно, ждал удобного случая.

Аттикус медленно вернулся к качелям и сел. Руки бессильно свесились между колен. Он опустил голову и смотрел в пол. Вот так медленно он двигался в ту ночь у тюрьмы, когда мне показалось — он целую вечность складывал газету.

Мистер Тейт неуклюже, но тихо бродил по веранде.

— Это не вам решать, мистер Финч, а мне. Я решаю, я и отвечаю. Такой уж вышел случай, хоть вы со мной и не согласны, а ничего вы тут не поделаете. А если и попробуете, я вам в лицо скажу, что это вранье — и все тут. Ваш Джим и не думал ударить ножом Боба Юэла, просто даже ничего похожего не было, так и знайте. Он хотел только живым добраться с сестренкой до дому.

Тут мистер Тейт перестал ходить взад-вперед. Он остановился перед Аттикусом, спиной к нам.

— Не такой уж я хороший человек, сэр, но я шериф округа Мейкомб. Живу в этом городе весь век, а мне уже скоро сорок три. Я наперечет знаю все, что тут случилось за мою жизнь и еще даже до моего рожденья. У нас тут умер черный, погиб ни за что ни про что, и тот, кто за это в ответе, тоже умер. И пускай на этот раз мертвые хоронят своих мертвецов, мистер Финч. Пускай мертвые хоронят своих мертвецов.

Мистер Тейт шагнул к качелям и подобрал свою шляпу. Она лежала возле Аттикуса. Мистер Тейт откинул волосы со лба и надел шляпу.

— Я никогда еще не слыхал, чтоб это было против закона — сделать все, что только в силах человека, лишь бы не совершилось преступление, а он именно так и поступил. Может, вы скажете, что мой долг — не молчать про это, а рассказать всему городу? А знаете, что тогда будет? Все наши милые леди, сколько их есть в Мейкомбе, и моя жена в том числе, станут ломиться к нему в дом и завалят его своими распрекрасными пирогами и тортами. Я так понимаю, мистер Финч, человек сослужил и вам и всему городу великую службу, и взять его, вот такого скромного и пугливого, и вытащить всем напоказ — по-моему, это просто грех. Это грех, и не хочу я, чтоб он был у меня на совести. Будь это кто угодно кроме него — дело другое. А с этим человеком так нельзя, мистер Финч.

Мистер Тейт усиленно старался провертеть каблуком дырку в полу. Подергал себя за нос. Потом потер себе левое плечо.

— Может, мне и не велика цена, мистер Финч, но я пока что шериф округа Мейкомб, и Боб Юэл упал и напоролся на свой нож. Доброй ночи, сэр.

Мистер Тейт протопал по веранде и зашагал со двора. Хлопнула дверца автомобиля, и он уехал.

Аттикус еще долго сидел и смотрел себе под ноги. Наконец он поднял голову.

— Глазастик,— сказал он,— мистер Юэл упал на свой нож. Ты это понимаешь?

У Аттикуса было такое лицо — надо было его подбодрить. Я подбежала к нему и обняла и поцеловала изо всей силы.

— Ну, конечно, понимаю,— успокоила я его.— Мистер Тейт все правильно говорил.

Аттикус высвободился и посмотрел на меня.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, это было бы вроде как убить пересмешника, ведь правда?

Аттикус потерся щекой о мою голову. Потом встал и пошел через всю веранду в тень, и походка у него опять стала молодая и легкая. Он хотел уже войти в дом, но остановился перед Страшилой Рэдли.

— Спасибо вам за моих детей, Артур,— сказал он.

Глава 31

Страшила Рэдли зашаркал ногами и медленно поднялся, свет из гостиной заблестел у него на лбу. Он двигался так неуверенно, будто боялся, что не попадет рукой или ногой туда, куда надо. Он опять страшно, хрипло закашлялся — ему даже пришлось сесть. Нащупал карман и вытащил носовой платок. Кашлянул в платок, потом утер лоб.

Я так привыкла, что его нигде нет, а тут он все время сидел рядом — даже не верится! И ни разу не шелохнулся.

И вот он опять поднялся на ноги. Повернулся ко мне и кивнул на дверь.

— Вы хотите попрощаться с Джимом, да, мистер Артур? Пойдемте.

Я повела его через прихожую. У постели Джима сидела тетя Александра.

— Войдите, Артур,— сказала она.— Он еще спит. Доктор Рейнолдс дал ему очень сильного снотворного. Отец в гостиной, Джин-Луиза?

— Да, мэм, наверно.

— Пойду скажу ему два слова. Доктор Рейнолдс оставил кое-какие...— ее голос затих в коридоре.

Страшила побрел в угол, остановился там, вытянул шею и издали старался разглядеть Джима. Я взяла его за руку, странно — такая белая рука, а совсем теплая. Я тихонько потянула его, он не стал упираться, и я подвела его к кровати.

Доктор Рейнолдс устроил над рукой Джима что-то вроде навеса, наверно, чтобы ее не касалось одеяло; Страшила наклонился и заглянул поверх навеса. Лицо у него было такое испуганное и любопытное, как будто он сроду не видал живого мальчишки. Он даже рот приоткрыл и разглядывал Джима с головы до ног. Поднял руку и сразу опустил.

— Вы можете его погладить, мистер Артур, он спит. Вот если бы не спал, ни за что бы не дался,— сама не зная почему объяснила я Страшиле.— Да вы не бойтесь.

Его рука нерешительно замерла над головой Джима.

— Ничего, сэр, не бойтесь, он спит.

Страшила тихонько погладил Джима по голове.

Я уже начинала понимать его без всяких слов. Другой рукой он крепче сжал мою руку и кивнул — значит, хочет уйти.

Я вывела его на веранду, он ступал неуверенно, а тут и вовсе остановился. Он все еще не выпускал моей руки.

— Ты отведешь меня домой?

Он говорил тихо, почти шептал, совсем как малыш, который боится темноты.

Я начала было спускаться с крыльца, но на первой же ступеньке остановилась. По нашему дому я сколько угодно могла водить его за руку, но по улице — нет уж.

— Мистер Артур, согните-ка руку, вот так. Вот, хорошо, сэр.

Я взяла его под руку.

Ему пришлось немного наклониться, чтобы мне было удобнее, но если мисс Стивени Кроуфорд смотрит из окна, пускай видит — Артур Рэдли ведет меня по дорожке, как полагается джентльмену.

Мы дошли до уличного фонаря на углу. Сколько раз Дилл стоял тут в обнимку с фонарным столбом, и сторожил, и ждал, и надеялся. Сколько раз мы с Джимом ходили этой дорогой, но во двор к Рэдли я попала с улицы второй раз в своей жизни. Мы со Страшилой поднялись по ступеням веранды. Он нащупал ручку парадной двери. Тихо отпустил мою руку, открыл дверь, вошел в дом и затворил за собой дверь. Больше я его никогда не видела.

Если у вас кто-нибудь умер, соседи приносят вам поесть, если кто-нибудь болен — приносят цветы и так просто иной раз что-нибудь подарят. Страшила был наш сосед. Он подарил нам две куколки из мыла, сломанные часы с цепочкой, два пенни на счастье — и еще он подарил нам жизнь. Но соседям даришь подарки в ответ. А мы только брали из дупла и ни разу ничего туда не положили, мы ничего не подарили ему, и это очень грустно.

Я повернулась и хотела идти домой. Наша улица тянулась далеко к центру города, и вдоль нее мерцали фонари. В первый раз я увидела наш квартал с этой стороны. Вот дом мисс Моди, вот — мисс Стивени, а вот и наш, вот и качели на нашей веранде, а за нами хорошо видно дом мисс Рейчел. Я даже разглядела дом миссис Дюбоз.

Я оглянулась. Слева от двери было окно с закрытыми ставнями. Я подошла, стала перед ним и огляделась. Днем из него, наверно, виден угол почты.

Днем... Мне представилось — кругом светло. День на дворе, и все соседи заняты своими делами. Мисс Стивени спешит через дорогу поделиться с мисс Рейчел самой последней новостью. Мисс Моди наклонилась над своими азалиями. Лето, и двое детей вприскочку бегут по тротуару, а вдалеке им навстречу идет человек. Он машет рукой, и дети наперегонки мчатся к нему.

Все еще лето, и двое детей подходят ближе. Мальчик понуро плетется по тротуару и волочит за собой удилище. А отец подбоченился и ждет. Лето, и дети играют с приятелем в палисаднике, сами сочиняют и представляют какую-то непонятную пьеску.

Осень, и двое детей дерутся на тротуаре перед домом миссис Дюбоз. Мальчик помогает сестре подняться, и они идут домой. Осень, и двое детей торопятся в школу, скрываются за углом, потом возвращаются домой, и по их лицам видно, радостный у них был день или печальный. Они останавливаются перед виргинским дубом, и на лицах — восторг, изумление, испуг.

Зима, и его дети дрожат от холода у калитки — черные тени на фоне пылающего дома. Зима, и человек выходит на середину улицы, роняет очки и стреляет в собаку.

Снова лето, и он видит — у его детей разрывается сердце. Снова осень, и детям Страшилы нужна его помощь.

Аттикус прав. Однажды он сказал — человека по-настоящему узнаешь только тогда, когда влезешь в его шкуру и походишь в ней. Я только постояла под окном у Рэдли, но и это не так уж мало.

Мелкий-мелкий дождик, огни уличных фонарей расплылись и затуманились. Я иду домой и чувствую, что я очень старая, а потом я скашиваю глаза и гляжу на кончик своего носа — на нем сидят мелкие капельки дождя, а потом у меня начинает кружиться голова, и я скорей перестаю косить. Я иду домой и думаю: будет что рассказать завтра Джиму. Ох и разозлится же он, что все прозевал, наверно, целую неделю и говорить со мной не станет. Я иду домой и думаю: мы с Джимом будем еще расти, но нам мало чему осталось учиться, разве что алгебре.

Я взбежала на крыльцо и вошла в дом. Тетя Александра уже легла, и у Аттикуса тоже темно. Может быть, Джим уже приходит в себя? У постели Джима сидел Аттикус. Он читал какую-то книгу.

— А Джим еще не проснулся?

— Спит крепким сном. Он не проснется до утра.

— А-а. И ты будешь сидеть возле него?

— Посижу часок. Иди ложись, Глазастик. У тебя был трудный день.

— Я немножко посижу с тобой.

— Сделай одолжение,— сказал Аттикус.

Было, наверно, уже за полночь, удивительно, как это он легко согласился. Впрочем, он был догадливей меня: как только я села на пол, у меня начали слипаться глаза.

— Ты что читаешь? — спросила я.

Аттикус заглянул на обложку.

— Это книга Джима. Называется «Серое привидение».

Сон мигом соскочил с меня.

— А почему ты ее взял?

— Сам не знаю, дружок. Просто подвернулась под руку. Мне както не приходилось ничего такого читать,— обстоятельно ответил Аттикус.

— Почитай, пожалуйста, вслух. Она очень страшная.

— Незачем,— сказал Аттикус.— Пока что хватит с тебя страхов. Это слишком...

— Аттикус, так ведь я не испугалась.

Он поднял брови.

— Ну да, я испугалась, только когда стала про все рассказывать мистеру Тейту. И Джим не испугался. Спроси его, он сам тебе скажет. И потом, настоящее страшное бывает только в книгах.

Аттикус хотел что-то сказать, открыл рот и опять закрыл. Вернулся к первой странице. Я придвинулась поближе и положила голову ему на колени.

— Э-гм,— сказал Аттикус.— Сектейтери Хоукинс. «Серое привидение». Глава первая...

Я не велела себе спать, но дождь за окном шептал так мирно, а в комнате было так тепло, а голос Аттикуса гудел так тихо и коленка у него была такая удобная, и я уснула.

Кажется, прошла одна минута, не больше, и он носком башмака легонько подтолкнул меня в бок. Поднял меня, поставил на ноги и повел в мою комнату.

— Я все-все слышала,— пробормотала я.— И совсем я не спала... это про корабль, и про Трехпалого Фреда, и про этого мальчишку Стоунера...

Аттикус отстегнул лямки моего комбинезона, прислонил меня к себе и стащил с меня комбинезон. Одной рукой он придерживал меня, другой потянулся за моей пижамой

— Да-а, и они все думали, что это он переворачивает все вверх дном у них в клубе, и разливает чернила, и...

Он подвел меня к кровати и усадил. Поднял мои ноги и сунул под одеяло.

— И они хотели его поймать и никак не могли, потому что не знали, какой он, и знаешь, Аттикус, в конце концов они все поняли, и оказывается, он ничего этого не делал... Аттикус, а на самом деле он хороший...

Он укрыл меня до самого подбородка и подоткнул одеяло со всех сторон.

— Почти все люди хорошие, Глазастик, когда их в конце концов поймешь.

Он погасил свет и пошел к Джиму. Он будет сидеть там всю ночь, и он будет там утром, когда Джим проснется.

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

У меня теперь друзья повсюду

Перевод с болгарского и вступление ВЕРЫ ИНБЕР

Имя Елисаветы Багряны было мне известно давно. С ее сложным и интересным творчеством я познакомилась много лет назад. Но по-настоящему близкой болгарская поэтесса стала мне после того, как я сама перевела несколько ее стихотворений. Их образная система, строфика, вся их «строчечная суть» были для меня необычны и удивительно привлекательны.

В остроусложненный, остросовременный ритм стихов внезапно вплетается простая, трогательная народная мелодия, как бы негромко пропетая матерью Болгарией дочери своей Елисавете Багряне.

Поэтессе в высокой степени свойственно то, что можно назвать «чувством полета». А это, в свою очередь, опять-таки объясняется географическими особенностями разновысотной Болгарии.

Крылья, аэродромы, «птичья страсть летать, летать, летать», полеты в будущее — вот излюбленные темы поэтессы. Свое жилище в гористом пригороде Софии, «дом в Бояне», она сравнивает с птицей, распростершей кровлю-крылья над софийской равниной.

Из биографии Елисаветы Багряны мы узнаем, что она, уроженка Софии, с особой радостью вспоминает год, проведенный в Тырново, куда перевели по службе ее отца. Здесь, учась в гимназии, написала она первые свои стихи.

Тырново — удивительный город. Расположенный на высоких холмах, восходя от речного ложа как бы к самым облакам, он действительно весь проникнут тем «чувством полета», о котором было уже сказано...

Осенью 1962 года, входя в состав делегации наших поэтов, поехавших в Болгарию на праздник «День поэзии», я увидела Тырново и познакомилась с Елисаветой Багряной.

В свои семьдесят лет она сохранила нечто от молоденькой девушки, жившей в городе, где по узеньким, еще средневековым улицам дефилирует современность в образе пионеров с алыми флажками. Сдержанная, пружинящая сила отличает походку стройной Елисаветы Багряны. Размах ее бровей по-молодому крылат.

Она довольно свободно говорит по-русски, и ее легко понять. Легко она понимает и нас. Хорошо знает русскую классическую и советскую поэзию.

Будучи студенткой Софийского университета, Багряна часто встречалась с молодыми болгарскими писателями, ставшими теперь, как и она сама, гордостью родной

страны. «Мы встречались вечером,— вспоминает Багряна,— бродили по улицам и были как бы живыми говорящими антологиями, так много мы знали наизусть из поэзии всего земного шара».

Образ юной Елисаветы Багряны сопутствовал мне, когда я проходила вечером по улицам Софии. Но еще больше в памяти запечатлелись личные встречи с поэтессой, о которых я сохранила самые лучшие воспоминания.

Аэродромы

Не избыть тому, кто знал однажды
эту птичью страсть
летать,
летать,
летать.
Вот и я
(во сне и наяву)
утолить не в силах этой жажды.
Непреодолимо, неуклонно
все влекут меня
аэродромы,
эти гнезда птиц многомоторных,
ярко освещенные,
откуда
разлетаются они
по странам.
По незримым линиям воздушным
пролетают над землей усталой,
над ее просторами
земными,
улетают, снова прилетают.
Устремляясь
им вослед к зениту,
сколько юных глаз
следит за ними.

Много утекло воды
с той давней,
с беспокойной той весны,
когда я
ощутила — мир меня зовет.
В дальний мир,
безудержно влекущий,
в первый я отправилась полет.
Плыли подо мной аэродромы,
их чужие яркие огни
крылья
мне в полете
обжигали,
сердце
изболелось от любви.
У меня теперь друзья повсюду:
у экватора на берегу,
на архипелаге в океане,
и в пампасах,
на дорогах трудных,
и в суровом северном снегу.

Но когда,
уставши от полетов,
после продолжительной разлуки
приближаюсь я
к родному дому
и когда встаешь передо мной,
возникаешь
на софийском поле,
ты, аэродром,
гнездо родное,—
трепет в сердце
у меня глубок.
Мысленно
я голову склоняю
и целую каждую травинку
и листок.

Земля, внучка и я

Ты, моя милая крошка,
моя дорогая летунья,
ты, что сейчас
на весенней поляне
для меня собираешь цветы,—
быть может, со временем,
растроганно и удивленно
эти строки мои
прочитаешь.
Детство
припомнишь в Бояне
и скажешь:
когда бы могла она видеть
крыльев моих небывалый размах,
то создала бы поэму,
к которой всю жизнь
возвращалась в мечтах.

Ты, дитя,
вырастаешь
в чудесное время,
когда,
не осилив еще букваря,
ты увидела в небе
искусственный спутник.
И подобно тебе
я в рабочие будни,
с детской легкостью взявши
обычный
простой карандаш,
на листе написала
«Гагарин в ракете»
так уверенно,
как
стихотворные
строки вот эти.

Правда, сможешь ты
в жизни своей
полететь на другие миры,
где найдешь
ароматней цветы
и сочнее плоды,
чем у нас...
С Марса или Венеры
в необъятном спокойствии неба
наблюдать сможешь ты
восхожденье Земли
точно так же, как мы
у себя на Земле
прелесть
утренней видим звезды.

Не такие еще чудеса ты увидишь,
ну а я...
Мне, которой не так уже сладко
жилось
у себя на планете,
мне, которая знала
усталость, и скорбь, и печаль,
разлучиться с Землею
было бы жаль.
Мне близки
люди, братья мои, земляки.
Верю я,
что они нашу Землю
цветами и счастьем украсят.
Детский смех
зазвенит еще звонче
в просторах весенних полян.
И Земля
расцветет еще краше,
рождая счастливых землян.

ЯРОСЛАВ ГАШЕК

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

К 80-летию со дня рождения

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ФРАНТИШЕКОМ МАХУЛКОЙ, ПРАКТИКАНТОМ МАГИСТРАТА

Во избежание всяких недоразумений и ложных толкований заявляем с самого начала: если в этом рассказе и говорится о магистрате, то это ни в коем случае не касается магистрата королевской столицы Праги. Наоборот, все, что последует, случилось давным-давно и совсем в ином месте...

До той поры, когда произошли эти важные события, практикант магистрата Франтишек Махулка жил мирно и был доволен жизнью. От рождения человек тихий и скромный, он был старателен и почтителен к начальству, словом — образец хорошего чиновника. Он чтил любой авторитет — светский или духовный, был необычайно вежлив со своими коллегами, а главное, умел ценить свое место.

И неудивительно: Махулка с отличием окончил гимназию и поступил на юридический факультет. Два года он успешно изучал право, но потом понял, что за экзамены уплатить ему нечем и что по окончании он не сможет служить бесплатно несколько лет.

Тогда он расстался с юриспруденцией и перешел на философский факультет. Но, когда он заканчивал третий курс, в газетах появились многочисленные предупреждения, чтобы молодежь избегала заниматься философией, так как все забито и в ближайшие двадцать лет никаких вакансий не будет.

Франтишек Махулка оказался в тупике. Поскольку об изучении медицины не могло быть и речи, он думал уже, что ему остается только пойти в семинарию. Как вдруг в самый критический момент явилось спасение: некий колбасник, сына которого он репетировал за ужины, был избран в муниципальный совет старшин и выхлопотал бедняге место в магистрате.

Франтишек Махулка сделался писарем. Так как за его плечами были аттестат зрелости, два года юридического факультета, три года фило-

софского и экзамен по делопроизводству, он был зачислен в качестве «квалифицированного диурниста * с правом на повышение» и с поденной платой в одну крону.

Франтишек Махулка был счастлив. Частенько по утрам до работы он заходил в костел, благодарил господа бога и молился за своего благодетеля — муниципального старшину, колбасника и за весь славный магистрат, который его кормил.

В канцелярии, как уже сказано, он был одним из самых надежных работников: не ленился, не отзывался непочтительно о своем начальнике, не покупал себе еды и пива на второй завтрак (на это у него просто не хватало) и никогда не оставлял никаких «хвостов».

Сослуживцы считали его выскочкой и карьеристом, но начальство ценило его усердие и наваливало на него в три раза больше работы, чем на других.

Его добросовестность принесла, однако, плоды: через три года его поденную плату повысили на десять крейцеров, еще через три года — снова на десять и, наконец, после нового трехлетия — на двадцать галержей (тогда уже были введены галержи и кроны). Читатель, обладающий математическими способностями, легко подсчитает, что ежедневный заработок Махулки через девять лет равнялся одной кроне шестидесяти галержам, или сорока восьми кронам в месяц, что составляло в год пятьсот восемьдесят четыре кроны.

Франтишек Махулка был на седьмом небе. Он никому на свете не завидовал и считал себя маленьким Ротшильдом. Тем ревностнее молился он каждый вечер за своего благодетеля — муниципального старшину, колбасника, за господина бургомистра и за весь муниципальный совет. Он говорил себе, что теперь можно спокойно ждать — хотя бы это длилось еще лет десять — назначения практикантом.

Дело в том, что в магистрате, о котором мы повествуем, было точно установленное число практикантов и определенное число официалов **, которое ни в коем случае не могло быть увеличено. Никто не мог продвинуться выше, пока кто-нибудь из вышестоящих не умер или не ушел на пенсию. Эта мудрая система была придумана в давние времена, когда город был невелик, а делопроизводство несложно. С тех пор город разросся, делопроизводство неизмеримо усложнилось, но количество чиновников осталось прежним. Поэтому просто нанимали сверх штата поденных писарей, чье продвижение было практически невозможно.

Однако с течением времени всюду проникал прогресс, выдвигались новые лозунги, все организовывалось; организовались, наконец, и чиновники и писари. Членов муниципального совета засыпали петициями, они не успевали выбрасывать депутации за дверь. Противились долго, но в конце концов все-таки уступили и сказали: «Надо что-то сделать и для чиновников!» (Как раз приближались выборы.) И сделали. Рассудили мудро, что от писаря до практиканта, а от практиканта до официала — слишком резкий скачок, и человек, ошеломленный внезапным увеличением доходов, может потерять равновесие; поэтому ввели новую шкалу различных званий, которым отвечали соответствующие земные блага.

В результате Франтишек Махулка, который еще пять лет спокойно проживал свои ежедневные крону шестьдесят галержей, был назначен *аспирантом*. Теперь он был уже не простой писарь, а «ожидатель» места чиновника. Радость его была неописуема. Правда, такое повышение имело и теневую сторону, ибо аспирантское жалованье исчислялось в пятьсот крон ежегодно, и Махулка тем самым лишался восьмидесяти четырех

---

* Поденного писаря.

** Чиновников.

крон. Но он легко сбалансировал утрату тем, что три раза в неделю не завтракал и не ужинал.

Еще усерднее трудился он в канцелярии. Его неутомимое рвение не ускользнуло от внимания начальства и спустя пять лет было вознаграждено внеочередным повышением. Но, так как за это время никто из практикантов не продвинулся выше, не умер и не ушел на пенсию, Махулку не могли сделать действительным практикантом и наименовали *титулярным практикантом* с жалованьем аспиранта. Таким образом, его доходы остались прежними, но он должен был уплатить пятьдесят крон цензового сбора.

Получив приказ о назначении, Махулка чуть не сошел с ума и впервые не вышел на работу, так как целый день прикладывал к голове холодные компрессы.

Прошло семь лет, и титулярный практикант Франтишек Махулка по-прежнему трудился с неустанным рвением, приводимый в пример менее добросовестным коллегам. В конце седьмого года произошло выдающееся событие: старейший официал после шестидесятилетней службы ушел досрочно на пенсию, не пожелав выжидать еще десять лет, после которых он получал право на пенсию в размере полного оклада. В результате один из действительных практикантов стал официалом, что дало ему возможность жениться на своей невесте и узаконить своего внебрачного сына, который в том году как раз призывался в армию. А на освободившееся практикантское место был назначен наш Франтишек Махулка. Жалованье его, разумеется, не изменилось, но он должен был уплатить двести крон цензового сбора, которые ему милостиво разрешили вносить в рассрочку помесячно.

Столь частые и столь быстро следующие одно за другим повышения, видимо, укрепили нервы Махулки, так что на этот раз он уже не прикладывал к голове холодные компрессы; тем не менее радость его была безмерной. Теперь перед ним осталось всего пятьдесят девять практикантов, теперь-то уж он дождется желанного звания официала! Тем усерднее отдавался он работе.

Шли годы, и снова Франтишеку Махулке улыбнулась фортуна: за безупречную тридцатилетнюю службу он получил персональную прибавку в сто крон ежегодно, за которые в первом году заплатил только пятьдесят крон пошлины.

Когда прошли первые приступы безумной радости, он вообразил себя барином и завел новый распорядок. Следует признать, что действовал он при этом несколько легкомысленно, так как решил, что не будет, как до сих пор, ограничиваться в обед чашкой кофе с хлебом, а разрешит себе дважды в неделю вкушать в народной столовой обед с пирогом; сигару же, так называемую «длинную», которая раньше служила ему три дня, отныне он будет выкуривать всего за два дня.

В ту пору Франтишек Махулка регулярно раз в три года заказывал себе новые ботинки, а раз в четыре года — новый костюм. Он очень заботился о своей внешности, и это была его единственная слабость.

Его поставщиками были два старых солидных ремесленника: сапожник Венделин Брдичка и портной Матиаш Цафоурек.

Каждый новый заказ становился для Махулки настоящим событием: ведь эти два человека от него зависели, они должны были первыми здороваться с ним и говорить ему: «Ваша милость» и «Чего изволите».

И Махулка не упускал возможности напомнить обоим, что он дает им заработок, что может им приказывать, словом — что он заказчик и с ним нужно считаться. Всякий раз, когда с него снимали мерку для ботинок или для костюма, он очень важничал и говорил свысока:

— Послушайте, вы... чтоб они мне не скрипели... а то знаете, что вы натворили в прошлый раз?

Когда же почтенные мастера сдавали ему свое изделие, он не мог удержаться — даже если заказ был выполнен самым тщательным образом,— чтобы не сказать:

— Ай-ай, уважаемый... Разве это ботинок? Да это же опорок!.. Да вы отродясь и колодки-то порядочной не видели! В следующий раз я такую дрянь не приму, носите сами! (То была точная копия тона и выражения его начальника, советника Пишкота.)

Таково было единственное удовольствие Махулки — хоть минутку да почувствовать себя барином,— удовольствие, которое он всегда заранее предвкушал и долго потом вспоминал.

Так проходили годы, без изменений — медленно и монотонно; время от времени Махулка заказывал ботинки или костюм, неизменно повторяя приведенный выше монолог, как вдруг в один прекрасный день...

Да, в один прекрасный день происходили выборы в муниципальный совет. Огромные кричащие плакаты на углах улиц, бурные предвыборные собрания, соглашения муниципальной клики с оппозицией ремесленников... и из избирательной урны вынырнули игрою случая новоиспеченные члены муниципального совета: сапожник Венделин Брдичка и портной Матиаш Цафоурек, поставщики практиканта магистрата Франтишека Махулки.

Махулка, никогда не интересовавшийся политикой, узнал об этом утром в табачной лавке, покупая свою неизменную «длинную», которая должна была служить ему два дня, и наспех просматривая, как обычно, ведомственный листок.

Сначала эта новость не очень поразила его — впереди был рабочий день, и Махулке некогда было заниматься легкомысленными размышлениями, которые могли отвлечь его от работы и тем нанести ущерб магистрату. В дневной суете он даже забыл о ней, и только после ужина, когда уже собирался лечь, новость эта вдруг всплыла в его сознании. Махулка как раз разувался и, грустно разглядывая стоптанные, потрескавшиеся ботинки, думал, что пора заказывать новые. Тут-то до него впервые и дошел смысл этого события. В голове мелькнула тревожная мысль: как я могу заказывать ботинки у Брдички, если он теперь муниципальный советник, мой кормилец? Что делать? И как быть с одеждой? Брюки внизу обтрепались, на зад нужно положить заплату. Как я могу прийти за этим к Цафоуреку, если он со вчерашнего дня городской старшина и мое непосредственное начальство?

Его начало трясти, как в лихорадке, и он, ошеломленный неслыханным оборотом дел, решил отложить размышления до завтра. Но долго не мог он уснуть в эту ночь, и временами мороз подирал его по коже.

Когда утром Махулка обувался, тяжелые мысли начали одолевать его с новой силой. Он страшился будущего и чувствовал себя беспомощным.

В канцелярии он не раз впадал в задумчивость, посадил кляксу на важный документ и испортил гербовый бланк ценою в 0,7 галержа, что побудило господина советника деликатно упрекнуть его:

— Черт подери, Махулка, нужно быть внимательнее! Этак вы пустите по миру весь магистрат!

Это окончательно выбило его из колеи. Об обеде Махулка уж и не думал, мысли его неизменно блуждали по заколдованному кругу: «Господи, что делать? Попробуй отдать башмаки в починку муниципальному советнику! Не сочтет ли он это смертельным оскорблением со стороны жалкого практиканта? И как, ради всего святого, я должен теперь к нему обращаться?»

Он начал мысленно комбинировать всевозможные титулы, и от этого еще больше запутывался:

«Глубокоуважаемый господин советник, не будете ли вы так любезны поставить мне заплатку на ботинок?»

«Ваше благородие, господин советник, позволю себе наипокорнейше просить, не затруднит ли вас залатать мне брюки на заднице?»

«Многоуважаемый господин советник, позволю себя тешить надеждой, что вы с обычным благожелательством изволите починить мои смиренные ботинки!»

Будет ли это достаточно почтительно? Не вышвырнет ли он меня за дверь? А вдруг я, не дай боже, забудусь, да и ляпну муниципальному советнику, как раньше: «Послушайте, вы...» или «Эй, шут гороховый!»

С ума сойти! А если пойти к другим? Но ведь никто не возьмется шить мне ботинки и костюм в рассрочку, по кроне в месяц! Не говоря уже о заплатах и подметках! А еще, того и гляди, господин муниципальный советник и господин муниципальный старшина обидятся, что я перестал у них заказывать, а это хуже всего!

Отныне мрачные мысли не покидали несчастного Франтишека Махулку. Им овладела меланхолия. Как навязчивая идея, днем и ночью его преследовал образ заплатанных ботинок и брюк.

Время шло, но состояние Махулки не улучшалось. Наоборот, он все глубже погружался в задумчивость. Куда девались его прилежание и внимательность, которые всегда приводились в пример остальным? Уставившись в пространство, он тратил время на долгие размышления, сажал кляксы на важные бумаги и портил дорогие бланки.

Одновременно и вид его становился все неряшливее. Поскольку он все еще не решил, как быть, его единственный костюм пришел в полную ветхость, ботинки совсем развалились, и он ходил уже на собственных подошвах, брюки протерлись, а на локтях зияли дыры, которые он безуспешно пытался прикрыть цветными лоскутками.

В конце концов это заставило шефа, господина советника Пишкота, вызвать Махулку к себе и серьезно поговорить с ним:

— Послушайте, Махулка, что с вами, собственно, происходит? Ничего не понимаю, всегда вы были таким примерным чиновником!.. Я уж не говорю о вашей работе — она сейчас и гроша ломаного не стоит,— но посмотрите на себя — на кого вы стали похожи! Просто ужас берет: вылитый атаман разбойничьей шайки после разгрома! Куда вы деньги-то деваете, коли даже одеться прилично не можете? Холостой человек, и с таким-то жалованьем! Или какую-нибудь балеринку содержите?

Но Франтишек Махулка вместо ответа залился истерическим плачем.

Пораженный господин советник после этого вызвал к себе старшего официала, который приглядывал за всем персоналом канцелярии, и поделился с ним своими сомнениями:

— Не кажется ли вам, что Махулка чертовски сдал? Попробовал я сейчас отечески пожурить его, так он возьми да разревись, словно какая-нибудь меланхолическая девица! Не иначе — он алкоголик, скорее всего потихоньку пьет. Придется отправить его на пенсию!

— Осмелюсь напомнить, господин советник,— сказал старший официал,— он служит всего тридцать лет и не имеет еще права на пенсию.

— Тем лучше, по крайней мере сэкономим на нем,— сказал господин советник и милостиво отпустил официала.

Но случилось все иначе...

В тот же день в ратуше происходило важное заседание муниципального совета, на котором, помимо иных вопросов, разбиралось предложение о создании особого учреждения для художественного воспитания на-

рода. Среди прочих ораторов слова попросил новоиспеченный советник сапожник Брдичка, который так начал свою девственную речь:

— Господа, я никакой там не оратор, я — честный ремесленник, и я не буду выдумывать всякие там цветистые выражения — я по-простецки ляпну, как думаю (Превосходно!)... Так я вот думаю, господа, что как... это... жили мы без этих новшеств (Превосходно!)... и наши отцы без них прожили (Превосходно!)... так и наши дети без них отлично проживут (Превосходно!)... А долгов у нас и без того полная... а чего полная, говорить неудобно (Бурное одобрение)... Вот я и думаю, к чему еще выбрасывать деньги...

Вдруг в напряженной тишине с переполненной галереи раздался громкий выкрик, который сразу погасил красноречие господина советника:

— Эй вы, шут гороховый, разве это ботинок! Да вы отродясь и колодки-то порядочной не видели! В башку вам его только запустить!

И какой-то человек швырнул изношенный башмак вниз, прямо в оцепеневшего оратора, и стал рвать на себе одежду. Это был несчастный практикант магистрата Франтишек Махулка, который сошел с ума.

Заседание было прервано. Беднягу вывели и вскоре отвезли в сумасшедший дом, откуда он больше не вернулся.

И живет там Франтишек Махулка за счет муниципальной казны, которой все-таки не удалось на нем сэкономить, как надеялся господин советник Пишкот.

Это — тихий, безобидный сумасшедший, который низко кланяется всем встречным и твердит просительным тоном:

— Ваша милость, глубокоуважаемый господин советник, позволю себе наипочтительнейше просить вас, если это вас не затруднит, залатать мне смиренную задницу на брюках...

РАССКАЗ О ДОБЛЕСТНОМ ШВЕДСКОМ СОЛДАТЕ

Было двадцать пять градусов мороза. Солдат стоял на посту и замерзал, но он не сетовал, потому что был доблестным солдатом, который знает, что величайшее блаженство для солдата — умереть за своего государя, а солдат чувствовал, что до этого блаженства уже не так далеко. Одно его тревожило — так, самую малость,— что солдату не положено рисковать здоровьем, а он понимал, что, если не замерзнет окончательно, то здоровье у него будет неважное. И задумался он, что же теперь ему делать: ждать ли того блаженнейшего и прекраснейшего, что может с солдатом случиться, или попробовать чуть разогреться, чтобы хоть жизнь спасти — нос и уши он уже спасти не мог.

Наш солдат был доблестным солдатом, поэтому раздумывал недолго. Он знал, что калеки государству ни к чему, знал также, что старый забор, у которого он стоит, не может обойтись без его почетной охраны, поэтому решил погреться, но лишь настолько, чтобы дожить до смены караула, а там он замерзнет с блаженным сознанием, что выполнил свой долг, а именно: 1) укараулил старый забор, 2) положил свою жизнь за короля Оскара, 3) избавил государство от излишней заботы о своем изувеченном теле.

Когда солдат принял это решение, ноги у него были будто свинцовые, но он все же, правда, с трудом, начал ими притопывать, чтобы протянуть еще немного.

Хотя вскоре и должно было наступить прекраснейшее в его жизни мгновение, на солдата вдруг напала невыразимая тоска. Вспомнил он о своем офицере, и нежные чувства пробудились в его мужественной груди. Никогда больше не увидит он это вдохновенное лицо, этот кроткий взгляд, этот ротик, который умел так ласково произносить: «Дорогуша, сладушечка, золотце, ты немного выдвинулся из строя, подравняйся чуточку, только смотри не переутомись, душенька!»

Ах, добрый, золотой, милый господин офицер! Как печально сидит он сейчас где-нибудь за стаканом вина, глаза опущены, а целомудренные уста сомкнуты... И добрый солдат загрустил, так как понял, что не достоин вкусить радость смерти, когда в королевских полках столько заслуженных, добродетельных офицеров, которые уже долгие годы жаждут этого почетного блаженства.

Доблестный солдат любил начальство, он отдал бы за него свою жизнь и счастье, имущество отца, здоровье матери, честь сестры и крепкие руки и ноги брата. Доблестный солдат был человеком добрым, он с радостью отказался бы от смерти в пользу своего офицера, если бы тот пожелал этого, но господина офицера тут не было, поэтому волей-неволей пришлось солдату испить из чаши блаженства, которую поднесла ему шведская королевская армия.

Солдат уже не топал ногами. Теперь он стоял, привалившись к забору, и только старался прогнать дремоту, которая так неожиданно на него напала. Его обуял страх, что он может уснуть. Он, любивший начальство и свои обязанности, знал, как стыдно солдату храпеть на посту. И опять он подумал о своем офицере, о том, как будет тот опечален, когда узнает завтра, что часовой, найденный накануне замерзшим у старого забора, охранять который он был поставлен, перед смертью, несомненно, уснул, то есть нарушил свой воинский долг.

А сон одолевал все сильнее, и всякое сопротивление было напрасным. Солдат пришел в отчаяние. Он, доблестный солдат, и вдруг не выполнит своей задачи, к тому же последней — единственной службы, какую он мог еще сослужить Швеции, да еще как раз накануне великого мгновения, когда он, в ледяных объятиях смерти, должен был получить высшую награду, о какой только может мечтать верноподданный.

Веки у него смыкались, члены одеревенели, и он совсем уже отчаялся, как вдруг у него мелькнула спасительная мысль: надо причинить себе страшную боль, такую, чтоб не дала заснуть. Солдат был человеком энергичным. С трудом поднял он руку и дотронулся до уха. Ухо отвалилось. Солдат тихонько вскрикнул, но обрадовался — думал, что теперь-то уж не заснет. Взглянув случайно на руку, он увидел, что кроме уха он потерял еще три пальца. Но это не имело никакого значения. Что такое какие-то три пальца, когда служишь королю Оскару!

Однако радость доблестного шведского подданного была недолгой. Веки его снова начали смыкаться. К счастью, в свое время у него было два уха. Он оторвал второе — могла ли повредить ему сейчас такая пустяковая операция!

Впрочем, ему казалось, что ожидание тянется уже достаточно долго, и вот-вот его должны сменить. Что ж, эти несколько минут он как-нибудь продержится, а там... при мысли о том, что его ждет, он вздумал подпрыгнуть от радости, но ничего не получилось, он только как-то странно качнулся, а рука, на которой не хватало трех пальцев, стукнулась о забор — счастье, что забор при этом не пострадал, а то, что у солдата отвалилась рука, было еще не так страшно.

Солдат все стоял у забора. И казалось ему, что вовсе не так уж холодно. У его ног валялись уши, нос, рука — добрый человек смотрел на них с презрением. Отдать за короля руки-ноги тоже, правда, приятно, но что это в сравнении с сознанием того, что за него можно замерзнуть! По сравнению с такой радостью та, первая, ничего не стоит, он это хорошо понимал, более того, ему даже думалось теперь, что погибнуть в снегу, может быть, лучше, чем погибнуть в бою, потому что это сильнее чувствуешь.

Он начал засыпать, но еще раз взбодрился, сообразив, что, когда он упадет, то может, чего доброго, повредить винтовку. Не дай бог, чтобы он, честный человек, причинил Швеции какой-нибудь ущерб, ввел в новые расходы, как будто мало денег потратила на него казна за те несколько месяцев, что он в армии... И солдат осторожно, с огромным трудом, напрягая все силы, отставил винтовку. Он понимал, что тем самым наносит урон своей воинской чести, потому что отставить винтовку на посту — это проступок и свинство. Но ввести в расход государство — еще хуже.

Конец приближался, близились уже и шаги смены, только солдат ничего больше не видел. Он как раз вкушал высшую радость, которую омрачала одна только мысль — что он должен был, пока еще мог двигаться, написать на снегу: «За бога, отечество и короля!»

Перевод с чешского С. ВОСТОКОВОЙ

«Удивительное происшествие с Франтишеком Махулкой, практикантом магистрата» было напечатано в журнале «Карикатуры» (1909); «Рассказ о доблестном шведском солдате» — в журнале «Нова Омладина» (1907).

И. АНИСИМОВ

АКТУАЛЬНОСТЬ ГУМАНИЗМА

1

Литература всегда обращена к человеку, и проблемы гуманизма — ее насущные проблемы.

Всемирная литература нашего времени резко неоднородна в понимании человека и оценке его возможностей. Критерий гуманизма приобретает особую остроту и особое значение. В свете гуманизма наглядно обозначаются противоположные линии современного развития литературы в двух мировых системах нашего времени.

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла с собою новое понимание гуманизма, сделав его программой реальных действий и разоблачив ту ложь, которой буржуазная мысль эпохи капиталистического упадка старалась окружить все понятия гуманизма.

Вот почему творчество великих писателей XX века так часто приобретает характер глубочайшей переоценки ценностей.

Манифест группы «Кларте», который, как мы теперь знаем, был послан Ленину и хранится в его библиотеке с надписью: «Ленину, который первый написал не написанные великие законы, горячее уважение. Анри Барбюс»,— был самой ранней попыткой западной интеллигенции сформулировать программу революционного гуманизма.

Путь Генриха Манна, Шоу, Драйзера показывает нам, как сложен был и какое всеобъемлющее значение имел процесс разоблачения лжи буржуазной мысли. Преодолевая трудные препятствия, великие западные писатели послеоктябрьской эпохи находили правильный путь.

Горькому удалось полнее других выразить новое понимание гуманизма. Его выступления, посвященные проблемам гуманизма, и определения, которые им даны, являются нашей могучей традицией и нашим оружием.

Советская литература, с самых ее истоков, является литературой революционного гуманизма, и в своих прозорливых обобщениях Горький всегда опирался на ее стремительно разрастающийся опыт.

Поиски подлинного гуманизма, которыми была охвачена передовая литература в буржуазном мире, окружавшем тогда советскую страну со всех сторон, были выражением потребности нового решения основных проблем творчества. Необходимость выбора остро ощущают в послеоктябрьскую эпоху передовые «мастера культуры» старого мира.

То, что с такой потрясающей силой выражено в ролландовском «Прощанье с прошлым», переживали многие честные писатели Запада. И многим из них удалось принять мужественное решение и сделать выбор, решивший их дальнейшую судьбу.

Вокруг социалистической революции происходит непрестанное сосредоточение передовых сил всемирной литературы. Но очень часто художникам мешали сделать выбор колебания, поиски компромисса, недостаток решимости порвать с прошлым.

Здесь можно было бы привести примеры, которые еще и сегодня сохраняют свою актуальность.

Хороший английский писатель Ричард Олдингтон начинает поиски нового решения еще в двадцатых годах своим великолепным романом «Смерть героя», но потом, как бы испугавшись самого себя, отступает и только в пятидесятых годах понимает, что это было роковое отступление, стеснившее поток его творчества.

Проблема выбора является жизненно важной и сегодня. Можно сказать, что это

самая жгучая проблема всемирной литературы нашего времени.

Крупнейший современный писатель Англии Чарльз Сноу ведет в наши дни большую борьбу за то, чтобы достижения советской литературы шире воспринимались передовыми писателями западного мира. Сноу не только автор романов, но и публицист, а также очень популярный в Англии и Соединенных Штатах лектор. За последнее время в его выступлениях все увереннее и все громче звучит мотив ответственности писателя и ученого за судьбы человечества (Сноу до того, как он начал писать романы, играл крупную роль в английской науке — он физик), ответственности за будущее человечества. Сноу призывает к выполнению писательского и исследовательского долга.

Это — глубоко прогрессивные по своему духу выступления, пронизанные подлинным гуманизмом.

Очень характерны эстетические взгляды Сноу: он яростный противник модернистской моды и сторонник и продолжатель реалистических традиций, что вызывает недовольство критиков, считающих себя ультрасовременными, как Ангус Уилсон и другие.

Позиция Чарльза Сноу, широта его концепций, смелость и энергия, с какими он их отстаивает, представляют необычайно интересное и характерное явление современной всемирной литературы, показывающее, какие сложные процессы в ней происходят.

Конечно, проблема выбора в современном ее значении может принять и совершенно другие очертания. Если оставаться в области английской литературы, то очень о многом может сказать творчество широко известного у нас писателя Грэхема Грина в последние годы.

Грин — замкнутый в своем внутреннем мире художник, он решает проблему выбора, зарекшись соприкасаться с политикой, то есть оставаясь во власти одной из самых распространенных иллюзий, которыми связывает писателей и ученых буржуазный мир. И все же, как об этом убедительно свидетельствуют его романы, написанные в недавние годы (один из них даже называется «Ценою потери»), Грин прорывается сквозь все противоречия и вызванные его предубежденностью колебания к более активному и целостному пониманию гуманизма.

Существуют разнообразные формы современного гуманизма, которые противостоят его революционному пониманию. Я позволю себе привести несколько примеров из французской литературы и начну с Сартра.

Этому очень известному писателю и философу принадлежит такая концепция гуманизма, с которой мы можем только спорить. Обращаясь к его книге «Экзистенциализм это и есть гуманизм», недавно выпущенной новым изданием (Les Editions Naqel, 1960), мы должны констатировать, что очень колеблющаяся, очень неровная линия оценок, которую можно найти здесь и в других произведениях Сартра, складывается в систему взглядов, которая для нас неприемлема.

Горький часто пользовался выражением «активный гуманизм», в которое он вкладывал очень большой смысл и прежде всего тот смысл, что гуманизм не может быть подлинным, если он не связан с активным отвращением ко всякому страданию, особенно же к страданию, вызванному социально-экономическими причинами.

Помня это, мы особенно ясно чувствуем, что сартровский гуманизм (а в книге его постоянно встречаются такие понятия, посредством которых определяется духовный мир человека, как «angoisse», что значит тоска, тревога, как «delaissement», что значит беспомощность, заброшенность) не совместим с тем пониманием гуманизма, которого держимся мы и которое равносильно понятию человеческого достоинства.

Охваченный тревогой, постоянно чувствующий себя заброшенным, человек Сартра — гуманист только в том смысле, что он знает о существовании множества ему подобных, но ни себе самому, ни им он ничем помочь не может. Это гуманизм всеобщего страдания, и Сартр напрасно упрекает марксистов в догматизме на том основании, что они возражают против подобной концепции.

Интересно, что творчество молодых французских писателей Бютора, Роб-Грийе, Клода Симона, составляющих школу то ли «нового романа», то ли «антиромана», в последнее время начинает также связываться с каким-то особым пониманием гуманизма. Не углубляясь в этот вопрос, можно сказать, что это понимание близко подходит к экзистенциалистскому, сартровскому. Во вся-

ком случае, те формулы «дегуманизации», «обесчеловечения», которые ранее названные авторы охотно принимали, как будто начинают перемещаться в план крайне мизерабельного «гуманизма».

Летом 1961 года очень авторитетное собрание историков французской литературы обсуждало проблемы современного романа, и если подвести самый краткий итог этого достаточно квалифицированного обсуждения, то нельзя не прийти к выводу, что школа «нового романа» весьма далека от подлинного гуманизма, как далека и от великой исторической традиции французского романа. Эта школа, утверждающая господство вещей над людьми, не имеет перспектив.

Один из участников обсуждения считает самым характерным в происходящем сдвиге переход от «психологии сердца», которая с такой глубиной раскрывалась во французском романе прошлого, к «психологии поверхности», изучению которой предаются Роб-Грийе и его коллеги. Стараясь сохранить объективность, ученый пытается обнаружить хоть что-нибудь значительное в этом бесплодии «психологической поверхности», но это ему, конечно, не удается.

В таком же положении оказались и другие исследователи новейшего французского романа.

Стали как-то необычайно наглядными опустошенность этого течения, враждебность его человеку. То, чем так гордится, например, Роб-Грийе,—это понятие «nettoyage», то есть «очистка» (имеется в виду очистка любого называемого писателем понятия или предмета от какой бы то ни было эмоциональной или идейной окраски). В этой мертвой, дистиллированной тишине, конечно, не может быть места подлинной жизни, пафосу, не может быть места гуманизму.

Роб-Грийе однажды сказал, что «писатель — это тот человек, которому нечего сказать». И это вовсе не парадокс, это действительно формула эстетики этой школы, которой в общем-то нечего сказать.

Программным произведением этого направления является фильм «Прошлым летом в Мариенбаде», который поставлен по сценарию Роб-Грийе очень известным режиссером Аленом Рене, автором фильма «Хиросима — любовь моя». Это — произведение из которого изгнаны жизнь, правда, смысл, какое-либо волнение; он длится полтора часа, и это полтора часа роскошно обставленной смерти, унылой бессмысленности, пышной пустоты. Действительно, тут нечего сказать.

Можно только пожалеть о том, что Ален Рене, обещающий художник, так далек от путей подлинного гуманизма, от выбора, который мог бы иначе решить всю его судьбу, что он так запутался в обманах фальшивой эстетики. Его фильм — это поражение таланта.

Возвращаясь к состоявшемуся в Париже обсуждению проблем «нового романа», нельзя не привести здесь тот выпад против нас, который счел возможным сделать Мишель Бютор, выступавший с первым докладом.

«Что касается социалистического реализма,— заявил Бютор,— можно сказать, что он остается простым совмещением движения толпы и индивидуальных приключений без того, чтобы между ними устанавливалась подлинная связь... Его стремление раскрыть активность определенной группы людей не идет дальше того, чтобы показать пассивные массы, с одной стороны, и индивидуальное приключение — с другой, однако лишенное всякого подлинного своеобразия и связи с той средой, в которой оно развертывается... Романист социалистического реализма, несмотря на все свои добрые намерения, оказывается индивидуальностью, затерянной в чуждой ему толпе...»

Таким образом, нам бросают упрек в том, что мы не способны понять единство индивидуального и общего, что наши герои и «масса», как выражается Бютор, разделены непреодолимой преградой.

Если ничего другого не может придумать такой, судя по его докладу, широко образованный писатель, то это может означать либо предвзятость, ослепляющую человека, либо то, что Бютор взялся говорить о романах, которые он никогда в глаза не видел.

Во всяком случае, теоретику школы «нового романа», или «антиромана», потерявшему человека в сутолоке современного города и даже гордящемуся этим, учить нас пониманию человека как будто бы не пристало.

3

Со стороны некоторых, весьма дружественно относящихся к Советскому Союзу писателей Запада раздаются призывы к тому, что надо обеспечить «единство культуры».

Совсем недавно мы перепечатали из итальянского журнала «Ринашита» статью

Сартра «Холодная война и единство культуры» *, где сказано много лестного по адресу марксизма, с которым автор так часто спорит. Вот что он пишет: «Марксистская идеология, единственно отвечающая нашему времени, нынешнему ходу истории, ...проявляет тенденцию занимать оборонительные позиции».

Чем активнее будут позиции прогрессивной мысли в развернувшейся идеологической схватке двух миров, тем лучше, и, казалось бы, можно было принять упрек Сартра, высказанный в весьма дружественной форме. Но оказывается, что под «наступлением» Сартр понимает не что иное, как ассимиляцию продуктов буржуазного распада, против чего, конечно, можно только возражать. Он дает такой совет: Кафка и фрейдизм должны получить «истинное истолкование» со стороны марксизма, а затем включены в его сферу. Отсутствие этих ингредиентов нарушает, по его мнению, соответствие марксизма современным требованиям, препятствует тому, чтобы осуществлялось необходимое «единство культуры».

Что касается «истинного истолкования» Кафки, фрейдизма и других подобных явлений, то мы обязаны его дать, и если неубедительно то, что до сих пор в этом направлении было сделано, то эту задачу следует выполнить лучше. Но именно «истинное истолкование» Кафки и фрейдизма ведет с неизбежностью к тому, что мы отказываемся от подобного идеологического питания, и та всеядность, к которой приглашает нас Сартр под предлогом сохранения «единства культуры», совершенно неприемлема.

Единство культуры в нашем понимании есть единство ее демократических и социалистических элементов. Вокруг этого центрального ядра только и может быть осуществлено сосредоточение всего живого, ценного и значительного в современной культуре.

Необходима настойчивая и последовательная борьба с иллюзиями идеологического сосуществования, которую питают многие близкие нам деятели культуры в капиталистическом мире. Эти заблуждения встречаются и в лагере социализма, встречаются они и в советской научной и литературной среде.

Непосредственно связаны с проблемой двух культур явления формализма и наимоднейшего его ответвления в области живописи, которое именуется абстракционизмом. Здесь тоже можно было бы привести немало советов вроде сартровского, советов, исходящих от людей, которые порой занимают видное место в современном искусстве.

Та непримиримость, с которой мы относимся к модернистским явлениям в современном искусстве, та острота, с которой мы ставим вопросы реализма, не опасаясь того, что это будет угрожать «единству культуры», объясняются отнюдь не тем, что мы отстаем по части вкуса, как склонны говорить наши противники.

Это большой спор идеологий. И борьба против формалистско-модернистских тенденций, в известной мере получивших отклик и в искусстве социалистического мира, имеет огромное принципиальное значение. Не случайно эти вопросы получили в советской стране подлинно всенародный резонанс, вызвали живой отклик повсюду.

4

О том, что «свободный мир» это только вывеска,— знают все. Но за этой вывеской очень следят и постоянно ее обновляют. Под вывеской «свободного мира» сколачиваются международные сообщества, созываются конгрессы, собираются семинары и симпозиумы. Одним из таких «мероприятий» был международный семинар, проведенный в 1960 году Раймоном Ароном в Западном Берлине с участием четырех десятков историков, философов, экономистов и политических деятелей западного мира. Материалы семинара составили книгу «Демократия в испытании XX века».

Нельзя отказать участникам семинара ни в эрудиции и образованности, ни в умении излагать свои мысли. Но почему же этот пухлый том материалов производит впечатление такой бесполезности, такого риторического шума из ничего?

Состав семинара сплошь реакционный. Ни одна подлинно смелая мысль не могла возникнуть в этом заповеднике косности. Дискуссии, которые нередко были весьма возбужденными, неизменно заходили в тупик, поскольку они всегда оставались в заколдованном кругу абстракций и самых

* См. «Иностранную литературу» № 1 за 1963 год.

нелепых иллюзий. Тема, вокруг которой вращались дискуссии, все более пугает этих людей: это тема двух миров.

От тома материалов семинара остается впечатление глубочайшего идейного разброда, которым охвачена современная буржуазная мысль. Сознание собственного духовного бессилия, подтачивающее апологетов современного капитализма, делает их неспособными наметить какой-то выход из создавшегося положения. Отсюда унылые, бесконечные рассуждения о «демократии и героическом лидерстве», о «значении интеллигенции и военных в современном государстве», о «демократиях Европы и космополитизме».

В книге не сказано, сколько времени длился этот бесплодный семинар, но он мог бы длиться бесконечно, как любое переливание из пустого в порожнее. И все же очень характерно, что эта попытка покрыть новым лаком вывеску «свободного мира», независимо от воли Раймона Арона и участников его семинара, превратилась в демонстрацию очень печального свойства. Приходится признать, что дела капитализма не блестящи и можно подискутировать о том, о сем, но выхода нет и надежд тоже нет, как ни злобствуй, ни горячись, ни подбадривай себя несбыточными иллюзиями.

Достаточно прочесть выступление профессора философии нью-йоркского университета Сиднея Хука, которым заканчивается весь том, чтобы была ясна тональность этого семинара. Отвечая тем, кто приглашал настроиться на более оптимистический лад, в частности Джорджу Кеннану, Хук сказал следующее:

«Я не согласен с доктором Кеннаном, который говорит, что единственно, чего мы должны бояться, это самих себя... Если бы мы ничего не боялись, мы были бы сумасшедшими или мертвецами. Есть разница между страхом сознательным и страхом истерическим, и единственно существенным из того, что я заметил в Европе, был страх перед альтернативой. Может быть, европейцы и забывают об этом иногда, но как забыть тем, кто живет в Берлине, какова эта альтернатива? В свете сознательного страха перед будущим мы должны спросить самих себя: каков же должен быть новый шаг к тем идеалам, которые мы все разделяем, ибо наши общие идеалы недостижимы?»

Это выступление в защиту «сознательного страха», который является важнейшим элементом современной буржуазной мысли перед лицом современной исторической «альтернативы», весьма многозначительно и говорит само за себя.

И это уже не смятение Кафки, выраженное с такой мучительной талантливостью и поднимавшееся из раздавленных капитализмом социальных слоев, а холодный ужас господ современного капиталистического мира, проступающий сквозь оболочку внешней респектабельности.

5

В октябре прошлого года в Базеле состоялся традиционный «Юбилейный день банкиров». Знаменитый философ-экзистенциалист Карл Ясперс был главным докладчиком на этом собрании. Стоит ознакомиться с его докладом на тему «Свобода и судьба хозяйства».

Ясперс выступал перед весьма специфической аудиторией с рассуждениями, которые едва ли могли ее обнадежить. Главной особенностью текущего момента он считает не только «исчезновение ценности денег», но и исчезновение всякой стабильности. Пытаясь объяснить причину этой всеобщей утраты устойчивости, он видит корень зла в существовании нового мира, противостоящего капиталистической системе.

Он формулирует это положение берлинского собрания с ужимками, пытаясь бросить тень на то, что он называет «коммунистическим марксизмом», но вынужден говорить о том, что капиталистическая система подорвана в самом основании и положение банкиров, как и других господ капиталистического мира, является необычайно сложным.

Философ ищет способов облегчить это состояние крайней угрожаемости и видит выход в том, что называет «спасением через примат политики». На языке Ясперса это означает, что банкиры должны поступаться своей «индивидуальной свободой» во имя государства или всякой организации, ставящей своей целью укрепление капиталистической системы. «Свобода через связь» — вот рецепт Ясперса, в котором едва ли есть какой-либо смысл.

Заключительную тираду этой философской речи мне хотелось бы привести: «Самоутверждение только тогда становится достоверностью, когда мы действительно достигаем собственной свободы. Внутреннее возвращение, которое отдельный человек постоянно совершает, является экзистен-

циальной основой политической свободы. Без этого она — карточный домик. Следует думать, что опасность извне, угроза гибели должны побудить нашу свободу к действию. Мы не должны утонуть в болоте, которое образуется, если злоупотребляют свободой. Не осознав того, что волны тоталитарного уже подступают к нашему горлу, мы изнеможем от лености сердца, от банальных ничтожностей, от половинчатости, от самообмана романтическим волшебством, от фальшивости так называемого счастья. Но философ не может быть пророком. Он должен довольствоваться малым. Думать об этом просто и легко, но тяжко, и сопряжено с безграничным терпением то, чего требует от нас действительность».

Это последнее слово весьма известного современного философа, позволившего себе быть столь откровенным, содержит много общего с выводами раймон-ароновского семинара.

Пессимизм этих выводов надо понять в его подлинном значении. Это пессимизм мира, который потрясен сознанием своего бессилия изменить неблагоприятную для него «мировую ситуацию». Это коварный, непримиримо враждебный, делающий свою последнюю ставку мир.

Можно представить себе, как трудно положение передовой мысли в условиях этого мира, и надлежит очень внимательно следить за борьбой всего честного, передового, смело бросающегося в схватку. Это новое неудержимо прокладывает себе путь.

6

Господа, рассуждающие о «свободе культуры» в Западном Берлине и в Базеле, несомненно, считают, что их убеждения гуманны, что они собираются на свои совещания для того, чтобы защитить человеческую культуру. Но именно эти озлобленные «гуманисты» являются угрозой человеческой культуре. Их взгляды и стремления глубоко реакционны и служат целям, враждебным человеку и человечеству.

О том, что же, собственно, стоит за высокопарными рассуждениями о «Homo Europens», можно судить, обратившись к свидетельствам литературы.

Вот несколько примеров самого недавнего времени, взятых из различных современных западных литератур.

Последний роман Ремарка «Ночь в Лиссабоне» не является значительным художественным достижением. В нем предстают еще в одном сочетании давно сложившиеся мотивы. Снова перед нами люди в тупике, люди, утратившие надежды и лишенные будущего. Автор настойчив в раскрытии иллюзорности, зыбкости всего, с чем он знакомит своего читателя. И как двоится и даже троится его эмигрант Шварц, чья судьба составляет основу повествования, так и все, совершающееся в романе, как бы находится на грани дурного сна. В этом романе люди таковы, что следует говорить даже не о расщеплении, а о каком-то растворении личности, превращении ее в какую-то человеческую муть.

Изображая глухую безвыходность, кромешное отчаяние, Ремарк, возможно, считает себя гуманистом, но это странный гуманизм — без настоящих личностей, и поэтому претензия на трагическое в этом романе остается неосуществленной.

Действие ограничено рамками одной ночи. Этим подчеркивается замкнутость действия, невозможность для действующих лиц выбраться из состояния кошмара. Писатель снова и снова возвращается к мотивам человеческой опустошенности.

Последняя пьеса Теннесси Уильямса «Ночь игуаны», принадлежащая перу автора не менее популярного, чем Ремарк, тоже знакомит нас с человеком, утратившим надежды, личность которого бесформенна, стремления которого жалки. Снова действия хватает только на одну ночь. И это не потому, что мы имеем дело с его высокой концентрацией, а, наоборот, из-за того, что действие растекается и само по себе как бы утратило смысл.

Композиционное совпадение между «Ночью в Лиссабоне» и «Ночью игуаны» не так уж случайно. Такими искусственными прыжками формы авторы пытаются создать впечатление напряженности там, где подлинный драматизм действия уже невозможен по той причине, что характеры действующих лиц совершенно аморфны. И этот человеческий материал, из которого формуют свои последние произведения очень известные современные писатели, является тяжелой уликой против буржуазной литературы, утрачивающей способность говорить о человеке, как должно о нем говорить.

Человек, с которым знакомит нас Теннесси Уильямс, мучится «известной проб-

лемой: потребностью верить во что-то или в кого-то, хоть в кого-нибудь, хоть во что-нибудь». Но эта мука очень жалкая, не вызывающая сочувствия.

Эти две «ночи» являются продолжением очень старой линии. Еще с начала тридцатых годов мы помним циническое «Путешествие на край ночи» Селина, которым начиналась бесконечная вереница произведений, выражающих то ощущение безграничного мрака, которое все больше и больше захватывает литературу капиталистического Запада в XX столетии. Линия, раз начавшаяся, никак не может кончиться.

Гонкуровская премия 1961 года присуждена Жану Ко за роман «Милосердие бога». В этом романе мы встречаемся с тем же приемом искусственного уплотнения расползающегося во все стороны действия. Четыре человека в тюремной камере без конца рассказывают друг другу о себе. Это люди, которые могли бы действовать в последнем романе Ремарка или в последней пьесе Теннесси Уильямса. Для романа Ко характерно стремление не передать реальность, а покончить с нею. Возникает множество вариантов, наслаивающихся один на другой, в результате чего стирается все, что могло быть правдой, и эти четверо совершенно изолированы друг от друга, да и от того мира, который находится за стенами их камеры. Это роман психологического маразма, разрушения всех связей, отношений, погружения в хаос.

Гонкуровскую премию уже давно стали давать за произведения, которые в художественном отношении мало чего стоят. Премия, когда-то имевшая славу, все чаще стала свидетельствовать об очень тяжелых явлениях духовного кризиса.

7

Сопоставляя выводы раймон-ароновского семинара и выводы Карла Ясперса с приведенными выше произведениями, мы получаем возможность представить себе закономерность духовного кризиса, охватывающего все больше и больше литературу Запада.

Действие написанной в прошлом году драмы Фридриха Дюрренматта «Физики» происходит в сумасшедшем доме. Очень тонко и с язвительным остроумием этот высокоталантливый писатель подводит нас к мысли, что грань между безумием и так называемой человеческой нормальностью почти неразличима. Такая позиция Дюрренматта есть выражение его глубочайшего презрения к хаосу безумия, в который погружен современный капиталистический мир.

Дюрренматт, хотя он относительно молод, склонен думать, что ничто уже не спасет этот мир, и склонен ограничиться позицией презрительного скептицизма. Будем надеяться, что перед ним откроются возможности другой оценки современной действительности. Ведь современный мир намного шире, чем мир капитализма.

То, что Дюрренматт показывает в своих «Физиках», как бы подводит черту под теми исследованиями буржуазной действительности, которые он уже давно ведет.

Утрата человечности становится неотвратимым свойством современного буржуазного мира и доминантой развития современной буржуазной литературы.

Не следует, конечно, упрощать картину. И в западном мире идет борьба за другую человеческую участь. И в западном мире есть немало писателей, немало произведений, которые являются подлинно реалистическими и глубоко прогрессивными по своему духу и по своей форме.

Однако черты человеческого распада, все более углубляющегося духовного кризиса приобретают в наше время такое широкое распространение и такую значимость и проявляются часто с такой силой исковерканной талантливости, что говорить об этих явлениях необходимо, как необходимо принимать в расчет все их значение при любой оценке современной литературной ситуации.

Необходимо сопоставлять современные литературы социалистического мира с литературами буржуазного мира. Это сопоставление всегда красноречиво.

Евгений Винокуров, хороший советский поэт, назвал один из своих сборников «Лицо человеческое». Это книга спокойной сосредоточенности, в ней нет никакой риторики, и вместе с тем это возвышенная и возвышающая книга. Вся советская литература, всматриваясь в «лицо человеческое», стремится увидеть черты благородства, одухотворенности, внутренней чистоты. Это — выражение ее гуманистической сущности.

Но не только это. В «лице человеческом» советскую литературу привлекает выражение гнева против всего, что враждебно людям, революционной страсти, человеческого мужества.

Шолохов назвал свой широко известный рассказ — «Судьба человека». Эта извечная тема всех литератур, всех времен и народов в интерпретации советской литературы и других социалистических литератур приобретает новый смысл. Человек может подняться во весь свой рост. И эта масштабность в понимании человеческого является основной чертой новых литератур.

И не только литератур. Послушаем «Бухенвальдский набат» Вано Мурадели. Это не симфония, в которой раскрываются необъятные возможности большого оркестра, это лишь песня для голоса на очень простые слова А. Соболева. Но вот в этих сравнительно узких пределах перед нами возникает колоссальная сила человеческой памяти, человеческой стойкости, человеческой несокрушимости. Это удивительное по своей естественной силе произведение, которое никого не может оставить равнодушным и которое поразительно соединяет воедино всю трагику содержания, которое дает почувствовать всю чудовищность Бухенвальда и всю силу набата, всю силу уверенности в том, что человечество несокрушимо.

Сейчас в Москве выставлены четыре портрета Павла Корина, которые широко обсуждаются. Это портреты мастеров современной культуры — Сарьяна, актера Симонова, итальянского художника Гуттузо и групповой портрет Кукрыниксов. Это — великолепные достижения художника.

Павел Корин прошел сложнейший путь исканий, чтобы подняться к этой вершине. Человек-созидатель во всей его духовной мощи изображен им с такой естественностью, с такой красивой простотой, с такой увлекательностью, что мы можем сказать: вот подлинный гуманизм нашего времени.

Нельзя не обратить внимание на книгу Эдуардаса Межелайтиса «Человек», которая проникнута безграничным доверием к человеку. За поэзией Межелайтиса стоят богатства всемирной литературы. Мы слышим голос Уитмена или Верхарна — эти голоса далекого прошлого как бы подготавливали те новые человеческие возможности, которые заключены в социалистическом обществе.

Современный человек в стихах Межелайтиса — это человек во всей огромной сложности его внутреннего мира, человек подлинно свободный в том смысле, что ему доступно то, что раньше было областью мечтаний. Человеческое дерзание, красота человеческой сложности, которая всегда соединена с целостностью,— вот лейтмотивы поэтического творчества Межелайтиса.

Социалистическое понимание гуманизма неразрывно связано не только с чувством человеческого достоинства, но и с сознанием нашего исторического долга. Оно не умещается в экзистенциалистские концепции гуманизма, для которых истории как бы не существует. Революционный гуманизм всегда связан с борьбой против всего, что враждебно человеку и человечеству.

Советский человек, человек социалистического общества,— это «человек нового человечества», как замечательно говорил Горький, и наш гуманизм — это гуманизм великого созидания.

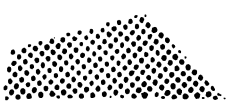
Между литературами социалистического мира и буржуазными литературами пролегает рубеж, отмечающий не только глубокую противоположность сущностей, но и различие направлений, в которых движутся эти потоки. В основе расхождения лежит понимание человека, и мы должны придавать этой закономерности значение, которое она имеет.

Не может быть путаницы в ясном вопросе о том, что мирное сосуществование двух систем ни в какой мере не означает идеологического сосуществования, прекращения или смягчения борьбы идеологий.

Ленинская теория двух культур, лежащая в основе нашего понимания сущности современной культуры, являющаяся образцом диалектики, позволяет нам во всем объеме, без упрощения, решать в высшей степени сложные вопросы и дает точный ориентир в достигающей крайней остроты современной борьбе между социалистической и буржуазной идеологиями.

Именно потому, что мы живем в разделенном мире, социалистическая литература не может не ставить своей задачей борьбу против эстетики распада личности, разъятия человека, обессмысливания человеческого существования.

Социалистическая литература является литературой цельного человека, а не лохмотьев обесцвеченной психологической ткани. Воссоздание человека является исторической задачей, которая будет выполнена силами всего передового, смело устремленного в будущее, революционного во всемирной литературе нашего времени. В этом воссоздании и осуществится подлинное единство всех живых творческих сил эпохи.



Критика

Е. КНИПОВИЧ

СЫН СВОЕГО ВРЕМЕНИ

(Заметки о творчестве Бертольта Брехта и «Берлинском ансамбле»)

Литература о творчестве Бертольта Брехта необозрима. В течение примерно сорока пяти последних лет о нем писали на разных языках литературоведы и театроведы, философы, актеры, крупнейшие романисты и поэты Германии — такие как Бехер, Зегерс, Вольф, Вайнерт, Штриттматтер. Однако среди драгоценных высказываний художников слова о творчестве Брехта я лично выделила бы статьи его многолетнего друга и соавтора — Лиона Фейхтвангера. Фейхтвангер написал вместе с Брехтом «Жизнь Эдуарда II» и «Сны Симоны Машар» — о французском Сопротивлении, о современной Жанне д'Арк. Он, кроме того, придал внешний облик и черты характера своего друга одному из привлекательнейших героев своего лучшего, на мой взгляд, романа «Успех». Конечно, Каспар Прекль это не Бертольт Брехт, так же как Жак Тюверлен — это не Лион Фейхтвангер. Однако инженер Прекль — страстный приверженец марксистской философии, автор отчаянно антибуржуазных баллад, не расстающийся со своей гитарой,— очень похож на двадцатилетнего Брехта, того, который написал «Легенду о мертвом солдате», «Барабаны в ночи» (сначала под названием «Спартак») и «Ваала». Кстати, первая из этих пьес послужила поводом для знакомства будущих друзей. Двадцатилетний Брехт принес «Барабаны в ночи» Фейхтвангеру, заявив, что пьесу эту он написал только ради денег. Фейхтвангер по прочтении горькой истории о солдате, вернувшемся с войны, отказался поверить этому заявлению. Однако Брехт обиделся и стал настойчиво повторять, что все сделано лишь ради денег. Ему очень хотелось быть «разрушителем», «циником» — таким, как его Ваал, некий современный вариант Франсуа Вийона, поэт-бунтарь, погибший из-за невозможности найти себе место среди буржуазных посредственностей.

Фейхтвангер не испугался «колючести» первых опытов Брехта. К великой чести его, он сразу почувствовал глубокую народность этих непричесанных и в каком-то смысле нелитературно изложенных балладообразных пьес. Народность, «первозданность» и язык, «не подчиняющийся нынешней моде, дикий, крепкий, красочный, не вычитанный из книг, а подслушанный из уст народных»,— вот что прежде всего увидел Фейхтвангер в раннем «диком и прелестном» творчестве Брехта. Первая из статей Фейхтвангера о нем написана в ту пору, когда сам он работал над «Успехом», последняя — уже после смерти Брехта.

Неподчинение «нынешней моде» проявлялось не только в языке Брехта. Он писал: «О-Человек! — драматургия» того времени с нереалистическим, иллюзорным разрешением противоречий оттолкнула меня — студента-естественника. В этой драматургии конструировался весьма неправдоподобный

и, во всяком случае, неэффективный коллектив «добрых» людей, которые должны были навсегда положить конец войне — этому сложнейшему, коренящемуся в общественных формах феномену,— при помощи морального осуждения. Я ничего толком еще не знал о русской революции, но даже и скромный мой опыт санитара в зимнюю кампанию 1918 года родил во мне догадку, что совсем другая, эпохального значения сила выступила на сцену — революционный пролетариат». («При просмотре первых моих пьес», 1954)

«Догадка» Брехта — к тому же еще очень смутная — оказала на раннее творчество его не прямое воздействие. Восставший пролетарий не появился в его стихах и пьесах. «Разрушение старого» отражено в его раннем творчестве через судьбы «выломившихся из жизни», отщепенцев, через нарушителей норм буржуазной религии, этики, морали. За такой попыткой ответить на коренные вопросы времени стоит своя традиция. В переломные эпохи, когда старые формы общественного уклада еще крепки и уже очень ненавистны достаточно широким массам, в литературе устной и письменной возникает тема «пакта с дьяволом», борьбы с закостенелыми формами общественного бытия и идеологии в союзе с «разрушительным началом», «злом». (Интересные мысли по этому поводу высказывал молодой литературовед В. Кожинов.) Тема эта варьируется по-разному — от высокого философского символа до трезвейшего «бытового» реализма, от Фауста и до пиккаро испанского плутовского романа, от Фигаро Бомарше и до Катилины Александра Блока. Кстати, Ваал такой, каким он изображен в пьесе Брехта, ближе всего именно к блоковскому пониманию «разрушителей»: «их обуревают великие мечты и страсти, иногда находящие исход в преступлении и приводящие к гибели. Эта гибель вспыхивает пламенем дымного факела над обреченной головой».

Один из историков немецкого революционного театра говорит о том, что раннее творчество Брехта было критикой экспрессионизма слева. Справедливость этих слов не вызывает сомнения — их подкрепляет и само творчество Брехта, объективно направленное против «О-Человек! — драматургии», и то осмысление этого творчества, которое дано в ряде статей, заметок, выступлений Брехта разных лет. Объективно становятся полемикой с экспрессионизмом и ранние баллады Брехта. Так, например, знаменитый «Апфельбек» или «Лилия долины» — это несомненная и злейшая пародия на столь излюбленный драматургами экспрессионизма трагический конфликт «отцов и детей». Конфликт этот в пьесах некоторых экспрессионистов порой подменял все социальные и политические конфликты. Один из героев прямо заявлял, что лозунг «на отцов» стал сейчас равнозначным лозунгу «на тиранов» времен французской революции. Брехт в своей балладе трактует тему вражды к отцам с такой дьявольской иронией, с такой будничной и инфантильной обстоятельностью, которая сродни «практическим» кулинарным советам Джонатана Свифта по части людоедства (в памфлете «Скромное предложение»). У Брехта не было ни малейшего желания ныть по поводу распавшейся связи времен и сочинять прекраснодушные рецепты для ее восстановления (преимущественно путем морального самоусовершенствования «добрых людей») — он грубо совал читателю в лицо страшные, уродливые следствия этого распада, взывая к его разуму, стремясь пробудить в нем активное желание бороться не только против этих уродств, но и против самих причин, их порождающих.

Брехт был художником беспощадной искренности и великого мужества. И мужество это проявлялось не только в том, что он смело, рискуя жизнью и свободой, атаковал силы империализма и фашизма. Мужество еще проявлялось и в том, что он не льстил читателям, не льстил товарищам по борьбе. В статье, озаглавленной «Пять трудностей, возникающих, когда пишешь правду», Брехт говорит о двойном мужестве, потребном и для того, чтобы «не гнуться перед власть имущими», и для того, чтобы не «обманывать угнетенных». «Обман угнетенных» для Брехта заключался в абстрактном противопоставлении «сил добра» и «сил зла», в том, что отдельные поражения «сил добра» объяснялись не конкретно-исторической слабостью или ошибками этих «сил» на данном историческом этапе, а извечной, имманентной незащищенностью «добра» перед «злом». «Сказать, что добрые были побеждены не потому, что они были добры, а потому, что они были слабы,— для этого требуется мужество»,— говорит Брехт. И еще: «Не

следует считать слабость обязательным свойством добра, подобно тому как влажность есть обязательное свойство дождя».

Словом, если воспользоваться строкой талантливого молодого советского поэта, Брехт очень твердо был убежден в том, что «добро должно быть с кулаками». И это — одна из центральных идей его творчества; она проходит сквозь все его произведения, то подспудным течением в разных опосредствованиях, то языком пламени вырываясь на поверхность, как в «Святой Иоанне скотобоен» или «Жизни Галилея».

«Святую Иоанну скотобоен» — первое осмысление темы Жанны д'Арк в творчестве Брехта — определяют обыкновенно как разоблачение реформистской проповеди «классового мира». Это совершенно верно. Но Брехт — художник, следовательно, «человековед», а значит, озабочен и тем, какие изменения должны произойти в человеческом сознании, чтобы идея классового мира могла укорениться в среде эксплуатируемых. Иоанна Дарк, героиня пьесы, офицер «черных капоров» (организации вроде Армии спасения),— это не только воплощение «слабого добра», но еще и защитница абстрактного добра, оторванного от конкретной социальной практики и социальной сущности человека. Ее трагическая попытка пробудить совесть эксплуататоров, собрать зерна абстрактного личного добра «через голову» классовых боев и социальных противоречий приводит ее к физической гибели — но и к пониманию того, что «личное самоусовершенствование», а также и «имманентная» доброта идут на пользу угнетателям, а не угнетенным.

«Я проповедовала на всех площадях,— говорит Иоанна Дарк перед смертью,— и сны мои были бесчисленны, но угнетенным я приносила вред и полезна была угнетателям.

Лишь одному я научилась и передаю это вам, умирая: как понять, что в вас заключено нечто, не проявляющееся вовне? Каким знанием обладаете вы, зная, что из этого ничего не воспоследует? Я, например, ничего не совершила. И это ничто было сочтено добром, и ему придали видимость того, что действительно подает помощь, и этим обесчестили то, что способно переделать мир коренным образом. А ведь только это и есть настоящая помощь. И как я помогла угнетателям! О, непоследовательная доброта! О, бесплодные стремления! Я ничего не могла изменить!

Исчезая из этого мира и не оставив следа в нем, я говорю вам: заботьтесь не о том, чтобы покинуть мир лично совершенными, заботьтесь о том, чтобы оставить после себя мир более совершенный, чем раньше».*

В литературе о Брехте (и не только немецкой) постоянно приходится встречаться с противопоставлением произведений Брехта, написанных после 1930 года (начиная с пьесы «Высшая мера»), его раннему творчеству. Если «Высшая мера» находится, по мнению исследователей, в пределах социалистического реализма, то более ранним пьесам, таким как «Солдат есть солдат» или «Святая Иоанна скотобоен», в этом звании отказано. Что касается «Трехгрошовой оперы», то ее — правда, не у нас, а в Германии — порою трактовали как «развлекательную пьесу» или даже как некоторую идеализацию стихии анархического «дна». Я думаю, что такое расчленение творческого наследия Брехта вряд ли имеет достаточные основания. Конечно, в творчестве каждого художника есть разные периоды, разные степени зрелости. Но вне деления на периоды существует еще все творчество художника как диалектическое единство, как единый живой организм. Столь несхожие и разделенные во времени книги, как «Юношеские страдания» и «Романцеро»,— все-таки части одного и того же великого единства, имя которому Генрих Гейне. То же можно сказать обо всех великих писателях прошлого и обо всех наших великих современниках. Нет в истории советской и мировой литературы такой даты, когда на престол взошел метод социалистического реализма. Метод нашей литературы складывался в десятках произведений, в философском и образном осмыслении десятками разных творческих индивидуальностей многообразного и сложного процесса построения нового мира, в который были так или иначе втянуты миллионы людей. Да, я знаю, что чем выше была, говоря словами Горького, историческая сознательность того или иного художника, тем отчетливее отражались в его творчестве основные закономерности этого великого процесса. И все же факт существования «Мятежа», «Железного потока», «Разгрома» не отлучает от истории становления метода социалистического реализма ни «Барсуков» Леонова, ни «Орды»

* Монолог Иоанны я даю в прозаическом переводе.

и «Браги» Тихонова, ни романа Федина «Города и годы».

Художник не начинает свое бытие в искусстве с выработки законченной и точной эстетической программы. Первоначальные и не всегда достаточно проясненные устремления уточняются в процессе творчества, в новом историческом опыте, в новом понимании жизни и искусства.

Первичным было в раннем творчестве Брехта полемическое стремление максимально заземлить, свести к простейшим жизненным импульсам человеческие решения и поступки. И в такого рода «материализме» и «реализме» еще присутствовала немалая доля романтического стремления сказать «на зло», «наоборот» всяческому идеализму и моральному прекраснодушию. Вместе с опытом художника, гражданина и бойца уточнялась и эстетическая программа Брехта. Уже тезисы 1938 года показывают, что реализм в понимании Брехта в самом существенном близок нашему пониманию социалистического реализма, ибо он вскрывает процессы с точки зрения самого революционного класса общества, призывает воссоздавать действительность в ее революционном развитии, сочетать широту эстетических поисков с «всевластием» марксистской идеологии. Стремление дать точные формулы основных качеств реалистического искусства не покидало Брехта до конца жизни, о чем свидетельствует большое количество его статей, режиссерских комментариев, заметок и прежде всего тезисы о «социалистическом реализме» 1954 года.

Пять тезисов, написанных в свойственной Брехту четкой и лапидарной манере, уточняют и разъясняют его прежние высказывания. В них художник прямыми и точными словами говорит о партийности и народности искусства социалистического реализма, о его воспитательной роли, а также о сложной исторической и социальной обусловленности «изменяемого и противоречивого» человеческого характера.

Изменяемость, противоречивость и историчность человеческих характеров и судеб раскрывались — пусть не в полную меру — и во всех произведениях Брехта, написанных до 1930 года.

Вот почему, с моей точки зрения, нельзя целиком отлучать от социалистического реализма даже первый вариант истории Гэли Гэя — мирного гражданина и примерного супруга, волею сил империализма ставшего солдатом колониальной армии («Солдат есть солдат»). Если в свое время поэма Н. Тихонова «Лицом к лицу» рассказывала о том, как солдат первой мировой войны силою Октябрьской революции был перестроен «снизу вверх» — стал бойцом войны гражданской и строителем социализма, то в пьесе Брехта показан обратный процесс — перестройка человека «сверху вниз», «разъятие» характера нормального мирного существа на отдельные «компоненты» и создание из них нового «единства» — солдата армии насилия и убийства. В пьесе много гротескной фантастики. Неправдоподобие? Безусловно. Но разве «правдоподобна» та дырка в полюсе, из которой забил фонтан, приведший ко всемирному потопу в «Мистерии-буфф» Маяковского? Не говоря уже о «хождении по водам» Человека просто, шествии нечистых через Ад и Рай. А мне посчастливилось видеть своими глазами, как принимали это «неправдоподобие» питерские пролетарии на спектакле, поставленном в первую Октябрьскую годовщину. И конечно же, гротескная фантастика пьесы Брехта сродни тем отчаянным, овеществленным метафорам, с помощью которых молодой Эйзенштейн строил разоблачение мира собственников в постановке «На всякого мудреца довольно простоты». С помощью революционного гротеска подчеркивается бессмысленность, иррационализм жизни эксплуататорского общества. Причем — по справедливому мнению В. Шкловского — «мир, творимый молодым Эйзенштейном, был весел, потому что Эйзенштейн — революционер. Он был весел превосходством тогдашнего дня над вчерашним». Великие художники страны победившей социалистической революции помогали человечеству смеясь расставаться со своим прошлым.

Конечно, задача Брехта — воспитательная задача художника, вошедшего в литературу после поражения немецкой революции 1918 года,— была иной, вернее, по-иному служащей все той же цели. «Классовая ненависть,— говорит М. Горький,— должна воспитываться на органическом отвращении к врагу как к существу низшего типа, а не на возбуждении страха перед силою его цинизма, его жестокости».

Не «устрашать» и не демонстрировать уродство ради демонстрации, а вскрывать

всю глубину низости врага, показывать закономерность этой низости, воспитанной волчьими законами капиталистического общества,— именно это определяет все, что было создано Брехтом как до 1930 года, так и после этой даты. Конечно же, и в «Трехгрошовой опере» нет ни качеств развлекательной пьесы, ни романтизации преступного «дна» — напротив, ее сущность, ядро точнее всего определяют слова Горького «банкир родит бандита». Мэкки-Нож, глава гангстерской шайки, романтичен лишь в воображении Полли Пичем. Это она, Персик, наивная и практичная дочь организатора треста по эксплуатации нищих, видит в своих мечтах белокурого вора-джентльмена, стройного, одетого во все черное, рыцарски преданного любимой женщине. Полли не подозревает, что на самом деле Мэкки, или Макхит,— это всего лишь второе имя ее жениха — лесоторговца Беккета. Он толст, лысоват, голова его похожа на редьку, и манеры его, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Жулик и глава шайки Беккет-Макхит чрезвычайно буржуазен. Приличия, респектабельности — вот чего он требует от невесты и от своих подчиненных. Кроме того, он сентиментален и в «дружбе» с Брауном, инспектором полиции, с которым они некогда вместе истребляли индусов как солдаты колониальных войск, и в отношениях с Полли, которой он — как купец домовитой хозяюшке — передает все дела по управлению бандитской шайкой и сбыту краденого, когда ему надо садиться в тюрьму.

Радужная мечта Макхита — причем отнюдь не неисполнимая — это подкопить денег на бандитских и мошеннических операциях и подняться на более высокую ступень буржуазной иерархии, приобщиться к банковской деятельности и тем самым приобрести санкционированное и гарантированное государством право мошенничать, грабить и убивать.

«Трехгрошовый роман» написан через шесть лет после «Трехгрошовой оперы». Опосредствование связей «банкира» и «бандита» в крупном прозаическом произведении Брехта, конечно, более богато, чем в драматической разработке темы. В романе Брехт ставит все точки над «i». Так, например, в пьесе Мэкки-Макхит мечтает о банковской карьере (об этом говорит один из членов его шайки) — в романе он эту карьеру делает; все подробности быта, жизни, отношений действующих лиц в романе гораздо более прозаичны, не говоря уже о том, что в романе во многом изменен сюжет, дана и другая развязка всего произведения. Но суть романа и пьесы — едина.

Свифтовская, гротескная наивность в изображении круговой поруки между банкиром и бандитом, разоблачение лицемерного покрова, наброшенного на все личные и деловые отношения в этом банковско-бандитском мире,— вот что обеспечило долгую, и не только литературную, но и сценическую жизнь «Трехгрошовой оперы», которая и сейчас с огромным успехом идет на сцене «Берлинского ансамбля».

Эмпирические доказательства — вещь довольно опасная. И все-таки я должна сказать, что одним из убедительнейших свидетельств глубокой жизненности и современности всего творчества Брехта остается для меня творческая практика «Берлинского ансамбля», именуемого чаще «Театр Брехта». Я видела всего лишь шесть постановок театра — «Мамашу Кураж», «Жизнь Галилея» и «Кавказский меловой круг» (во время гастролей ансамбля в Москве в 1957 году), а также «Карьеру Артуро Уи», вечер стихов и песен Брехта, «Фрау Флинц» молодого драматурга Гельмута Байерля — в 1962 году в Берлине. Однако творческое «излучение» театра настолько интенсивно, что «душу» его можно понять и ощутить даже при таком неполном знакомстве.

Театр Брехта — особенный театр. Со своим обликом, со своей публикой. Он не похож на обычные театры даже внешне — серое здание на набережной Шифбауэрдамм скорее устремлено вверх, а не раздалось вширь, голубые неоновые буквы в розовом кругу — «Берлинский ансамбль» — подняты над венчающей театр башенкой, как штандарт. Коридоры сплошь заклеены афишами: гастроли в Москве, гастроли в Париже, Вене, Лондоне, Нью-Йорке, фургон мамаши Кураж, карнавальные маски из «Галилея», Вейгель—Власова и Вейгель—Тереса Каррар — пестрый памятник тринадцатилетней работы театра. «Берлинский ансамбль» — театр-подросток. Как за этот срок он достиг творческой зрелости и мощи — это особый вопрос. Публика — своя. Больше половины зала — молодежь, в возрасте начиная с 15—17 лет,— худые, длинноногие мальчики и девочки в лыжных свитерах или скромных платьицах. Облик зрителей заставил меня вспомнить двадцатые годы, Политехнический музей и тысячи жи-

вых, дружеских глаз, обращенных к трибуне, где прочно стоит Маяковский. Революционность и демократизм — вот «излучение» театра Брехта, притягивающее, как магнит, его зрителей — учащуюся молодежь, передовую рабочую и творческую интеллигенцию.

Программа вечера стихов и песен Брехта составлена из произведений, написанных между 1914 и 1956 годами, без хронологической последовательности. Ее открывает «Радость начала» — лирическое стихотворение 1938 года о первой прочитанной странице новой книги, первой пригоршне воды, плеснувшей в разгоряченное лицо, первом взгляде любви и первой весенней траве. Эти стихи о радости бережно, почти застенчиво читает Вольф Кайзер — один из «старейших» актеров молодого ансамбля и блистательный исполнитель ролей Мэкки-Ножа и гангстера Гири (Геринга) в «Артуро Уи». Еще лиричнее и мягче звучит любовное стихотворение 1921 года («Воспоминание о некой Марии А.») в устах вихрастого, совсем мальчишки Стефана Лисевского. Экехард Шалль (исполнитель роли Артуро Уи) с великолепной наивностью поет «Апфельбека», положенного на музыку самим Брехтом, и зал отвечает ему дружным хохотом.

Черноволосый Манфред Карге, тоже еще мальчик по возрасту, не поет, а кричит, колотя рукой по деке гитары, знаменитую «Легенду о мертвом солдате» — непосредственную память недолгого военного опыта Брехта в 1918 году. И от 1918 года назад — к 1914, и от 1914 скачок к 1941, и обратно в 1933, и от 1933 — к 1938. «Песня Единого фронта» — музыка Эйслера. Ее поет весь ансамбль, стоя, как в строю. Среди молодых и совсем юных стоят «ветераны» — седой Раймунд Шельхер, тоненькая, прямая, как струна, Елена Вейгель.

А я вспоминаю, как в 1937 году пел эту песню в Москве, в клубе писателей, замечательный певец и замечательный актер «Берлинского ансамбля», интербригадовец и коммунист-подпольщик Эрнст Буш, прилетевший на короткий срок с «кровавых полей» Испании.

И рядом одно из сильнейших и страшнейших стихотворений Брехта «О, Фалладa!» — призыв к родному народу и всему человечеству быть бдительными, не поддаваться проклятой демагогии «сильных личностей», ницшеанской проповеди «права на зверство». И поражаешься, с каким талантом и какой любовью сделана программа, каким тончайшим контрапунктом связана эта единая волнующая речь великого немецкого художника о судьбах родины, обращенная к своему народу. Да, о ненависти к фашизму, о бесчеловечности и позоре, о мужестве борцов, радости победы и о бдительности говорили, читали, пели актеры ансамбля — порознь и по двое, группой и все вместе. Но их голосами все время говорил Бертольт Брехт. И чем глубже раскрывался текст стихов, песен, речей в исполнении Елены Вейгель, Гюнтера Наумана, Хильмара Тате, Барбары Берг, Фелисаты Рич и других, уже названных мною актеров, тем громче звучал в зале голос Брехта — бойца социалистической революции, наследника и носителя традиций революционного, пролетарского искусства, рожденного Октябрьской революцией и мировым вихрем, ею поднятым.

Да, несомненно, «Берлинский ансамбль» своеобразен и оригинален. Да, несомненно, в творческой практике Брехта и его театра можно и должно найти, как об этом уже писали, точки соприкосновения с театром античным и китайским, с театром Шекспира и Индии, с вахтанговской «иронией», с творческими принципами Чаплина. Но следует помнить и о другом — об опыте немецкого революционного театра, о друзьях и союзниках Брехта, таких как Эрвин Пискатор, Георг Вангенгейм, Фридрих Вольф, Джон Хартфильд, а также и о работе таких коллективов, как «Красный рупор», «Колонне Линкс» или «Труппа 1931 года». Об этом справедливо говорит в статье «Бертольт Брехт» И. Фрадкин.

Основные средства педагогического воздействия на разум зрителя и основные принципы революционного просветительства на сцене созданы совместными усилиями деятелей революционного театра Германии в двадцатые годы: «сонги» — песни, в которых перед началом действия уже рассказан сюжет пьесы, огромные плакаты с политическим текстом, появляющиеся перед началом той или иной сцены, кинокадры, дающие параллельно действию широкую картину общественно-политической жизни страны и всего мира, маски, плакатное оформление сцены и зрительного зала — все это вошло в театральную жизнь и драматургию Германии как результат совмест-

ной работы передовых режиссеров, драматургов, художников.

Когда смотришь на фотографии зрительного зала, декораций, грима, мизансцен оформленной Джоном Хартфильдом постановки пьесы Вольфа «Тай Янг пробуждается», видишь, насколько близко все найденное там сегодняшней практике брехтовского театра. Мизансцены, грим, маски из поставленной группой «Зюйд-Вест» пьесы Вольфа «От Нью-Йорка до Шанхая» чуть ли не совпадают с некоторыми элементами постановки «Кавказского мелового круга». И даже программы этого спектакля оформлены точно так же, как программы поставленного в 1960 году брехтовским театром «Артуро Уи». Значит ли это, что новаторство брехтовского театра не ново? Нет, отнюдь не значит. Подлинное новаторство заключается не в том, чтобы, следуя безумной прихоти певца, «хватать в сторону» от путей развития народного и революционного искусства, а в том, чтобы дать в своем творчестве новую жизнь завоеваниям этого искусства, тесно связанного с жизнью и борьбой народа. Некоторые принципы и элементы формы революционного театра 20-х годов вошли как один из компонентов в творческую практику Брехта и его театра. Вступая в новые «сцепления», они обретали новые функции и новую жизнь. Я бы сказала, что в них для театра воплощено то «спартаковское начало», которое с волнением и любовью ощущаешь в разных проявлениях общественной, политической и культурной жизни ГДР.

Соратники Брехта возражают против мнения (нередко высказываемого театральными деятелями), что теория «эпического театра», разработанная в «Малом Органоне для театра», в ряде статей, режиссерских комментариев и стихов Брехта, не во всем совпадает с творческой практикой «Ансамбля». В частности, мнение это опровергает в своей талантливой и интересной книге ученик Брехта и режиссер «Берлинского ансамбля» Манфред Веркверт. Мне кажется, однако, что, защищая «теорию», Веркверт все время подставляет вместо нее именно ту «практику», основываясь на которой высказывают свои сомнения критики «теории».

В книге Веркверта есть, например, интереснейшие наблюдения над игрой Елены Вейгель в «Мамаше Кураж», есть в книге и точный пересказ брехтовской трактовки некоторых сцен из его произведений (например, сцены карточной игры в «Винтовках Тересы Каррар»). Однако объективно получается, что во всех случаях речь идет не столько об «отчуждении» актера от образа, сколько о диалектике самого образа, о борьбе противоречивых тенденций внутри одного характера, которую, естественно, видит и доносит до зрителя актер.

Я не знаю, что значит то полное «слияние» актера с образом, против которого, осуждая «театр действия», восстает в своих заповедях эпического театра Бертольт Брехт. «Мой век меня вниманьем не обидел» — мне посчастливилось видеть многих великих актеров. И хотя гениальным также можно быть по-разному, между актером и образом всегда существует дистанция, щелка, в которую видно чуть отделенное от образа отношение художника к тому, кого он играет. Иногда дистанция эта очень ощутима (например, Станиславский — Фамусов все время заставлял зрителя чувствовать, как относится он, умнейший наш современник, к ограниченному русскому барину начала прошлого века). Иногда актер и образ сближаются, но, конечно, не до полного тождества. Потому что боль, сочувствие вызывал все-таки не Федя Протасов, а создавший его образ Сандро Моисси.

Был ли Шаляпин Годуновым, Досифеем, Владимиром Галицким и Олоферном? Когда на смуглых руках ассирийского владыки, блеснув, звякали браслеты и особым древним, ритуальным движением поворачивалась его голова — ни у одного из зрителей не возникало сомнения в том, что этому «существу» (имя «человек» не шло к нему) три тысячи лет, а может быть, и десять, сто тысяч или вообще «оно» относится ко времени реликтовой флоры, драконов и зубатых птиц. И все-таки восторг зрителей вызывал, конечно, не Олоферн, а Шаляпин, великой силой своего искусства раскрывший эти «доисторические» глубины.

Брехт, как я уже говорила, излагал свои театральные теории не только в «учительной» прозе или речах, обращенных к актерам, но и в стихах. Среди них есть несколько говорящих непосредственно об Елене Вейгель — «Реквизит Вейгель», «Актриса в изгнании», «Описание игры Елены Вейгель», «Песни». В стихах этих с поразительной естественностью слита влюбленность мужчины в женщину, преклонение художника-драматурга перед великой актрисой и уважение бойца-антифашиста к товарищу-бойцу.

В самом истолковании игры Елены Вейгель, данном в этих стихах, есть как бы «привкус» того противоречия, которое, по моему мнению, все-таки возникло при воплощении теории Брехта в актерской практике всего «Берлинского ансамбля». В стихах отражена та диалектика искусства, которая все-таки шире, разветвленнее и хитрее, чем теория «эпического театра». Эта диалектика отчетливо возникает, например, в стихах «Реквизит Вейгель».

«Как сеятель проса выбирает для опытного поля самые полновесные зерна и как стихотворец ищет для стихов самые точные слова, так и она находит те предметы, которые на сцене сопровождают образы, созданные ею»*.

Дальше идет перечисление предметов реквизита — оловянная ложка, вдетая в петлицу «монгольской куртки» мамаши Кураж, рыболовная сеть, которую чинит Тереса Каррар, рваная сумка, куда прячет большевистские листовки «ласковая Власова», медная чаша, куда собирает пепел Антигона.

Вывод? Он диалектичен: «Все это выбрано сообразно эпохе, цели и красоте, глазами ведающей и руками той, что печет хлебы, чинит сети, варит суп, той, что знает действительность».

Тот же двойной облик «творца» и «творения» встает и в стихах «Актриса в изгнании». Вот исчезло под гримом «особое в лице», вот опустились, как от долгих лет работы, стройные, гордые плечи. И вот уже стоит она — маленькая фигурка и великий боец, «готовый обуть грубые башмаки и показать битву матери андалузских рыбаков против генералов».

Комментируя знаменитые тезисы Брехта об «эпическом театре» (из статьи «Развлекательный или учительный театр?»), или его стихи о «Повседневном театре», или параграфы «Малого Органона», нетрудно высказать ряд возражений, ставящих под сомнение ту или иную часть теории. Разве, например, изложение темы, сюжета, предшествующее действию, есть свойство одного «эпического театра», обращающегося лишь к разуму зрителя? Романтический, взывающий к эмоциям театр Гарсиа Лорки нередко использует этот прием. В песне девочек, открывающей первую сцену трагедии «Марианна Пинеда», раскрыто трагическое будущее героини. И знаменитая «Колыбельная» в первом акте «Кровавой свадьбы» предсказывает грядущую гибель Невесты и Леонардо.

И если — по Брехту — театр действия, взывающий к чувствам зрителя, изнашивает его активность и не побуждает его принимать решения (это последнее — привилегия «эпического театра»), то как быть, например, с нашим Большим драматическим театром 1919 года, театром высокой эмоциональной романтики?

«Дон Карлос» Шиллера в постановке этого театра, будя высокие эмоции зрителя, вместе с тем, несомненно, заставлял его принимать решения и весьма непосредственно стимулировал его активность. Так, по свидетельству Товстоногова, зрители — бойцы петроградского гарнизона шли против Юденича с криком «Бей Альбов!».

В драматической теории Брехта есть отзвук максималистского стремления просто отбросить то, что было достоянием эстетики, чуждой и враждебной революционному искусству. Декадентская спекуляция на подсознании, интуиции, не контролируемых разумом эмоциях, столь широко используемые фашизмом в своих целях, побудила Брехта встать на защиту разума, ясности, самоконтроля, а следовательно, и чувства личной и общественной ответственности.

В теории он отрицал воздействие на чувства зрителя. В самой присяге разуму было не больше рационализма, чем в пушкинской хвале «бессмертному солнцу ума». Но оберегая права разума, Брехт — в теории — оставлял за порогом театра эмоции актера и зрителя.

Брехт в теории считает, например, что зритель может задать актеру вопрос — и тот, как и всякий рабочий, отвлеченный на секунду от работы, ответит, а затем продолжит свое дело: будет показывать на сцене, как живут, борются и умирают. Возможно, что дисциплинированный актер «эпического театра» способен на такой эксперимент. Я сомневаюсь в другом: в том, что у зрителя может появиться желание задать вопрос Елене Вейгель — мамаше Кураж, смотрящей в лицо мертвого сына, от которого она только что отреклась, или Бушу — Галилею, от которого только что отвернулись его ученики.

Все дело в том, что, полемически отрицая

* Цитаты из стихотворений я даю в прозаическом переводе.

воздействие на чувства зрителя, Брехт — драматург и режиссер неизбежно, как всякий подлинный художник, обращается ко всему человеку. А воспитание человека, формирование его убеждений невозможно без «воспитания чувств».

И если обращение ко всему человеку шло у Брехта через апелляцию к разуму и защиту разума, то здесь сказывалась историческая и, пожалуй, национальная проницательность художника. Потому что именно защита разума от темного иррационализма была одним из существенных пунктов идеологической борьбы передовой человеческой мысли против фашистского мракобесия. Брехт великолепно понимал, в чем социальные корни фашистского иррационализма и какова революционная функция той «пропаганды мышления», которой посвящена последняя главка статьи о «Пяти трудностях, возникающих, когда пишешь правду» (1934).

Иррационализм погружает в сон не только разум человека, но и его способность к сопротивлению. Мышление — усилия разума даже в областях, как будто бы далеких от политики, становятся действенным оружием в борьбе против сил угнетения.

«Научное открытие в зоологии, подобное открытию англичанина Дарвина, может внезапно оказаться опасным для эксплуататоров. Однако блюстители порядка долгое время не замечали этой опасности, и лишь одна церковь сразу забила тревогу.

Исследования физиков привели в течение последних лет к определенным выводам в области логики, которые в той или иной мере подрывают целый ряд догм, оправдывающих угнетение,— эти пути, которыми идет наука, не заказаны для искусства».

И Бертольт Брехт со свойственной ему педагогической точностью приводит ряд примеров того, как может служить этому воспитанию критической мысли писатель-антифашист.

Расцвет творчества Брехта начался в годы, наиболее трудные для немецкого художника-антифашиста. «Страх и отчаяние в третьей империи», «Винтовки Тересы Каррар», «Мамаша Кураж и ее дети», «Суд над Лукуллом», «Жизнь Галилея», «Добрый человек из Сезуана», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Карьера Артуро Уи», «Сны Симоны Машар», «Швейк во второй мировой войне» и «Кавказский меловой круг» — все эти произведения, из которых многие составляют славу современной немецкой литературы и театра, созданы в изгнании, вдали от родной страны, между 1933 и 1947 годами (Брехт возвратился на родину в 1948 году). Каждая из этих пьес заслуживает особого разговора, в каждой из них живет большая острая и современная мысль, и изменения строя человеческой психики всегда теснейшим образом связаны в них с конкретно-историческими причинами и имеют прямое отношение к самым жгучим вопросам современности.

Не надо думать, что острая мысль Брехта как бы накладывалась на действительность извне, подчиняя ее сложное и живое единство некоему рационалистическому диктату. Нет, в подходе Брехта к явлениям жизни не было рационалистической предвзятости. Напротив — идея вырастала из осмысления действительности, исторических процессов, событий, характеров, судеб.

«Мать всегда против смерти» — в этом горьковском ключе раскрыт путь старой труженицы, женщины, матери к революции и правде сыновей в брехтовских пьесах «Мать» (по Горькому) и «Винтовки Тересы Каррар». И так, по словам многочисленных комментаторов, трактует оба эти образа, столь разные и столь близкие в самой основе, исполнительница роли «ласковой Власовой» и суровой Тересы Елена Вейгель. Обратное — распад человека — рисуют все пьесы цикла «Страх и отчаяние в третьей империи», и с особой силой лучшая из них «Жена-еврейка». «Распад сознания» как будто порядочного и культурного человека, немецкого интеллигента, в ядовитой атмосфере фашистской лжи и демагогии дается в воображаемой беседе-монологе жены-еврейки с мужем-немцем. И именно потому, что все «микроизменения» в душе близкого человека видит женщина любящая, сильная, благородная, особенно страшной становится картина этой бескровной победы фашизма.

Я повторяю: каждой из пьес Брехта, написанной в эти годы, можно посвятить монографическое исследование. И в каждой из них можно найти черты, еще не раскрытые в бесчисленных статьях и книгах о творчестве Брехта.

В эти годы в пьесах Брехта, наряду с носителями той двойственности или того лицемерия, которое живет в душах «добрых людей» эксплуататорского общества, возникают образы людей из народа, есте-

ственно следующих принципам высокой нравственности, которые в течение столетий складывались в трудовой среде. Эти герои не похожи на величественные образы «учительных» пьес Брехта. Таков отличный парень Матти — шофер господина Пунтилы, помещика, чья человечность проявляется, лишь когда он пьян, причем ровно настолько, чтобы не повредить его «трезвым» делам; таков и милый Швейк, бессмертный Швейк, уже одерживающий победу над Гитлером (хотя пьеса написана в 1943 году), такова Симона Машар — новый вариант Жанны д'Арк в творчестве Брехта: ребенок и героиня, носительница подлинно народного единства убеждений и действия. Такова и Груше Вахадзе из «Кавказского мелового круга» — еще одно воплощение материнства и материнской любви в творчестве Брехта.

Героические и «учительные» образы матери русских рабочих или андалузских рыбаков показывают зрителю, как любовь к сыновьям, расширяясь, становится любовью к делу и правде сыновей. Скромный образ девушки-служанки Груше — истинной матери неродного ребенка, противопоставленный образу родной матери — стяжательницы, хищницы и лицемерки, был призван показать, что естественные общечеловеческие чувства навсегда ушли из среды выродков-эксплуататоров, что единственные носители их — это трудящиеся и эксплуатируемые.

Когда я говорю об «учительных» пьесах или образах Брехта, это отнюдь не должно звучать упреком. Значение «учительных» пьес Брехта — огромно. Более того, театральная интерпретация дает им новое художественное бытие, одевает плотью их порою несколько сухие очертания. Именно таково, например, соотношение литературного и театрального бытия «пьесы-притчи» «Карьера Артуро Уи».

Брехт в режиссерских комментариях к пьесе говорит о том, что некоторая узость ее сознательна. В истории захвата власти гангстерской шайкой Артуро Уи дана полная аналогия со всеми этапами захвата власти Гитлером. Но драматург не ставил перед собой задачу показать все противоборствующие силы. Фабриканты, помещики и мелкая буржуазия — вот и все обитатели города, в котором делает свою карьеру Артуро Уи. При таком отборе материала нередко становятся очень условными сами исторические параллели пьесы, меняется сущность отдельных эпизодов. Процесс, на котором в качестве обвиняемого в поджоге складов выступает безработный полуидиот Фиш — это отнюдь не лейпцигский процесс, а Фиш — не Ван дер Люббе. Брехт-режиссер предупреждал, что надо нейтрализовать сценический образ честного буржуа — защитника на суде, чтобы ни у кого не появилась возможность найти в нем сходство с Димитровым. Суд в «Артуро Уи» — это наглое до гротеска нарушение всех норм буржуазно-демократического правосудия, и только. Это ряд балаганных номеров, идущих под исполненный в ритме ярмарочной пляски траурный марш Шопена. Цирковой грим гангстеров, почти акробатическое решение некоторых сцен (например, отчаяние Артуро Уи в период неудач), обнаженность в изображении низости, мелкого предательства, трусости всей гангстерской шайки — все это служит основной цели, которую ставил перед собой в 1941 году, в разгар гитлеровских побед, Бертольт Брехт.

«Крупные политические преступники,— пишет Брехт,— должны быть разоблачены и прежде всего сделаны смехотворными. Ибо по существу они и не являются крупными политическими преступниками, а всего лишь свершителями крупных исторических преступлений, а это нечто иное...» Вот эту мелкую смехотворность и вместе с тем цепкую силу социального зла в эпоху империализма и раскрывает соединенная воля драматурга Брехта и «Берлинского ансамбля». Артуро Уи в блестящем исполнении Шалля отвратителен и смешон. Эта трактовка образа раскрывается в сложном переплетении слов, движений, поступков. Лакейская угодливость подобострастно согбенной фигуры в передней заправил треста в начале пьесы, истерическая трусость и истерическая наглость в переговорах с «честным Дагборо» — Гинденбургом, слезливое отчаяние при временной неудаче, истерическая клятва в вечной дружбе перед убийством Ромы — Рема,— смешное и отвратительное становится все более опасным, обрастает — уже с благословения трестовских воротил — бандитскими кадрами, которые путем шантажа, обмана, погромов и убийств прибирают к рукам всю власть в городе. И наконец все та же мизерная фигурка на трибуне в свете прожекторов — подонок, трус и убий-

---

Е. КНИПОВИЧ
СЫН СВОЕГО ВРЕМЕНИ

ца, вознесенный к вершинам власти соединенными усилиями банкиров и бандитов.

«Артуро Уи» по праву считается одной из лучших постановок «Берлинского ансамбля», хотя занят в ней почти исключительно (так же, впрочем, как и в «Фрау Флинц») молодой актерский состав. И это лишнее доказательство того, насколько сильны и плодотворны те великие традиции искусства революции, на которых выросло высокое новаторское искусство «Берлинского ансамбля».

При всех достоинствах пьес, написанных между 1933 и 1950 годами, вершиной творчества Брехта-драматурга все-таки, на мой взгляд, останутся две из них: «Мамаша Кураж и ее дети» и «Жизнь Галилея».

Бертольт Брехт всей своей художественной практикой опровергает довольно распространенный в литературной среде взгляд, что автор, перерабатывающий свое произведение, неизбежно снижает его качество и грешит против своей творческой индивидуальности. Брехт перерабатывал свои пьесы многократно. «Жизнь Галилея», например, переработана в 1947 и 1954 годах, то есть, строго говоря, даже два раза, ибо так называемая «берлинская редакция» все-таки отличается от «американской». Неоднократно и смело «прикасался» Брехт и к тексту «Мамаши Кураж». Обе эти пьесы написаны одновременно — в 1938 году, тогда, когда потерпела поражение республиканская Испания, произошел аншлюс Австрии и захват Судетской области. Немецкий фашизм выходил на международную арену, а художники-антифашисты всех национальностей — и, конечно, в первую очередь немецкие — мучительно старались понять, как это порождение монополистического капитала могло повести за собой достаточно широкие слои населения.

«Разоблачить», осудить маленького человека, как соучастника деяний фашистских головорезов, как опору третьего рейха? Брехт понимал, что дело обстоит сложнее. Вот почему в «Мамаше Кураж» этот пресловутый маленький человек изображен диалектически, в основном своем социально-историческом качестве, то есть как *опора* и *жертва* классового общества и в мирное и особенно в военное время.

Брехт судит не маркитантку Анну Фирлинг, а социальное устройство, которое испортило превосходный человеческий материал, ввело в новые «античеловеческие» сцепления такие качества, как жизнестойкость, ум, проницательность, смелость, способность к независимому суждению.

Война и рожденная ею жажда легкой наживы поворачивают себе на потребу весь характер, всю сущность женщины из народа, так же как и храбрость ее старшего сына Эйлифа и честность младшего — Швейцеркаса. Нет, Анна Фирлинг не Нателла Абашвили — жена губернатора из «Кавказского мелового круга»: она любит своих детей. Она болеет об их судьбе. Она отказывается от последней надежды на покойную старость, чтобы не бросить на произвол судьбы свою дочь — немую Катрин. И все-таки она не может не нести ответственность за гибель детей, потому что каждый раз жажда наживы — прямо или косвенно — оказывается сильнее, чем ее материнское чувство.

В этом мире искалеченной человечности образ Катрин занимает особое место. Немая дурочка, которая не может не только уберечь, но даже предупредить об опасности брата Швейцеркаса, как бы олицетворяет слабую, съежившуюся до предела и все же живую силу любви и доброты. Катрин, по словам матери, «больна жалостью». В мире крови, убийств и всеобщего одичания она не может видеть страданий ни одного живого существа. «Она боится войны. Она ее не переносит,— говорит мамаша Кураж,— какие у нее, наверное, страшные сны! Я слышу, как она стонет по ночам. Особенно после боев. Не знаю, что она видит во сне. У нее слишком много сострадания. Недавно я нашла у нее ежа, которого мы переехали. Оказывается, она его спрятала».

Доброта в образе Катрин сведена к своей первичной форме — к защите той искры жизни, которая теплится в каждом живом создании, сильном и слабом, участвующем и не участвующем в людских делах. И в любовном изображении этой искалеченной и первичной доброты также проявилась ненависть художника к «цезаризму» и «сверхчеловеку», готовому отдать миллионы жизней в жертву своим замыслам. Катрин, самая слабая из всех, вместе с тем одна способна противопоставить свою правду — «защиту жизни» — царству наживы, крови и смерти, откуда не вырвется и не может вырваться ее мать.

Нет, мамаша Кураж ничего не поняла и ничему не научилась. Но ведь «урок» Брехта преподан не ей. *Зритель* видит и пони-

мает, как страшна судьба маленького человека, у которого война отняла *все* и который все-таки плетется по ее следам в иллюзорной надежде начать все заново, встретившись со старшим сыном, которого на деле война давно уже пожрала.

Литературный образ мамаши Кураж неотделим от сценического воплощения его, данного Еленой Вейгель. Запрокинутое ввысь узкое, скуластое лицо удалой маркитантки, поющей песню о войне, и то же лицо, полное гнева, когда, глядя в окровавленное лицо Катрин, мамаша Кураж шлет проклятия войне. А рука ее в это же время жадно ощупывает мешок с военным товаром, который по ее приказу, с опасностью для жизни, принесла дочь. Скорченная фигурка, укутанная в тряпье,— мамаша Кураж на коленях поет колыбельную своей мертвой дочери, и она же с притворным равнодушием отрекается от мертвого сына, погибшего по ее вине.

Так же неразделимы для читателей и зрителей Галилей пьесы Брехта и Галилей — создание Эрнста Буша. Эрнст Буш — замечательный судья Аздак в «Кавказском меловом круге» и не менее замечательный повар — поздняя любовь мамаши Кураж. Но Галилей Буша — это работа, достойная встать рядом с крупнейшими созданиями театрального искусства нашего века.

Пьеса Брехта — явление сложное. И хотя многие опосредствования ее уже раскрыты бесчисленными исследователями, одна и, мне кажется, существенная сторона не получила еще в печати должного освещения.

1938 год — канун мировой войны и год шумных успехов немецкого фашизма — был ознаменован идейным кризисом некоммунистических кругов немецкой эмиграции и западноевропейской интеллигенции. Осенью 1938 года Вильгельм Пик писал в статье «Уроки Мюнхена»: «С единством немецкой политической эмиграции дело сейчас обстоит весьма печально, именно в дни величайшего обострения великой опасности это отсутствие единства проявилось в полной пассивности и панических настроениях некоммунистических кругов немецкой эмиграции». 1938 год — это год выхода в свет «Тошноты» Жан-Поля Сартра, это год, когда чрезвычайно возросло прямое и косвенное влияние философов немецкой ветви экзистенциализма Хейдеггера и Ясперса. Я не ставлю между ними полный знак равенства и, конечно, не утверждаю, что немецкая эмигрантская или некоторые круги зарубежной интеллигенции прямо учились у Хейдеггера. Но мысль о неком братстве «избранных», занимающихся интеллектуальным и моральным самоусовершенствованием «под оболочкой» мира и согласия с любым, самым зверским и реакционным режимом, несомненно обладала весьма соблазнительной прелестью в глазах некоторых интеллигентов Запада.

«Жизнь Галилея» — не только антифашистская пьеса, как и все творчество Брехта, она еще и антиэкзистенциалистская пьеса. Брехт — в 1938 году — с великой исторической проницательностью понял, чем чревато совершившееся в этот год расщепление атома урана. Но понял он и другое: какую опасность несет вступившая в мир новая сила для слабых человеческих душ, какую долю ответственности за свое дело, за историю и человеческие судьбы попытаются «списать» за счет атомной бомбы некоторые представители западноевропейской культуры.

Брехта — и это естественно — в ту пору больше беспокоили «физики», чем «лирики», вот почему он и обратился к жизни «отца» современной физики — Галилея.

Галилей в изображении Брехта — это отнюдь не титан Ренессанса (хотя в первых набросках пьесы Брехт видел его именно таким). Галилей — человек, рожденный для осуществления своей личности во всей полноте и вместе с тем совершенно не приспособленный к борьбе за это свое естественное право. В двух редакциях пьесы изменялся не столько образ героя, сколько отношение к нему автора. Бомба, взорвавшаяся над Хиросимой, показала, насколько обоснованны были первые опасения художника, заставившие его глубже разобраться в сложной судьбе отца современной физики. «Было бы огромной слабостью произведения,— пишет Брехт в статье «Хвала или осуждение Галилея»,— если бы оказались правы физики, которые с явным одобрением говорили мне о том, что отступничество Галилея от своего учения я, несмотря на некоторые колебания, изображаю, как разумную акцию, ибо это отступничество дало ему возможность продолжить свою научную работу и передать плоды ее потомству».

Нет, для Брехта вопрос стоит совсем

иначе. Потому что, обогатив науку новыми данными, Галилей вместе с тем своим отречением «украл у нее огромную часть ее общественной значимости». Грех Галилея для Брехта заключается не в личной его слабости, не в отречении от научной истины из страха перед пыткой. Нет, он предал больше, чем себя, и больше, чем отвлеченную научную истину.

Знаменитая сцена гильдейского карнавала в неназванном (одном из многих!) городе Италии показывает, что глубокий демократизм Галилея-ученого вывел научную истину на площадь, что развенчание «геоцентризма» было воспринято народом, как жесточайший удар по авторитету церкви, а значит — и по всей феодальной системе общественных отношений. Отречение Галилея нарушило это общение науки и народа, оставило науку в руках власть имущих, сделало ученых их слугами. Отречение Галилея по Брехту есть как бы первородный грех, тяготеющий над наукой в капиталистическом обществе, над наукой *специалистов,* снявших с себя социальную и политическую ответственность за результаты своих экспериментов. «Случай» Галилея Брехт исследует еще более основательно. Ведь отрекшийся Галилей — пленник папы и князей церкви, к которому в качестве тюремщика приставлена родная дочь,— находит в его пьесе возможность тайно продолжать свое еретическое дело и передать свои труды посетившему его ученику. Значит, предательства и не было? Примирение с действительностью феодализма, публичное поругание истины не изменило общего итога жизни Галилея? Так думает ученик Галилея Андреа Сарти, но не так думает сам Галилей.

В будущее обращен заключительный монолог «отца современной физики» — поучение его Андреа Сарти и вместе с тем поучение мудрого и проницательного художника-коммуниста Бертольта Брехта носителям и деятелям культуры нашего века. «Я полагаю, что единственная цель науки — облегчить трудное человеческое существование. И если ученые, запуганные своекорыстными властителями, будут довольствоваться тем, чтобы накоплять знания ради самих знаний, то наука может стать калекой, и ваши новые машины принесут только новые тяготы. Со временем вам удастся открыть все, что может быть открыто, но ваше продвижение в науке будет лишь движением прочь от человечества. И пропасть между вами и человечеством может в один прекрасный день стать настолько огромной, что на ваши крики торжества по поводу какого-нибудь нового открытия вам ответит всеобщий вопль ужаса».

И Галилей, своим отступничеством как бы открывший путь этому разъединению науки и человечества, выносит себе беспощадный приговор, как трусу и предателю.

Великий поэт Германии Иоганнес Бехер и крупнейший прозаик Лион Фейхтвангер после смерти Бертольта Брехта сказали об одной особенности творчества его почти одинаковыми словами. Голос ушедшего соратника и друга звучит для них обоих скорее из будущего, чем из прошлого. Для обоих Брехт по-прежнему в пути — спорит, экспериментирует, ищет, вновь и вновь проверяет уже проверенный в боях арсенал. Это верное и живое ощущение. Брехт — сын своего времени — страстно и вместе с тем проницательно и объективно отвечал на самые главные вопросы, поставленные эпохой. И именно поэтому справедливы слова Лиона Фейхтвангера: «Нетерпеливый художник Брехт создал первые стихи и первые пьесы тридцатого столетия».

ЭРИК ДАНИЭЛЬСЕН

РОМАН ЗДРАВСТВУЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ

(Письмо из Копенгагена)

В эпоху, когда так часто говорят о «кризисе романа», когда многие прямо утверждают, будто роман «устарел», очень важно отметить, что в Дании за последний год вышло несколько книг, которые на деле опровергают все эти утверждения и свидетельствуют о том, что роман здравствует и процветает.

Наибольшее внимание читателей привлек роман, написанный датским писателем-коммунистом, имя которого несомненно известно читателям вашего журнала.

Я имею в виду роман Ханса Шерфига «Фрюденхольм», выпущенный крупнейшим издательством Дании Гюльдендаль.

Новый роман Шерфига — это продолжение романа «Идеалисты», который автор написал в начале войны, но не мог опубликовать, пока Дания была оккупирована. Любопытно, что запрещена книга была не оккупантами, а датским министерством иностранных дел! Уже в ту пору Шерфиг задумал продолжение романа, но вплотную занялся им только в последние пять лет, причем «Фрюденхольм» разросся почти до 500 страниц.

«Фрюденхольм» — это название поместья, знакомого нам по «Идеалистам», но действие нового романа развертывается на широком фоне жизни датского общества в годы оккупации.

«Фрюденхольм» в какой-то мере исторический роман. Это частица датской истории, свидетелем которой был автор, и Шерфигу удалось передать специфическую атмосферу оккупации куда более правдиво, нежели авторам многих исторических трудов.

Во «Фрюденхольме», как сказал однажды сам писатель, почти столько же действующих лиц, сколько в «Войне и мире» Толстого. Шерфиг много раз переписывал рукопись и во время этой работы как-то обнаружил, что один из его персонажей в начале назван одним именем, а в конце — другим. Но, если не считать этой оплошности, Шерфигу удалось прекрасно совладать со своими героями.

«Фрюденхольм» — роман с острым сюжетом, насыщенный смелой авторской фантазией, однако наряду с этим в нем приводится много документального материала эпохи оккупации — газетных статей, воззваний правительства, речей, циркуляров. В романе изображено несколько реальных лиц под их подлинными фамилиями, как, например, коллаборационисты Стаунинг и Скавениус, имена которых стали в Дании нарицательными. Во «Фрюденхольме» меньше внимания уделено движению Сопротивления и больше—первому периоду оккупации. Многие страницы романа рисуют положение коммунистов в те годы, когда датские власти выдавали их оккупантам для отправки в концентрационные лагеря. Ин-

тересно отметить, что некоторые критики в своих положительных отзывах на роман Шерфига сочли необходимым, правда с запозданием, выразить свое негодование по поводу террора, жертвами которого в годы оккупации стали коммунисты.

Само собой разумеется, Шерфиг не скрывает своих коммунистических убеждений, и тем не менее многие буржуазные критики признают, что в его книге запечатлены существенные стороны периода оккупации. Я убежден, что и для молодых читателей «Фрюденхольм» будет великолепным введением в историческую обстановку этого периода. Но дело не в одной только истории. «Фрюденхольм» ставит также актуальные проблемы. В частности, в романе показано предательское поведение полиции и судебных органов в эпоху нашествия в Данию «расы господ», а мы ни в коем случае не должны забывать об этом предательстве, особенно теперь, когда умонастроения датских граждан вновь заносятся в картотеки, и имя каждого, кто публично высказывается в защиту мира, непременно попадает в архивы датской тайной полиции. Ханс Шерфиг и в своей журналистской деятельности борется с этой идейной дискриминацией.

Сам Шерфиг романом «Фрюденхольм» внес большую лепту в борьбу с антикоммунизмом. Эта книга клеймит официальную Данию, готовую сегодня вновь продавать независимость страны иностранным державам. В то же время этот роман полон глубокого доверия к здравому смыслу и решимости простых людей.

Мы узнаем из этой книги, как различные люди вели себя в годы оккупации, как под влиянием событий менялись взгляды, в частности, какое значение для многих людей имела битва за Сталинград. Книга стоила автору немалых трудов, и, окончив ее, он поклялся, что больше не будет писать романов. Но, прирожденный рассказчик, Шерфиг, конечно, не мог пойти против собственной натуры и, насколько нам известно, уже с головой погрузился в работу над новой книгой.

О реалистическом произведении Шерфига можно написать еще немало, но я пока ограничусь сказанным.

Вторая книга, вызывающая в Дании много толков, это последний роман датского министра культуры Юлиуса Бомхольта — «Ч. Ф.» «Ч. Ф.» означает член фолькетинга. Роман написан на острую политическую тему. Критика встретила книгу весьма недружелюбно, утверждая (не без оснований), что прежние произведения Бомхольта написаны лучше.

И, однако, все те, кого интересует датское рабочее движение, прочтут этот роман с пользой для себя. Прежде всего он интересен как симптом: в среде самих лидеров социал-демократии растет ощущение, что только идеи социализма, а отнюдь не политика датской социал-демократической партии могут повести за собой массы. Член фолькетинга Якоб Иенсен, в течение многих лет представлявший в парламенте один из ютландских избирательных округов, к началу действия романа — человек, постаревший от болезней и неудач. Влияние его падает, и другие уже готовы построить свою карьеру на его «костях». Бомхольт пытается свести счеты с партийной верхушкой, весьма правдиво изображая ожесточенную борьбу между членами фолькетинга и муниципалитета, редакторами, профсоюзными деятелями.

Бомхольт отмечает идейную деградацию, характерную для датских социал-демократов. Для многих руководителей этой партии борьба за социалистические идеалы подменяется борьбой за власть и бескрылым стремлением к чисто материальному благополучию. Добившись личного успеха, они, в сущности, начинают считать, что больше бороться не за что.

Бомхольт высказал в лицо своей партии много горьких истин, но все же он не решился до конца последовательно идти по той «опасной стезе», на которую вступил,— и книга выливается в напыщенную и банальную проповедь идеализма и сентиментальные рассуждения об общечеловеческой морали. По-видимому, в этой книге отразилась тревога автора и многих других лидеров социал-демократии, которые опасаются, что если социал-демократия не перестанет бороться только за экономические права (впрочем, и экономическую борьбу она ведет плохо), то более левые партии могут лишить социал-демократов ведущего положения у кормила власти, которое они занимали много лет.

Страх за судьбу еще одной партии — ревизионистской «социалистической народной партии» — явственно выступает в другом романе, который тоже вызвал дискуссию в литературных кругах Дании.

Это «Карнавал» Берге Мадсена, писателя, дебютировавшего в 1933 году романом из

жизни психиатрической клиники «Я — блаженный». Писатель изучал когда-то богословие, и один из героев его нового романа — человек, много лет работавший над большим произведением «об истинном, революционном Христе». Автор, постоянно сотрудничающей в газете «социалистической народной партии», предостерегает в своей книге от «министерского социализма» и гнусного оппортунизма, который в практике этой партии не может не бросаться в глаза даже ее сторонникам. Мадсен рисует тревожную картину будущего: он изображает Данию после того, как она стала членом «Общего рынка». Немецкие генералы вновь приобретают такую власть в стране, что молодым борцам за свободу приходится прибегать к весьма непарламентским способам борьбы с ними; а «народные социалисты» плетутся в хвосте буржуазных партий и в дни революционных выступлений на них обрушивается гнев рабочих.

В этой книге выведены также некоторые деятели искусства, и в их трактовке чувствуется беспокойство автора за судьбы искусства в Дании.

Вообще для датской литературы характерно, что писатели, которые прежде чуждались политики, теперь все энергичнее «завербовываются» современностью, и активное участие в борьбе способствует их художественной зрелости.

Я позволю себе под конец назвать еще один недавно вышедший роман — это «Дневная звезда» Таге Скоу-Хансена. Скоу-Хансен дебютировал пять лет назад романом из эпохи оккупации «Обнаженные деревья», который был тепло встречен критикой как на редкость зрелое для дебютанта произведение, успешно продолжающее в современной литературе реалистические традиции Хенрика Понтоппидана.

Действие нового романа Скоу-Хансена также происходит во времена оккупации — в последние недели войны в Ютландии. Тридцатилетнему участнику Сопротивления поручено ликвидировать опасного предателя. Роман повествует о драматическом столкновении двух людей и о внутренней борьбе главного героя, который заставляет себя выполнить поручение, в глубине души понимая необходимость уничтожить предателя, ибо если предатель останется в живых, он будет по-прежнему губить борцов-патриотов.

Роман Таге Скоу-Хансена вызвал много похвал, и его глубокое психологическое мастерство побуждает некоторых критиков сравнивать писателя с Достоевским. Однако в книге Скоу-Хансена отнюдь не делается попытки перевести проблемы Сопротивления в чисто психологический план. Проблематика ее вообще выходит за рамки оккупации, ибо книга с большой силой и очень своеобразно ставит злободневную современную тему: о личной **ответственности** каждого человека.

Я надеюсь, что эта короткая заметка даст советским читателям некоторое представление о том, что происходит в настоящее время в датской литературе. Все книги, о которых я здесь рассказал, написаны на политические темы, но это вовсе не означает, что я проявил тенденциозность в отборе — просто перечисленные романы вызвали наибольший отклик датских читателей. И это объясняется не только литературными достоинствами самих произведений, но и тем, что каждое из них в художественной форме отразило требование политического обновления Дании, необходимость которого с каждым днем становится все более очевидной.

КУЛЬТУРА и СОВРЕМЕННОСТЬ

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

БОМБА И ЗНАМЯ

Когда в конце прошлого года в Сан-Франциско состоялся самый большой в Америке поэтический фестиваль, где сорок поэтов выступили со своими стихами, которые публика в большинстве случаев встречала весьма холодно, это событие вызвало в американской печати довольно меланхолические отклики. Так, на страницах **«Нью-Йорк таймс бук ревью» Джек Джильберт** задался вопросом: «Нужны ли вообще поэтические фестивали, и возможна ли устная поэзия в наши дни, или это миф, дань традиции?» Безрадостные впечатления привели его к не менее безрадостному выводу: «Сама сущность современной поэзии делает ее непригодной для чтения перед большими массами».

Если под современной поэзией понимать модернистскую заумь, ныне уже тронутую академической плесенью, то Джек Джильберт, без сомнения, прав. Но ведь есть и другая, действительно современная поэзия, как есть и массовая аудитория, воспитанная не на ридер-дайджестах и романах Генри Миллера, а на лучших произведениях мировой литературы. Такая поэзия у такой аудитории пользуется признанием, и не снившимся участникам сан-францисского фестиваля, «печальные итоги» которого подводит Джильберт. Достаточно напомнить о том, как тысячи людей слушают на вечерах поэзии произведения советских поэтов, о том, как в один день раскупаются, расхватываются томики их стихов, изданные огромными тиражами. Поистине, «в Союзе республик пониманье стихов выше довоенной нормы». Это не могут не признать даже те, кто менее всего расположен в пользу социалистической культуры. Так, С. Леско пишет во французском буржуазном еженедельнике «Ар»: «Французские молодые поэты наших дней, вы можете позавидовать вашим советским соперникам! Их произведения немедленно публикуются десятками тысяч экземпляров. Молодежь и старики, профессора и рабочие — все в СССР читают поэтов, все приходят на вечера, где они выступают со своими стихами».

Этот расцвет поэзии, массовой в истинном, благородном смысле слова (как сказал Гюго: «Поэт — это звонкое эхо в сердце вселенной, чей голос внятен всем»), характерен не только для Советского Союза, но и для всех социалистических стран, где даже самое обыденное, повседневное — могучий и неиссякаемый источник поэтического вдохновения. Одно из многих свидетельств тому — проходивший недавно в Болгарии праздник поэзии и развернувшаяся вслед за ним на страницах болгарских литературных журналов широкая дискуссия о проблемах поэтического творчества.

Этот серьезный, обстоятельный и вместе с тем горячий, страстный и нелицеприятный «разговор о поэзии», как озаглавил **«Литературен фронт»** рубрику, где печатаются дискуссионные статьи, сам по себе знаменателен как один из неисчислимых признаков высокого тонуса культурной жизни, на которой не могла не отразиться самым благотворным образом очистительная работа коммунистической партии по искоренению последствий культа личности.

«После периода сектантства и догматизма и главным образом благодаря XXII съезду КПСС и ноябрьскому пленуму нашей партии,— пишет **Людмил Стоянов** в своей статье **«Поэзия вчера и сегодня»**,— у нас широко открылись двери для поэтического многообразия, для творческого поэтического соревнования. При этом наша поэзия не перестала коренным образом отличаться от запад-

ной буржуазной поэзии с ее бесперспективностью, пессимизмом и буржуазным декадансом. Наоборот, эта поэзия оптимистична, бодра, устремлена к светлому жизненному началу, направлена против империализма, прогрессивна и партийна в самом чистом смысле этих слов. Ее метод — реализм, ее идеал — осуществление коммунизма во всем мире».

Главным «узлом» этой дискуссии о путях и перспективах развития новой болгарской поэзии стала проблема традиции и новаторства, затронутая в статье молодого поэта **Стефана Цанева «В защиту свободного стиха»**, вокруг которой и разгорелись наиболее жаркие споры.

Обращение к свободному стиху Стефан Цанев связывает с необходимостью отказаться от устаревшей «поэтизации вещей»— как в человеческих отношениях, так и в поэзии:

«Сегодня влюбленные раскрывают свои чувства иначе, чем тридцать лет назад... Старые любовные письмовники сегодня пользуются успехом лишь в юмористической литературе. Но это не значит, что люди сегодня любят меньше. Нет, они просто возвращаются к более естественному, неприкрашенному выражению чувств и мыслей. Это относится не только к любви, но и к политическому мышлению. Если сегодня мы меньше кричим «ура», это не значит, что наша вера в наши идеи ослабела. Напротив, это говорит об уверенности, которая не нуждается в патетических выражениях, в экзальтированном самоподстегивании. Всякое преувеличение уже вызывает сомнение, показной пафос — смех».

Ради «депоэтизации» Стефан Цанев призывает «отказаться от классического стиха там, где он мешает, где он превращает в мелодию то, что мы хотим выразить прерывающимся дыханием, криком, пощечиной».

По мысли Цанева, речь идет отнюдь не о разрушении ритма и отказе от рифмы, не о формальном новаторстве. Свободный стих, по его мнению, призван помочь поэзии перестать быть живописью; свободный стих предпочитает осмысление вымыслу; свободный стих чужд всякого украшательства. И прежде всего свободный стих свободен от догм, в том числе и от догмы о полной архаичности классических норм стихосложения.

«Мы употребляем и классический ритм — там, где это нужно. Рифмы — где это необходимо. Четверостишие — если требуется. Но все это подчинено новой поэтике, новой динамичности, новому интонационному строю, новому видению мира, новой позиции по отношению к современности — позиции участников, а не летописцев».

Статья Стефана Цанева вызвала ответную статью **Слава Хр. Караславова**, полемический пафос которой чувствуется уже в самом ее названии — **«В защиту человеческой поэзии»**. Решительно выступая против попыток некоторых молодых поэтов в известном роде «сбросить с корабля современности» классическое наследие и национальную традицию, против мнимого новаторства, возводимого в ранг новой поэтики и новой динамичности, Караславов пишет:

«Каждый художник, который уважает себя, свое перо, бумагу и читателя, должен искать новые образы, новые формы и новое миропонимание, но искать их не в отрыве от душевного мира болгарина. Существуют вечные законы человеческого и поэтического развития, которыми нельзя пренебрегать. Настоящее новое строится на опыте прошлого. Человек не рождается совершенным. Он повторяет с каждым новым рождением этапы развития всего человечества... Это одинаково относится как к законам жизни, так и к законам литературы. Но некоторые мои молодые коллеги предпочитают, обманывая себя, считать, что с них начинается болгарская поэзия. Я говорю «обманывая себя», потому что они не настолько ограниченны, чтобы не знать, сколько модернистских веяний уже бесславно отшумело на нашей литературной ниве».

Сопоставляя стихи Стефана Цанева и Любомира Левчева, с одной стороны, и поэтов-модернистов старой школы Николая Райнова и Асена Златарова, с другой, Караславов приходит к выводу, что молодые болгарские поэты, ратующие за новые выразительные средства, за новую поэтику, в действительности лишь повторяют старое, тогда как, например, «Вапцаров, который учился у Яворова, не гонясь за формальной новизной, сумел влить в старые формы новое содержание».

Усматривая в поисках некоторых молодых поэтов некритически воспринятые чуждые влияния и отрыв от национальной традиции, Караславов пишет:

«Не напрасно великий критик Белинский говорил, что то, что не принадлежит Родине, не может принадлежать человечеству. Раз и навсегда нам надо отрешиться от рабской психологии слепого подражания чуждому и его превознесения. Стоя на родной почве, используя силы и опыт наилучшего в нашей литературе, мы должны создать произведения, которые принадлежат отечеству, а человечество само их оценит. Так делали и делают все большие поэты. А пользуешься ли ты рифмой или нет, это не имеет значения, и напрасно Стефан Цанев так рьяно защищает свободный стих. Если он называет поэзией беспомощную прозу, то роль такого защитника очень тяжела. И народная песня написана

белым стихом, вопрос только в том, можешь ли ты создать белый стих, близкий к народному, близкий болгарской душе, не потеряв вместе с тем своей поэтической индивидуальности. Для этого нужны талант и работа... А мы подчас тянемся к червивым яблокам скороспелой славы, вступая на легкий путь модернистского псевдоноваторства. И даже боимся вспоминать о принципах социалистического реализма».

Николай Стайков в своей статье **«Подлинная и мнимая поэзия»** также предостерегает против нигилистического отношения к классическому наследию, против разрушения сложившейся на протяжении веков стихотворной формы во имя «депоэтизации», о которой говорил Стефан Цанев.

«Я был и, наверно, останусь приверженцем традиционной, так называемой классической формы поэзии,— пишет Стайков.—...Я придерживаюсь классической формы не из конъюнктурных соображений... По моему убеждению, классическая форма представляет собой достижение прошлых поколений, которым нельзя пренебрегать, потому что в нем нашли реальное воплощение объективные, я бы сказал, естественные законы поэтического творчества».

Сущность классической поэзии, замечает Стайков, состоит в пластичности, а не в строфике и в рифмах, вот почему мы считаем классиками и Пушкина, и Маяковского, и Смирненского, и Вапцарова. Талантливый поэт с одинаковым успехом может достигать пластичности или образности стиха независимо от того, будет ли он писать рифмованно или нерифмованно. Но

«какова бы ни была стихотворная техника поэта, она должна привести его к определенному результату — к пластичности, к красивому, выразительному стиху. Между прочим, рифмы изобретены только для того, чтобы сделать стих выразительным, и я искренне недоумеваю, как некоторые действительно талантливые поэты могли потерять вкус к ним. По-моему, это все равно, как художнику потерять вкус к краскам, композитору — к звукам».

«Ахиллесова пята» так называемой интеллектуальной поэзии состоит, по мнению Стайкова, в тенденции сделать рационализм основой художественного метода, в отрицании образности и пластичности как основного закона искусства, а также в склонности к абстрактному мышлению и к абстрактному гуманизму.

Споры о форме, подчеркивает Стайков,— это неизбежно и споры о содержании, и наши опасения, связанные с извращением формы, это опасения за чистоту и глубину содержания.

От поэта — социалистического реалиста, хотя бы и представителя «интеллектуальной» поэзии, ждут решения не отвлеченных философских и нравственных проблем, а проблем, непосредственно связанных с развитием страны, с жизнью народа, с социалистическим строительством. Между тем многие болгарские поэты, по мнению Стайкова, уходят от этой главной задачи — в их творчестве отчетливо чувствуются реминисценции из чуждой нам, в основном западной, поэзии и, более того, дает себя знать опасная космополитическая тенденция.

Большинство участников дискуссии отмечает, однако, известную односторонность и узость крайних точек зрения, высказанных в выступлениях и «новаторов», и «традиционалистов». Так, в статье **«Поэзия в середине века»** **Петр Караангов** справедливо заявляет:

«Механическое провозглашение свободного стиха признаком современности, так же как и классического — признаком народности и верности духу национальных традиций, ошибочно... Абсолютизация формы не является правильной ни в том, ни в другом случае... А такая абсолютизация и связанная с ней известная доля претенциозности проявляется у приверженцев и классического и свободного стиха. «Классики», например, во всякой попытке поисков новых средств выражения видят слепое подражание и превознесение чуждого, становятся в позу единственных защитников национальных традиций, болгарской «душевности», «болгарского характера», а в результате нередко отождествляют элементарное мышление с народным».

По мнению Караангова, нет никаких оснований огульно отвергать то новое, что вносят в литературу молодые болгарские поэты, обращающиеся к свободному стиху: новая, «раздвинутая» поэтическая фраза, богатство ассоциаций и их более свободное движение умножают выразительные возможности поэзии и еще более приближают ее к современному человеку.

«Увеличивает ли ассоциативное мышление опасность эстетических и идеологических извращений в поэзии? — пишет он.— Трудности и опасности кроются во всяком движении вперед, но было бы извращением и утверждать, что надо стоять на месте, чтобы не сделать ошибочного шага...

Панчо Данчев в статье **«Насущные вопросы современной поэзии»**, опубликованной в журнале **«Пламк»**, с удовлетворением отметив оживление в болгарской поэзии как одно из следствий преодоления догм и запретов периода культа личности, для которого .были характерны «нивелировка индивидуальностей, пренебрежение к разносторонним духовным потребностям, творческим дерзаниям и проявлениям своеобразия личности», также останавливается на проблеме традиции и новаторства.

Данчев выступает против тех, кто всякое новаторство в области формы осуждает как «беспочвенные выверты», «эстетство», «мо-

дернизм» и т. д., и т. п., но вместе с тем предостерегает против холодного формализма, чуждого подлинной высокой поэзии:

«Я никоим образом не разделяю опасений тех опекунов поэзии, которые всегда склонны смотреть с подозрением и опасением на поэтов, обостренно, подчеркнуто заботящихся о форме. У нас есть отдельные мастера стиха, но поэтическое мастерство вообще не находится у нас на должной высоте. Поэтому в самой взыскательной, самой подчеркнутой заботе о форме, в самом смелом новаторстве в области формы нет ничего опасного. Опасность возникает тогда, когда забота распространяется только на форму или почти только на форму, когда за этой заботой мы не видим серьезного жизненного опыта, высокого гражданского волнения за судьбу человека, родины, коммунистического строительства и стремления разделить это волнение с читателем. Опасно и печально, когда основная забота поэта состоит в том, чтобы продемонстрировать мастерство, а не высказать сокровенные истины жизни. И здесь пролегает граница между новаторством и лженоваторством, граница, которую мы должны чувствовать и соблюдать. Именно на этой границе должна стоять на часах критика».

Касаясь так называемого «интеллектуализма», который иные молодые поэты объявляют стилем нашего времени, Данчев показывает, что за этим термином подчас скрывается новая догма, сужающая и обедняющая поэзию, или пустая претенциозность.

«Не всякому присущ философский подход к познанию мира. Но оказывается, это не препятствие для некоторых лишенных таких способностей поэтов. Становясь в позу мудрецов и открывателей новых истин, они обычно изрекают самые банальные и общеизвестные суждения, которые звучат еще нелепее от того, что выражены в стихах».

Что касается свободного стиха, то он, как и белый стих,— великолепное поэтическое оружие, замечает Данчев. Но это коварное оружие. Чтобы неритмичная и нерифмованная речь была поэзией, необходима большая сила и концентрация эмоций и мыслей, максимальный лаконизм лирического рисунка. Не всегда такая стихотворная форма позволяет наилучшим образом реализовать творческий замысел и творческие возможности поэта. Однако в сознании некоторых молодых поэтов представление о новаторстве трудно сочетается с использованием классической формы, со стихотворной традицией прошлого. Это происходит потому, что для них первым признаком новаторства является форма.

«Нет,— возражает им Данчев,— первым признаком новаторства является душевный строй лирического героя, современность его мышления и переживаний, его идейно-эмоционального отношения к жизни, к темам, которые он разрабатывает. Если это главное условие налицо, перед поэтом раскрываются широкие возможности формальных решений, в которых играют большую роль его эстетическая эрудиция и поэтическая культура. Тогда исчезает и недоверие к некоторым видам великолепного оружия формы, выкованным и завещанным великими мастерами не для временных целей, а для продолжительного и надежного пользования».

Некоторые молодые поэты и критики, по мнению Данчева, равным образом впадают в своего рода догматизм, когда, борясь против ложной патетики и пустой риторики, начинают вообще отрицать поэзию высокого пафоса:

«Я считаю, что такая тенденция неправильна. Неверно, что прямо и во весь голос выраженная политическая и художественная идея непременно приводит к внешне декларативной поэзии. Я не побоялся бы заявить, что существует полноценная художественная декларативная поэзия, если бы понятие «декларативная» не было так скомпрометировано. Но вопрос не в терминах. Я имею в виду жанр прямого публицистического, политического утверждения или отрицания, который дал не только нашей поэзии высокие образцы. Под образом в поэзии не следует понимать непременно изобразительный пластический образ. Основным образом поэзии является образ поэта, лирического героя».

Еще рано подводить итоги этой дискуссии. И не только потому, что дискуссия эта еще не окончилась, а прежде всего потому, что итоги ее должно подвести дальнейшее развитие болгарской поэзии и критики. Одно не вызывает сомнения — эти итоги будут радостными и обнадеживающими.

БЕДНЫЕ КЛАССИКИ

«Я возбуждаю дело о подлоге и идейной коррупции против человека по имени Герман Кестен». Если бы подобное заявление было направлено в Верховный суд ФРГ, его, конечно, не стали бы и рассматривать. Эко дело — подлог! Подумаешь, невидаль — коррупция! Не карать же всех, кто повинен в такого рода преступлениях,— этак меч боннской Фемиды давно притупился бы, а он должен оставаться обоюдоострым, чтобы разить редакторов «Шпигель» и прочих смутьянов, делающих достоянием гласности интимные факты из биографии достопочтенных государственных деятелей и вообще выносящих сор из избы. По сча-

стью, дело о подлоге, которое на страницах газеты **«Зоннтаг»** возбудил известный немецкий литературовед **Вальтер Виктор,** вынесено на суд литературной общественности, и тут уж Герману Кестену не приходится ждать снисхождения.

Кто же такой ответчик, и в чем именно он обвиняется? Из немецкой литературной энциклопедии, выходящей в Веймаре, мы можем узнать, что Герману Кестену, который недавно выпустил в издательстве Кнаур в Мюнхене однотомник Генриха Гейне, фигурирующий в исковом заявлении в качестве главной улики, сейчас 62 года, что «во время гитлеровской диктатуры он занимал антифашистскую позицию», а после 1945 года стал проповедником «холодной войны» против коммунизма».

«Это точно,— пишет Вальтер Виктор,— но этого мало перед лицом тех фактов, о которых мне предстоит сообщить. Коммунизм-то шутя справится с такими «проповедниками», как Кестен. Но перед нами такой омерзительный случай интеллектуального падения, что, мне кажется, остается только одно: за шиворот этого типа из честной компании! Конечно, поскольку речь идет о Гейне, скорее подобало бы извлечь шпагу из ножен и элегантно, изящно проткнуть Кестена. К сожалению, это невозможно. Объект требует метлы».

И Вальтер Виктор приводит некоторые факты, в свете которых литературный проходимец Герман Кестен, подвизающийся на ниве западногерманского литературоведения, предстает как рецидивист.

Не успев возвратиться из эмиграции в Мюнхен и подрядиться на службу к неофашистам, Кестен замахнулся на Курта Тухольского — замечательного немецкого писателя, чьи книги после прихода Гитлера к власти были сожжены, ибо в период Веймарской республики он последовательно и решительно выступал против войны и фашизма, разоблачал милитаризм, шовинизм, предательскую политику руководства немецкой социал-демократии. По-видимому, эта маленькая услуга снискала Кестену высокое расположение сильных мира сего. Ободренный успехом, он ополчился ни более ни менее как на Гете и, по словам Вальтера Виктора, «разделал его так, что коричневая бумага газеты «Вельт», напечатавшей эту пакость, должна была бы покраснеть от стыда». Не моргнув глазом, Кестен объявил, что у Гете «на десятки тысяч строк едва ли найдется одна хорошая», что все его творчество — это «жуткое количество писанины в рифму и не в рифму, сплошные банальности и пошлости», что если он и пользуется известностью (заметим в скобках — пожалуй, даже большей, чем Кестен), то только потому, что «подражал Шекспиру и Оссиану, Лессингу и Вольтеру, Пиндару и Анакреонту, Гомеру и Фоссу, Сафо и Горацию, Катуллу и Марциалу, Фирдоуси и Хафизу, индусам и китайцам, евреям и шотландцам и всем немцам, которых он читал!»

«Вот он каков, Гете — по Кестену,— пишет Вальтер Виктор.— Но тут можно было бы измерить Кестену температуру и остальное предоставить органам здравоохранения города Мюнхена. С Гейне совсем другое дело. Здесь за дураком, «ниспровергнувшим» Гете, обнаруживается еще и подлец: этот субъект, почуяв конъюнктуру, впрягает великого немецкого поэта в упряжку Аденауэра и Глобке, лжет, мошенничает, фальсифицирует... Тут уж прямо невмоготу. Как хорошо, Генрих Гейне, что ты покоишься на Монмартре!»

С годами приходит благоразумие, и Герман Кестен «поумнел» с 1939 года, когда он издал Гейне со своим предисловием в серии «Форум», выходившей в Амстердаме при участии Томаса Манна, Стефана Цвейга и других писателей.

«Тогда еще Кестен знал, что Гейне любил «предрекать победу коммунизма», тогда он еще знал Гейне — революционера, борца за мир и свободу, тогда Кестен сидел за одним столом с коммунистами и антифашистами... Но сегодня стол занят шпиками боннской полиции, они хотят слышать совсем не то! И Кестен выкладывает:

1. «Гейне был одним из великих вождей и первых победителей в борьбе против коммунизма».

2. «Он сражался главным образом с тремя мирами — миром прошлого с его королями, дворянами, клерикалами и реакцией; миром настоящего с его крупной буржуазией, банкирами и промышленниками; миром будущего с его коммунизмом, враждебностью искусству и опустошенным, шаблонизированным обществом».

3. Гейне «нажил себе бесчисленных врагов — от своих личных до... коммунистических функционеров».

4. «Ортодоксальные коммунисты... сплотились для совместной атаки на Гейне».

Ну и Кестен, ну и эрудиция! Как тут не вспомнить стихи Гейне:

Und seine ganze Ignoranz
Hat er sich selbst erworben.*

Впрочем, даже у «христианско-германских ослов», как сказал бы Гейне, хватает ума прятать концы в воду. И во избежание разоблачений со стороны самого поэта Кестен на сей раз опустил в сочинениях Гейне все те места, которые противоречат его предисловию.

«Представьте себе, этот тип умудрился сделать вот что: он печатает французское предисловие к «Лютеции», предусмотрительно прячет его под им самим сочиненным заголовком, берет красный карандаш и вычеркивает — он, Герман Кестен, у Генриха Гейне! — слова: «Оно

* И все свое невежество он приобрел собственными силами.

давно уже осуждено и приговорено, это старое общество! Да свершится правосудие! Да будет он разрушен, этот старый мир, где невинность погибала, где процветал эгоизм, где человек эксплуатировал человека!»

Таковы методы «интерпретации» классиков, распространенные ныне в Западной Германии.

«Да и что еще остается Кестену и ему подобным, этой литературной ОАС Запада? — замечает Вальтер Виктор.— Что ж, как писал Гейне за несколько месяцев до смерти, «коммунизм, которому они первые попадутся на дороге, нанесет им последний удар; и, конечно, не ударом палицы уничтожит их этот гигант — нет, он просто раздавит их ногой, как давят жабу».

Кестен не одинок. Впрочем, не одинок и Гейне. Со Львом Толстым, например, обошлись ничуть не лучше. Об этом рассказывает **Кристиана Штульц** в фельетоне **«Гольдмановское произведение «Смуты и затишье» по мотивам Льва Толстого».**

«Человек, которого осенила достойная зависти идея создать бестселлер мировой литературы, назвал историю симпатичной девушки Наташи, соблазнительного графа Анатоля, надоедливого интеллигента Пьера и фривольной Элен «Война и мир». Этот заголовок совершенно нелогично переняло для карманного издания оного произведения мюнхенское издательство Вильгельма Гольдмана. Если исходить из гольдмановского текста и степени проникновения переводчика в текст оригинала, то заголовок должен был бы звучать примерно так, как мы позволили себе предложить в названии этой статьи».

Дело в том, что, как сказано в предуведомлении издательства, оно «в некоторых случаях предприняло сокращения и тщательную обработку текста — там, где это представлялось ему необходимым для создания приятного для современного человека чтения». Благородная задача!

«И уж кому, как не Гольдману, судить о вкусах современного человека и его умении читать,— замечает Кристиана Штульц,— ведь это второе по величине западногерманское издательство, выпускающее 120 томов пресловутых «крими» в месяц, принимает существенное участие в формировании соответствующего интеллектуального уровня».

И вот оказались опущенными историко-философские рассуждения Толстого, поскольку «они только прерывают поток действия и находятся ниже уровня сюжета», и сокращены «затянутые сцены», от чего «роман значительно выигрывает», как авторитетно утверждает издательство.

«Вообще жаль,— пишет Кристиана Штульц, поясняя соображения, которыми руководствовались «исправители» Толстого,— что этот в общем-то талантливый старик из Ясной Поляны так увлекался рассуждениями о смысле жизни и обычно приходил к хэппи-энду только после всяких обстоятельных экскурсов в философию и историю... Читай граф вместо Руссо побольше гольдмановских карманных изданий, он бы избавился от огромной лишней работы, да и издателям облегчил бы дело».

Исходя из своего понимания «современного чтения», непрошеные соавторы Толстого «сэкономили» 20 страниц за счет глав, предшествующих похищению Наташи Анатолем, само похищение изложили на двух страницах — «целиком собственными словами», и т. д. и т. п.

Мучительные раздумья Пьера о смысле жизни переводчик нетерпеливо «обобщил» во фразе собственного сочинения: «Он услышал шепот предостерегающего голоса, но под действием вина сказал себе: «Ничего!»

«О, если бы переводчик придал этот взятый с потолка шепчущий голос своей собственной совести! — пишет Штульц.— Но увы! «Ничего»,— подумал он и стал дальше улучшать Толстого!»

Продолжая открывать все новые «красоты» в гольдмановском издании «Войны и мира», Штульц приходит к выводу, с которым трудно не согласиться:

«Возможно, Толстой пожалел бы о своем поучении «не противься злу насилием» как о слишком поспешном, попадись ему на глаза вот это творение под его именем:

«Уже его губы были на ее губах; тогда послышались шаги Элен в соседней комнате...

Наташа не могла заснуть всю ночь. Ее мучил вопрос, кого она любит: Анатоля или князя Андрея.

Вошла Соня. Наташа сказала: «Соня, голубка, я не могу с этим больше бороться: я люблю его...»

Соня не поверила своим ушам. «А Болконский? — спросила она.— Неужели с ним уже все кончено? Этого я не понимаю».

На этом месте читатель с отчаянием спросит: «Неужели с Толстым уже все кончено?» И переводчик должен будет сознаться: «Я не могу с этим больше бороться. Я люблю Куртс-Малер» (Немецкая писательница — автор бульварных романов.— *Ред.*).

АБСУРДНАЯ КРИТИКА И КРИТИКА АБСУРДА

Состояние современного искусства и литературы в капиталистических странах вызывает законную тревогу у наиболее дальновидных деятелей зарубежной куль-

туры. Все чаще слышны на Западе трезвые голоса, предупреждающие о бесплодности конкретной музыки, абстрактной живописи и «алитературы». В дискуссию вокруг этих вопросов включился и американский журнал **«Тиэтр артс»** («Театральное искусство»), поместив в одном из последних номеров две статьи, выражающие две точки зрения на так называемый «театр абсурда». Автор одной из них, **Фобион Бауэрс,**— ревностный почитатель «антитеатра», считающий, что сочинения абсурдистов чуть ли не знаменуют рождение новой драмы. Об этом, по его мнению, свидетельствует кассовый успех подобного рода спектаклей, благосклонное отношение к абсурдистам всяких благотворительных фондов, а также появление ряда исследований по данному предмету.

Предоставим, однако, слово нашему автору, хотя выражается он довольно темно и проследить за ходом его мыслей — труд нелегкий. Каким видится Бауэрсу «театр абсурда», можно понять из его описания пьес С. Беккета и изложения его, с позволения сказать, философии:

> «Его темы — универсальны. «Полюбит она его или нет?» — этот вопрос не интересует драматурга; его заботит другое: «Что делать с грязью, что внутри человека?» Я, конечно, упрощаю, но на этой предпосылке держится все остальное... Действительная жизнь — грязь... Господь не является, даже когда очень нужен. Мы живем в напрасном ожидании, но даже если бы он и пришел, мы бы все равно чего-то ждали. Конец света уже наступает («Конец игры»). Люди изолированы друг от друга и могут общаться только с помощью магнитофонной ленты («Последняя лента Крэппа»)...»

Представив таким образом творчество одного из родоначальников «новой» драмы, Бауэрс вслед за экзистенциалистами утверждает, что это «прямая противоположность абсурда», ибо абсурдна сама действительность.

Для подкрепления своего тезиса автор приводит куски из «антипьес», с удовлетворением констатируя, что, например, пьеса американца Джека Гелбера «Яблоко», представляющая собой «калейдоскоп мимолетных образов и картин», демонстрирует «зримую независимость от фабулы, логики событий, материала».

Бауэрс подчеркивает, что абсурдистов интересует прежде всего та «реальность», которая «постигается только через призму искажений и нелепостей, например, посредством сновидений». Приведя слова персонажа из «Балкона» Жана Жене: «Реальность лишена одного ценного качества — лжи, так что забыться мы можем только в мечтаниях», он задается многозначительным вопросом: «А может быть, настоящая реальность и состоит в сомненье, в вопросе — где же она, реальность?»

Бауэрс повторяет обычные аргументы буржуазной критики в защиту «антитеатра», которые сводятся к тому, что драматурги-абсурдисты, выворачивая наизнанку разговорные штампы, якобы заставляют нас понять бессмысленность обычной речи, неискренность выражения наших чувств. Но, окончательно запутавшись в этих сомнительных рассуждениях и памятуя, что лучший способ обороны — наступление, он обрушивается на зрителя, не желающего понять и принять абсурдную драму:

> «Драматурги хотят сказать то, что вы слышите: ничего, если вы ничего не слышите, и все, если слышите все.
>
> Если вам не нравится все это, значит, вы попросту упорствуете по каким-то, не имеющим отношения к той или иной пьесе причинам».

По утверждению Бауэрса, абсурд на сцене означает важный этап в развитии драматургии, и он с восторгом приветствует все, что «освобождает» театр от «оков» жизненной правды:

> «Первейшая задача «театра абсурда»— увеличить возможности театра до максимума. Он начал с неправильного языка, потом стал описывать ситуации и вскрывать наклонности, которые прежде оставались в тени... и теперь совершает большой прыжок к заветной цели — ничем не ограниченной свободе. Персонажи с тремя носами, людские голоса из мусорного ящика или кучи песка, человеческие существа, откладывающие на сцене яйца, негры в белых масках — всем этим исследуется не столько реальность, сколько границы приемлемого для театра. Что можно сказать, какой внутренний смысл может просочиться к зрителю, насколько правдиво можно говорить, когда ложь перестает быть запретной, и, наоборот, много ли можно лгать, когда автора не сдерживает требование правды? Эти вопросы и поднимают драматурги, даже если на сцене ничего не происходит, никто не приходит и не уходит, даже если нет ни завязки, ни кульминации, ни развязки».

Итак, «ничем не ограниченная свобода», трехносые герои, ни конца, ни начала... Бедный зритель! Каково ему, если даже Джек Гелбер не догадывается, по уверению Бауэрса, что его «Яблоко» — это пьеса «о кастрации, о смешении полов, об исчезновении противоположности между мужчиной и женщиной».

Бауэрсу убедительно возражает **Гленн М. Лоуни.** В его статье **«Театр абсурда — временное увлечение»** привлекает попытка исторического подхода к «новым» веяниям в театральном искусстве. Выделив три наиболее характерные, по его мнению, черты абсурдной драмы: «разрушение формы (хаос на сцене отражает хаос в мире), совершенно негативный взгляд на человека и его будущее, обесценение и загрязнение языка как средства общения»,— Лоуни справедливо отмечает, что подобные сочинения — продукт нынешней эпохи (разумеется, точнее было бы сказать — кризиса буржуазного мировоззрения как одного из следствий общего кризиса капитализма),

хотя «нигилизм и пораженческое воспевание тщетности человеческих усилий и отчаяния» заимствованы у философов прошлого.

Критик наголову разбивает аргументы тех, кто, подобно Бауэрсу, утверждает, будто Беккет и К° «расширяют возможности театра», «вносят в театр поэзию» и т. д.

Но, пожалуй, самое интересное в статье Г. Лоуни — это убедительное обнажение антигуманной сущности подобных модернистских вывертов:

> «У бедных греков в древние времена не было таких игрушек, как водородная бомба, но это обстоятельство не мешало великим трагическим поэтам изображать человека под гнетом рока, в таких же тягостных ситуациях, как те, которые складываются в нашем собственном, не очень комфортабельном мире. Однако, в отличие от драматургов абсурда, греки не воздевали в отчаянии руки, извергая каскад вывернутых наизнанку штампов. Человек сохранял достоинство под бременем безрассудной Судьбы, и после трагической катастрофы всегда оставалась надежда».

У Мольера, Аристофана и других классиков, продолжает критик, тоже были преувеличения, условности, «чудовищно нереальные ситуации», но у них

> «всегда фигурировал хоть один персонаж, который воплощал рационального, социального человека. Этого контакта с реальным миром, который ощущал зритель, нет в комических попытках абсурдистов. Возможные характеры и действия, о которых говорил старик Аристотель, давно выброшены на свалку... Чудовищные частности заняли место обобщений».

Театр по самой своей природе демократичен, продолжает Г. Лоуни, и доступность не есть нечто внешнее, не имеющее никакого касательства к идейным и художественным достоинствам произведения.

> «...Пьеса должна восприниматься зрителем без помощи либретто или комментатора... Большая драма при всей сложности, богатстве образов и глубине смысла всегда непосредственно сообщала что-то зрителю... Не странно ли, что театр, проповедующий бессмысленность, нуждается в ученых толкователях! Поклонникам абсурда следовало бы призадуматься над тем, что Софокл и Шекспир продолжают волновать того зрителя, который никогда не подвергался влиянию глубокомысленных критиков. Мне самому доводилось видеть, как были захвачены драмами Софокла и Шекспира греческие крестьяне и калифорнийские фермеры».

Гленн Лоуни решительно протестует против попыток причислить к прозелитам абсурдной драмы и тех молодых драматургов Запада, которые, не будучи «традиционалистами» и не чуждаясь поисков новых форм и средств художественного выражения, сознают высокое назначение и общественную ответственность художника. Так, Осборн в одной из последних пьес в целях «концептуального и эмоционального камуфляжа» своей сатиры использовал кое-какие приемы, бытующие в «абсурдной драме», но при этом

> «драматург умеет приводить в порядок свои мысли и материал и потому не поступает как дилетант, изображая хаос хаотичной пьесой».

И далее:

> «Элби, Пинтер, Осборн могут использовать технику абсурдного театра наравне с традиционными формами, и это обстоятельство, надо полагать, означает, что со временем эти новшества станут частью театральной традиции. Но трудно предположить, что могут быть начисто отброшены сотни лет сценической практики. Да и «театр абсурда» отнюдь не представляется подходящим кандидатом на предполагаемую вакансию. Эти бесчисленные «Годо», «Балконы» и «Лысые певицы» порядком уже поистрепались...»

Критик выражает надежду, что на смену надоевшим семейным комедиям и ловко сработанным бродвейским музыкальным обозрениям придут умные и мастерски написанные пьесы о тех проблемах, которые гнетут пророков Абсурда.

Мысль Г. Лоуни о том, что техника драмы абсурда может стать элементом большой театральной традиции, представляется, по меньшей мере, спорной, но нельзя не разделить его надежду на возрождение серьезного реалистического театра в США и в других странах Запада — надежду, которую вселяет неисчерпаемая и непобедимая сила гуманистического и реалистического искусства.

США, 1919.

ОНИ ОТСТАИВАЛИ ПРАВДУ О СТРАНЕ СОВЕТОВ

Из протоколов
Юридического комитета сената
Соединенных Штатов Америки

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Пять американцев прибыли в Россию.

Разные это были люди.

Сын священника и сам священник, по существу отрекшийся от сана и ставший профессиональным писателем.

Дочь американских интеллигентов, воспитанница университетов Невады и Орегона, писательница, педагог, художница.

Сын известного адвоката, питомец аристократического Гарварда, поэт, решивший повторить подвиг Байрона и устремившийся в пучину восстания, нет, не греческого, а мексиканского, друг Вильи и Сапаты, автор живописной и честной книги «Восставшая Мексика».

Дочь ирландских эмигрантов. В восемнадцать лет — корреспондентка лос-анжелесской «Геральд трибюн», в двадцать два — автор книги о безвестных золотоискателях Невады.

Полковник, ставший руководителем миссии Красного Креста в России. В прошлом — золотоискатель и шахтер, позже делец и землевладелец (поместье во Флориде), знающий и финансы, и дипломатию, и внешнеторговые дела, и внутреннюю экономику, и военное дело. Человек религиозный, консервативный, убежденный в нерушимости американского образа жизни.

Вот их имена:

Альберт Рис Вильямс,
Луиза Брайант,
Джон Рид,
Бесси Битти,
Раймонд Робинс.

В этом номере мы начинаем печатать документ большой значимости и силы — стенограмму свидетельских показаний пяти американцев в сенатской комиссии США под председательством сенатора Овермэна в феврале—марте 1919 года. Главная статья обвинения: симпатии к Советской России. (В значительной своей части этот материал публикуется на русском языке впервые.)

Американские антикоммунисты были по-своему дальновидны. Они забальзамировали сенатора Овермэна и сберегли его душу на десятилетия. В современной Америке Овермэн возвращен к жизни. Мало что изменилось в его облике, нехитром строе ума, наконец, в лексиконе. Как некогда, он воодушевленно восклицает: «Коммунизм грозит нашей свободе!..» Такое впечатление, что достопочтенного сенатора забальзамировали, не дав закончить очередной обвинительной речи, и предоставили ему эту возможность лишь через четыре десятилетия. «Коммунизм грозит...» — произносит сенатор по инерции, не подозревая, что нечто подобное он уже говорил. Впрочем, вряд ли его можно уличить в том, что он повторяется, так как, явившись в сегодняшнюю Америку, он предусмотрительно сменил имя и стал называться Маккарти или Маккарен... Стоит ли говорить, что и сегодня, как это было в 1919 году, многомудрому сенатору не под силу вызвать в очередную комиссию народ Америки, чья душа останется вольнолюбивой независимо от того, в каком облике восстанет Овермэн.

Но вернемся в 1919 год. Мы сказали: пятеро американцев были разные люди. Если бы их можно было представить себе за одним столом, вряд ли беседа их являла пример абсолютной солидарности и единодушия. Да это и понятно: Рид стал коммунистом, Робинс так и остался буржуа. Но тем более знаменательно единодушие, с которым они выступили в защиту молодой советской республики,— с такой отвагой можно отстаивать только то, что нерасторжимо отождествляется с твоим представлением о самых справедливых устремлениях.

Уместен вопрос: как могли пять интеллигентов, в том числе и те, кто далек от идеалов революции, прожившие в России немногим более года, в такой мере проникнуться ее идеалами и с такой самоотверженностью выступить на ее защиту?

В облике пяти американцев мы видим сынов и дочерей Америки, для которых колыбелью мужества была их родная земля. Как ни далеки были некоторые из них от революции, большие бури, потрясшие в начале века американскую землю, не могли не отозваться в их сердцах. «Если я солдатом буду, то пойду под красный стяг»,— повторяла Америка за Джо Хиллом. Казалось, никогда прежде Америка не была так близка к революции, как в те годы. Но то, что не произошло в Америке, стремительно назрело и разразилось сокрушительным социальным взрывом в России.

Каждый из пяти американцев прибыл в Россию своей дорогой и в разное время. Однако в более чем знаменательную пору, когда Россия совершала свое нелегкое, но радостное движение от февраля к октябрю, все они оказались там. В силу счастливых исторических обстоятельств Россия прошла в эти восемь месяцев расстояние, на которое в иных условиях потребовались бы десятилетия. На одной шестой земного шара время точно спрессовалось. И все, кто попал на обетованную русскую землю в эту пору, не могли не подчиниться законам ее революционного календаря.

Приехав в Россию, американцы приняли позицию очевидцев событий, точно и беспристрастно отмечающих факты. Люди безупречной честности и отваги, они все хотели видеть своими глазами. Вместе с русскими солдатами они были в блиндажах и окопах, вместе с рабочими — на баррикадах. Когда революционные полки штурмовали Зимний, четверо из пяти американцев вошли во дворец вместе со штурмующими. Главным критерием, которым руководствовались наши друзья, наблюдая русскую действительность, была честность.

Но есть обстоятельство, без понимания которого нельзя проникнуть в суть события: этих американцев хорошо знал Ленин. Нет, не только Джона Рида и Альберта Риса Вильямса, но и Бесси Битти, Луизу Брайант, Раймонда Робинса. Знал каждого из них и высоко ценил их стремление видеть правду. Сейчас трудно установить, когда состоялась первая встреча Ленина с Ридом или Робинсом, но одно несомненно: во всем, что касается отношений с американцами, у Ленина был свой план, план обстоятельный и тщательно продуманный, где такт сочетался с прозорливым расчетом, а терпение — с принципиальностью.

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС. Как позднее вспоминал Бильямс, он беседовал с Лениным несколько раз. Известен такой эпизод: на первоянварском митинге 1918 года Вильямс, решивший говорить с трибуны по-русски, неожиданно смешался и обратил просящий взгляд на Ленина, который стоял подле. «Enlist?..» — спросил Вильямс.—

«Вступать»,— быстро подсказал Ленин. Потом Ленин подал второе слово, третье. Зал, с восхищением и радостью наблюдавший за этим, бурно приветствовал и Ленина, и Вильямса. А при следующей встрече Ленин долго объяснял Вильямсу, как надо изучать русский: существительные, потом глаголы... только глаголы. Позже, встретив Вильямса на заседании Учредительного собрания, он спросил его: «А как ваш русский язык?»

ЛУИЗА БРАЙАНТ. Неоднократно встречалась с Лениным и Луиза Брайант, жена и подруга Джона Рида. Об одной из этих встреч, быть может первой, Брайант говорит в записке, адресованной Владимиру Ильичу и помеченной 3 января 1921 года: «Вы, должно быть, помните, что Рид и я брали у Вас интервью в связи с первыми четырьмя месяцами Советской власти». О другой встрече с Лениным Брайант упоминает в своей книге о Советской России. «Я никогда не забуду, как однажды, в самые мрачные дни блокады, я пришла к Ленину и попросила его разрешить мне поездку в Среднюю Азию, после того как в Наркоминделе мне решительно отказали в этом. Он просто посмотрел на меня и улыбнулся. «Я рад видеть в России человека,— сказал Владимир Ильич,— обладающего достаточной энергией для исследовательской деятельности. Вас, правда, могут там убить, но если все обойдется благополучно, поездка эта станет самым значительным событием в вашей жизни. Рискнуть во всяком случае стоит».

Брайант не пишет, что этой встрече с Лениным предшествовало письмо Рида Владимиру Ильичу, кстати, написанное за месяц до смерти автора «Десяти дней». «Моя жена, Луиза Брайант, нелегально приехала сюда из Соединенных Штатов в качестве представительницы влиятельных газет, которые последовательно выступают за признание Советской России... Я считаю, что было бы очень важно предоставить ей возможность встретиться с Вами и взять у Вас интервью...»

Брайант совершила поездку в Среднюю Азию, но уже после смерти Рида. На руках у нее был мандат Ленина: «...Очень прошу партийные и советские учреждения оказать всяческое содействие товарищу Луизе Брайант».

ДЖОН РИД. О чем говорили Ленин и Рид в те долгие полуночные часы, когда бродили под заснеженными кронами смольнинского парка или по нешироким кремлевским тропам? Рабочая Америка, Юджин Дебс и Билл Хейвуд были предметом бесед Ленина и Рида. С выходом «Десяти дней» Ленин все чаще говорил и о книге Рида. Именно о ней писал он: «Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важное для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата». А Надежда Константиновна добавила: «Книжка Рида — своего рода эпос».

БЕССИ БИТТИ. Кстати, на первоянварском митинге, о котором шла речь выше, рядом с Вильямсом была Бесси Битти. «Наконец вошел Ленин,— писала Битти в своей книге «Красное сердце России».— Его встретили могучей волной приветствий. Карие глаза Ленина блестели от мороза, на щеках горел румянец... Я стояла рядом с трибуной, и он пожал мне руку перед тем как подняться на нее». Бесси Битти вернулась в Россию в двадцать первом и вместе с М. И. Калининым совершила поездку на агитпароходе «Сарапулец», посетив районы Поволжья, охваченные голодом. Вернувшись в Москву, Бесси Битти была принята Лениным.

«Кажется, бывшая у меня Битти — автор книги "Red Heart of Russia"? — писал Владимир Ильич Г. Б. Краснощековой, которая сопровождала Бесси Битти в ее поездке, а потом была вместе с нею у Ленина в Кремле.— Нельзя ли мне на немного дней достать ее на просмотр? А может быть, есть у Битти и другие книги, брошюры? Или пару ее статей на разные темы?»

РАЙМОНД РОБИНС был единственным из американцев, занимающим официальное положение, с которым регулярно встречался Ленин. Впрочем, дело здесь не в официальном положении. Робинс несомненно был интересен Ленину лично. Золотоискатель, знавший снежные просторы Аляски и горные кряжи Невады, Раймонд Робинс, став

состоятельным человеком, не утратил ни острого восприятия жизни, ни жадного внимания к новым людям. Судя по всему, Робинс говорил с Лениным по широкому кругу вопросов, при этом проблемы экономических связей России и Америки здесь соседствовали с проблемами этическими и даже религиозными — как уже отмечалось, Робинс был человеком верующим.

Весной 1918 года, перед отъездом Раймонда Робинса на родину, по заданию Ленина был разработан проект советско-американских экономических связей, которые американец должен был вручить президенту. Ленин тепло простился с Робинсом и, расставаясь, выдал ему своеобразный мандат (путь через Сибирь казался небезопасным), который был адресован «Всем совдепам и другим советским организациям» и гласил: «Прошу оказывать всяческое содействие беспрепятственному и быстрейшему проезду из Москвы во Владивосток полковнику Робинсу...»

Следовательно, Ленин знал лично всех американцев, представших перед судом американского сената. Знал и немало сделал, чтобы убедить их в доброй воле Советской России. Нужен был опыт жизни Ленина, чтобы дружески расположить и активно завоевать ум и сердце этих людей. В этой связи поучительна история отношений Ленина с Робинсом.

Известно, что в момент октябрьского переворота в Петрограде находился весь дипломатический корпус. Аккредитованный при царском дворе, корпус исправно продолжал выполнять свои функции после февраля: и нейтральные державы, и тем более союзные не делали разницы между прежним монархическим и новым буржуазным правительствами России. Иное дело — республика Советов. Вопрос о признании даже не возникал, в такой мере лишенным смысла казался этот акт капиталистическому миру. Дипломатический корпус вначале открыто игнорировал правительство новой России, а когда это правительство переехало в Москву, не последовал за ним, а избрал местом своего пребывания Вологду.

И юридически, на правах его старейшины, и фактически, на правах представителя самой могущественной страны капитала, главой дипкорпуса был американский посол Фрэнсис. Советское правительство пробыло в Петрограде около пяти месяцев. За это время Фрэнсис лишь однажды видел главу советского правительства, да и то по весьма печальному поводу: 1 января 1918 года он явился вместе с дипкорпусом в Смольный протестовать против ареста членов дипкорпуса. Во всех обстоятельствах американский посол предпочитал сообщаться с правительством через лиц, которым он особо доверял. Именно таким человеком Фрэнсис считал полковника Раймонда Робинса.

Не исключено, что первые встречи Робинса с Лениным были инспирированы Фрэнсисом, как вполне вероятно и то, что американский посол имел достаточно полную информацию о том, что было предметом этих бесед. Но тут произошло нечто непредвиденное для американского посла. Уже в ходе первых бесед между Робинсом и Лениным Фрэнсис утратил контроль над своим представителем. И вот итог: Робинс, прибывший в Россию в качестве представителя официальной Америки, отбыл на родину, по существу, посланцем Советской России, имея на руках мандат Ленина. Как далеко пошел Робинс в своей защите республики Советов, читатель поймет, ознакомившись со стенограммой допроса.

Так закончился маневр американского посла с Робинсом. В мировой дипломатии нелегко найти другой такой факт, когда бы посол великой державы на таком крутом и ответственном этапе истории потерпел столь сокрушительное поражение. Разумеется, борясь за Робинса, Ленин проявил многие из тех важных качеств, которые так необходимы государственному деятелю и, быть может, дипломату: такт, интеллект, знание человеческой природы, умение строить отношения с людьми. Но искать ответ только здесь значит не понять всего. Сила Ленина заключалась в том, что в больших делах и малых он выступал как революционер, ломающий рубежи и преграды старого мира, как созидатель мира нового, за которым стоят свет и счастье завтрашнего дня, свет и счастье будущего.

Есть железная логика в том, что во всех делах, связанных с Америкой, другом и сподвижником Ленина был Джон Рид. Не случайно и то, что вокруг Рида сплотились эти американцы, выступившие в защиту Советской России. Исследуя историю нашего времени, наши потомки увидят в жизни Рида прообраз революционной истории века.

Плеяда бесстрашных, среди которых были и Фучик, и Пери, и Глезос, открывается именем Рида. Ленин прозорливо смотрел вперед, увидев в молодом американце храброго воина революции.

Символично, что документальный рассказ о подвиге пяти американцев, заключенный в стенограммах допроса, мы начинаем печатать в номере, отмечающем день рождения Ленина. Есть нерушимые принципы отношения к человеку, которые утвердил Ленин своей жизнью, всем строем своего общения с людьми. Человечность и бескомпромиссное отношение к принципам всегда были краеугольным камнем ленинского понимания жизни, в конечном счете ленинского гуманизма. Публикуемый нами документ утверждает эту истину с новой силой.

Савва Дангулов

ГОВОРИТ АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС

22–24 февраля 1919 года

М-р Хьюмс. Род занятий?

М-р Вильямс. Лектор и писатель.

М-р Хьюмс. Вы были прежде священнослужителем?

М-р Вильямс. Да. Был.

М-р Хьюмс. Были посвящены в сан?

М-р Вильямс. Да.

Сенатор Овермэн. Вы и сейчас считаете себя священнослужителем?

М-р Вильямс. Нет.

М-р Хьюмс. Приходилось ли вам бывать в Европе, после того как началась война 1914 года?

М-р Вильямс. Я был в Париже, когда началась мировая война 1914 года.

М-р Хьюмс. Сколько времени вы там находились?

М-р Вильямс. Около трех месяцев.

М-р Хьюмс. А затем вернулись в Соединенные Штаты?

М-р Вильямс. Да.

М-р Хьюмс. Сколько вы пробыли в Соединенных Штатах?

М-р Вильямс. До мая 1917 года.

М-р Хьюмс. Куда же вы направились в мае?

М-р Вильямс. Прямо в Россию.

М-р Хьюмс. Каков был ваш маршрут?

М-р Вильямс. Через Стокгольм в Петроград.

М-р Хьюмс. Вы поехали по чьему-либо заданию или просто как писатель и лектор?

М-р Вильямс. Я поехал в Россию от газеты «Нью-Йорк ивнинг пост».

М-р Хьюмс. Когда вы приехали в Россию?

М-р Вильямс. В июне 1917 года.

М-р Хьюмс. Сколько времени вы пробыли в России?

М-р Вильямс. До июля 1918 года.

М-р Хьюмс. Значит, около года?

М-р Вильямс. Примерно 14 месяцев.

М-р Хьюмс. Мистер Вильямс, не расскажете ли вы Комитету, каково было положение в России к моменту вашего приезда?

М-р Вильямс. Я приехал в Россию, когда у власти стоял Керенский, как раз во время созыва I Всероссийского съезда Советов в Петрограде. В Петрограде я пробыл месяца два-три, понемногу изучал язык и знакомился с положением в стране. Из Петрограда отправился в Москву, а оттуда на Украину. С Украины поехал вниз по Волге, потом — в Финляндию. Вернувшись из Финляндии, я побывал на фронте под Ригой; несколько раз ездил в деревню. Затем я пересек Россию по Транссибирской магистрали и покинул пределы страны.

М-р Хьюмс. И все это время у власти был Керенский?

М-р Вильямс. Нет. Большую часть России я объехал при Керенском, а потом вновь побывал в некоторых местах уже при советской власти.

М-р Хьюмс. Расскажите нам, что делалось при Керенском, какова была ситуация, чтобы можно было сопоставить положение при Керенском и при большевиках. Сначала расскажите о положении при Керенском.

М-р Вильямс. И в Петрограде, и в Москве я был свидетелем растущих беспорядков, вызванных войной, а возможно, и теми изменениями, которые произошли после первой революции. Во время своей поездки в глубинные районы я наблюдал еще большие беспорядки. В Тамбовской губернии, например, крестьяне захватывали помещичьи земли, нередко поджигали сено и усадьбы, и небо обагрялось заревом пожаров... На фронте я понял, в каких тяжелых условиях жили солдаты. Я видел, например, как солдаты босиком шлепали по замерзающей слякоти. Однажды на моих

глазах целый взвод прямо на поле с жадностью набросился на репу, потому что другой еды не было. Я видел трупы лошадей, павших из-за отсутствия кормов. Всюду и везде царил развал. В то же время в молодых советских учреждениях происходили дискуссии о том, чего хочет народ, и прежде всего...

Сенатор Овермэн. Вы говорите по-русски?

М-р Вильямс. Блестящим знанием русского языка я похвастаться не могу, но объясниться и прочитать несложный газетный текст в состоянии, потому что большую часть времени в России я провел среди солдат, крестьян и рабочих. Я относительно неплохо владею русской разговорной речью, хотя в то время я никак не мог назвать себя знатоком русского языка.

Сенатор Овермэн. Что означает слово «большевики»?

М-р Вильямс. Я попросил одного русского дать мне определение этого слова, и он сказал: «Большевики — это кратчайший путь к социализму».

Сенатор Овермэн. Извините, что перебиваю вас, но мне хотелось бы узнать, какой смысл русские вкладывают в это слово.

М-р Вильямс. Нарисуйте мысленно такую картину: перед вами русские солдаты, живущие в ужасных условиях; и вот к одному из них обращается представитель правительства Керенского с такими словами: «Доблестный русский солдат, во славу Великой России ты должен сейчас пойти в бой за Константинополь». И он отвечает: «Нам не нужен Константинополь. Нам нужен мир». И тогда солдаты начинают задумываться: «Правительство Керенского — империалистическое правительство. Оно хочет захватить землю, принадлежащую другим народам. Мы не хотим, чтобы другие народы захватили нашу землю, но мы не хотим и воевать ради захвата чужих земель. Наше правительство — обыкновенное империалистическое правительство». И вот некоторые солдаты стали понимать, что союзникам война нужна для тех же империалистических целей: захватить чужие земли и богатства других народов.

То же самое произошло и с рабочими. Правительство Керенского не удовлетворило их требований, не позволило им установить хотя бы частичный контроль над производством... Не был разрешен и вопрос о земле. Земля — крестьянам, мир — народу, фабрики и заводы — рабочим; ни одно из этих требований не было удовлетворено... правительством Керенского. Оно лишь заявляло: «Подождите до конца войны». А позднее: «Подождите до созыва Учредительного собрания». Проходил месяц за месяцем, и с каждым месяцем росли возмущение и гнев народа. Наконец народ сказал: «Если эта бессильная говорильня, называющая себя правительством, ничего не может сделать, мы попытаемся кое-что сделать сами»...

...Теперь, если разрешите, я вернусь к положению, которое создалось в 1917 году, когда крестьяне захватывали поместья, рабочие — фабрики, когда солдаты покидали окопы. В то время, однако, в стране была группа людей, которая, по-видимому, понимала, что происходит в России. Эти люди ясного ума осознали, что только программа радикальной перестройки общества в интересах народа может удовлетворить требования широких масс, стихийно поднявшихся на борьбу за глубокие, истинно радикальные преобразования; эти люди пользовались доверием масс и при этом знали, как применить их энергию в созидательных целях; эти люди понимали народ, и народ поэтому стал прислушиваться к ним. Я говорю сейчас не о Советах, а о партии большевиков... Большевистская партия состояла в основном из рабочих. В ее рядах не было такого количества образованных людей и представителей интеллигенции, как в меньшевистской партии или в партии социалистов-революционеров. Большевистская партия — прежде всего партия рабочего класса. А кто же лучше рабочих может знать, что нужно рабочим? Язык большевиков был языком народа, думы большевиков были думами народа, и поэтому они смогли четко и ясно выразить чаяния народа... Подлинным демократом является тот, кто верит в народ; хотя народ иногда бывает груб и жесток, но он всегда стремится к верной цели. Я считаю, что глубокая вера в народ особенно характерна для большевистской интеллигенции. Она ни минуты не сомневалась в том, что «освобождение рабочего класса есть дело рук рабочего класса» и что интеллигентам незачем придумывать разнообразные прожекты и навязывать их народу. Помню, группа фабричных рабочих пришла к Ленину с просьбой посоветовать им, как управлять фабрикой. Он развел руками и сказал: «Почем я знаю? Пойдите попробуйте, а потом приходите ко мне опять и расскажите, как это делается. Тогда я попытаюсь сделать из ваших ошибок соответствующие выводы и,— добавил он шутливо,— напишу об этом книгу».

...Однажды я приехал в небольшую украинскую деревню. Нашу повозку окружило примерно 300 женщин и около 40 стариков и детей... В разговоре с ними я допустил непростительную ошибку. Я спросил, потерял ли кто-нибудь из них своих близких на фронте. Взметнулись вверх руки, и по толпе, как вой зимнего ветра, прокатился стон. Тут я понял весь ужас, пережитый этими людьми. Маленький мальчик выбежал

из толпы с плачем: «Мой брат. Они убили моего брата». Женщины рыдали, и я никогда в жизни не слышал такого страшного рыдания. Откуда столько горя? В деревне совсем не осталось мужчин. Миллионы мужчин в России были отправлены на фронт, а возвращались лишь калеки да слепые.

М-р Хьюмс. Когда это было?

М-р Вильямс. Летом 1917 года. ...Вы знаете, что угнетенный народ России в ноябре 1917 года взял власть в свои руки и арестовал своих бывших тиранов, убийц и угнетателей. Я думал, что народ им жестоко отомстит. В Америке поступили бы именно так. В ответ на жестокость мы бы обрушили на угнетателей всю накопившуюся в наших сердцах злобу и горечь. Но Советы создали новые этические принципы. Когда они взяли власть в 1917 году, в тюрьму были заключены те, кто издевался над людьми, но одним из первых декретов советской власти был декрет об отмене смертной казни. ...Мне известно, что красный террор был введен в России лишь после того, как началась интервенция; после того, как на русских рабочих и крестьян была спущена свора русских монархистов и черносотенцев, после того, как подлая контрреволюция подняла голову в Москве и Петрограде. Только белый террор вызвал ответную реакцию рабочих и крестьян — красный террор... Вам постоянно расписывают все ужасы красного террора. Но один из выступавших в Комитете говорил, что он видел и красный террор и белый. Белый террор осуществляется там, где советская власть свергнута. Обратитесь к материалам мистера Аккермана из газеты «Нью-Йорк таймс». В одной из своих статей он сообщает, что поезд, увезший с Урала 2100 заключенных большевиков, доставил в Никольск только 1300 человек. Что же случилось с остальными заключенными? Оказывается, поезд был составлен из товарных вагонов без окон, без уборных; двери забили, продовольствия не дали. Люди умирали от голода, кончали жизнь самоубийством, а некоторые были расстреляны при попытке к бегству. Десятки заключенных, когда их снимали с поезда, умирали на руках работников американского Красного Креста. Подобная трагедия произошла с несколькими «поездами смерти», и враги советского правительства несут полную ответственность за это тягчайшее преступление...

В Хабаровске 16 советских учителей, обучавших детей по методу Монтессори, были скошены пулеметным огнем белых, и кровь их обагрила цветы, посаженные ими и их учениками.

Я не являюсь сторонником насилия, кем бы оно ни совершалось. Мне известно, что на многих американцев особое впечатление произвели рассказы о гибели пяти великих князей, брошенных в колодец. Считают, что их погубили большевики. Между тем в «поезде смерти» погибло не пять, а восемьсот человек. Не будем сейчас касаться их убеждений. Вот перед нами восемьсот простых рабочих, которые строили дома, мостили улицы, сеяли хлеб, добывали уголь, вели поезда. А вот пять великих князей, которые жирели на крови и слезах русского народа. Мне дороги все люди на земле, но если бы мне пришлось выбирать, кому отдать предпочтение, я бы сказал, что мои симпатии отнюдь не на стороне великих князей, а на стороне восьмисот рабочих и крестьян.

Сенатор Овермэн. Нам нужны только факты. Не отклоняйтесь от существа дела.

М-р Вильямс. Мне хотелось лишь сделать следующее заявление. Мы живем в бурное время, и я понимаю, что вам так же трудно разобраться в том огромном потоке фактов, который поступает со всех сторон, как и любому комитету, заседавшему во время Французской революции. Но придет день — и перед судом истории предстанут, с одной стороны, большевики, обвиняемые в проведении красного террора, а с другой — белогвардейцы и черносотенцы, обвиняемые в белом терроре. И когда судьи посмотрят на руки подсудимых, они увидят, что мозолистые натруженные руки рабочих и крестьян белее черных рук привилегированных дам и господ.

...Сенатор Овермэн. Естественно, интеллигенции, как вы ее называете, приходилось помогать правительству, иначе она навлекла бы на себя гнев Советов. Верно?

М-р Вильямс. Такая точка зрения здесь высказывалась неоднократно. Я с нею не согласен...

...Сенатор Овермэн. Вы заявили, что находились на службе большевистского правительства. Это верно?

М-р Вильямс. Да. Все это изложено мною в письменном виде, очень ясно и конкретно.

Сенатор Овермэн. Сейчас вы не поддерживаете никаких отношений с советским правительством?

М-р Вильямс. Нет.

...М-р Хьюмс. Правда ли, что газеты, выступавшие против советского правительства, были запрещены?

М-р Вильямс. Я могу говорить лишь о том, что было при мне.

М-р Хьюмс. Были ли запрещены оппозиционные газеты ко времени вашего отъезда из России?

М-р Вильямс. Ко времени моего отъезда в России значительным тиражом выходили газеты всех направлений. Соотношение было примерно такое: на одну большевистскую газету приходилось три антибольшевистских. Я бы хотел представить Комитету комплект одной язвительной и злобной антибольшевистской газеты, полной карикатур и пасквилей, которая даже в спокойные

времена в Америке была бы запрещена. Эта газета никогда не раскрывала военных планов, никогда не призывала к насильственному свержению советского правительства, к заговорам и к убийству представителей правительства. Потому ее и не закрыли. Ко времени моего отъезда из России были закрыты только те газеты, которые призывали к свержению правительства или занимались разглашением военной тайны. Непосредственно перед моим отъездом из Владивостока (это было до свержения Советов) в городе выходило шесть газет — четыре злобствующие антисоветские газеты и всего лишь две просоветские. Мне, правда, известно, что, когда контрреволюция подняла голову, когда союзники вторглись в Россию через Архангельск, а немцы угрожали Советам с юга, когда казаки наступали с Дона, а чехословацкие отряды продвигались по Сибири, принимались более решительные меры по запрещению враждебной прессы.

М-р Хьюмс. Верно ли, что ко времени вашего отъезда советское правительство закрепило за собой право закрыть любую газету, которая ведет пропаганду насильственного свержения правительства?

М-р Вильямс. Да.

М-р Хьюмс. По-вашему, это правильно?

М-р Вильямс. Я считаю, что любое правительство должно занимать такую позицию.

...Сенатор Уолкотт. Я хочу задать вам несколько вопросов. Насколько я понимаю, со времени возвращения из России вы ставили себе лишь одну цель — разъяснять политику советского правительства с вашей точки зрения, в свете имеющейся у вас информации. А вы не призывали в своих выступлениях или статьях к установлению советской формы правления в Америке?

М-р Вильямс. Нет. Не призывал.

Сенатор Уолкотт. У меня создалось впечатление, что вы выступали именно так, что ваша миссия, если можно так сказать,— не знаю, как бы это лучше выразиться, но вы понимаете, что я имею в виду,— заключалась в том, чтобы вести пропаганду за установление в США такой же формы правления, как в России. Словом, я считаю, что вы вели интернациональную пропаганду в пользу советского правительства. Может быть, я ошибаюсь?

М-р Вильямс. Вы действительно ошибаетесь. Я мог бы так определить свое отношение к Советам: ни вы, ни я не знаем еще, являются ли Советы удачной формой правления. Советское правительство еще не могло проявить себя в полной мере. Как я уже говорил, оно встретило огромные препятствия на своем пути. Я хотел лишь, чтобы американцы не смотрели на Россию, как на страну сплошного хаоса и разрухи, чтобы они поняли, что в России честно пытаются создать такое правительство, которого хочет народ. Я призывал американский народ дать России возможность определить свою собственную судьбу и пойти своим собственным путем.

Небезынтересно отметить, что идея Советов впервые возникла в Америке, у некоего Дэниела де Леона.

Мы должны сейчас занять выжидательную позицию. Нужно посмотреть, смогут ли Советы добиться улучшения жизни народа, подъема культуры и искусства, более правильного распределения продуктов. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что, если советскому правительству удастся со временем доказать определенные преимущества своей системы, мы примем такую систему правления, потому что американцы хотят воспринять все лучшее, что есть в мире. Я уверен и в том, что преимущества нашей системы будут использованы Советами для ликвидации тех недостатков, о которых вы говорили.

Сенатор Уолкотт. Значит, вы не призываете американцев принять советскую систему правления?

М-р Вильямс. Конечно, нет.

Сенатор Овермэн. Я хочу спросить вас, пытались ли вы создать такое же правительство в Соединенных Штатах?

М-р Вильямс. Нет.

...Сенатор Уолкотт. Вопрос, который я хочу вам сейчас задать, непосредственно к делу не относится. Если не хотите отвечать на него, можете не отвечать. Я вас спрашиваю больше из любопытства. Допустим, вы убедились, что советская форма правления — это лучшая форма правления в мире, и стали агитировать наш народ за принятие такой системы в США. Сочли бы вы возможным действовать в Америке русскими методами, то есть добиваться цели вопреки конституции? Иными словами, будете ли вы требовать конфискации частной собственности?

М-р Вильямс. Вопрос действительно очень неконкретный. ...У каждой страны свой путь экономического развития, который определяется спецификой ее экономических условий. Такова позиция Ленина. Ленин считает, что каждая страна должна разрешать стоящие перед ней проблемы так, как это диктуется образом жизни ее народа и конкретными условиями. В Америке не обязательно вводить советскую форму правления, у нас может возникнуть какая-то новая форма. Даже ныне существующая в Америке форма правления постепенно меняется.

...Сенатор Овермэн. Вы сказали, что хотите сделать Комитету некое сообщение. Можете продолжать... Надеюсь, вы не станете повторяться.

М-р Вильямс. Конечно, нет. Зачем? Это бессмысленно, если мне так и не удалось доказать вам то, в чем я сам глубоко убежден. Советское правительство действительно пользуется любовью и доверием народа. Я не возьму на себя смелость утверждать, что мне известна вся правда о России. Но я рассказываю о России только правду, я излагаю свою точку зрения и исхожу из личного опыта.

Сенатор Овермэн. Я забыл, когда вы уехали из России?

М-р Вильямс. Я уехал из Владивостока в июле.

Сенатор Овермэн. А когда вы уехали из Петрограда?

М-р Вильямс. Из Центральной России — в мае.

Сенатор Уолкотт. Значит, вы были в Центральной России, в районе Петрограда и Москвы, при советской власти только с ноября по май?

М-р Вильямс. Всего около года, а с ноября по май — при советской власти.

Сенатор Овермэн. Считаете ли вы, что значительная часть населения России за большевиков?

М-р Вильямс. Да. Я уверен, что русский народ за Советы. Советы существуют уже 15 месяцев, хотя пророки утверждали, что они проживут три дня, ну, три недели, в крайнем случае три месяца. Однако никто не станет отрицать, что сегодня Советы сильнее, чем когда бы то ни было. Ллойд Джордж сказал, что хотя Советы беспощадны, вы должны признать, что они безусловно жизнеспособны.

Сенатор Овермэн. Это верно. Но я спрашивал вас не о том. Считаете ли вы, что большинство русского народа — мы сейчас не касаемся Советов — поддерживает большевиков?

М-р Вильямс. Вместо ответа можно просто сослаться на выборы. При советской власти около 90 процентов населения в возрасте от 18 лет — как мужчины, так и женщины — имеет право голосовать. И они, как видно, голосуют за советскую власть. Часто говорят: «Да, но это несвободные выборы; они проводятся в атмосфере запугивания». Это совершенно неверно. Вот как я могу ответить на это: во Владивостоке чехословаки вместе с японцами и англичанами уничтожили советскую власть. Месяц спустя они назначили выборы, заявив при этом, что «теперь, когда все тираны в тюрьме, а диктаторы убраны с пути, можно провести свободные выборы». В избирательных списках было 17 политических партий. Кто-то даже сказал, что если в комнате трое русских, значит, представлены четыре политические партии. Большевики не пользовались во Владивостоке большим влиянием, так как это был город богатый. Но, когда подвели итоги, оказалось, что за большевистский список № 17 голосовало больше избирателей, чем за все остальные 16 списков, вместе взятые. Я не думаю, господин сенатор, что все избиратели города Владивостока были большевиками. Вероятно, результаты выборов объясняются тем, что население хотело подчеркнуть свое отрицательное отношение к интервенции... Я хочу еще добавить: один канадский офицер, вернувшийся из Омска месяца полтора назад, сказал, что, по его мнению, в Омске, городе с двухсоттысячным населением, 75 процентов составляют большевики. Мистер Аккерман заявил, что во всей Сибири народ только и говорит о большевиках.

Сенатор Уолкотт. Но, с другой стороны, тут выступали свидетели, недавно вернувшиеся из России (причем некоторые вернулись только в ноябре прошлого года), и они считают, что число большевиков не превышает 3 процентов населения страны.

...**М-р Вильямс.** Подсчитать очень легко. С фронта вернулось около 12 миллионов солдат. Половина из них, даже больше половины, вернулись с винтовками. Значит, у населения оказалось шесть, а может быть, восемь миллионов винтовок. Если бы широкие народные массы действительно ненавидели Советы... то врагам советской власти нетрудно было бы сколотить армию в 6—8 миллионов штыков. Но этого не произошло. Каждый раз, когда Советам угрожала опасность, винтовки и штыки поднимались в их защиту... Известно, что у союзников в России есть четыре или пять опорных пунктов, которые являются базой для консолидации антисоветских сил. У нас, например, есть опорный пункт в Архангельске. Туда мы забросили 20 000 солдат, из них около 5000 — американцы, остальные французы, итальянцы и сербы. Между тем сведения, поступающие из России,— а это надежные сведения, господа сенаторы,— говорят о том, что только 1200 русских присоединились к многотысячным союзным войскам. Англичане послали 700 или 800 офицеров для обучения русских, но на долю каждого офицера приходится примерно один обучающийся... Наши войска вторглись в Сибирь; союзники бросили на помощь антисоветским силам примерно 75 тысяч чехословаков и 60 тысяч японцев. Правда, 40 тысяч из них резервисты, тем не менее они находятся в Сибири. Мы предоставили антисоветским силам английские, французские, итальянские и американские войска. А каков результат? Враги советской власти получили все виды помощи — моральную, экономическую, военную и всякую иную, но ни одно антисоветское правительство не могло просуществовать и дня после эвакуации союзных войск. Тут же возникают Советы... Враги Советов просят нас посылать все новые и новые войска и не отзывать те, которые находятся сейчас в России... Недавно один англий-

ский атташе писал: «Ради бога, признайте советское правительство. Это единственное правительство, которое может существовать в России». К июню 1918 года почти все мятежи против советской власти были подавлены, и советское правительство было признано на всей территории страны. Антисоветские правительства существовали в Харбине и других отдаленных городах. Но если бы хоть один из руководителей этих бумажных правительств осмелился сунуться в Сибирь или другие районы России, его бы просто сочли уголовным преступником.

В июне 1918 года, до начала интервенции, Советы полностью контролировали обширную территорию Центральной России и Сибири. К этому времени Советы прочно утвердились как правительство всей России. Во Владивостоке Советы пришли к власти без единой жертвы. Однако, когда союзники свергли их во Владивостоке, больницы не могли вместить всех раненых, и их приходилось размещать просто в складских помещениях. Тысячи людей погибли потому, что они грудью стали на защиту Советов... Почему же русские так преданы Советам, хотя они не дали народу ни хлеба, ни одежды, ни жилищ? Советы дали народу другое, дали то, в чем он нуждается не меньше, чем в хлебе. Впервые в жизни у народа появилась организация, понятная и близкая ему, организация, где самый маленький человек может сказать все, что думает... Впервые при Советах на тружеников смотрят как на людей, а не как на рабочий скот... Эти прежде угнетенные, пассивные и оглупленные люди получили благодаря Советам возможность активно участвовать в жизни, создавать новый мир и новый порядок... Правы ли советские рабочие, крестьяне или нет,— это другой вопрос, но они убеждены в том, что им суждено выполнить особую миссию. Зная, что остальной мир имеет свой собственный общественный строй, они хотят создать новый общественный порядок, который, как они верят, потом будет принят всеми странами мира.

М-р Хьюмс. Вы называете себя поборником большевизма, вы говорили, что защищали и защищаете большевиков.

М-р Вильямс. Совершенно верно.

Сенатор Уолкотт. Мне бы хотелось сказать, что все выступившие здесь свидетели производят впечатление людей вполне беспристрастных. Вы же, если мне не изменяет память, сами заявили здесь, что являетесь в известном смысле защитником большевиков.

М-р Вильямс. Совершенно верно. Я хочу доказать, что большинство американцев знает лишь о том, как восприняли революцию пять, максимум десять процентов населения России. Я не собираюсь отрицать, что эти люди серьезно пострадали, лишившись, может быть, самого необходимого. Но я здесь для того, чтобы рассказать, как относится к советскому правительству 90 процентов населения России.

Сенатор Уолкотт. Между прочим, те многочисленные свидетели, которые здесь выступали, ни в коем случае не согласились бы с вами, что 90 процентов населения поддерживает большевиков. Они говорят как раз обратное.

М-р Вильямс. Это мне известно. Я один из тех свидетелей, которые придерживаются другой точки зрения. Вы поверили тем, кто выступал здесь до нас. Их заявления показались вам более убедительными, чем мои. Но если бы вы услышали здесь показания мистера Робинса, мистера Томпсона и мистера Уордуэла из американского Красного Креста, мистера Луиса Эдгара Брауна, доктора Рейхмана, мистера Кэдди, участвовавшего в миссии квакеров, доктора Кунца, мисс Битти из журнала Макколла, Джерома Дэвиса и мистера Хемфриса из Христианской ассоциации молодых людей, тогда, возможно, вы сказали бы, что я недостаточно решительно выступаю в защиту советского правительства.

Сенатор Уолкотт. Все прочие свидетели выступали здесь беспристрастно. Вы же сами не отрицаете пристрастности своих показаний.

М-р Вильямс. Ни один свидетель не был беспристрастен. Небеспристрастен и я, конечно, потому, что видел своими глазами все то, что происходит в России... Не знаю, как убедить вас, не думаю, что мне это удастся, но советская власть — единственная подлинная сила, способная полностью удовлетворить все нужды русского народа. Я верю в нее всей душой потому, что другие правительства России не могли продержаться у власти и тем самым доказали, что не имеют права на жизнь.

...**Сенатор Уолкотт.** Некоторые свидетели заявили, что большевистская партия является правящей, потому что она стоит у власти, хотя она и не представляет в Советах большинство народа.

М-р Вильямс. Они не могли бы возглавлять Советы, если бы не имели большинства.

...Я не знаю, о чем еще говорить. Я поставил своей целью довести до вашего сведения свое убеждение, что в России существует правительство, которое называется советским правительством, что это правительство живет и определенным образом действует, что оно обладает реальной силой и пользуется подлинным авторитетом в массах населения, что оно является единственно возможным в стране правительством. Советское правительство очень высокого мнения об американских специалистах — инженерах, организаторах производства и т. д. В Рос-

сии нет никаких препятствий для широчайшего промышленного развития.

...Совершенно очевидно, что советская система пробудит в народе энтузиазм и тем самым откроет широкий простор для применения созидательных сил народа. Никто не может сказать того же о нашей системе, где рабочего интересует прежде всего заработок, а вовсе не работа. Значит, в Советской России есть не только огромные богатства, но и рабочие, горящие энергией и энтузиазмом и желающие трудиться.

При советской власти энергия людей не растрачивается в спорах по поводу присвоения плодов труда, а полностью высвобождается и направляется на расширение производства. Русские очень хорошо относятся к Америке. Сам Ленин испытывает к Америке большую симпатию, и некоторые члены большевистской партии часто обвиняют его в том, что он играет на руку американским капиталистам. Дело не в том, что американские капиталисты нравятся ему больше, чем другие; он просто ясно видит, что союз с далекой Америкой является наиболее целесообразным для Советской России.

...М-р Хьюмс. Мистер Вильямс, еще несколько вопросов. Вы поехали в Россию как корреспондент или как писатель?

М-р Вильямс. По заданию газеты «Нью-Йорк ивнинг пост».

М-р Хьюмс. Газета платила вам?

М-р Вильямс. Нет.

М-р Хьюмс. Вы пробыли в России год?

М-р Вильямс. Да.

М-р Хьюмс. Сколько времени вы находились на службе большевистского правительства России?

М-р Вильямс. Недель пять, а может быть, восемь.

М-р Хьюмс. В субботу вы показали, что за определенную работу получили от советского правительства 300 рублей.

М-р Вильямс. Верно.

М-р Хьюмс. Больше вы ничего не получали?

М-р Вильямс. Точно не помню. Кажется, я получил всего 536 рублей. Кроме того, мне была предоставлена скидка на оплату номера в гостинице «Националь» и на приобретение железнодорожного билета по Транссибирской магистрали.

М-р Хьюмс. Это все? За остальное вы платили из собственного кармана?

М-р Вильямс. Не хочу подводить майора Робинса. Я занял у него 600 рублей и дал ему расписку. Надеюсь, что курс рубля понизится.

М-р Хьюмс. Меня не интересует, у кого вы занимали деньги, меня интересует, на чьей службе вы находились. Вы были на службе у Робинса или просто брали у него взаймы деньги?

М-р Вильямс. Я только занимал у него деньги.

М-р Хьюмс. Что же получается? Вы поехали в Россию от газеты «Нью-Йорк ивнинг пост», а деньги получали то ли от советского правительства, то ли от мистера Робинса.

М-р Вильямс. От советского правительства я получил в общей сложности не более 60 долларов. Я согласился получать деньги только потому, что хотел попасть в отдел пропаганды и заняться отправкой литературы в Германию, а также хотел участвовать в организации Интернационального легиона для борьбы с немцами. Кроме этих 60 долларов, я не получил и не мог получить от советского правительства ни цента.

М-р Хьюмс. Скажите, вы рассчитывали, что снова получите от советского правительства вознаграждение, когда откроете информационное бюро?

М-р Вильямс. Если бы я открыл информационное бюро, деньги поступали бы по обычным американским каналам, на основе обычных соглашений... Нам трудно понять, почему при Керенском рабочие вновь и вновь требовали увеличения зарплаты и почему Советам удалось сразу же покончить с этим. Комиссары получали не более 60 долларов в месяц, и рабочим, добивавшимся увеличения зарплаты, говорили: «Вы хотите получать больше, чем Луначарский, Коллонтай или Ленин?» И рабочие отказывались от своих требований.

В ресторане гостиницы «Националь», где я одно время жил, было изысканное меню. Однако, когда гостиница была национализирована советским правительством и там поселился Ленин и другие комиссары, все изменилось. На обед нам давали суп и кашу или суп и мясо и, разумеется, чай. Без чая все преобразования в России были бы попросту невозможны.

...М-р Хьюмс. Здесь много говорилось о контрибуции, которую налагают комиссары, те самые, что получают по 60 долларов в месяц. В Америке это называют взятками, но я заметил, что в России предпочитают более изящное слово «контрибуция».

М-р Вильямс. Я полагаю, что почти все выступавшие в Комитете свидетели подтвердят абсолютную неподкупность видных советских руководителей. Другое дело, что не все согласны с их идеями. Они не боятся ни ответственности, ни работы, ни смерти. Такие люди — самое замечательное из всего, что я видел в новой России. Не знаю, кто посмеет обвинять их во взяточничестве. Разве есть основания для подобных обвинений? Вообще говоря, когда советское правительство пришло к власти, многих взяли на службу только потому, что они умели читать и писать. Вначале, как здесь уже говорилось, интеллигенция организовала саботаж против советского правительства. Интеллигенция не пожелала оказывать помощь рабочим и крестьянам, и Советы остро нуждались в работниках. В результате некоторым

взяточникам и мошенникам удалось пробраться в Советы. Вот такие люди, прикрываясь мандатами, накладывали так называемую «контрибуцию». Назвать это можно как угодно — «контрибуцией» или «взятками». Суть дела не меняется.

В бюллетенях, опубликованных советскими органами, было объявлено, что 40 процентов расстрелянных во время красного террора были наказаны за взяточничество и воровство.

...Вот что случилось в России: великий стопятидесятимиллионный народ разорвал оковы и впервые увидел свет. Яркий свет сначала ослепил людей, но вскоре они взялись за сложнейшую задачу: с глубокой верой в братство они стали перестраивать всю жизнь общества, чтобы создать новый справедливый строй. Кто-то в своих показаниях заявил, что русские стремятся в рай, но, чтобы попасть в рай, им нужно пройти через ад, и это в какой-то степени верно: рождение нового общественного строя, так же как и рождение ребенка, происходит в тяжелых муках и нередко сопровождается жертвами. Во время революции (то есть в продолжение почти восьми лет) в Америке также не было порядка, но кончились родовые схватки, муки и появился новый, более прогрессивный общественный строй. Тот, кто видит в революции одни лишь ужасы и безумие, попросту обманывает самого себя. Он видит лишь внешнюю сторону, истинное же существо революции скрыто от него: он не замечает великой стихийной борьбы масс за справедливость. Есть в Америке люди, которые протянули руку помощи русскому народу, которые работали в Советах, которые своими глазами видели русскую революцию, которые лично знакомы с советскими руководителями. Им тоже известны все антисоветские рассказы тех американцев, которые так и не поняли, что такое Советы. Пригласите их сюда, и они нарисуют совершенно иную картину русских событий. Они скажут, что создание советского правительства — это честнейшая попытка перестроить жизнь общества.

...Когда рабочие и крестьяне вооружились и Красная гвардия выступила на борьбу с немцами, Джером Дэвис передал русским вагон продовольствия. Ему активно помогал и другой наш соотечественник — Хэмфрис. Дэвис и Хэмфрис работали с русскими и потому смогли их узнать и понять их. Им известно истинное положение в России, и их показания будут не похожи на те, которые вы здесь слышали... Следует заметить, что сотрудники американского Красного Креста, действовавшие через Советы, прониклись к ним доверием и симпатией... Бесспорно одно: совсем по-разному рассказывают о России те, кто помогал русским, кто сотрудничал с Советами и увидел их суть, и те, кто стоял в стороне и смотрел на все, как на спектакль, кто не пытался заглянуть внутрь.

Сенатор Уолкотт. Кто платит вам за лекции, которые вы читаете по всей Америке? Я, конечно, имею в виду лекции о России, о большевиках и о советском правительстве. Не знаю, выступаете ли вы на другие темы.

М-р Вильямс. Моя единственная задача — рассказать американскому народу правду о России. Представьте себе, что выступает оратор и говорит лишь об одной стороне каких-то событий. Так и хочется перебить его и рассказать обо всем, что произошло. Ведь в лодке обычно гребут двумя веслами, а получается так, что все гребцы почему-то сидят на одной стороне. Лодка вот-вот перевернется. Прыгнуть бы в эту лодку, сесть на ту сторону, где никого нет, и навалиться всей тяжестью на весло. Тогда лодка будет плыть не накреняясь. Почти все время я греб в одиночку. Во всей Америке нашлось лишь несколько человек, которые в своих выступлениях подчеркивают все то хорошее, то конструктивное, что принесли с собой Советы. Занимать такую позицию не очень-то легко, даже помещение для лекции получить непросто. Но американцы хотят узнать правду о жизни Советской России, и меня постоянно просят выступать с лекциями. И я выступаю; чаще всего мои слушатели — люди среднего достатка, люди образованные. Если военная разведка интересуется моей деятельностью, что ж, пусть она просмотрит мои бумаги и проверит, откуда я получаю деньги. Тогда вы убедитесь, что большинство чеков поступает от экономических лиг, форумов и городских клубов (правда, от клубов гораздо реже) — словом, от различных массовых организаций. В Вашингтоне, например, меня принимали очень хорошо. За лекцию в Политехническом институте мне была выплачена приличная сумма. На следующий день после того как в газете появилась статья под названием «Вильямс требует красной Америки», в которой, даже по мнению генерального прокурора, собрание в Политехническом было представлено в искаженном свете, многие вашингтонцы, возмущенные газетной фальшивкой, просто подходили ко мне на улице и предлагали деньги. Среди них был капитан американской армии. Он дал мне десять долларов, сказав при этом: «Мне хочется помочь организации таких собраний, на которых люди рассказывают правду о событиях, свидетелями которых они были».

Так мне давали по 10, 25 и 30 долларов и просили чаще выступать с подобными лекциями и рассказывать правду о России. На прошлой неделе я был в Чикаго. Там в Рабочем институте состоялось большое собрание, на котором присутствовало 5000 человек. Им хотелось узнать как можно больше о положении

в России. За вход брали 15 центов, и я получил за лекцию 150 долларов. На следующий день я выступал в чикагском городском клубе, где собираются бизнесмены, которые вполне могут заплатить за вход. Однако после лекции меня только накормили обедом за 65 центов. Вот и все.

Сенатор Уолкотт. Мистер Хьюмс, располагаете ли вы какими-нибудь сведениями о том, кто финансирует, если так можно выразиться, деятельность мистера Вильямса?

М-р Хьюмс. Я не делал никаких запросов.

Сенатор Уолкотт. Видите ли, некоторое время назад военный министр издал приказ, запрещающий сотрудникам военной разведки сообщать какие бы то ни было сведения без его разрешения, поэтому у меня нет никаких данных.

М-р Вильямс. Вы, по-видимому, хотите, чтобы я сам выступал в роли разведывательного бюро и сам на себя доносил Комитету?

Сенатор Уолкотт. Вы говорили, что получаете пожертвования от американцев, интересующихся Россией, вроде того армейского капитана, и что вам платят за выступления на собраниях, как в Чикаго. Но меня интересует другое. Это и есть ваш постоянный источник дохода?

М-р Вильямс. Нет, постоянным его никак не назовешь. Довольно регулярно я получаю деньги от продажи брошюры под названием «Большевики и Советы». От каждого проданного экземпляра в мою пользу отчисляется полцента.

Сенатор Уолкотт. Значит, вы живете литературным трудом?

М-р Вильямс. Кроме того, я получаю за статьи, которые печатаются в «Нью рипаблик», «Нэйшн» и в других журналах.

...Сенатор Уолкотт. Получаете ли вы финансовую поддержку от каких-либо других организаций?

М-р Вильямс. Нет.

Сенатор Уолкотт. От Бостонской экономической лиги, например?

М-р Вильямс. Только гонорар. Там был организован русский вечер, на который были приглашены мистер Мэнсфилд из Русско-Американской торговой палаты, мистер Тэчер, Ольгин и я. В сущности, это был симпозиум.

Сенатор Уолкотт. Значит, Лига не платит вам жалованья?

М-р Вильямс. Нет, сэр.

Сенатор Уолкотт. Я задаю вам эти вопросы не из праздного любопытства. Комитет обязан установить, откуда поступают средства на пропаганду, если она действительно ведется, а также выявить те источники, которые могут быть использованы для финансирования ее в дальнейшем.

...М-р Хьюмс. Была ли использована в Америке какая-то часть суммы в 2 000 000 руб., ассигнованной в свое время русским правительством на ведение пропаганды?

М-р Вильямс. Русские ассигновали 2 миллиона рублей в 1917 году, и тогда же было организовано Бюро интернациональной пропаганды во главе с Рейнштейном. За счет этих средств Бюро опубликовало 3 брошюры на французском и английском языках. В них рассказывалось о положении в России. Насколько я знаю, только одна из этих брошюр попала в Америку. 99,9 процента из всей суммы — я все сам тщательно проверил — было израсходовано на литературу на языках Германской и Австро-Венгерской империи.

...Сенатор Уолкотт. Есть ли еще какие-нибудь вопросы к мистеру Вильямсу? Мистер Вильямс, желаете ли вы добавить что-нибудь к тому, что сказали?

М-р Вильямс. Я, кажется, сказал все. Хочу лишь ходатайствовать...

Сенатор Уолкотт. Вы здесь не в качестве обвиняемого.

М-р Вильямс. Хочу лишь ходатайствовать перед членами Комитета... Во время Французской революции в Англии заседал комитет, куда поступали сообщения из Франции. Представьте себе, как трудно было ему делать окончательные выводы об обстановке во Франции или принимать какие бы то ни было решения, как велика была его юридическая ответственность. Теперь, через 100 лет, мы рассматриваем Французскую революцию как событие колоссального исторического значения и, забыв о зверствах и насилии, считаем ее великим благом для всего человечества. А большинство лондонских комитетов того времени охарактеризовало бы революцию как разгул кровавого террора. Надеюсь, что ваш Комитет заслушает достаточно свидетелей, чтобы по-иному подойти к оценке русских событий. Тогда Америке не придется через 50 лет краснеть и извиняться за неправильные выводы о русской революции, которые были сделаны без анализа событий, по каким-то отзвукам и внешним данным, за выводы, сделанные без учета подлинного духа и подлинных идеалов русской революции. Вот и все. Надеюсь лишь, что господа сенаторы сочтут возможным вызвать в Комитет некоторых свидетелей, которых мы назвали.

Сенатор Уолкотт. Боюсь, что оценка, которую дадут русской революции через 50 лет, будет куда скромнее вашей. Я даже склонен считать, что через полвека все выводы нашего Комитета будут просто забыты.

М-р Вильямс. Возможно, господин сенатор. Но выводы Комитета имеют особое значение сейчас, когда американцы говорят о России то одно, то другое. Американцы еще не знают суждения тех, кто выслушал свидетелей обеих сторон и оценил сведения, полученные из самых разных источников. Поэтому ком-

петентное заключение, которое сделает Комитет, очень поможет нашему народу правильно взглянуть на Россию... Мне неизвестно, какую позицию собирается сейчас занять Америка в отношении России, но я думаю — да и весь наш народ придерживается того же мнения,— что интервенция провалилась. Однако некоторые предлагают организовать вокруг России кордон, отрезать ее от всего мира и медленно душить ее, душить до тех пор, пока она не сдастся.

Сенатор Уолкотт. Комитет не собирается определять, какую политику в отношении к России следует проводить.

М-р Вильямс. Я лишь надеялся, что, узнав правду, народ, отвергающий теперешнюю политику, сможет решить, какой курс в отношении России был бы правильный.

Сенатор Уолкотт. Если вы хотите еще что-либо добавить относительно положения в Советской России, мы будем рады вас выслушать.

М-р Вильямс. Нет, господин сенатор. Я сказал в сущности все, что хотел. Я лишь представлю вам некоторые опубликованные материалы. Вы можете ими воспользоваться, если пожелаете.

Сенатор Уолкотт. Выберите из ваших материалов все, что сочтете нужным, и передайте их мистеру Хьюмсу.

ГОВОРИТ ЛУИЗА БРАЙАНТ

20—21 февраля 1919 года

Сенатор Овермэн... Мисс Брайант, верите ли вы в бога и в святость клятвы?

Мисс Брайант. Разумеется, я признаю святость клятвы.

Сенатор Овермэн. Верите ли вы в то, что есть бог?

Мисс Брайант. Я допускаю, что он есть. Не располагаю возможностью знать это.

Сенатор Нельсон. Исповедуете ли вы христианскую религию?

Мисс Брайант. Разумеется, нет. И считаю, что в вопросах религии каждый свободен поступать по своему усмотрению. Это такая вещь, что...

Сенатор Нельсон. Стало быть, вы не христианка?

Мисс Брайант. Я крещена по католическому обряду.

Сенатор Нельсон. Ну, а в настоящий момент вы христианка?

Мисс Брайант. Пожалуй, да.

Сенатор Нельсон. И все же не верите в Христа?

Мисс Брайант. Я вовсе не говорила, что не верю в Христа.

Сенатор Нельсон. Значит, верите?

Мисс Брайант. Я верю в его учение, сенатор Нельсон.

Сенатор Овермэн. А в бога верите?

Мисс Брайант. Допустим, сенатор Овермэн, что верю.

Сенатор Кинг. Это очень важно. Неверующий не имеет понятия о святости клятвы, и, следовательно, приводить его к присяге бессмысленно.

Сенатор Уолкотт. Верите ли вы в возмездие и в награду на небесах?

Мисс Брайант. У меня создается впечатление, что меня допрашивают здесь по обвинению в колдовстве.

Сенатор Овермэн. Ничего похожего.

Мисс Брайант. Но я не замечала, чтобы кто-нибудь из других свидетелей подвергался подобному инквизиторскому допросу.

Сенатор Овермэн. Это не инквизиция, а обычная судебная процедура с целью выяснить, верит ли свидетель в святость присяги.

Мисс Брайант. Ну хорошо, допустим, что ад существует.

Сенатор Овермэн. Я спрашивал не об этом.

Мисс Брайант... и загробная жизнь тоже.

(Председательствующий приводит свидетельницу к присяге.)

...Сенатор Кинг. Перед тем как отправиться в Россию, давали вы в государственном департаменте присягу в том, что не будете принимать там участия в политической пропаганде?

Мисс Брайант. Да. И сдержала свое слово.

Сенатор Кинг. Вы считаете, что ответили на мой вопрос?

Мисс Брайант. Да.

Сенатор Кинг. Принимали ли вы в России участие в политической пропаганде?

Мисс Брайант. Нет, не принимала...

Сенатор Кинг. И не присутствовали на большевистских собраниях?

Мисс Брайант. Попробуйте доказать мое участие в этих собраниях.

Сенатор Кинг. Участвовали ли вы в собраниях большевиков?

Мисс Брайант. Только в качестве корреспондента.

Сенатор Кинг. Отвечайте точно на вопрос.

Мисс Брайант. Нет, не участвовала.

Сенатор Кинг. Но вы там присутствовали?

Мисс Брайант. Конечно. Как и все корреспонденты...

...Сенатор Уолкотт. Ваш муж также

присягал, что не будет принимать участие в пропаганде?

Мисс Брайант. Мой муж присутствует здесь. Спросите его самого.

Сенатор Уолкотт. Я спрашиваю, известно ли вам об этом?

Мисс Брайант. Адресуйтесь по этому вопросу к мистеру Риду. Я не обязана и не стану отвечать на вопросы, которые меня не касаются...

...Сенатор Уолкотт. Участвовал ли ваш муж в пропагандистской деятельности советских органов?

Мисс Брайант. Мой муж делал все, чтобы максимально продвинуть дело революции в Германии... Он работал в России в отделе пропаганды, и я могу предъявить вам соответствующие документы. Такого рода пропаганда не была ни для кого секретом. Вот доказательства...

Сенатор Нельсон. Это нас не интересует.

Мисс Брайант. Вас это не интересует?

Сенатор Нельсон. Нас не интересуют бумажки. Мы хотим фактов.

Мисс Брайант. Это и есть факты, и вы их обязаны приобщить к протоколу. Вот листовка, отпечатанная по-немецки и предназначенная для распространения в действующей немецкой армии, с тем чтобы...

Сенатор Нельсон. Не будьте же так назойливы.

(В зале аплодисменты, свистки.)

Сенатор Овермэн. Прекратите шум, или мы будем слушать показания мисс Брайант в закрытом заседании. Свидетельница имеет право на вежливое обращение.

Мисс Брайант. Надеюсь, что вы станете впредь уважать это право.

Сенатор Овермэн. Нам нужны факты, и мы заслушиваем показания мисс Брайант в соответствии с законом. Но в то же время мы хотели бы, чтобы она...

Мисс Брайант. Вы заявили, сенатор Овермэн, что я здесь не в качестве подсудимой. Я свободная американская гражданка и вправе рассчитывать на такое же вежливое обращение, как и остальные. До сих пор вы об этом не заботились.

(В зале аплодисменты.)

Сенатор Уолкотт. Господин председатель, я вынужден предложить освободить зал от публики. Пока это не будет сделано, мы не сможем продолжать работу.

Мисс Брайант. Освободить зал от публики? Но я буду давать показания только в открытом заседании. Они должны быть известны всем...

Сенатор Овермэн. Свидетельница имеет право быть выслушанной. Поэтому стенографисты и представители прессы могут остаться в зале, остальных прошу выйти.

...Мисс Брайант. Я прошу оставить публику в зале.

Сенатор Овермэн. Я распорядился очистить помещение.

Мисс Брайант. Прошу принять во внимание, что я единственная свидетельница другой стороны, единственная из всех дававших здесь показания, кто желал бы установления дружественных отношений между Россией и Америкой.

М-р Джон Рид. Нельзя ли остаться и мне? Я Джон Рид, муж мисс Брайант.

Сенатор Овермэн. Можете остаться. Все вышли, кроме репортеров?.. Прошу занести в протокол: в начале заседания имели место демонстративные действия, и я предупредил публику, что при повторении подобных действий помещение будет очищено. Не прошло, однако, и десяти минут, как демонстрация повторилась в еще более широком масштабе, и я распорядился, чтобы все, за исключением стенографистов и репортеров, покинули помещение. Показания свидетельницы будут занесены в протокол и доведены до сведения всех интересующихся.

...Сенатор Кинг. Вам, конечно, было известно о пропагандистской деятельности вашего мужа в России?

Мисс Брайант. Конечно.

Сенатор Кинг. И вы участвовали в этой его деятельности?

Мисс Брайант. Я протестую против наименования «пропагандистская деятельность». Позвольте мне сделать на этот счет разъяснение.

Сенатор Кинг. Таким образом, вы участвовали в его пропагандистской деятельности?

Мисс Брайант. Нет, никогда.

Сенатор Кинг. Когда вы покинули Россию?

Мисс Брайант. После роспуска Учредительного собрания.

...Сенатор Кинг. И направились затем в Стокгольм?

Мисс Брайант. Да.

Сенатор Кинг. Вы имели при себе паспорт, выданный большевистским правительством?

Мисс Брайант. Да, удостоверение курьера.

Сенатор Кинг *(читает)*. «Дано представителю американской демократии, интернационалистке, товарищу Луизе Брайант...».

Мисс Брайант. Верно.

Сенатор Кинг *(читает)*. «Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов предоставляет ей право свободного проезда...».

Мисс Брайант. Нет, это уже другое. У меня было при себе два документа. Это — репортерский пропуск на фронт.

Сенатор Кинг. Большевики именуют вас здесь «товарищем».

Мисс Брайант. Это не имеет значения. В России всякого, кто не враг, называют товарищем. Как во времена Французской революции все люди именова-

лись «гражданами», так русская революция окрестила всех «товарищами».

Сенатор Кинг. А официального представителя нашей страны назвали ли бы «товарищем»?

Мисс Брайант. Конечно. Мистера Робинса также называли «товарищем».

Сенатор Кинг. А мистера Фрэнсиса?

Мисс Брайант. Мистер Фрэнсис не пользовался популярностью у русских и не представлял в их глазах Америку. А полковник Робинс — другое дело... Все русские видели в полковнике Робинсе истинного представителя Америки. Посол же Фрэнсис — старый человек, явно не симпатизировавший революции.

Сенатор Уолкотт. А мистер Робинс, по их мнению, симпатизировал революционерам?

Мисс Брайант. Не совсем так. В мистере Фрэнсисе они чувствовали врага социализма, а мистер Робинс был более подходящим человеком для установления дружественных отношений.

Сенатор Нельсон. Разве вы не знали, что мистер Робинс не являлся официальным представителем нашей страны?

Мисс Брайант. Полковник Робинс возглавлял там наш Красный Крест.

Сенатор Нельсон. Да, но Красный Крест не представляет правительства.

Мисс Брайант. И все же практически полковник Робинс выступал в качестве посредника между Советами и послом Фрэнсисом. Мистер Фрэнсис чувствовал, что к нему относятся с известной настороженностью и не мог входить с ними в контакт. Это делал за него Робинс. Пригласите Робинса, и он сам вам все расскажет.

...Сенатор Кинг. Я хочу обратить ваше внимание на другое. У вас на руках имелось удостоверение, датированное 7 январем 1918 года. *(Читает).* «Предъявитель сего, Луиза Брайант, направляется в Стокгольм в качестве курьера Народного комиссариата по иностранным делам, имея при себе опечатанные пакеты и мешки. Всем органам власти на местах предлагается оказывать ей содействие, уделяя особое внимание сохранности ее багажа». Имелось у вас такое удостоверение?

Мисс Брайант. Да, сэр.

...Сенатор Кинг. Таким образом, вы были уполномочены большевистским правительством сопровождать багаж в качестве курьера. Следовательно, вы возвратились в Америку как официальный посланец большевиков?

...Мисс Брайант. Ни в коем случае. Дело в том, что существовала только одна возможность пересечь линию фронта — в качестве курьера. Вот почему подобные удостоверения выдавались многим американцам. Таким же путем провозили свои бумаги профессор Росс, Мадлен Доти, мисс Бесси Битти. Так и я, боясь лишиться своих материалов *(показывает на папку с бумагами)*, провезла их таким путем, чтобы затем иметь возможность писать статьи и книги...

...Сенатор Овермэн. Вы говорили, что ваш муж находился на службе у большевистского правительства...

Мисс Брайант. Да.

Сенатор Овермэн. Какое ему выплачивалось жалованье?

Мисс Брайант. Такое же, как и всем... 50 долларов в месяц.

Сенатор Овермэн. Плюс то, что удавалось «прихватить» на стороне?

Мисс Брайант. Там нельзя ничего «прихватить». В России, сенатор, очень опасно что-нибудь «прихватывать».

Сенатор Уолкотт. Однако прихватили же они дворцы и особняки?

Мисс Брайант. Откуда вы знаете? Ведь вы там не были, а я была.

Сенатор Уолкотт. У нас есть свидетельские показания о том, что они живут в роскошных дворцах и разъезжают в дорогих автомобилях.

Мисс Брайант. Не знаю никого, кто бы жил во дворце, после того как к власти пришли Советы...

...Мистер Хьюмс. Каково было продовольственное положение после большевистской революции?

Мисс Брайант. Оно осталось приблизительно таким же, каким было и до нее.

Мистер Хьюмс. Разве в период вашего пребывания там не было случаев убийства на улицах?

Мисс Брайант. Нет...

...Мистер Хьюмс. Видели вы людей, умиравших от голода?

Мисс Брайант. Нет.

Мистер Хьюмс. Падавших замертво на улицах?

Мисс Брайант. Нет, никогда ничего подобного не видела.

Мистер Хьюмс. А павших лошадей вы видели на улицах?

Мисс Брайант. Нет.

Мистер Хьюмс. Разве на ваших глазах голодные не вырезали из трупов лошадей куски мяса?

Мисс Брайант. Нет.

Мистер Хьюмс. Никогда ничего похожего?

Мисс Брайант. Ни разу...

...Мистер Хьюмс. Неужели вам неизвестно, что в Петрограде и в то время и сейчас расстрелы прямо на улицах — самое обычное дело?

Мисс Брайант. Нет, неизвестно. И я глубоко убеждена, найдется добрый десяток свидетелей, которые подтвердят, что это ложь. Все они — главы официальных миссий Соединенных Штатов, и ни один не видел подобных вещей.

Мистер Хьюмс. В таком случае все свидетельства уважаемых людей, видевших это собственными глазами,— ложь?

Мисс Брайант. Все они утверждают, что видели это собственными глазами?

Мистер Хьюмс. Да.

Мисс Брайант. Я давно в этом зале, но еще не слышала показаний ни одного такого очевидца.

Мистер Хьюмс. До вас еще не было свидетеля, который бы не утверждал, что видел подобные вещи собственными глазами.

Мисс Брайант. Может быть, они и видели, но я — нет. Вы ведь не требуете, чтобы я подтверждала то, чего не видела? Не забудьте, что для меня, как репортера, такие факты были бы особенно сенсационны, но что делать — я не видела.

Мистер Хьюмс. Кто оплачивал ваше пребывание там?

Мисс Брайант. Я работала по договору с «Филадельфия леджер». Половину суммы, причитавшейся за написанные мною статьи, они выплатили мне по моем возвращении. Я жила там на средства мужа. Но дело совсем не в деньгах. Я не брала денег за то, что делала в России.

Мистер Хьюмс. Значит, никаких денег вы в России не получали? Я имею в виду в качестве платы за услуги?

Мисс Брайант. Нет, я работала там не ради денег...

Мистер Хьюмс. Значит, вы работали не из-за денег. А просто из любви к Советам?

Мисс Брайант. Нет, не из любви. Я была там потому, что хотела видеть революцию, потому, что я репортер и революция захватила мое воображение.

Мистер Хьюмс. И за все это время вы не видели на улицах России беспорядков, случаев голодной смерти?

Мисс Брайант. Нет, я не видела на улице ни одного умершего от голода...

Сенатор Стерлинг. Видели вы там нищих или людей, просивших хлеба?

Мисс Брайант. Россия всегда была полна нищих, но сейчас, насколько я знаю, их меньше, чем прежде.

Сенатор Стерлинг. Значит, вам не попадались нищие на улицах?

Мисс Брайант. Очень редко. Их там не больше, чем у нас в Соединенных Штатах.

Сенатор Нельсон. Уж не потому ли, что все нищие вступили в Красную Армию?

Мисс Брайант. Нищие чаще всего старые и больные люди, таких не принимают в Красную Армию...

Сенатор Овермэн. Прошу вас ответить, знаете ли вы о случаях голодной смерти в период вашего пребывания в России?

Мисс Брайант. Видите ли, сенатор, немцы перерезали линии снабжения с юга, а союзники с севера. В этих условиях, конечно...

Сенатор Овермэн. Отвечайте на вопрос, знаете ли вы о случаях голодной смерти?

Мисс Брайант. Были серьезные трудности. Я пыталась рассказать о них, но умирающих от голода на улицах не видела.

Сенатор Овермэн. Вы сами не видели, но знаете, что такие случаи были?

Мисс Брайант. Вероятно, кое-где были, особенно в районах отступления. Очень тяжело пришлось детям. Американский Красный Крест делал все возможное, чтобы снабдить молоком хотя бы грудных детей, но не очень-то успешно.

Мистер Хьюмс. Но разве все продовольственные запасы Петрограда не находились под контролем большевиков?

Мисс Брайант. Да, сэр. Они поступили в распоряжение Советов.

Мистер Хьюмс. И советское правительство выдавало это продовольствие только тем, кто его поддерживал и был связан с ним, а всех остальных обрекало на голодную смерть?

Мисс Брайант. Это неправда. За все время моего пребывания в Петрограде не было случая, чтобы в магазине нельзя было купить каких-нибудь продуктов.

Сенатор Овермэн. С какой целью собрался митинг у Поли?

Мисс Брайант. Вас интересует повестка этого собрания?

Сенатор Овермэн. Нет, его цель.

Мисс Брайант. Митинг должен был явиться формой протеста против интервенции в России. Как американка, убежденная в праве всех народов на самоопределение, я не могу одобрить интервенцию. Мы должны отозвать войска из России, так как установление дружественных отношений явилось бы благом для обеих стран.

Сенатор Нельсон. Вы стремитесь к тому, чтобы в России утвердилось большевистское правительство?

Мисс Брайант. Я стремлюсь...

Сенатор Нельсон. Отвечайте на мой вопрос. Желаете ли вы того, чтобы большевистская власть утвердилась в России?

Мисс Брайант. Я считаю, что это — дело самих русских.

Сенатор Нельсон. Я спрашиваю: хотите ли вы, чтобы в России утвердилась власть большевиков?

Мисс Брайант. Я уже ответила вам, я — за самоопределение.

Сенатор Нельсон. Хотите ли вы, чтобы большевистское правительство в том виде, как оно существует сейчас, укрепилось в России?

Мисс Брайант. Если русские хотят этого — да, если не хотят — нет...

...Сенатор Овермэн. Разве вы не знаете, миссис Рид, что красногвардейцы врываются в квартиры, обезоруживают хозяев, грабят дома?

Мисс Брайант. Нет, сэр.

Сенатор Стерлинг. Есть ли основания полагать, что разоружение чехословаков было произведено по наущению немецкой агентуры?

Мисс Брайант. Нет, не думаю.

Сенатор Стерлинг. Но вы об этом слышали, и притом неоднократно?

Мисс Брайант. Я неоднократно слышала о многих вещах, которым не верю.

Сенатор Стерлинг. Вы не считаете это признанным фактом?

Мисс Брайант. Нет, не считаю. Я сомневаюсь, что Советы стоят за империалистическую Германию. Это противоречит элементарной логике. Эти правительства не могут существовать бок о бок, они взаимно противоположны во всем.

Сенатор Нельсон. Разве советское правительство не пытается утвердить свою власть силой?

Мисс Брайант. Конечно. Все правительства, включая и наше, поступали так.

Сенатор Нельсон. Они применяют силу против тех русских, которые не согласны с ними?

Мисс Брайант. Конечно. Мы также применяли силу против английского короля и его армии.

Сенатор Нельсон. А почему остальные русские не имеют права отстаивать свои взгляды?

Мисс Брайант. Почему мы не дали такого права сторонникам англичан?

Сенатор Нельсон. Почему они применяют силу и обезоруживают всех, кого вздумается?

Мисс Брайант. Таков путь всякой революции.

Сенатор Нельсон. И вы называете это свободой?

Мисс Брайант. Это лишь переходный период, необходимый при создании всякой новой власти. И нам пришлось поступать таким образом. Мы разоружали и даже расстреливали наших реакционеров.

Сенатор Нельсон. Следовательно, вы приравниваете всех несогласных с большевиками русских к американским сторонникам старых порядков, так, что ли?

Мисс Брайант. Да, сэр. Я приравниваю русский господствующий класс к таким американцам.

Сенатор Нельсон. По-вашему, все, кто не согласен с большевистскими порядками и отвергает красный террор,— консерваторы и реакционеры, которых следует убивать, разоружать и высылать из страны?

Мисс Брайант. Я вовсе не считаю, что их нужно убивать, разоружать и высылать.

Сенатор Нельсон. А как бы вы поступили с ними?

Мисс Брайант. Я бы предоставила решать этот вопрос самим русским, так же как они предоставили нам поступать по своему усмотрению в нашей гражданской войне.

Сенатор Нельсон. То есть предоставили бы им возможность истреблять друг друга?

Мисс Брайант. Я за то, чтобы русские сами разобрались в этом.

Сенатор Стерлинг. Мисс Брайант, вам ведь известно, что русские красногвардейцы выводят заключенных из тюрем и расстреливают без суда и следствия?

Мисс Брайант. Я лично с этим не сталкивалась.

Сенатор Стерлинг. Но у вас есть основания считать, что это так, исходя из сведений, полученных от других.

Мисс Брайант. Никаких. О России ходит столько россказней и слухов, что я перестала им верить.

Сенатор Стерлинг. Вы не доверяете свидетелям, которые были в этих тюрьмах и видели все собственными глазами?

Мисс Брайант. Несомненно, в России сейчас имеет место террор, как красный, так и белый.

Сенатор Стерлинг. Вы признаете это?

Мисс Брайант. Да, это — естественное развитие революции.

Сенатор Нельсон. Вы, конечно, за красный террор. Его защита — ваша миссия.

Мисс Брайант. Моя миссия? Не понимаю. Позиция моя очень проста. Я стою за самоопределение и за то, чтобы русские могли сами решать свои дела.

Сенатор Нельсон. Самоопределение под прицелом орудий?

Мисс Брайант. Все правительства боролись за самоопределение под прицелом орудий. Еще не было правительства, которое бы не возникло в результате войны...

Сенатор Нельсон. А знакомы вы с таким учреждением, как Лига Наций? *(Смех в зале.)* Есть сведения, что она была учреждена без кровопролития.

Мисс Брайант. Вы не станете отрицать, что семнадцать миллионов жизней уже потеряно, а Лига еще ничего не сделала.

Сенатор Уолкотт. Миссис Рид! На основании того, что я читал в газетах и слышал, у меня создалось впечатление, что вы неоднократно высказывали у нас в стране горячее одобрение советской форме правления. Так ли это?

Мисс Брайант. Как вам сказать? Я всегда выступала против истерии, против превращения большевизма в пугало. Я выступала за необходимость разобраться, кто такие большевики и чего они хотят. У нас их считают анархистами, но они — социал-демократы, выступающие против анархизма с оружием в руках. Я считаю, что об этом у нас должны знать. Всех приезжающих из России осаждают просьбами рассказать, что там происходит. Люди жаждут знать о России, задают вопросы, и, естественно, рассказываешь им все, что знаешь и думаешь. Вот и все...

Сенатор Овермэн. Отдаете ли вы предпочтение образу правления большевиков перед нашим?

Мисс Брайант. Не знаю, не думала над этим.

Сенатор Стерлинг. Убеждены ли вы в том, что русское крестьянство стоит за советскую власть?

Мисс Брайант. Разумеется, убеждена. В подавляющем большинстве крестьяне за советскую власть.

Сенатор Стерлинг. Вы считаете, что они стоят за эту власть?

Мисс Брайант. Считаю, уверена в этом.

Сенатор Уолкотт. Желаете ли вы занести в протокол ваше заявление о том, что вы против насильственной реализации этой программы в нашей стране?

Мисс Брайант. Я против насилия, так же как я против лишения американских граждан свободы печати и свободы слова. Я против какого бы то ни было урезывания этих свобод...

Наиболее правильная политика сейчас — это терпимость, а мы ее, по-моему, не проявляем. Мы впадаем в истерику. Я пришла сюда лишь за тем, чтобы отозваться с симпатией о советской форме правления, а подверглась беспрецедентным нападкам.

Сенатор Уолкотт. В моем присутствии, миссис Рид, вы не подвергались нападкам.

Мисс Брайант. Это было в ваше отсутствие.

Сенатор Уолкотт. Вы имеете в виду начало заседания, когда задавались вопросы о вашем вероисповедании?

Мисс Брайант. Да.

Сенатор Уолкотт. Но это обычная процедура судебного заседания. Ее цель — получить от свидетеля правдивые ответы.

Мисс Брайант. Да, но вопросы задавались в резком тоне и грубой форме, которые не допускались в обращении ни с одним из остальных свидетелей.

Сенатор Уолкотт. Да, подобные вопросы не задавались, кроме вас, никому.

Сенатор Стерлинг. Помнится, эти вопросы задавал сенатор Кинг. Он — судья, и подобные вопросы обычны в его практике, их цель — убедиться, верит ли свидетель в бога. Известно, что большевики не исповедуют христианскую религию, и поэтому нам хотелось узнать, разделяете ли вы их атеизм. Вам не следует обижаться.

Мисс Брайант. Теперь это уже несущественно. Я рада, что имела возможность кое-что рассказать вам...

■

Мисс Брайант. Сенатор Овермэн, я протестую против такого положения, при котором бывшим русским политическим деятелям и всякого рода людишкам с мелочными обидами дается здесь возможность высказывать все, что им взбредет в голову о положении в России, в то время как любой американец, заявляющий, что он — за самоопределение и против интервенции американских войск в России, рассматривается как изменник. Я протестую против этого.

Сенатор Овермэн. Никто не относится к вам как к изменнице.

Мисс Брайант. Вы сами вели себя подобным образом вчера.

Сенатор Овермэн. Каким это образом? На что вы, собственно, жалуетесь?

Мисс Брайант. Мне не давали возможности делать заявления. От меня требовали только ответов на вопросы.

Сенатор Овермэн. Разве я не попросил вас прийти сегодня, чтобы выслушать ваши заявления?

Мисс Брайант. Значит, я имею возможность высказаться?

Сенатор Овермэн. Разумеется... Мы намерены уважать ваши права, вы ведь дама.

Мисс Брайант. Я хочу, чтобы вы уважали мои права как человека, а не как дамы.

...Свидетели, наиболее осведомленные о положении в России, не приглашаются. Показания людей, находившихся в России со служебными полномочиями, не заслушиваются.

Сенатор Овермэн. Вас лично это не касается... Когда вы явились к нам с просьбой выслушать вас, не заявил ли я вам, что мы вас выслушаем?

Мисс Брайант. Да, в первый день. А на следующий уже не обещали.

Сенатор Овермэн. Но ведь я дал вам возможность выступить с заявлением независимо от того, обещал я или нет.

Мисс Брайант. Да, позже вы дали мне такую возможность.

Сенатор Овермэн. Я и не мог сразу назначить день. Что касается мистера Вильямса, то, насколько я знаю, он не просил о том, чтобы его выслушали.

Мисс Брайант. Он приходил сюда на открытое заседание и просил разрешить ему дать показания.

Сенатор Овермэн. Из всех известных мне свидетелей вы — единственная, если не считать просьб, присланных письменно, кто просил заслушать ее показания.

Мисс Брайант. Не все ли это равно — устная просьба или письменная?

Сенатор Овермэн. Теперь мы поняли друг друга.

Мистер Хьюмс. Кто же обращался к нам с письменной просьбой?

Мисс Брайант. Мисс Битти, например, и мистер Рид.

Мистер Хьюмс. Мистер Рид?

Мисс Брайант. Да.

Сенатор Овермэн. Ваш муж?

Мисс Брайант. Да.

Мистер Хьюмс. Я не видел его письма.

Сенатор Овермэн. Он прислал мне записку, когда вы давали показания. Но поскольку мы уже слушаем вас, мне казалось, что этого достаточно.

М-р Рид. Я послал вам также и письмо, сенатор.

Сенатор Овермэн. Хорошо, не стану отрицать этого. Может быть, такое письмо и получено и находится где-то у моего секретаря. Итак, мистер Рид, мисс Битти и кто еще?

Мисс Брайант. Я уверена, что мистер Кэдди и многие другие официальные лица из Филадельфии также писали в Комитет...

Мистер Хьюмс. Мистер Кэдди не просил о вызове в качестве свидетеля.

Мисс Брайант. Многие просили вызвать их в своих заявлениях в газетах.

Мистер Хьюмс. У нас много писем, где говорится, что те или иные люди могли бы осветить тот или иной вопрос, но заявления от мистера Кэдди не поступало.

Мисс Брайант. И все же, мистер Хьюмс, создается такое впечатление, что вы вызываете сюда представителей только одной стороны. Это, да будет вам известно,— общее мнение.

Мистер Хьюмс. Исчерпывающим ответом на ваше заявление служит то, что вам дали возможность выступить здесь в качестве свидетеля. Это доказывает, что мы не допускаем никакой односторонности. Вы-то ведь защитница большевистской формы правления.

Мисс Брайант. Нет. Это совсем не так.

Мистер Хьюмс. Но вы же сами сказали, что есть две стороны. Что же вы имеете в виду? Почему вы говорите о двух сторонах?

Мисс Брайант. Потому что все, кто выступал здесь до меня, целиком отвергают порядки в революционной России, я же ни за, ни против. Я — очевидец и стараюсь рассказать о том, что видела.

Мистер Хьюмс. Вы же не слышали их показаний!

Мисс Брайант. Нет, я присутствовала здесь и слышала все. Пока они говорили о голоде, о людях, умирающих на улице, о полнейшем хаосе, царящем в России, вас это вполне устраивало.

Сенатор Стерлинг. Ваши показания, взятые в целом независимо от частностей, поставили вас в положение сторонника, защитника и друга большевиков, и вы это знаете. Любой, кто вас слушал, скажет вам то же самое.

Мисс Брайант. А почему бы и нет?..

Сенатор Стерлинг. Во всех ваших показаниях, и основных и попутных, всегда и всюду вы на их стороне.

Мисс Брайант. Любое правдивое слово вы аттестуете именно так. И делаете мне внушение.

Сенатор Стерлинг. Никто вам внушений не делал. После того как вы дали показания, вы были подвергнуты перекрестному допросу. Это обычная процедура, но у вас сложилось впечатление, что к вам относятся враждебно.

Мисс Брайант. Сенатор Нельсон подверг сомнению даже мою нравственность. Он прочел мне нотацию о том, как и что я обязана думать, и посоветовал, как выбраться из того болота, в котором, по его словам, я так глубоко увязла.

Сенатор Стерлинг. Сенатор Нельсон задавал вам совершенно правильные вопросы, по существу.

Мисс Брайант. Он не спрашивал, а поучал меня... Могу я продолжать свои показания? Это — главная моя задача здесь, и мне хотелось бы ее выполнить.

Сенатор Овермэн. Конечно, можете продолжать.

Мисс Брайант. Вчера, когда я предложила ознакомить Комитет с некоторыми выдержками из советских декретов и других документов, мистер Хьюмс запротестовал, заявив, что они не заслуживают доверия. Но не согласитесь же вы с тем, что протоколы конгресса не точны и не заслуживают доверия? *(Смех в зале.)*

Сенатор Овермэн. Ни в коем случае. Но давайте без шуток и ближе к делу.

Мисс Брайант. Двадцать девятого января сенатор Джонсон выступил с заявлением, касающимся меня, хотя и без упоминания моего имени. Он заявил, что госдепартамент распорядился подготовить несколько посланий для России. *(Читает).* «Послания эти были не только одобрены правительством, но и отправлены по его каналам и за его счет. Послания были собраны лицом, назначенным властями, и доставлены в Вашингтон для дальнейшей отправки через госдепартамент в Петроград». Документы эти, собранные мною, были отправлены в Россию (как раз после заключения Брестского мира) и содержали настойчивую просьбу вернуться в вопросах мира на прежние позиции и возобновить военные действия. В это самое время ко мне явился мистер Стеффенс и...

Сенатор Овермэн. Кто он такой, этот Стеффенс?

Мисс Брайант. Линкольн Стеффенс. Он явился ко мне от мистера Крила.

Сенатор Уолкотт. Это мне ничего не разъясняет.

Мисс Брайант. Мистер Стеффенс пришел ко мне и попросил послать мистеру Риду (находившемуся тогда в Стокгольме) каблограмму с просьбой вернуться к русским и убедить их в искренности намерений Вильсона.

Сенатор Уолкотт. Я все еще жду, когда же вы наконец мне скажете, кто такой этот Стеффенс.

Мисс Брайант. Линкольн Стеффенс?

Сенатор Уолкотт. Да.

Мисс Брайант. Один из наиболее известных в Соединенных Штатах писателей, может быть — самый известный.

Сенатор Стерлинг. Социалист?

Мисс Брайант. Скажите на милость, какое это имеет значение — социалист он или нет?

Сенатор Стерлинг. Показания здесь даю не я!

Мисс Брайант. Но ваше «социалист» прозвучало как осуждение.

Сенатор Стерлинг. Я задал вопрос вежливо, и вам нечего выходить из себя и жаловаться. Вполне естественно, что я хочу знать, социалист он или нет. Вы считаете себя социалисткой. Именно это и довело вас до сотрудничества с большевиками.

Мисс Брайант. Откуда вам это известно?

Сенатор Стерлинг. Отказом отвечать на вежливо поставленные вопросы вам не удастся представить себя мученицей. Я спрашиваю вас, социалист ли Стеффенс?

Мисс Брайант. Не знаю. Думаю, что социалист.

Сенатор Стерлинг. Почему вы не ответили на вопрос сразу?

Мисс Брайант. Вы ни разу не спрашивали о ком-либо — республиканец он или демократ.

Сенатор Стерлинг. Я здесь не для того, чтобы отвечать на вопросы. Мы собрались в какой-то мере и для расследования деятельности подобных организаций.

Мисс Брайант. Когда вчера я принесла сюда некоторые документы и начала зачитывать их, вы сразу спросили меня: в какой печати они опубликованы, в социалистической? Как будто самый факт публикации в социалистической прессе ставит под сомнение их достоверность.

Сенатор Овермэн. Нисколько. Мы хотели лишь знать их источник.

Мистер Хьюмс. Продолжайте ваши показания.

Мисс Брайант. Я отправила упомянутые документы, и вслед за тем президент Вильсон направил свое исключительно дружественное послание в адрес съезда Советов, открывшегося в Москве.

Сенатор Уолкотт. Это произошло 3 июля?

Мисс Брайант. Да.

Сенатор Стерлинг. Разве не факт, что в советском правительстве командуют большевики? Разве не они стоят у власти?

Мисс Брайант. Большевики — это политическая партия. С таким же правом вы можете сказать, что и демократы командуют американским правительством. Теперь — по вопросу о национализации женщин, столь занимающему всех. Я особенно заинтересована в нем. Во-первых, женщины в России имеют наравне с мужчинами право голоса, и я просто не представляю себе, как они сами стали бы голосовать за собственную национализацию.

Во-вторых, женщины в России всегда занимали выдающееся положение. По-моему, они даже более воинственны, чем мужчины. ...Госпожа Коллонтай, возглавляющая министерство социального обеспечения, провела много важных реформ в пользу женщин. Она учредила, например, так называемые дворцы материнства. За два месяца до родов все женщины освобождаются от работы, но заработную плату продолжают получать полностью. Они могут не ходить на работу и два месяца после родов, медицинскую помощь и уход им оплачивает государство. Это одна из реформ.

Сенатор Овермэн. Разрешите задать вам вопрос.

Мисс Брайант. Пожалуйста.

Сенатор Овермэн. По утверждению одного из свидетелей, там будто бы отбирают детей у матерей.

Мисс Брайант. Это неправда, и как раз на этом я хочу остановиться. Во-первых, замысел Коллонтай заключается в том, чтобы покончить с такими благотворительными институтами, как сиротские приюты. Она за то, чтобы вернуть крестьянских детей обратно в семьи, и в этом направлении сделано уже немало. Детского труда в России нет. Женщины принимаются на работу на равных правах с мужчинами и получают одинаковую с ними заработную плату. Такими же равными правами они пользуются и в профсоюзах... Я не встречала еще ни одной страны, где бы женщины пользовались такой свободой, как в России, и где бы с ними обращались не как с самками, а как с равноправными членами общества. Когда женщина выступает там на собрании, никому нет дела до того, настоящая ли она леди и какая на ней надета шляпа. Все просто слушают, что она говорит. Для суфражисток это благодатный край. В России меня спрашивали, сколько женщин у нас в конгрессе и в сенате. Если разрешите, я расскажу вам и об этом.

Сенатор Стерлинг. Пожалуйста.

Мисс Брайант. Я рассказала им о Жаннете Ранкин, единственной женщине в составе нашего конгресса, и о том шуме, какой вокруг нее поднимали. Я говорила, что неизвестно, будет ли у нас когда-нибудь другая женщина в конгрессе. Русские очень удивлялись и не могли понять, как все это получается, что у нас столько лет демократия, а большинство женщин до сих пор не участвуют в выборах. Так что, видите, они тоже нас критикуют, как и мы их. Тем не менее они не утверждают, что все американцы мормоны, поскольку в Соединенных Штатах есть мормонские общины. ...Знакомясь с нашими законами о семье и браке, они относятся к ним с пониманием, хотя и считают их нелепыми. А мы, в Соединенных Штатах, хватаемся за обрывок прокламации какой-то анархистской группки и выдаем ее за декрет русского правительства. Я вынуждена говорить об этом только потому, что мне трудно поверить, будто члены этого Комитета готовы принять за истину болтовню о национализации женщин в России... Неужели вы столь наивны, господа?

...**Сенатор Уолкотт.** Перейдем теперь к другой теме, однако, я думаю, что вы недостаточно компетентны, чтобы обсуждать вопросы военного характера, как, впрочем, и я сам.

Мисс Брайант. Согласна, сенатор Уолкотт. Именно поэтому я и полагаю, что вам незачем выслушивать предложения банковских клерков, секретарей Христианского союза молодежи и престарелых дам о посылке в Россию тысячи или десяти тысяч солдат. Вряд ли они разбираются в военных вопросах. Я бы лично не рискнула сказать Комитету, сколько понадобится войск, чтобы свергнуть большевиков.

Сенатор Овермэн. Вы за то, чтобы вовсе не посылать туда войска?

Мисс Брайант. Да. Я против посылки войск, потому что русские не хотят их на своей земле. У меня в армии два брата. Оба добровольно отправились во Францию, чтобы сражаться за демократию. Они вступили в армию не для того, чтобы убивать русских...

Я хочу подчеркнуть одно обстоятельство: за все время пребывания в России я не слышала, чтобы русские поносили Америку, выказывали ненависть к нашему народу. Наоборот, к нам они питают, пожалуй, более дружеские чувства, чем к любой другой стране.

Я хотела сказать еще вот о чем: на протяжении всего периода междоусобиц и террора, о котором так много здесь говорили, не погибло ни одного американского гражданина.

...Позвольте мне теперь зачитать письмо одного из членов французской военной миссии в Москве — Садуля. «Мы не можем выиграть войну, уничтожая русскую революцию»,— писал он в тот момент, когда мы начали интервенцию...

...**Сенатор Уолкотт.** Это заявление не проливает свет на положение в России.

Мисс Брайант. Я могу назвать другого человека, который знает Россию очень хорошо и может пролить свет на положение в стране.

Сенатор Уолкотт. В заявлении Садуля выражается лишь его мнение о том, что интервенция неблагоразумна, и приводятся доводы в обоснование этой точки зрения.

Мисс Брайант. Да, но он — военный, и поэтому его мнение кажется мне заслуживающим внимания. Другой человек — это Артур Рэнсом...

Рэнсом — бывший корреспондент «Ландон дейли ньюс» и «Нью-Йорк таймс». Я хотела бы отметить, мистер Хьюмс, что «Нью-Йорк таймс» поступила с Артуром Рэнсомом примерно так же, как «Паблик леджер» со мной. Достаточно было Рэнсому выразить свое мнение по поводу возможных последствий интервенции, как они перестали считать его собственным корреспондентом, хотя до того статьи его печатались ежедневно. Рэнсома объявили «рупором большевиков».

Я хочу довести до всеобщего сведения, что всякий журналист, пытающийся честно освещать события в России, подвергается постоянному запугиванию, преследуется до такой степени, что теряет место в газете, репутацию и даже возможность зарабатывать на жизнь. Вот почему большинство корреспондентов не могут себе позволить писать правду. Они либо молчат, либо начинают плести околесицу о том, сколько они видели на улицах трупов и павших лошадей.

...Джером Девис, глава филиала Христианского союза молодежи в России, опубликовал 8 февраля 1919 года статью, в которой убедительно доказывал, как просто и выгодно сотрудничать с Советами. В этой статье говорится: «Почти в каждой беседе с нами советские лидеры неизменно подчеркивали желательность продолжения нашей деятельности в России, заинтересованность в том, чтобы Америка присылала как можно больше специалистов для налаживания работы в области экономики, просвещения и т. д. Мой личный опыт по контактам с большевистским правительством в течение всего периода деятельности Христианского союза на советской территории обязывает меня заявить, что мы всегда и во всем пользовались всемерным содействием советского правительства...»

...**Сенатор Уолкотт.** Есть ли у вас еще какие-либо сведения о положении в России, которые вы хотели бы сообщить нам в дополнение к тому, что вами уже сказано?

Мисс Брайант. Я лишь хотела бы еще раз напомнить, что я стою за самоопределение и что русские, по-моему, вовсе не звери и не фанатики, как их пытались изобразить здесь некоторые свидетели.

Мистер Хьюмс. Кто из свидетелей заявлял здесь, что русские — звери? Отзывался ли кто-либо из свидетелей о русском народе иначе, как в самом доброжелательном духе?

Мисс Брайант. Когда здесь заявляют, что люди в России уничтожаются тысячами, что они умирают от голода на улицах, разве это не то же самое?

Сенатор Уолкотт. Но ведь убийства все же совершались?

Мисс Брайант. Конечно, как и в нашей гражданской войне и во всех других. Я лишь хочу сказать, что во всех странах случаются события, которые народы других стран не одобряют. В Америке существует предубеждение против России: все, что делают русские, у нас объявляется преступным и аморальным. Вот против этого я и хотела заявить здесь свой решительный протест.

(Окончание следует)

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

Н. ЖУКОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АБСТРАКТНОМ ИСКУССТВЕ

Читая книгу Хуана Маринельо

В 1961 году впервые вышла в советском издании переведенная с испанского книга Хуана Маринельо «Беседа с нашими художниками-абстракционистами». В этом году она переиздана.

Популярность книги Маринельо вполне понятна — автор ее, кубинец, талантливый литератор, ученый и политический деятель, сумел со страстностью полемиста разоблачить нищету абстракционизма.

Интересна и поучительна сама история этой книги Маринельо. Она была впервые опубликована на Кубе еще в период диктатуры Батисты, в 1958 году, в нелегальном журнале «Менсахес».

Революционные силы Кубы вели борьбу за свержение ненавистного режима, готовились к открытым боям. Политический руководитель такого типа как Маринельо, конечно, прекрасно понимал значение и необходимость участия в этих боях всех творческих сил страны. Кубе нужны были художники-борцы, а многие деятели искусства, даже патриотически настроенные, поддавшись в то время иноземной моде, ушли в дебри абстрактной живописи. Маринельо терпеливо разъяснял художникам, что абстрактное беспредметное искусство, несмотря на свою «ультрасовременную» форму, не является выражением прогресса, а напротив, враждебно ему, ибо выключает человека из его общественных и национальных связей, обрекает его на полное одиночество, на пассивность, на невозможность понять других людей и объяснить им себя. Так Маринельо определил реакционную сущность абстрактного искусства, и мне это определение кажется очень верным. Я прочел эту книгу и задумался над тем, почему так глубоко и надолго распространилась зараза абстракционизма во всем мировом искусстве.

Автор пишет: «Абстрактное искусство — один из самых ярких примеров классового характера культуры. Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» говорят, что всякая идея, даже туманная, имеет корни в действительности. И действительность, порождающую ложь беспредметного искусства, невозможно скрыть».

Далее Маринельо пишет: «Во-первых, абстрактное искусство может появиться только в обществе, разделенном на антагонистические классы. Во-вторых, творческое направление, видящее совершенство в изоляции от общего понимания, может процветать лишь на решающем этапе борьбы двух общественных классов, а в наши дни — буржуазии и пролетариата». Вот эта-то мысль Хуана Маринельо и навела меня на воспоминания и размышления о выставке-биеннале 1962 года.

Современные выставки изобразительного искусства в странах Европы имеют единый характер — они все состоят из абстрактной живописи и скульптуры, всюду очень элегантная экспозиция, много воздуха, тишины и полное отсутствие зрителей. Если бы туристов возили с завязанными глазами из страны в страну и возвращали бы им зрение только на выставках современного искусства, я убежден, что по экспонатам выставки они не могли бы определить страну, где находятся, ибо все слишком одинаково. Это делает выставки изобразительного искусства удивительно скучными. Творчество художников лишилось национальной окрас-

ки, индивидуальности характера, оно потеряло способность контакта со зрителем, оно пусто и немо.

На Всемирной выставке изобразительного искусства — биеннале (Венеция) 1962 года, где мне довелось побывать, на берегу залива в роскошном парке были раскинуты десятки специальных выставочных павильонов. В Венеции стояла чудесная погода. Музеи, соборы и дворцы осаждали оживленные толпы туристов, а на выставке-биеннале всегда было пусто.

Я ходил по пустым павильонам и вспоминал, как в 1925 году после окончания средней школы передо мной встал вопрос о выборе профессии — куда пойти учиться? Пора была трудная. Стране нужен был металл, кирпич, тес, гвозди, а вопросы искусства в то время казались очень далекими. В маленьком русском городке, где жила моя семья, проблемы повседневной жизни стояли особенно остро.

В то время в душе моей уже созрела горячая любовь и преданность искусству, но его общественная необходимость представлялась мне столь неопределенной, что я старательно прятал свою мечту, не хотел делиться ею ни с кем, чтобы не оскорбить любовь к самому для меня святому.

Наследие русского искусства — а в нем есть великие примеры жизни и творчества — учило меня уму-разуму, и с той поры я навсегда понял, что в искусстве — смысл моей жизни, а жизнь есть смысл всякого искусства. Именно в этой взаимообусловленности — прочность художественного бытия. Не может быть книги без читателя, музыки без слушателя, театра и картины без зрителя. Творчество, необходимое обществу, всегда должно быть делом чести и совести человека, занятого в любой сфере деятельности. Таков моральный кодекс каждого советского художника. И во всей моей дальнейшей жизни общественное уважение к любимому искусству всегда помогало мне в процессе творчества, питало его. Наше искусство выдержало суровое испытание, особенно в годы Великой Отечественной войны. Мне кажется, я выражу общее мнение советских художников, если скажу, что каждый из нас ощущал в дни войны необходимость быть художником и служить делу победы оружием карандаша и кисти, потому что статьи и стихи, песни и плакаты были нужны народу, как хлеб и снаряды. Все мы это знали и чувствовали на каждом шагу. Если бы этого не было, многие из нас давно бросили бы карандаш и краски и переменили профессию. Вот какие мысли занимали меня, когда я ходил по пустым павильонам Всемирной выставки изобразительного искусства 1962 года. Какая страшная чума абстракционизма прошла по странам капиталистического мира и опустошила искусство, вытравив из него все живое! Здесь, в великолепном венецианском саду, был всемирный смотр безумия художников, горделиво зовущих себя современными. Именно здесь, где каждое десятилетие приносит все большую славу бессмертным творениям Тициана, Тинторетто, Веронезе, демонстрируется весь ужас опустошения искусства. Если еще в 1956 году, помнится, в окружении абстрактных полотен показывались вещи реалистической школы, то сейчас их совсем нет.

Я совершенно согласен с Маринельо, что попытки абстракционистов теоретически обосновать необходимость и правомерность своего искусства не выдерживают критики. В самом деле, говорит Маринельо, «смысл живописи кроется в ее конкретном, материальном проявлении, она — искусство изобразительное». Таков должен быть и ее язык, продолжает он свою мысль, и то, что говорится не на этом языке, не может иметь никакого разумного объяснения.

Выставка-биеннале — выставка трагедий тысяч загубленных дарований, и это страшно, а для сознания художника убийственно. И это преступление зашло далеко вглубь. Абстракционизм стал неотъемлемой частью мировоззрения капиталистического мира.

Перед каждой Всемирной выставкой-биеннале, кроме средств, затраченных на ее организацию, отпускаются большие деньги на поощрение лучших работ. Когда я был в Венеции, на Главном канале экспонировались все премированные работы Всемирной выставки-биеннале за несколько десятилетий. Кому же все-таки это выгодно? И почему большие средства идут на поддержание этого антинародного вида искусства?

За последние десятилетия Америка не устает ассигновать огромные деньги на приобретение классических ценностей искусства и материальной культуры во всех странах мира, одновременно отпуская немалые суммы на поддержку абстрактного искусства. В течение двухсот лет своего существования США всегда стремились к экономическому господству, считая, что за деньги можно купить все. Абстракционизм разрушает сложившуюся культуру и традиции искусства в каждой стране, лишает искусство национальных признаков и преемственности, делает его безликим и космополитичным. Реализм объявляется несовременным и немодным. И все же не так давно весь мир следил за тем, как путешествовало одно лишь произведение великого реализма — портрет Моны Лизы Леонардо да Винчи. Картина была оценена в 300 миллионов долларов. Везли ее на специальном судне, в особом сейфе, и личным ее хранителем был министр культуры Франции. Как известно, за 50 лет существования абстрактного искусства оно не удостоилось подобной чести. Тем не менее абстрактная живопись искусственно поощряется.

Если подсчитать произведения реалистического искусства, снятые за эти десятилетия со стен всех европейских музеев, то из них можно было бы составить самый большой музей мира. А на их место вешают всевозможные причудливые абстракции, и они с каждым годом все больше и больше вытесняют реалистические полотна. Америка богатеет, Америка сознательно разрушает

культуру других стран, подводя ее под общий абстрактно-космополитический ранжир.

Вполне понятно, что когда в Москве на нашей выставке появились образцы абстрактного искусства, это вызвало бурную реакцию всей советской общественности. Такая реакция естественна — абстракционизм чужд духу наших национальных традиций. Как справедливо говорит Маринельо, в данном случае имея в виду Кубу, «это — зараза, занесенная извне».

Настало время решительной пропаганды реализма не только в пределах нашей Родины, но и за ее рубежами. Пора знакомить Запад с передовым русским и советским искусством. Как это ни горько, но там не знают или знают плохо Сурикова, Серова, Врубеля, Коровина, Архипова, Малявина, Кустодиева и многих других замечательных русских художников. Ведь ничего равного пейзажам Левитана в мире нет. А что может сравниться по мастерству и глубине с серовскими, репинскими и суриковскими портретами? Разве натюрморты нашего Машкова не стоят в одном ряду с лучшими произведениями этого жанра? Во всех жанрах изобразительного искусства мы можем гордиться своим наследием. Да и современники наши добились немалого. На недавней выставке произведений П. Корина все убедились, что этот художник — классик нашей современности.

Многие советские художники, побывавшие на Западе за последнее десятилетие, посвятили этим поездкам прекрасные серии работ, составляющие особую главу в летописи нашего современного искусства. Дейнека создал интересную и очень острую серию о Риме, Чуйков и Ефанов — живописную сюиту об Индии, С. Герасимов — об Италии и Греции. Поездки за рубеж обогатили наше искусство многими превосходными произведениями графики Кокорина, Верейского, Пономарева, Иванова, Оссовского и др., но мы не умеем пользоваться доброй славой нашего труда. Мы очень много складываем под замок, не используя своих преимуществ. Наш долг, владея самым прогрессивным искусством современности, бороться за торжество реалистического метода, за объединение всех сил художников, за решительное наступление против бесплодного абстракционизма. Народ нам поможет. Народ поможет, ибо кровно заинтересован в здоровом, содержательном, большом искусстве, способном служить великому делу, ибо знает, сколь высока роль нашей страны в формировании подлинно гуманистической культуры. Это подчеркивает и Хуан Маринельо в предисловии к советскому изданию своей книги: «Поскольку абстрактное искусство восходит в конечном счете к откровенно реакционным идеям и интересам, с ним в какой-то мере следует бороться так, как это делают в Советском Союзе. Социализм каждодневно доказывает, что в освобождении человека большую и чрезвычайно важную роль играет направленность культуры».

М. САЛГАНИК

ГОЛОС ПИСАТЕЛЕЙ ДВУХ КОНТИНЕНТОВ

Движение писателей Азии, впоследствии охватившее и страны Африки, началось в 1956 году, когда в Дели была созвана первая в истории конференция азиатских писателей. К этому времени идея объединения культурных сил творческой интеллигенции вчерашних колоний уже носилась в воздухе, и вполне естественно, что ее выдвинули писатели Индии — страны, которая одной из первых освободилась от колониального ига. О том, что колонизаторы искусственно воздвигали барьеры между странами даже очень близкими и географически и этнически, что они разрушали исторически сложившиеся связи и препятствовали возникновению новых, уже не раз говорилось и писалось.

Освобожденные народы стремились узнать друг друга, и инициативу в этом проявили писатели — те, чьими устами эти народы заявляют о себе.

Группа видных индийских писателей пригласила в Дели своих коллег из семнадцати азиатских стран для разговора о том, как восстановить былое культурное единство Азии, как объединить творческие силы, как сделать литературу созвучной событиям столь быстро изменяющегося мира.

Осенью 1956 года в Дели в только что отстроенном Дворце науки велись жаркие споры. С берегов туманного Альбиона по давней колониалистской привычке презрительно фыркнуло литературное приложение к лондонской «Таймс»: «В Дели собрались писатели коричневого, желтого, лилового и оливкового цветов. Что могут обсуждать эти «великие» писатели, бородатые и бритоголовые, одетые во все эти халаты, дхоти и саронги?»

Но писатели не нуждались в одобрении «Таймса». Они обсуждали проблемы литературного мастерства и вопросы перевода, вопрос о месте писателя в обществе, о роли современности и традиций в литературе, о связи литературы с общественной и политической жизнью.

Участники Делийской конференции единодушно заявили о полезности такого рода встреч и приняли предложение советской делегации о созыве следующей конференции в Ташкенте осенью 1958 года.

Карта мира, которая начала менять свой облик после второй мировой войны, менялась со все возрастающей быстротой и в те два года, которые прошли между конференциями в Дели и Ташкенте.

В обращении к писателям Азии и Африки, принятом между двумя конференциями, говорилось:

«Еще в Дели писатели Азии пришли к убеждению, которое продолжало крепнуть и впоследствии, что их друзья в Африке должны присоединиться к ним. И этому суждено осуществиться на конференции писателей стран Азии и Африки в октябре 1958 года».

В обращении следующим образом изложены цели и задачи движения писателей Азии и Африки:

«Писателей великих континентов Азии и Африки вдохновляет мечта о новом мире, в котором народы избавятся от безысходности и мрака недавнего прошлого и выйдут на светлую дорогу возрождения. Многие выдающиеся умы наших народов уже воплотили эту мечту в значительных художественных произведениях...

Мы стремимся не противопоставить Азию и Африку тем странам, которые принято объединять понятием «Западный мир», а, наоборот, дать азиатским, африканским и западным писателям возможность встретиться и сочетать культурные ценности цивилизации Азии и Африки с духом европейского ренессанса.

Общепризнанно, что писатели всего земного шара, благодаря своему глубокому про-

никновению в духовный мир людей и силе творчества, могут способствовать единению человечества, укреплению дружбы и взаимопонимания. Они могут помочь миру избавиться от ненависти и страха».

В Ташкентской конференции писателей — теперь уже Азии и Африки — приняли участие делегаты от тридцати семи стран и наблюдатели из многих государств Европы и Америки.

Народы Азии и Африки все отчетливей понимали, что их сила — в единстве и взаимной поддержке, и писатели стали первыми выразителями этого нового самосознания, необходимого для борьбы за свободу.

«Нас, писателей, не так много,— сказал Шараф Рашидов, открывая Ташкентскую конференцию,— но когда мы говорим от имени своих народов, мы всегда чувствуем за своей спиной дыхание полутора миллиардов людей. Нас, писателей, объединяет великое дело Литературы. Я хочу произнести это слово с большой буквы, потому что имею в виду ту великую Литературу мира, которая связана с народами, с их радостями и горестями, которая отражает надежды народов и проникнута идеями счастья, мира и прогресса человечества...»

Необходимое условие для развития литературы — это свобода для тех, кто ее создает, и для тех, кто ее читает. Поэтому неслучайно, что первым вопросом повестки дня Ташкентской конференции стал вопрос о развитии литературы и культуры в различных странах Азии и Африки и их роли в борьбе за прогресс человечества, национальную независимость, против колониализма, за свободу и мир во всем мире.

Участники Ташкентской конференции в своих выступлениях касались тех проблем, которые мешают развитию литератур освобожденных стран. Одна из самых серьезных — ужасающая неграмотность во многих из этих стран, нищета, которая глушит творческие силы народов.

Писатели черной Африки говорили и о лингвистических трудностях, с которыми они сталкиваются: африканские писатели пишут по-английски или по-французски, а народы их стран говорят на национальных языках. Трагедия африканского писателя заключается в том, что он пишет о борьбе и страданиях своего народа, а книги эти, в лучшем случае, читаются за границей, но не на родине самого писателя.

Даже достижение независимости не сразу может разрешить эти жгучие проблемы современности. Наоборот, как правило, в первые годы существования свободных стран они испытывают острую необходимость в квалифицированных кадрах для управления страной — писатели становятся президентами и министрами. Нет спора, это отрадный факт, но писатели, занятые административной деятельностью, пишут все меньше и меньше.

И все же в Азии и Африке пишут, пишут хорошо и много.

Все эти вопросы и множество других настойчиво требовали от участников движения писателей Азии и Африки объединения, причем не только идейного, но и организационного. Так возникла идея создания Постоянного Бюро писателей Азии и Африки, в составе которого представлены десять стран, в том числе и Советский Союз.

Было решено учредить во всех странах, пославших своих представителей в Ташкент, комитеты писателей для связи с их афро-азиатскими коллегами. Постоянное же Бюро писателей, местопребыванием которого стал Цейлон, призвано координировать деятельность этих комитетов, способствовать развитию литературного обмена между странами Азии и Африки и помогать писателям в издании их произведений, ибо нередко уже написанные книги остаются рукописями из-за отсутствия издательской базы. Генеральным секретарем Постоянного Бюро стал молодой цейлонский литератор Ратне Дешаприя Сенанаяке. Начал выходить бюллетень Бюро «Призыв».

Мы все хорошо помним весну и лето 1961 года, месяцы, когда вся прогрессивная Япония яростно протестовала против военного договора с США. Японские писатели были в первых рядах демонстрантов, в числе активнейших организаторов митингов и собраний.

Японский комитет по связям с писателями Азии и Африки выдвинул идею о проведении очередной сессии Бюро в Токио, чтобы продемонстрировать солидарность литераторов двух континентов в борьбе за единые цели.

В марте 1961 года писатели двадцати стран Азии и Африки, в том числе и советские, собрались в Токио, чтобы во весь голос заявить о праве Японии решать свою судьбу без американского вмешательства.

Так жизнь отвечает на вопрос о роли писателя в наши дни.

Когда в феврале 1962 года в Каир на очередную конференцию съехались писатели сорока трех стран Азии и Африки, то и повестка дня и атмосфера собрания отразили те большие перемены, которыми отмечен период, отделивший Ташкент от Каира. Национальные комитеты в странах Азии и Африки за это время проделали большую работу по переводам, по взаимному ознакомлению литератур. В Каире писатели встречались уже как знакомые, как люди, связанные общим делом, как друзья.

Изменилась и политическая ситуация в странах Азии и Африки — колониализм в его классической, прославленной Киплингом форме рухнул, но отнюдь не сдался. «Пробуждение самосознания и бдительности народов укрепили нашу солидарность. Народы двух континентов перестраивают свои ряды. Качественные изменения, происшедшие в колониях, их превращение в независимые страны, усиление национально-освободительной борьбы, всестороннее укрепление стран социалистического лагеря — все это изменило соотношение сил в пользу борьбы против империализма»,— так была охарактеризована в общей декларации Каирской конференции обстановка, складывающаяся на двух пробужденных континентах.

Изменив свои методы, не говоря больше о «бремени белого человека», колонизаторы ищут новые средства проникновения в свои бывшие колонии. Рядом с «традиционным» колониализмом Англии и Франции теперь стоит американский и западногерманский неоколониализм. Соединенные Штаты и Западная Германия стараются не повторить ошибок своих предшественников, открыто презиравших духовную жизнь и культуру покоренных народов. Они насаждают в странах Азии и Африки свои «культурные центры», которые отравляют умы молодежи ядом нигилизма и неверия в свои силы. Щедро раздают стипендии и финансируют из «Фондов» Азии, Форда и Рокфеллера всевозможные «Конгрессы в защиту свободы культуры», проповедующие надклассовый и наднациональный характер культуры и литературы. Неоколониалисты пытаются прикрыть обычную алчность и хищнический расчет маской бескорыстного культуртрегерства, и правда не всегда выходит наружу, но вдруг все же промелькнут заявления вроде «сентенции» герра Шмидта, написавшего в книге об Индии: «Индии нужны не доменные печи, а газовые камеры».

Именно в силу завуалированной формы неоколониалистской культурной агрессии вопрос о средствах борьбы с ней приобрел такое значение на Каирской конференции.

Большое место было уделено также проблеме взаимных переводов литературных произведений, изданию азиатской и африканской литературы и сохранению и развитию фольклорного наследия.

Было решено создать при Постоянном Бюро центр по переводам.

В октябре прошлого года в Коломбо состоялось заседание Постоянного Бюро, которое во исполнение решений предыдущих конференций разработало большой план изданий книг писателей Азии и Африки в переводах на основные европейские языки. Сейчас Бюро готовит антологию афро-азиатской литературы, в которую должны войти наиболее представительные произведения писателей двух континентов.

Программа литературной деятельности, принятая в Коломбо, требует дальнейшего расширения работ Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки, потому что именно национальные комитеты призваны сыграть решающую роль в деле практического установления и развития литературных контактов.

В конце прошлого года Советский комитет провел свой очередной пленум, на котором был намечен обширный план работ по переводам и изданию произведений афро-азиатской литературы, по ее широкой пропаганде в нашей стране. Новые задачи потребовали от комитета и новых организационных форм, поэтому было принято решение о создании двух Бюро — в Баку и в Ташкенте, цель которых заключается в распространении идей движения писателей Азии и Африки среди широких кругов интеллигенции.

Многие участники движения высказывали справедливую мысль о том, что писатели стран с развитой литературой должны оказывать помощь своим коллегам в странах, где литература развита меньше, помогать им совершенствовать свое литературное мастерство, создавать новые жанры в литературе.

Движение писателей двух континентов растет и ширится, и именно это обстоятельство выдвигает перед литераторами все новые и новые проблемы. Уже сейчас оно охватывает такие отличные друг от друга страны, как Японию, где писатели иной раз жалуются на гаснущий интерес к поэзии, и Гану, где фольклорная поэзия извечно была любимой формой выражения, а проза только сейчас переживает период становления. Самая важная проблема для писателей Анголы и Мозамбика сегодня — это освобождение их стран от колониальных цепей, а литераторы Алжира решают вопрос о месте литературы в стране, идущей по новому пути. Как должна издаваться единая индийская литература для пестрой многоязыкой Индии? Как сочетать литературный и разговорный язык в арабской прозе? По какому пути пойдет развитие традиционного африканского театра?

Нелегко одновременно решать эти и множество других вопросов, как нелегко найти на них ответ. Но писатели Азии и Африки, объединенные общей целью — борьбой за свободу и прогресс своих народов, борьбой против всего, что мешает их странам строить мирную, счастливую жизнь,— понимают, что только общими усилиями, только общим опытом могут они преодолеть стоящие перед ними трудности.

Стремясь к дальнейшему укреплению единства творческих сил Азии и Африки, Каирская конференция приняла решение о создании Исполнительного Комитета, в который войдут представители двадцати трех стран. Он должен собираться раз в год в промежутки между конференциями. Первое заседание Исполнительного Комитета состоится совсем скоро — в мае этого года в Индонезии. Его основной задачей будет всесторонняя подготовка к очередной конференции.

Можно, однако, с уверенностью сказать, что этим дело не ограничится: писателям из стольких стран мира найдется, о чем поговорить. Сама жизнь подскажет им программу действия.

ВСТРЕЧИ С ВАЙНЕРТОМ

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ

К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

Пусть память запеленгует далекий мирный и межвоенный год и установит точно, когда это было. Мы приехали домой с Карельского перешейка. А он — в Москву из Испании, вернее, уже не из Испании, а из французского концлагеря, куда были заточены бойцы Интернациональных бригад, перешедшие через Пиренеи. Да, это было в сороковом году.

Рабочий клуб на окраине Москвы, если считать по-сегодняшнему,— на бывшей окраине Москвы: не то на Красной Пресне, не то у Сокольнического круга. Вечер поэзии.

Говорит Эрих Вайнерт. Не выступает, не декламирует, не «знакомит слушателей со своими стихами», как принято писать в отчетах, а именно говорит. Он был удивительным поэтом-оратором: каждое его слово звучало как необходимое, хотя не ласкало, а, скорее, резало слух.

Очень трудно было уловить грань между стихами и политической речью, когда говорил Вайнерт. И пафос, и сарказм, и призыв, и реквием сливались в этом вулканическом извержении слов, становившихся самой страстью, самой борьбой.

В переполненном и пестром зале (гардероб не справился, и часть слушателей была в шубах и платках) звучали на немецком языке песня Интернациональной бригады и «Марш Красного Веддинга».

Я не думаю, что тогда в той аудитории было много людей, понимавших немецкий язык. Но есть нечто, понимаемое без перевода в языке революции и борьбы. Вайнерт только читал стихи, он не рассказывал своей биографии, не «делился впечатлениями». Более того, я уверен, что большинству слушателей он просто не был знаком. Но встреча эта была больше чем знакомство, она стала высоким переживанием, слиянием судеб.

Когда-то в какой-то критической статье я читал, что «Марш Красного Веддинга» рожден «Левым маршем» Маяковского. Мне кажется, точнее будет, если мы скажем, что два этих замечательных произведения русской и немецкой литературы рождены Революцией.

Крутой и жесткий стих Эриха Вайнерта остроиндивидуален. Он включает в себя и грубоватость немецких народных баллад, и язвительность Гейне, но его новаторская поступь очевидна.

В тот вечер мы познакомились. Он был старше меня на четверть века и тогда, конечно, должен был казаться мне стариком. Но, вероятно, в жизни поэтов Революции возраст не играет роли. Во всяком случае в облике Вайнерта было все — пережитое, и увиденное, и совершенное, но только не годы.

Мне и сейчас видится он как скульптура, но не бронзовая, не мраморная, а как бы вылепленная из крутой глины — резкие и вместе с тем округлые черты лица, волнистые, закинутые назад волосы, крепкие плечи. Он не был человеком высокого роста, но, когда говорил, фигура его словно вырастала.

Тот вечер в рабочем клубе не мог не оставить следа в душах его участников. Вероятно, многие слушатели унесли в сердце заряд интернационализма на долгие и трудные времена второй мировой войны.

Встречаясь после с Эрихом Вайнертом в суматохе обыденной московской литературной жизни — иногда беседуя, а иногда обмениваясь несколькими фразами,— я испытывал постоянное воздействие его характера:

он всегда был значителен, но не ложно значителен, как иные живые литературные памятники, а значителен, как солдат с оружием в руках, всегда и навечно находящийся на посту.

При разговоре с ним отметались, исчезали мелочи, оставались самые высокие и важные понятия — революция, интернационализм, поэзия. В положении и судьбе эмигранта всегда есть нечто трагическое. Но и печаль и тоска Вайнерта были, если можно так выразиться, наступательными, сражающимися.

Я вновь встретился с Эрихом Вайнертом в самый драматический момент своей жизни. Раненый, сраженный горем отступления, изведенный дизентерией, влачился я по оккупированной Украине на восток, пробирался из окружения к своим. Это было летом 1941 года...

Однажды в овраге я нашел листовку, сброшенную с советского самолета и обращенную к немецким солдатам. Это были стихи Эриха Вайнерта, исполненные горечи, ненависти к фашизму и веры в победу над ним.

Сейчас трудно объяснить, как я был благодарен Вайнерту за эту весточку, переброшенную через фронт и случайно попавшуюся мне на глаза.

Как я узнал позже, с первого дня войны Вайнерт и другие немецкие коммунисты, находившиеся в СССР, включились в работу Политического Управления Красной Армии.

В январе 1943 года я встретился с Эрихом Вайнертом на фронте, на хуторе Синеоковском у берегов Дона. Он был в потертом полушубке, набухших валенках (в тот день неожиданно потеплело) и шапке-ушанке, отличавшейся от наших армейских тем, что тесемки ее ушей были завязаны не под подбородком, а на затылке. Мы не сразу узнали друг друга, а когда узнали, крепко обнялись и долго стояли среди развалин какого-то дома, держа друг друга за руки.

Это была не просто встреча двух знакомых по Москве, по мирным временам людей, да и не просто встреча литераторов или даже товарищей по оружию.

Уже после смерти Вайнерта были опубликованы его дневники, и в них я наткнулся на описание этой встречи:

«...немецкий и русский поэты встречаются среди развалин у поля боя, где решается будущее. Выйдя на улицу, я почувствовал слезы на глазах. Когда же не только два поэта, а два народа братски обнимут друг друга?»

В этих строках весь Вайнерт — коммунист, интернационалист, истинный немец.

После этой встречи были у нас и другие — мы часто встречались на передовой, отсыпались на рассвете в одной и той же глинобитной хате, как говорится (а может быть, и в буквальном смысле слова), ели из одного котелка. Это были будни войны и будни волжской победы, тяжелые, кровавые.

Вальтер Ульбрихт, Вилли Бредель, Артур Пик (сын Вильгельма Пика) и Вайнерт прибыли на фронт для того, чтобы помочь окруженным, зажатым в котле немцам капитулировать.

Да, помочь капитулировать. Это не неточно найденное слово, не ищите в нем ни ханжества, ни иронии.

— Мы должны их спасти,— часто говорил Вайнерт, говорил нам, советским офицерам. И мы понимали эту трагическую и благородную мысль немецкого коммуниста.

В распоряжении немецких товарищей был крытый грузовик с радиоаппаратурой и громкоговорящей установкой. Они выезжали на передний край, подступали почти вплотную к окопам и блиндажам окруженной армии Паулюса. Передвижение машины еще как-то скрывала ночная тьма, но, начав работу, радиовещательная установка сама себя обнаруживала, превращалась в весьма уязвимую мишень.

Над окопами противника гремела крутая и колючая стихотворная речь Вайнерта. Я никогда не слышал более драматического звучания поэзии, чем в те ночи.

Как это ни странно, иногда с той стороны прекращалась стрельба. Но сколько раз экипаж громкоговорящей установки подвергался смертельной опасности! Кузов машины был весь изрешечен пулями и осколками.

Как ни шагнула вперед радиотехника, но и в те времена она уже была такова, что микрофоны можно было бы ставить на достаточном удалении от передатчика, от рупора. Практически совершенно не обязательно было оратору находиться в машине или рядом с ней на осыпаемой пулями земле.

Но это — вопросы техники, а речь шла о жизни и смерти. Сила этой опаснейшей деятельности заключалась именно в том, что Ульбрихт, Вайнерт, Бредель и Пик разговаривали со своими соотечественниками, стоя лицом к лицу, рискуя жизнью. Они были парламентерами мира и справедливости, живым голосом совести немецкого народа.

Я не знаю, сколько сот или тысяч солдат из окруженной группировки приняли решение о капитуляции в результате деятельности громкоговорящей установки и ее героического экипажа. Симфония победы сложилась из многих звуков, и немалую роль в ней играли голоса пушек. Но голос музы Эриха Вайнерта тоже слышен в этой симфонии.

В последний раз я видел Вайнерта в тот день, когда капитулировала вся окруженная группировка. Вернувшись уже из Берлина в Москву, я разминулся с ним — он уехал в Берлин, вновь обрел Родину.

Он дожил до того дня, когда возникло и утвердилось в истории первое свободное демократическое немецкое государство, когда сбылась мечта его жизни.

Жизнь, полную лишений, горя и драматизма, жизнь, прожитую Эрихом Вайнертом, невозможно назвать иначе, как счастливой. Вся она — любой своей минутой — была посвящена и отдана борьбе, высокой и целеустремленной. И увенчала ее победа.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

За рубежом

ПОЛЬ ХОГАРТ ИЛЛЮСТРИРУЕТ БРЭНДАНА БИЭНА

«У художников Англии существует давняя традиция иллюстрировать книги писателей Ирландии,— пишет в редакцию «Иностранной литературы» известный английский график Поль Хогарт.— Я посылаю вам свою последнюю работу — книгу об Ирландии, плод сотрудничества с ирландским драматургом Брэнданом Биэном. Она вышла в Англии и — к нашей радости — сразу стала бестселлером».

В этом номере мы воспроизводим иллюстрации Поля Хогарта к книге «Остров Брэндана Биэна», а также ее страницы, посвященные Дублину. Вместе они дают представление о характере этой своеобразной работы писателя и художника.

...Дублин — мой родной город... Здесь, в трущобах северной его стороны, я увидел свет — так же, как Шон О'Кейси; впрочем, о нем я писать не собираюсь по очень простой причине: рассказывать про него — все равно что расхваливать наши Килларнийские озера*, а это уж совсем ни к чему. Что касается меня лично, могу сказать только, что, общаясь с О'Кейси, испытываешь такое чувство, будто пьешь шампанское на собственной свадьбе, или видишь северное сияние — или, как это там называется,— в общем, знаете, сплошные потоки света. В дни моей молодости в этом районе было очень паршиво. В одном отношении надо отдать правительству должное: здесь понастроили немало хороших домов. Теперь в Дублине уже не увидишь таких трущоб, как в районе Вестбурн-парка в Лондоне или где-нибудь в Глазго. Скажем прямо, дублинские трущобы — это было что-то жуткое. Я сам родился в полуразвалившемся доме георгианской архитектуры, так что я-то уж знаю! Позднее тот дом снесли, что не вызвало у меня особого сожаления...

Неподалеку от моей родной улицы находится Нельсон-стрит, которую я избрал местом действия для своей пьесы «Заложник». Большинство сцен в этой пьесе взято из жизни, впрочем, каждому и без объяснений понятно, что я основательно все переиначил; а ну-ка попробуйте уличить меня в том, что я хоть что-нибудь переделал недостаточно!

Когда Йитс ** говорил про Дублин, что там «простора мало, ненависти много», он имел в виду средние и так называемые высшие слои общества. Джойс называл всю эту свору «источником паралича». Джон Митчел, один из лидеров революционных выступлений 1848 года, стоя на борту корабля, увозившего его от берегов Ирландии, и глядя на южный берег Дублинского залива, где на Килинийском холме белеют роскошные виллы, проговорил: «Вот город вылощенных тупиц и воющих рабов». Помню, я как-то спросил отца: «Может, он сказал «вылощенных убийц», а они потом переделали на «тупиц» — так все-таки звучит благопристойнее?» «Нет,— возразил отец.— Тупицей родиться может всякий, а вот чтобы стать убийцей, надо основательно над собой поработать».

Таким же лицемерным тупицей дублинский буржуа остался и по сей день. Посмотрит он, скажем, в Лондоне пьесу кого-нибудь из своих земляков — мою или Шона О'Кейси — и пошел трубить на всю Англию, что пьеса эта понятна, мол, только коренному дублинцу. А вернувшись домой, либо станет в позу разгневанного цензора и объявит: «На наш взгляд, эта пьеса возмутительно непристойна!», либо примется обвинять драматурга — как, например, обвиняли меня — в том, что он подлаживается к английской публике. А сам готов на голову встать, лишь бы снискать одобрение любой английской аудитории!

К слову говоря, прямая цензура — вещь сравнительно безобидная, и ни один ирландский писатель от нее особенно не пострадал. Его ущемляет косвенная, самодеятельная цензура, а она запрещает отнюдь не только порнографию, что было бы вполне разумно. Несколько лет назад я захотел купить «Симпозиум» Платона, только что вышедший в серии «Пингвин». В конце концов мне удалось его раздобыть, но потрудиться пришлось изрядно. Цензура вряд ли придралась бы к Платону — в наше-то время!— но зато один книготорговец заявил мне: «Когда книга появилась на прилавке, набежал народ, все больше типчики определенного сорта. Вот мы и решили сами изъять книгу из продажи. Мы и так приличия знаем, нам для этого специального закона не требуется.

---

* Живописные озера в Ирландии, часто посещаемые туристами.

** У. Б. Йитс (1865—1939) — известный ирландский поэт, драматург и критик.

Уж мы похабщину всегда сумеем распознать — будь она самая что ни на есть древняя!»

К Дублину меня привязывает только рабочий класс. Рабочие — единственные настоящие люди в нашем городе. Что касается средних слоев, то мне становится тошно при одной мысли о них. Если бы моя фамилия не попадалась им в «Обзёрвере» и «Санди таймс», они вообще не желали бы меня знать. Это относится в равной мере к протестантам и католикам, врачам и адвокатам. Не то чтобы я идеализировал рабочих, отнюдь нет. Но они, во всяком случае, не делают вида, будто их интересует моя персона. Как они относятся ко мне? Да так: знают они меня давным-давно, привыкли меня постоянно видеть — с тех пор как себя помнят,— и им решительно наплевать, что я там делаю или воображаю, будто делаю. Это люди, сильные духом, сердечные и отзывчивые соседи; если они не смогут оказать вам добрую услугу, то уж, во всяком случае, и дурной не окажут.

Те люди, что мне нравятся, живут по обе стороны реки, но в основном вдоль линии, которую можно было бы провести между мэрией и Глазневинским кладбищем — так сказать, между рождением и смертью. Тут есть над чем призадуматься... Мэрия, она же таможня,— здание приметное; впрочем, говоря откровенно, я не бог весть какой знаток архитектуры — будь то георгианская или любая другая. Возможно, тут виноват один мой друг, архитектор. Как-то раз он торжественно сообщил мне весьма суровым тоном: «Хорошая архитектура — это та, которая неприметна». Для меня, например, таможня интересна только тем, что когда-то, находясь в рядах ИРА *, я добывал здесь фальшивые метрики для получения фальшивых паспортов. В 1921 году волонтеры сожгли таможню и тем совершенно парализовали деятельность английских властей в Ирландии, ибо в этом здании хранилась вся их документация.

Напротив таможни когда-то стоял Дом Свободы, в нем размещались руководящие органы ирландского профсоюза транспортных и неквалифицированных рабочих. В дни дублинского восстания 1916 года здесь была штаб-квартира ирландской «Гражданской армии»**. Сейчас это здание снесено и на его месте строится небоскреб.

Неподалеку от стройки находится главный почтамт — в 1916 году тут был руководящий центр повстанцев. История восстания 1916 года достаточно хорошо известна, и нет нужды возвращаться к ней вновь, расскажу лишь об одном эпизоде. В один из дней той памятной недели моя тетушка пришла к почтамту, чтобы разыскать мужа — он вместе с другими повстанцами засел в этом здании, отбиваясь от противника. Стоявшая на реке канонерка обстреливала улицу, кругом рвались снаряды, и тетушку довольно настойчиво попросили убраться восвояси (на руках она держала сынишку — он потом, в 1944 году, был убит во Франции, сражаясь в рядах английской армии). Однако тетушка не желала ничего слушать — она стояла на своем и требовала, чтобы к ней вышел муж. Наконец тот подошел к окну, заваленному мешками с песком, и заорал: «Мэгги, уходи сейчас же!» А она ему в ответ: «Я только спросить хочу — ты завтра с утра пойдешь на работу?»

Если от моста О'Коннела — с него английские войска в 1914 году стреляли в дублинцев — пройти вдоль аллеи Холостяков, вы увидите другой мост через реку Ливфи. Это Чугунный, или, как его иной раз называют, Полушкин мост. Чугунным его прозвали по той простой причине, что он металлический, хотя в Ирландии и не принято исходить из простой логики. Отец говорил мне, что в его время мост этот больше был известен под названием Полушкина: чтобы перейти его, надо было уплатить полушку — полпенни.

Пройдя еще немного, вы упретесь в большой дом под названием «Четыре подворья», где в 1922 году засели противники договора *. Помню, один человек рассказывал мне, что во время штурма здания боец ИРА — деревенский парнишка лет семнадцати-восемнадцати — стал подниматься по лестнице, волоча за собой длиннющий судейский парик. «Эй, куда ты его тащишь?» — закричали ему. На что парень ответил: «Да мне бы только чайник снять с огня!»

Тут же рядом — пивная О'Мира, или иначе «Ирландский трактир». Зачем понадобилось давать название «ирландского» трактиру, находящемуся в самой Ирландии,— мне непонятно. Когда-то я знавал его хозяина, с тех пор трактир перешел в другие руки. В свое время вывеску для этого трактира написал один мой приятель, Динни Боулз,— личность весьма известная и большой мастер своего дела.

На берегу Ливфи, неподалеку от пивоваренного завода фирмы «Гиннес», находятся два больших ирландских винокуренных завода, и сдается мне, что ирландское виски и пиво «Гиннес» так хороши только благодаря целебным свойствам воды в нашей реке. Шотландское виски сейчас как будто популярнее ирландского — особенно в Америке. Такая его популярность среди американцев объясняется тем, что его пила королева Виктория. Она терпеть не могла ирландцев, но ей хотелось проявить истинно кельтский дух, и, поразмыслив, она решила, что, может быть, шотландцы не такие бешеные, как ирландцы, и прониклась к ним бурной симпатией. На то были, вероятно, и другие причины — впрочем, симпатия не помешала ей экспортировать половину населения северной и северо-западной Шотландии в Канаду.

Большинство людей, связанных с литературой, очень даже не прочь пропустить стопку шотландского виски или стакан вина, как это любил Йитс, хотя я и не могу сказать, чтобы его когда-нибудь видели в пивной. Что именно он предпочитал? Должно быть, «стакан игристого...», а может, что-нибудь еще. Моя мать была служанкой в доме г-жи Мод Гонн Макбрайд и знала Йитса довольно хорошо, но она ничего не говорила насчет того, что он любил выпить. Йитс часто бывал в доме Мод Гонн в Сент-Стивенс-Гринс и называл мою мать Китти. Это ей не нравилось, так как имя ее Кэтлин, а Китти — уменьшительное от Кэтрин. Он всегда приурочивал свой приход к тому моменту, когда мать поднималась по лестнице, неся поднос с чаем, кексами и сандвичами для гостей. Йитс неизменно ее останавливал, чтобы поболтать минуту-другую. По-моему, это была просто извращенная форма снобизма: он хотел показать гостям, что со служанкой беседует так же охотно, как с лордом. Но это не избавляло мою мать от нареканий хозяйки — та всякий раз выговаривала ей за то, что чай остыл.

Мать рассказывала, что за обедом она нередко прислуживала Йитсу, и он был совершенно безразличен к еде — обычно даже не замечал, что ест. Он мог по рассеянности насыпать в суп сахару, а в кофе — соли или выкинуть еще что-нибудь в этом духе. Единственное, чего он не любил из еды,— это пастернак. Однажды ему по ошибке подали тушеный пастернак, и он сказал: «Какой странный пудинг!»

Помню, как-то в одном популярном кафе в Париже меня представили некоему американцу, и тот спросил, знал ли я Джеймса

---

* ИРА — Ирландская республиканская армия — националистическая организация, созданная для борьбы против английского владычества. В настоящее время борется за воссоединение Северной Ирландии и Ирландской республики, прибегая к методам террора.

** Военная организация ирландских рабочих, возникшая во время дублинской стачки 1913 г.

* Англо-ирландский договор 1921 г., явившийся результатом антинародной сделки ирландских буржуазных националистов с правящими кругами Англии.

Джойса. Я ответил, что не имел этой чести, но что моя мать часто прислуживала за столом У. Йитсу в доме Мод Гонн в Стивенс-Гринс и что знаменитый поэт воротил нос, когда ему подавали тушеный пастернак.

— Так он не любил пастернак?— оживился американец и тут же вытащил записную книжку.— Вы уверены, что такой факт имел место?

— Смею надеяться,— заметил я,— вы не хотите сказать, что моя матушка лгунья?

— Нет, нет, что вы,— ответил он поспешно,— но ведь она могла ошибиться: может быть, он не любил морковь?

— Ах, так, значит, вы полагаете, что я круглый дурак, если родился от матери, которая не могла отличить морковку от пастернака? — ядовито сказал я.

— Нет, что вы, что вы — я уверен, что могла, но ведь это настолько важный факт... — И он записал в своей книжице: «Тушеный пастернак — отношение к нему Йитса».— Да, но вы упомянули также, что он не любил Стивенс-Гринс *. А это что за зелень такая?*

■

...Первая настоящая организация, ставившая своей целью борьбу за республику в Ирландии, возникла на севере страны. Неподалеку от Белфаста есть холм под названием Пещерный. Вот на этом-то холме Тиоболд Уолф Тон и несколько его друзей принесли свою знаменитую клятву и основали общество «Объединенные ирландцы». Тон — величайший из всех когда-либо живших ирландцев — был дублинцем. Улица, на которой он родился, проходит за «Четырьмя подворьями» и носит сейчас его имя.

Квартал, где родился Тон, да еще заречный район прямо напротив него — самые старые части Дублина. В свое время это были фешенебельные кварталы, но после того, как была проложена О'Коннел-стрит, горожане побогаче стали переселяться в район новых площадей, появившихся примерно в то же время — Мэррион-сквер, Фитцуильям-сквер, Парнелл-сквер и т. д. К югу от реки Лиффи, в той части города, о какой я говорю, высится старый бастион английского владычества в Ирландии — Дублинский замок, в темницах которого погибло так много ирландцев. Рядом с ним — собор Христа Спасителя и собор св. Патрика, где похоронен Джонатан Свифт. Он был неизменным и верным защитником дублинской бедноты. Сразу же за соборами начинаются старые рынки. Главный из них — Цветочный рынок. Здесь торгуют в основном ношеными вещами, но можно раздобыть и еще кое-что. Я, например, купил там графины, очень красивые и притом поразительно дешевые. Вообще, очень люблю графинчики, так как питаю некоторую слабость к их содержимому. В начале тридцатых годов, когда к памятнику жертвам первой мировой войны еще ходило много народу, бывшие солдаты, участники этой войны, по дешевке покупали здесь, на барахолке, старые медали, которые когда-то вынуждены были продать, и, нацепив их на грудь, гордо шествовали в парк.

Подальше, у аллеи Коула, есть еще один рынок — там я приобрел массивное кресло, целиком вырезанное из бирманского тика. Заодно я купил и портрет какого-то бородатого джентльмена. Теперь он красуется у меня над камином, и я выдаю бородача за своего дедушку, хотя понятия не имею, кто он такой. Есть у нас еще и рынок Айви, названный так по имени некоего графа за то, что тот пожертвовал для рынка земельный участок или сделал что-то в этом духе.

Владельцы знаменитого пивоваренного завода Гиннесы всегда были очень добры к дублинцам — вернее, как сказал один шутник, «дублинцы всегда были очень добры к Гиннесам». Пивоваренный завод фирмы «Гиннес» — огромный комбинат, можно сказать, город в городе. Хотя за последние годы Гиннесы сильно расширили ассортимент своей продукции, фирма по-прежнему славится главным образом двумя традиционными сортами пива — крепким и портером.

Парк Феникс, близ которого проживают многие члены семьи Гиннесов,— один из величайших в Европе. Он расположен всего в каких-нибудь двух милях от центра города, и в нем всегда бывает много народу — зимой и летом. Здесь находятся резиденция президента республики, американское посольство и резиденция папского нунция. В парке полным-полно статуй — все больше английские генералы, и надо сказать, что в двадцатые и тридцатые годы члены ИРА потратили изрядное количество времени, пытаясь их взорвать.

В 1882 году в этом парке членами группы «Непобедимые» были убиты два представителя английских властей — государственный секретарь по делам Ирландии лорд Кавендиш и его помощник Бэрк.

В группу «Непобедимые» входили крайние элементы из числа фениев *. Не могу сказать, чтобы память об этом убийстве вызывала у меня глубокую грусть — в конце концов Кавендиш и Бэрк были империалистическими агентами в нашей стране, непрошеными и ненавистными.

Руководителем «Непобедимых» в этом деле был некто Джеймс Фитцхаррис, известный под кличкой Обдери Козла. Откуда взялась эта кличка — понятия не имею. Английские власти предлагали ему тысячу фунтов в год и дом в Канаде, если он выдаст своих сообщников. «Нет,— отвечал им Обдери Козла,— из меня не растили осведомителя, а чтобы преуспеть в этом ремесле, надо начать ему обучаться еще у своей мамаши». В результате он вместо Канады очутился в Портлендской тюрьме, где отсидел пятнадцать лет, но до конца своих дней так никого и не выдал...

Вот такой он, Дублин... Он может нравиться вам или нет — но благодарю вас за то, что вы прошлись по нему вместе со мной.

---

* Непереводимая игра слов: Стивенс-Гриис — (букв. лужайки Стивена) — район Дублина; «гринс» по-английски значит также зелень. *(Прим. перев.)*

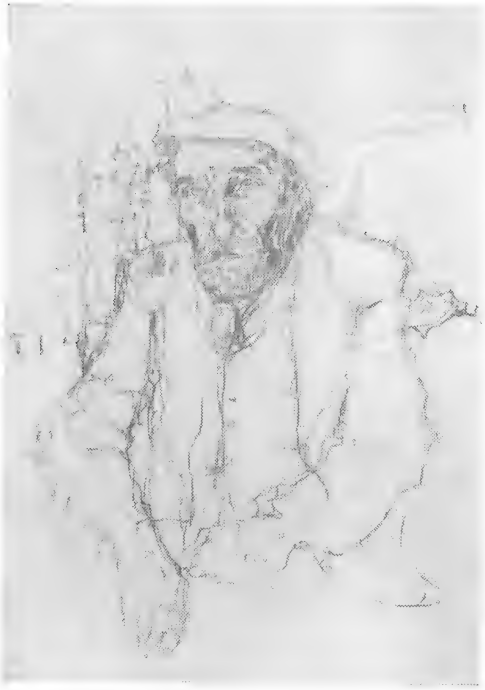
* Фении — члены националистической организации «Ирландское республиканское братство», созданной в 1858 г. Заговорщическая тактика фениев, их мелкобуржуазная ограниченность привели к тому, что в дальнейшем эта организация выродилась в террористическую секту.

Перевод с английского С. МИТИНОЙ

Чугунный мост

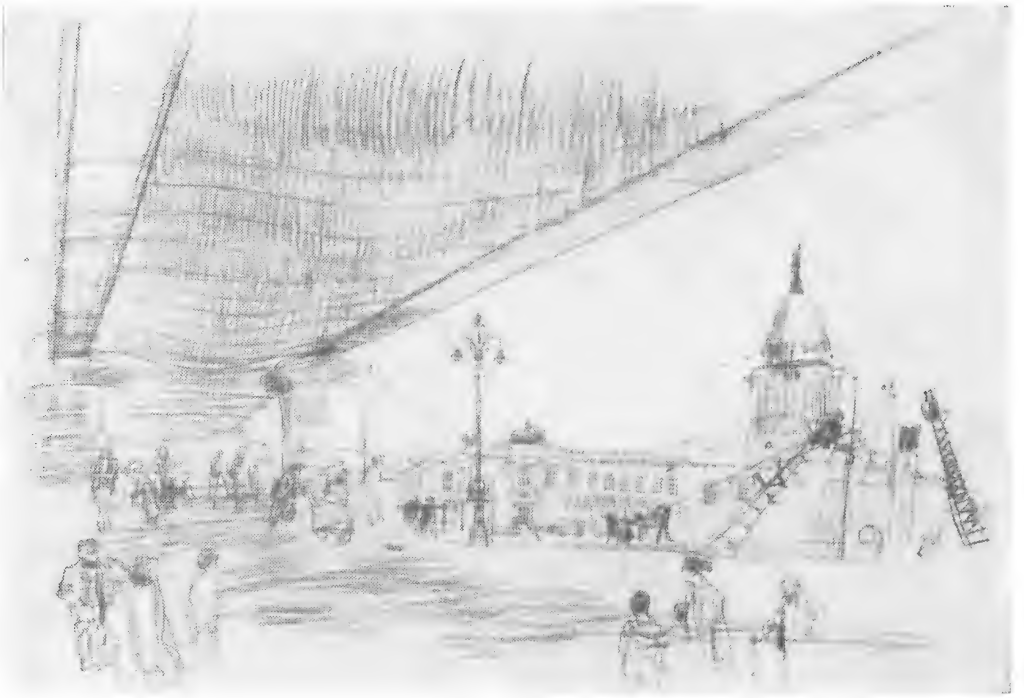
«Четыре подворья»

В Коннемаре



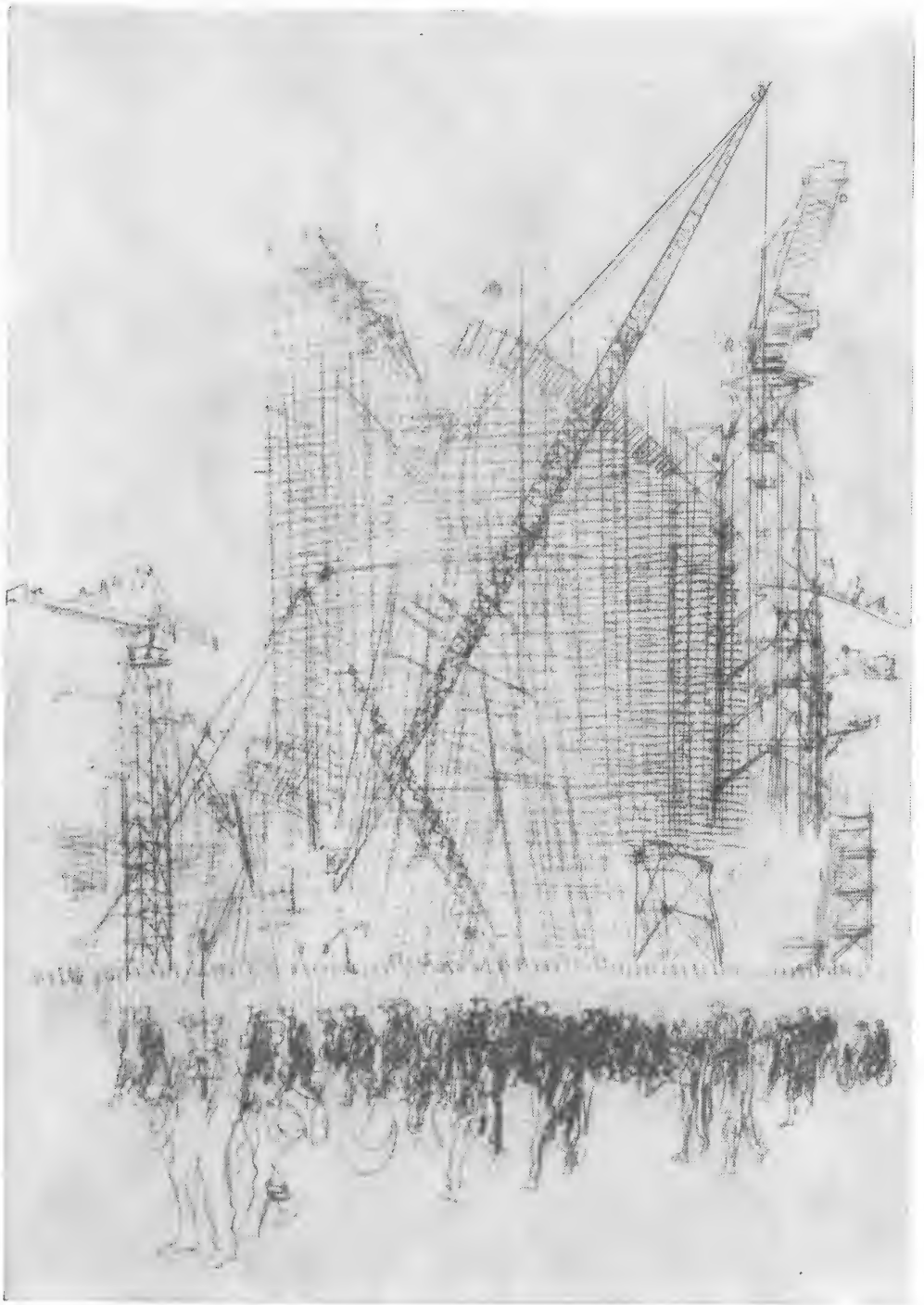
Портрет

На берегу Атлантики



Таможня в Дублине

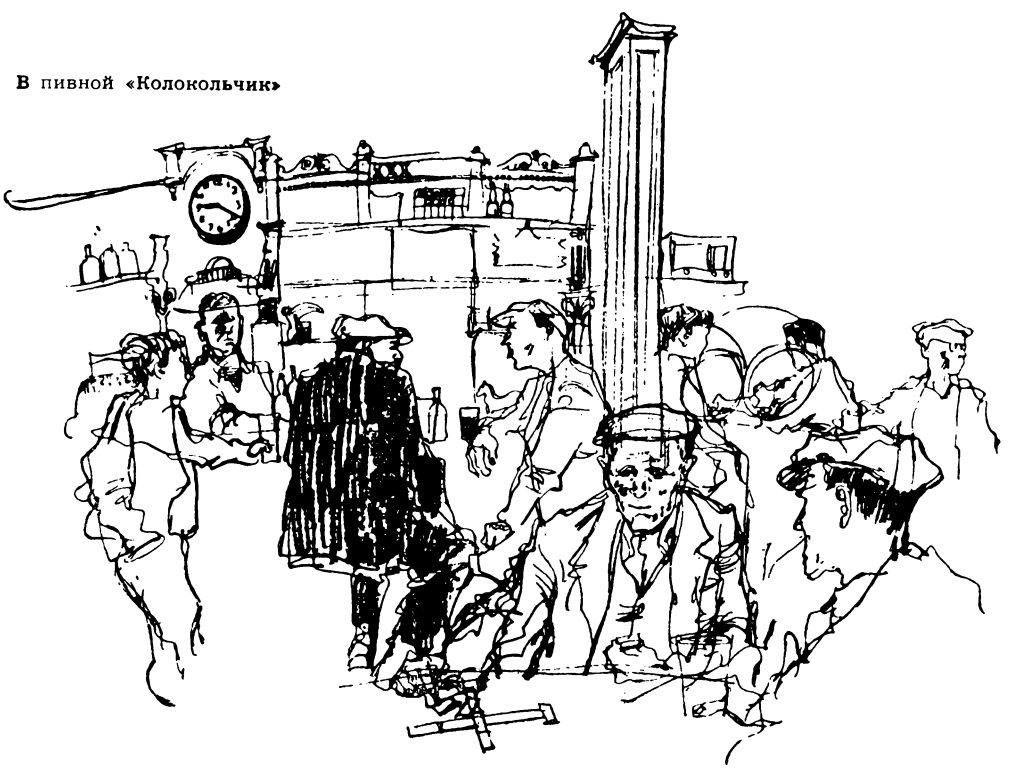
Супруги Каллен
прожили вместе 25 лет



Верфи в Бельфасте

Бельфаст, Ди-стрит.

В пивной «Колокольчик»



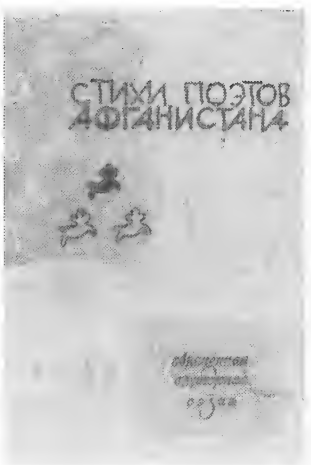
Замок Росс

Площадь в Дерри

Троица

Птицелов

ИЗДАНО В СССР



Стихи поэтов Афганистана. Переводы с пушту и фарси-кабули. Под редакцией и с предисловием Г. Ф. Гирса. Москва, Издательство иностранной литературы, «Современная зарубежная поэзия», 1962. 105 стр.

ВЕТЕР ИЗ СЕРДЦА АЗИИ

То, что мы обычно называем литературой Востока, не есть нечто единое, а тем более однообразное. Даже в тех случаях, когда есть общность историческая, языковая, религиозная, каждая из литератур Востока обладает «лица необщим выраженьем», неповторимостью, самобытностью. Уж, казалось бы, как должны быть похожи между собою литературы Ирана и Афганистана, хотя бы потому, что письменная словесность афганцев развивалась не только на языке пушту, природно афганском, но и на языке фарси, то есть на том языке, на котором писали великие поэты Ирана и Таджикистана.

И в самом деле, читая афганских поэтов, мы узнаем те же принципы художественности, изобразительные средства, ритмы, метры, строфические построения, которые нам знакомы по диванам Фирдоуси, Хафиза или Омара Хайяма. В то же время — и это так пленяет нас — в голосах афганских поэтов мы различаем и нечто иное. Они, эти голоса, более суровы, и даже в соловьином пенье афганских газелей * нам слышится то грохот горного обвала, то бег задыхающегося боевого коня, а в пестрых красках этих строк мы видим черные и белые облака над горами и серые обрывы скалистых вершин.

Афганская поэзия возникла как поэзия народа-воина, сильного, смелого, вольнолюбивого. История афганцев, по крайней мере начиная с тринадцатого века, это непрерывный ряд сражений и восстаний. Афганцы воевали с монгольскими ордами, с империей Великих Моголов, позднее — на протяжении всего девятнадцатого столетия — с английскими захватчиками. Воинственностью дышит песня на языке пушту — первая из тех, что дошли до нашего времени. Она принадлежит эмиру Крора Полада Сури и создана в древности. Автор предисловия к сборнику «Стихи поэтов Афганистана» Г. Ф. Гирс приводит начальные строки этой песни:

Любого тигра я смелей,
Нет никого меня сильней,
Не знали ни Кабул, ни Синд
Таких, как я, богатырей.

(Перевод С. Болотина)

В сборник включены стихотворения новых и новейших поэтов Афганистана. Книга открывается строками Абдулхака Бетаба (род. в 1888), которого на родине называют «малик уш-шуара» — царем поэтов.

Знаменательно, что этот поэт превыше всего ценит свободу, и свободу он видит не только в независимости афганского государства. Для Бетаба свобода прежде всего в том, что «народ не знает бед рабства». Бетаб мечтает, чтобы афганцы, идущие по пути мирного строительства, сбросили ярмо векового неравенства, он с вооду-

* Газель — небольшое лирическое стихотворение, чаще всего любовного содержания.

шевлением говорит о свободе как о символе будущего расцвета своей родины:

Приход свободы должен быть воспет,
Не потерял же ты язык, поэт!
Мечтаю видеть родины расцвет —
Других мечтаний у Бетаба нет.
(Перевод П. Железнова)

В стихах Бетаба, написанных в строгой классической манере, нас привлекают прелестью неожиданности житейски простые выражения, такие как «к расходам будь готов, что принесла зима».

Другой преемник классических традиций, Халилулла Халили (род. в 1907), представлен двумя стихотворениями и несколькими четверостишиями. Одно из четверостиший — «Завоеватели»,— на наш взгляд, особенно запомнится русскому читателю благодаря своей афористичности:

Тщеславные и подлые пришли,
Чтоб изуродовать лицо земли.
Сто раз планета заливалась кровью,
Пока они известность обрели.
(Перевод М. Курганцева)

«Трудно найти,— говорится в предисловии к сборнику,— в современной литературе на пушту поэта и писателя более популярного, чем Гуль Пача Ульфат (род. в 1909)». Познакомившись с этим поэтом в русском переводе С. Болотина, мы начинаем понимать причины такой популярности. Как живописен поэт, какой энергией дышат его строки:

И в воздухе танцуют журавли,
И, словно залпы на веселой свадьбе,
Раскаты грома слышатся вдали.
. . . . . .
И радуга, как подготовка к играм,
Развесила сиянье всех цветов.

Гуль Пача Ульфат — поэт не только весенних зрелищ и веселых свадеб. Его душу возмущают картины социальной несправедливости, он сочувствует сыну бедняка, «бедному малышу», на трудную судьбу которого не обращают внимания ни мулла, ни богач, ни начальник округа. И поэт говорит в одном из своих стихотворений с острой горечью:

Ведь если окружил тебя сплошной глухой забор,
то даже самый пышный сад не лучше, чем тюрьма!
(Перевод С. Болотина)

В Афганистане стало крылатым изречение Абдурраufа Бенавы (род. в 1913): «В наш век нельзя воспевать лишь интимные чувства, нужно обратиться к положению народа и общества». И действительно, даже заголовки включенных в сборник стихотворений выразительно говорят об интересе поэта к социальной теме: «Разве это жизнь?», «Обращение матери», «Плач сироты зимой», «Для покинутой девушки нет праздника». Русский читатель не может не услышать своеобразной музыки этих строк, удачно воспроизведенных Л. Гумилевым, который хорошо знает язык подлинника.

В его же переводе с удовольствием прочтет читатель и стихи Саида Шамсуддина Маджруха (род. в 1910), посвященные памяти Хушхаль-хана, одного из зачинателей афганской литературы, выдающегося полководца и вождя племени хаттаков. Я очень люблю автобиографические строки Хушхальхана, в которых он подробно и в то же время немногословно говорит о себе, о своих ратных трудах, о борьбе с империей Моголов. Его стихи полны чувства национального достоинства, благородства воина и наставника, недаром к нему так обращается наш современник Саид Шамсуддин Маджрух:

О, пробудись, восстань, возьми опять
Свой меч...
С афганцами в стихах заговори
И осуди бесчестия печать.

Сборник афганских поэтов завершается произведениями молодых — Мухаммада Шах Иршада и Сулеймана Лаика. Примечательно, что эти молодые поэты, во всяком случае если судить по переводам, наиболее последовательно придерживаются старых стихотворных традиций.

Кстати, об этих традициях. Автор предисловия кратко, но с достаточной обстоятельностью рассказывает о современных афганских поэтах, знакомит с литературной картой дружественной страны. Мне бы хотелось поспорить лишь с одним его утверждением: «Догматическое отношение к арузу во многом препятствовало созданию в поэзии на языке фарси-кабули новых метрических размеров и тем самым вызвало определенный регресс самой формы стиха».

Аруз — система стихосложения, великолепно приспособленная к свойствам языка фарси. Эта система возникла на народной почве, как это блестяще доказал известный таджикский писатель Садриддин Айни. С помощью аруза писал Лахути, пишет Мирзо Турсун-Заде, пишут все современные таджикские поэты. Говорить здесь о каком-то «регрессе формы» так же неправильно, как если б мы говорили о «регрессе формы» у современных русских поэтов только на том основании, что поэма А. Твардовского «За далью — даль» написана классическим четырехстопным ямбом, а многие стихи Е. Евтушенко — ямбом пятистопным.

Точно так же, как русское стихосложение соответствует законам русского языка, стихотворная система аруза соответствует законам языка фарси. И не случайно то, что многие новейшие персидские поэты, ища новые пути в области своей версификации, отказываются порою от равностопности строк, но остаются в пределах старой метрики — аруза.

Дело, следовательно, не в арузе, то есть не в совокупности стихотворных метров, которые так же естественно развиваются, как и сам язык, а в закостеневших строфических формах, в нанизывании стихотворения на одну рифму (газели, къыта, мухаммасы и т. д.), что никак не связано с метрикой, с арузом и что действительно нередко ведет к регрессу формы, потому что в эти омертвелые строфические построения с большим трудом укладывается новое содержание.

Не могу не отметить и то, что примечания, сделанные редакцией, не всегда хороши. Строка Бетаба «С Платоном схож издалека, укрылся в хум зачем?» снабжена

такой сноской: «Хум — большой глиняный кувшин». И все. Но разве поймет русский читатель, почему герой стихотворения, которого бичует поэт, «укрылся в хум» и почему этот герой «с Платоном схож издалека». Следовало бы объяснить, что греческий философ Платон, известный на Востоке под именем Ифлатун, ошибочно смешивался в представлении поэтов с другим греческим философом Диогеном, который, как знает читатель, сидел в бочке,— отсюда и хум.

Мы прочли книгу афганских поэтов с благодарностью к ее авторам, сблизившим с нами свою чудесную родину и талантливый народ ее, с благодарностью к переводчикам — помимо уже названных выше, в переводах приняли участие Л. Яцевич, К. Лебедев, В. Сикорский, Б. Окуджава, Т. Сикорская, Н. Разговоров. И вместе с Сулейманом Лаиком мы, прочтя стихи афганских поэтов, говорим: «Новый ветер летит из сердца Азии».

С. ЛИПКИН

Хильмар Вульф. Непогода. Перевод с датского И. Бернштейн, под редакцией С. Фридлянд. Послесловие В. Морозовой. Москва, Гослитиздат, 1962. 151 стр.

ГЕРОИ БЕЗ ОРДЕНОВ

Теперь мне кажется странным, как я мог жить и чувствовать себя счастливым без этой маленькой книги. Она вошла в мое сознание, а может быть, и в писательскую биографию — как открытие, как пример мужества и образец стиля.

Имя у этой книги простое и будничное — «Непогода». Не гроза, и не ураган, и не высокая вода, что очень подошло бы к сюжету, а просто — *непогода*. Из всех возможностей — самая непритязательная, не очень-то привлекающая читателя. Но тот, кто прочел книгу, думается, навсегда останется другом Вульфа, укрепит свою веру в людей, которые в поте лица добывают хлеб насущный, а не коптят небо, а заодно укрепит и уважение к писательскому труду.

Хильмар Вульф всей душой с рыбаками родной стороны, с теми, в ком, по его глубокому убеждению, живы «сноровка и дух братства», с *кряжистым племенем,* как он называет жителей маленького прибрежного поселка. Кряжистое племя — точнее и лучше не скажешь. Вот она плотная, мужицкая, образная проза Х. Вульфа, которая чужда украшений: «Одного беглого взгляда на маленькие суденышки ему довольно, чтобы с точностью перечислить всех, кто находился сейчас в трактире. (Это лодочный мастер Мадс, по кличке Мадс На Большой, подплыл в своей лодке к трактирному крыльцу.— *А. Б.*). Лиственничный ялик — это Доктор. Лодка с зеленым планширом — это Олаф Борг. Вон та с настилом на дне — это измышление Кролика Йенса, который когда-то в молодости работал на Норвежскую рыболовную компанию и с тех пор считал необходимым корчить из себя иностранца. А вон лодка, у которой вдоль борта золотыми буквами чин чином выведено: «Анна», эту получил Торкильд Мёллер в приданое, когда женился,— единственный в поселке за последние четыре года. Та, с ясеневыми веслами,— это лодка Мануэля. А с никелированными уключинами вместо обычных деревянных шпеньков — Сигфреда Морехода. Вон та, у которой чалка из манильского троса, а не из простой пеньки, как у прочих, принадлежит Кристиану Объелся Дурману. А вон та...»

Не я оборвал абзац многоточием; это авторское. Чутьем художника Вульф уловил тот миг, когда *дело сделано* и дальнейшее наращивание характеристик стало бы обременительным для читателя. Но хватит, уже начинают вырисовываться и люди и контуры поселка, где четыре года, с женитьбы счастливчика Торкильда Мёллера, не сыграли больше ни одной свадьбы. Кажется, не нужно особого таланта, чтобы написать такой абзац, а лишь наблюдательность и хорошее знание предмета. Знай оглядывай трактирное крыльцо и пиши по порядку все, что попадется тебе на глаза. В действительности же нет ничего труднее, чем писать так — прозой плотной, материальной, предметной, образами зримыми, но не обременительными, так, чтобы фразы оставались стремительными.

легкими, скользили, как ялик по легкой волне, чтобы лодки, и снасть, и чалки, и весла, и никелированные уключины вместо деревянных шпеньков оставались самими собой и являлись вместе с тем живыми, острыми характеристиками их хозяев.

И что за чудные имена: Мадс На Большой, Кролик Йенс, Кристиан Объелся Дурману, боевая, смышленая девчонка по прозвищу Фигура! А рядом люди и вовсе без имен — Трактирщик, Доктор, Инспектор. Конечно, и они крещены от рождения и наречены христианскими именами, и, скажем, жена Инспектора могучая Берта наверняка называет его по имени—когда с презрением, когда с гневом, когда с запоздалой нежностью. Но людям-то какое дело до их имен, если добрый и славный Доктор, замышляющий перевернуть всю их застойную привычную жизнь, всегда и выступает, как доктор, как интеллигент, душевно преданный родному поселку и народу. А Трактирщик всегда трактирщик; он, жестоко скупой бобыль, вместе с тем и человек, но не настолько, чтобы быть Человеком с большой буквы. Так лучше уж именовать его Трактирщиком. А пьянчуга Инспектор? Ему так редко удается проявить свою инспекторскую власть, что, не величай его люди Инспектором, никакого другого утешения в его жизни и не осталось бы. Имя Доктор звучит веско, уважительно; Инспектор — со снисходительной насмешливостью, Трактирщик — жестоко, без дружелюбия, отчужденно.

«Непогода» — из тех книг, о которых хочется рассказать как можно подробнее, из страха, что не всем попадет она в руки. В ней — все сильные, привлекательные черты скандинавской литературы, от древних саг до Андерсена-Нексе и Халлдора Лакснесса. Значит ли это, что книга Х. Вульфа — искусная стилизация или плод образованного и слишком восприимчивого ума? Нет, нисколько! Редко приходится читать такие цельные по колориту, такие органически талантливые вещи, как «Непогода». Просто эта книга приникает (как «Салка Валка», как «Самостоятельные люди» Х. Лакснесса) к самым глубинным источникам народной жизни, рисует подлинно народные характеры, в которых и сегодня можно найти созвучие давним мотивам и чертам старины.

Я все больше утверждаюсь в мысли, что о художнике можно очень верно судить по тому, как он говорит о смерти. Это один из самых высоких барьеров, какие приходится преодолевать пишущему. Большинство не удерживается от преувеличений, от дешевых слез и мелодрамы. Послушайте, как рассказывает об этом Х. Вульф. Еще муж фру Катрин Сёренсен кряжистый Сигфред не умер, еще он лежит и ловит ртом горячий пар, которым пытаются отогреть его коченеющее тело, а фру Катрин Сёренсен чувствует, что быть беде, и все ее мысли уже о будущих похоронах.

«— Да-да, конечно,— Катрин сопит и проводит по глазам тыльной стороной ладони.— Но Сигфреду не по душе было бы, если бы не удалось его отсюда вывезти как положено; он ведь всегда был хорошим человеком; да-да, никто о нем худого не скажет, и я тоже не скажу. Я знаю, что ему бы больше по душе пришлось, если бы погода была поприличнее. А так, сдается мне, грустные это будут похороны.

— Похороны по большей части бывают грустные, фру Сёренсен,— замечает Доктор,— но у вас еще будет время об этом подумать».

«Сдается мне, грустные это будут похороны»,— говорит об умирающем муже верная его подруга, любящая жена рыбака, привязанная к нему и желаниями плоти и почти материнской нежностью. Говорит просто, озабоченно, как о неизбежности, а значит, и о необходимости, как о *деле, которое нужно сделать*. Такое почти невозможно комментировать. Такое не придумаешь просто потому, что захотелось придумать что-нибудь подиковеннее. Это надо услышать в народе, но услышать не как готовую фразу, а услышать мелодию самой жизни, глубоко познать быт народа и его психологический склад.

Что же происходит в этой небольшой книге, размером всего в восемь авторских листов? Непогода. Подталкиваемое неожиданно стойким ветром море хлынуло из Каттегата через Старую Протоку в поселок и делает свою разрушительную работу. Оно валит сараи, курятники, дома, вымывает с корнями яблони, сносит плодородные слои земли. Оно посягает и на самое важное, дорогое, без чего немыслима жизнь,—на рыбацкие шхуны и боты: грозит опрокинуть их, расшибить о мол, унести в бушующие просторы. И пока женщины заняты детьми и хозяйством, пока они перетаскивают на чердаки постели и пуховики, чтобы там в тепле и сухости по-женски вознаградить мужей-рыбаков, когда непогода уляжется, пока Трактирщик, надрываясь, спасает свое затопленное добро — рыбаки ведут прямую схватку с ветром и штормовым морем. А Доктор все это время ведет трудные переговоры с рыбаками и их женами, и все об одном: ему нужны подписи под петицией о строительстве дамбы, которая отрезала бы Старую Протоку от моря и навсегда обезопасила бы поселок. Казалось бы, чего проще — прямая, очевидная выгода! Но для местных жителей, не землепашцев, рыбаков, Старая Протока была доселе всем. Она — их быт, их история, их жизнь, их легенды. Вместе с концом Старой Протоки наступит конец и привычной жизни, придут новые предприимчивые люди, поднимутся в рост трактирщики. Какова еще будет эта новая жизнь? Вот почему рыбаки так упорно сопротивляются Доктору, пекущемуся о них, об их жизни и выгоде.

Когда-то меня поразило одно сравнение Р. Олдингтона. Он писал о человеке, длинном, как день без завтрака. Мне кажется, это сильно, зримо, убедительно. Соединение двух различных рядов — ведь высота измеряется сантиметрами, а дни минутами и часами — дает неожиданный эффект, зна-

жомый нам еще по смелым поэтическим эпитетам Пушкина. И у Хильмара Вульфа образный ряд не только зримый, впечатляющий, но смелый, и корнями своими он уходит в народный строй мысли и сравнений. Поэтому водяной вал у него «долгий, как скудный год», широкоскулый бот «всходит на волну, подскакивая над пенистыми гребнями, точно лосось над водоворотом», море, успокаиваясь, уходит «обратно в отведенные ему границы» и лежит, «охватывая низкий берег, словно огромная ровная улыбка», поэтому годы у его героев бывают «тощие» и «тучные», а жизнь им видится без прикрас.

Мне доводилось встречаться с датскими рыбаками и в районе Греноо и на западном побережье Ютланда, приходилось бывать в их домах и слушать рассказы о том, как в трудные дни гитлеровской оккупации они помогали бежать в Швецию антифашистам и военнопленным. Они хорошие мотористы и моряки, и никому из них не придет нынче в голову называть судовую машину «примусом» и третировать ее. Но старая закваска, дух братства людей труда, и привлекательная открытость лиц и взглядов, и тяжкий по сей день труд, и презрение к трактирщикам, и мужицкая основательность, и руки, изъеденные морской водой и иссеченные снастью,— все это есть, живо, и все-таки жизнь прекрасна. Читая «Непогоду», я вспоминал их, вспоминал с надеждой.

Ведь должны же наступить и такие времена, когда дух трудового братства восторжествует в Дании не только в борьбе со слепой стихией, но и в неизбежной схватке со злом и ложью старого мира. Вот почему еще так важно нам знакомство с людьми, о которых талантливо рассказал Хильмар Вульф.

И пусть это герои далеких берегов его детства, герои, как он пишет, «без орденов, герои, которые не подозревали о собственном героизме». Мы знаем, что они-то и есть настоящие герои жизни и литературы.

АЛЕКСАНДР БОРЩАГОВСКИЙ

НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНИЦА

Волшебный рог. Мифы, легенды и сказки бушменов хадзапи. Собраны проф. Л. Коль-Ларсеном в этнографической экспедиции в Восточной Африке. Перевод с немецкого и предисловие Г. Пермякова. Ответственный редактор Д. Ольдерогге. Москва, Издательство восточной литературы, 1962. 156 стр.

«Как известно, уровень поэтического творчества того или иного народа не определяется степенью развития его материальной культуры. И если мы находим, что произведения тиндига равноценны творениям других, более развитых в культурном отношении племен, а порой могут быть поставлены и выше их, то не в силу свойственной каждому собирателю переоценки своего материала, а на основе подлинной справедливости»,— этими словами немецкий этнограф профессор Людвиг Коль-Ларсен заканчивает свое предисловие к изданию произведений фольклора хадзапи (или тиндига). Ознакомление с книгой «Волшебный рог» показывает всю справедливость этого отзыва.

Народ хадзапи — небольшая группа, сохранившаяся от древнего бушменского населения Восточной Африки,— населяет район озера Эяси в Центральной Танганьике. Собранные в книге мифы, легенды и сказки взяты из двух сборников Коль-Ларсена, который длительное время жил среди хадзапи и сумел заслужить их доверие. Причину такого отношения в значительной степени объясняет нам предисловие Коль-Ларсена. Оно проникнуто глубоким уважением к этому немногочисленному народу. Немецкому исследователю совершенно чужд тот покровительственный тон, который нередко присутствует в работах буржуазных ученых и журналистов об Африке.

Сказки, легенды и другие произведения, входящие в сборник «Волшебный рог», отличаются немалыми художественными достоинствами. Очень хороши, например, сказки о животных, особенно те, где действует один из самых популярных персонажей африканского фольклора — хитрый, озорной заяц, который частенько дурачит своих партнеров. В сказках «звериного цикла» рассказчик не скрывает своего отношения

к действующим лицам. Так, в сказке «Как леопард женился на обезьяне», когда речь идет о леопарде — немного наглом, немного трусливом и вовсе уж не умном — мы как будто видим его ироническую улыбку.

С интересом читаются и произведения, собранные в разделе «Бытовые рассказы», в которых живо обрисованы быт и каждодневные занятия хадзапи. И очень привлекает то скромное достоинство, с которым описывается совсем не легкая жизнь народа, заполненная непрерывной борьбой за существование — это скромность и простота человека, привыкшего преодолевать трудности и не боящегося их.

И мифы, и волшебные сказки, и бытовые рассказы проникнуты глубокой человечностью, стремлением установить добрые отношения между людьми. Таков, скажем, рассказ «Потерянное дитя». И право же, вполне современно звучат слова: «Разве вы люди? Вы утратили человеческий облик и стали убивать себе подобных» (миф «Ц'есенгего»), хоть и вложены они в уста божества. Этот же мотив звучит и в сказке «Люди гоготоко»: «Вас создали людьми совсем не для того, чтобы вы ели людей». Примечательно, что в произведениях всех разделов сборника хадзапи почти никогда не выступают в роли нападающей стороны.

Переводчик книги Г. Пермяков и ее редактор Д. Ольдерогге немало потрудились, чтобы дать нашему читателю доброкачественный перевод и снабдить его комментарием. Надо сказать, что это им в общем удалось. Можно, пожалуй, только упрекнуть переводчика в том, что иногда в русском тексте теряется фольклорный колорит и в речи рассказчика слишком чувствуется литературная обработка. Однако мест таких сравнительно немного, и они не портят общего впечатления от книги, которая знакомит советского читателя с еще одной неизвестной страницей культурной истории народов африканского континента.

Е. МЯЧИНА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ЮНОСТЬ В АВСТРАЛИИ

Это было в самом начале века. В глухом австралийском поселке в семье объездчика лошадей Маршалла родился сын. Его назвали Аланом. «Я сделаю из него бегуна и наездника»,— сказал отец. Но когда Алану исполнилось шесть лет, его сковал полиомиелит, у него отнялись ноги. Однако он поборол недуг, он научился плавать, ездить верхом, охотиться.

Много лет спустя он рассказал об этом в книге «Я умею прыгать через лужи». Название было символическим. Оно говорило о том, что Алан научился не только преодолевать преграды, возникавшие на его пути, когда он шел в школу, опираясь на костыли. Он научился вдобавок побеждать ту душевную боль, те сомнения и приступы тоски, которые он испытывал при мысли, что в жестокой борьбе за существование ему не уцелеть.

И если Алан Маршалл сумел стать нужным людям, он обязан этим прежде всего твердой решимости справиться с болезнью, не дать себя сломить нужде и трудностям. Правда, сам Маршалл говорит об этом просто, как о чем-то будничном, обыденном. «Я сказал себе: я тоже могу это сделать. Я это сделаю».

Сейчас он — один из тех прогрессивных писателей, что помогают своим творчеством, своей общественной деятельностью народу Австралии добиваться лучшей жизни, бороться за мир на земле.

Знакомясь с тем, как рос и мужал Алан Маршалл — писатель и человек, невольно вспоминаешь слова Маяковского:

Надо, чтоб поэт
и в жизни был мастак.

Соотечественник Маршалла талантливый новеллист Джон Моррисон в статье, посвященной Маршаллу, писал: «Ни у одной книги нет более правдивого и честного названия, чем у книги Маршалла, озаглавленной: «Это — мой народ». Тут правда в каждом слове. И каждая из трех книг, принесших ему наибольшую известность,— это призыв к сочувствию и пониманию. В одной из них он пишет об аборигенах Австралии, в другой — о промышленных рабочих, в третьей — об одиноких обитателях зарослей».

Заросли, неповторимый пейзаж Австралии, ее древние эвкалиптовые рощи, ее причудливая фауна — опоссумы, кенгуру, коалы*, весь этот своеобразный мир вошел в книги Маршалла. Но писатель далек от простого любования природой. Много мрачного и тяжелого повидал он на своем веку, не говоря уже о том, что к нему самому судьба отнеслась без особого милосердия. Казалось, он должен был ожесточиться, замкнуться в себе. Но этого не случилось. Алан Маршалл жизнелюбивый, жизнерадостный человек, ценящий шутку, смех. Так и видишь охотника поговорить, побалагурить. «Как дела, Энди?» — называется одно из произведений. «Вот как жили люди в Спиво» — другое. А его книга о тяжелой жизни рабочих-обувщиков озаглавлена

* Медведи ростом с небольшую собаку.

Alan Marshall. This is the Grass. Melbourne, Canberra, Sydney, F. W. Cheshire, 1962.

даже чуть легкомысленно — «Как прекрасны твои ножки». И в то же время Маршалл умеет немногими штрихами воссоздать картину, исполненную подлинного трагизма.

Немало таких картин было в первой части книги Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи». В этой книге, которая опубликована несколько лет назад и переведена на русский язык, перед нами проходит детство Алана — долгие месяцы, проведенные им в больнице, жизнь в семье, в школе, где были добрые друзья и коварные враги и где учитель Тэкер бил по рукам пришедшихся ему не по нраву школьников. Мы расставались с Аланом в тот момент, когда он, сдав заочно экзамены в училище для счетоводов, собирался уехать в Мельбурн навстречу юности.

Книга была тепло встречена читателями. Но год шел за годом, а продолжение не появлялось. На вопросы советских друзей Маршалл с горечью отвечал, что в Австралии зарабатывать на жизнь своим творчеством литераторы не могут, что ему уже на шестом десятке приходится заниматься случайной работой, чтобы иметь возможность продолжить свою автобиографическую книгу. «А пока все те книги, которые мне хотелось бы создать, все рассказы, которые просятся на бумагу, должны ждать». Ждали и мы. И вот недавно пришла наконец вторая часть книги «Я умею прыгать через лужи». Автор назвал ее «Это — трава», что перекликается с эпиграфом из «Листьев травы» Уитмена. Ее можно было бы озаглавить и так: «Юность в Австралии».

С болью и горечью описывает Маршалл свои «университеты». Из мира далеко не безоблачного, но все же милого детства в кругу семьи и однокашников он шагнул в чуждый и враждебный ему мир. Окончив школу счетоводства, он с нетерпением ждал новой жизни в Мельбурне, надеясь бывать там в музеях и библиотеках — ведь он твердо решил стать писателем. Но совсем по-иному встретил его большой город. И не музеи с библиотеками, а общение с людьми, живущими трудной и неустроенной жизнью, помогло ему стать народным писателем.

Разочарование началось сразу же: никому не нужен был клерк-калека. Удрученный и растерянный, стуча костылями, бродил Алан по улицам города. Однажды какая-то сердобольная старушка сунула ему мелкую монету. «Двери открывались и закрывались за мной, бесчисленное множество дверей, словно щиты... преграждали мне путь». Он чувствовал себя одиноким и затерянным в толпе; мимо него пробегали девушки в шляпах, напоминавших колокол, степенно проходили мужчины в синих костюмах и крахмальных воротничках; у кинотеатров зазывалы в ярких костюмах расхваливали достоинства фильма с участием Нормы Толмэдж. Город стряхивал с себя ограничения военного времени (после первой мировой войны), из окон ресторанов доносились звуки входивших в моду фокстротов, но никому не было дела до рослого широкоплечего парня с парализованными ногами.

Он нашел место младшего клерка в небольшом поселке в 28 милях от Мельбурна. Работа была временной, и платили ему так мало, что после уплаты за ночлег и еду в местном кабачке у него оставалось лишь несколько шиллингов. Но если работа клерка была скучной и однообразной, то в кабачке, ставшем для него домом, он познакомился со множеством людей, и каждый новый день приносил с собой столько пестрых впечатлений, что Алан решил их записывать. «В моих карманах лежали исписанные листки бумаги, но это были не квитанции или счета, а заметки о встреченных людях, обрывки диалогов, наброски будущих рассказов». В кабачке, куда приезжали кутить мельбурнские богатеи, Алан увидел изнанку жизни; тут он, по его словам, впервые понял, что «бывают поцелуи без любви». И свой первый рассказ о «быте» загородного кабачка он послал в редакцию журнала, того самого журнала, на покупку которого он тратил свои жалкие сбережения. Оттуда пришел издевательский ответ: «Вы знаете место, куда приезжают богатые дельцы с чужими женами, почему бы вам не сообщить нам адрес этого рая на земле?»

Но и это не отбило у Маршалла охоты писать: по-прежнему его карманы оттопыривались от листков с заметками.

Между тем жить становилось все трудней. Алан очень нуждался в помощи, в совете друга. И такого друга он нашел. Это был Артур — бунтарь и социалист, в прошлом моряк, навсегда запомнивший,

что «нет ничего страшнее войны». С большой любовью вспоминает Маршалл об этом человеке. «Ты никогда ничего не добьешься, если не будешь бороться»,— говорил Артур, и многое становилось для Алана яснее. Он решил узнать людей так же хорошо, как он знал деревья и птиц. Но кое-что озадачивало Алана в окружавших людях. «Они никогда не читали книг. Они говорили лишь... о жалованье, болезнях, о непрерывной борьбе, которую им приходилось вести, чтобы накормить жен и детей».

Нужны ли будут им мои рассказы? — спрашивал себя Алан. «Я встречал многих людей, чья жизнь была изуродована лишениями. Им не хватало чувства уверенности, знаний, ясной цели. А я не знал, чем им помочь. Я был одним из них». И он ищет утешения в общении с природой, уединяясь в лесу, слушая шорох трав, вдыхая аромат цветов.

Но разве можно было покинуть поле боя, отказаться от мечты стать писателем? Нет, этого не позволил бы ни Артур, ни другие новые друзья. Алан сблизился с известным натуралистом Фрэнком Рэдклиффом, тяжело больным и вечно нуждавшимся человеком. Рэдклифф познакомил Алана, хорошо знавшего австралийский фольклор, с фольклором других народов, со «сказками дядюшки Римуса», научил Алана понимать и любить музыку, живопись. С огромным уважением и даже нежностью вспоминает Маршалл этого отзывчивого и умного человека.

Самые разнообразные люди проходят перед нами на страницах новой книги Маршалла — и охваченные спекулятивной горячкой мельбурнские обыватели, и боксеры, и рабочие, и его соседи по пансиону — интеллигенты, живущие скучно и монотонно, и даже... бастующие полицейские.

Жизнь удивляет юного Алана своей сложностью, своими противоречиями. Он много размышляет, отвергает готовые решения, хочет сам во всем разобраться. И ни на минуту не расстается он со своей мечтой стать писателем. А для этого «мало наблюдать жизнь — надо участвовать в ней». Но пока Алан больше наблюдатель.

Автобиографическая повесть Маршалла не завершена. Автор рассказал нам ранее о своем детстве и сейчас — о юности. Впереди, надо думать, новая книга о том, как сложилась дальнейшая жизнь Алана Маршалла — писателя и борца.

ВЛАДИМИР РУБИН

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРОШЛОЕ

Эдуард Клаудиус, автор известного в Советском Союзе романа «О тех, кто с нами», выпустил сборник рассказов под поэтическим заглавием «Девушка Нежное Облако». Читатели ГДР с интересом встретили эту книгу, посвященную освободительному движению в Азии.

В последние годы литература ГДР обогатилась книгами о странах Азии, Африки, Латинской Америки, борющихся против колониального гнета. При всей несхожести форм, при всем разнообразии творческой манеры авторов эти произведения роднит искренняя и живая симпатия к народам, восставшим против захватчиков.

Среди таких книг можно назвать яркие записки Герберта Отто о Кубе «Республика страсти», увлекательные репортажи Г. Нахбара и Г. Феттера «Путешествие в Бразилию» Популярностью пользуются романы Гарри Тюрка о борьбе малайского народа «Ветер умирает перед джунглями» и «Лотос на горящих прудах». Недавно в ГДР был издан роман западногерманского писателя К. Поппе «Банановая война» о событиях 1954 года в Гватемале. Автор тонко раскрывает истинную подоплеку короткой, но жестокой войны, которая велась против безоружного народа в интересах американских монополий.

Характерно, что в Западной Германии так и не нашлось издателя для романа того же автора об Индокитае — «Ты пришел, чтобы умереть». Зато западногерманский книжный рынок наводнен дешевыми поделками, в которых прославляются наемники иностранного легиона, романтизируются грабежи и убийства, доказывается «неполноценность» людей черной или желтой кожи, содержится призыв к истреблению «цветных». Как и в годы гитлеровского владычества, молодежь Западной Германии начиняют фашистскими бреднями о том, будто немцам не хватает «жизненного пространства» и молодое поколение призвано расширить его за счет территории других народов.

Писатели ГДР активно выступают против идеологии шовинизма. Свидетельство тому — сборник рассказов Клаудиуса, проникнутый идеей равноправия всех народов.

Коммунист Клаудиус всегда был борцом против фашизма, против войны. Писатель познал эмиграцию и фашистские застенки, воевал в рядах прославленной Интернациональной бригады в Испании, сражался среди отважных партизан легендарного отряда «Гарибальди». И куда бы ни заносила Клаудиуса судьба, а вернее, долг борца, его оружие — и винтовка и перо — неизменно было направлено против несправедливости, в каком бы обличии она ни выступала.

Все, о чем пишет Клаудиус в своей новой книге, хорошо знакомо ему: он был генеральным консулом ГДР в Сирии, послом во Вьетнаме. Герои его рассказов — люди сильной души и бесстрашного сердца. Они берутся за оружие не в силу природной воинственности или авантюристических склонностей. Для них оружие — необходимость.

Во Вьетнаме распространена легенда о поэтессе, которая думала, что песнями и стихами сможет принести народу

Eduard Claudius. Das Mädchen „Sanfte Wolke". Berlin, Verlag Volk und Welt, 1962.

мир и счастье. Она ненавидела оружие, в чьих бы руках оно ни находилось. Как птица, пела она о воле, о любви, о дружбе. Но угнетатели схватили ее и посадили в темницу. Обессилев от пыток, она кровью написала на стене, что в смертный час желала бы иметь тысячу рук и в каждой руке держать по винтовке.

Герой одного из рассказов Клаудиуса вспоминает: «Когда французы снова высадили в Хайфоне войска, нам стало ясно, что мира не будет — ни в дельте, ни в горах, ни в джунглях... Французы кричали, что им удалось прогнать «вьетов», что те жрут в джунглях бамбук и сухой рис. А мы, уйдя из городов, знали, что нас не сломить ничем...»

Лучший рассказ сборника — «Девушка Нежное Облако». Это овеянное поэзией повествование о первой любви, разлуке, человеческой стойкости. О «нежной, но суровой и дикой красоте» девушки поведал писателю вьетнамский офицер, от лица которого ведется рассказ. Выполняя задание партии, молодой коммунист отправился в джунгли, ему предстояло сплотить их обитателей, убедить, что «нельзя оставаться в стороне, что необходимо покончить с враждой между племенами...» И там однажды встретил он юношу из племени мео и его сестру — Нежное Облако. С того дня девушка и ее брат Пао стали партизанами. Пао участвовал в боях под Дьен-Бьен-Фу, а его сестра, храбрая разведчица, не покинула своего поста до самой гибели.

Для характеристики своих героев автор находит скупые, но точные слова. «...Молод был тогда Пао. Его круглое скуластое лицо было еще гладким: скитания в джунглях, «охота» за французскими часовыми, борьба за аэродром в Дьен-Бьен-Фу, гибель отца, матери и Нежного Облака — все эти события тяжких лет еще не оставили на нем отпечатка. Только по нежным и гордым глазам было видно, что все это не сможет согнуть его. В наших местах растет дерево, которое крепче железа, мы зовем его железным деревом. Таким был и Пао — словно высеченным из железного дерева».

Воля к победе движет и юной партизанкой, и лаосским патриотом принцем Суфанувонгом, героем рассказа «Сержант и принц». В основе повествования — подлинный эпизод: побег принца Суфанувонга из Вьентьянской тюрьмы через джунгли в расположение партизанских отрядов. Вместе с принцем бежала группа охранников. Много дней длился этот изнурительный переход, потребовавший от людей напряжения всех физических и душевных сил. Мужественным и несокрушимым человеком предстает перед нами принц Суфанувонг, который сумел увлечь за собой людей.

Клаудиуса интересует не внешняя сторона событий, хотя и она нашла достоверное отображение,— а прежде всего духовные побуждения людей. Писателя волнует вопрос, в чем сила народа, что помогло ему победить. Ответ заключен в характерах самих героев, в их твердой вере в партию, в справедливость своего дела — не зря коммунисты Вьетнама гордо называют себя «кадрами революции». Клаудиус показывает, что они тесно, неразрывно связаны с народом, и в этом секрет их успеха.

Писатель делает нас свидетелями того, как после освобождения забитые и угнетенные люди превращаются в активных строителей нового общества. В этом смысле характерен рассказ «Последний тигр из Тин-Туок». Казалось бы, эта простая история о бедной девушке, богатом женихе и юном возлюбленном. Но у Клаудиуса рассказ звучит очень современно и очень по-вьетнамски. И не только потому, что девушку зовут Утренняя Заря, а юношу Серый Дождь. Конкретные приметы и четкие детали быта нищей деревушки, где над людьми безраздельно властвуют древние суеверия и законы племени, придают художественную достоверность событиям, которые подводят героиню к порогу новой жизни.

Со страниц этой книги встает... «незабываемое прошлое». Оно напоминает о том, что «кровь, пролитая в борьбе с захватчиками, еще не успела высохнуть», что борющийся народ не сломить. И еще об одном свидетельствует эта книга: в демократической Германии развивается новая по духу и сути литература — подлинно гуманистическая, воодушевленная идеями равенства и братства народов.

И. МЛЕЧИНА

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Откликаясь на издание сборника драматических произведений Владимира Маяковского «Мистерия-буфф» и другие пьесы» в переводе Гуго Гупперта, рецензент австрийской газеты «Фольксштимме» пишет: «Общеизвестно, что Маяковский был политическим поэтом, но противники Маяковского часто пытаются свести к этому определению все творчество поэта, пользуясь тем, что западный читатель еще очень мало знаком с Маяковским — лириком и реформатором стиха. А по сути деление Маяковского на «лирика» и «агитатора» искусственно; такого деления не существует, ибо революция и борьба были жизнью поэта».

Рецензент приветствует издание драматических произведений Маяковского, которое открывает немецкому читателю поэта с новой стороны: читатели познакомятся с Маяковским-сатириком. «Лишь очень жаль,— замечает рецензент,— что эти произведения появились на немецком языке только теперь, через тридцать лет после их создания. Но то, что они звучат сегодня так же злободневно, как и тогда, и с успехом идут на сценах многих театров мира, свидетельствует об их высоком художественном достоинстве».

Как сообщает датская газета «Ланд ог фольк», в Копенгагене готовится к выпуску сборник стихов Владимира Маяковского, куда будут включены не переводившиеся ранее на датский язык стихотворения великого советского поэта. Сборник должен выйти в ближайшее время под названием «Забытая книга».

В текущем году, как сообщает болгарская печать, в Болгарии выйдет более 240 переводов советских книг. Будет закончено издание 40-томного Собрания сочинений В. И. Ленина. Любители художественной литературы получат четыре тома произведений Михаила Шолохова. Выйдет в свет роман Веры Кетлинской «Иначе жить нельзя». Константин Паустовский будет представлен сборником новелл, Корней Чуковский — мемуарами. Будут также изданы повести Якуба Коласа «На перепутье», Михаила Стельмаха «Правда и кривда», Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Готовятся переводы романа Юрия Дольд-Михайлика «И один в поле воин», роман Георгия Брянцева «По тонкому льду». Болгарские издательства обещают познакомить читателей и с творчеством «более молодого поколения литературной гвардии». Выйдут повести Виля Липатова «Зуб мудрости» и Владимира Тендрякова «Суд». Юные читатели получат новое издание произведений Аркадия Гайдара.

В плане на текущий год итальянского издательства «Эдитори риунити» указано немало переводов произведений советских писателей. В частности, выйдут в свет «Кащеева цепь» Михаила Пришвина и «Романтики» Константина Паустовского. В этом году издательство закончит выпуск многотомного полного собрания сочинений Максима Горького. Впервые в Италии издается сборник статей А. В. Луначарского под названием «Революция и искусство».

В западногерманском издательстве «Генрих Эллерман» вышел роман Константина Федина «Братья».

В пражском издательстве «Чехословенски списовател» вышла книга Владимира Солоухина «Капля росы». Как отмечает обозреватель журнала «Хост до дому», книга Солоухина «свежа от росы и мудра. В ней, как в маленькой капле, отражена современная быстро развивающаяся советская действительность».

Сборник стихов поэта Александра Прокофьева «Разговор по душам» опубликован издательством «Словенски списовател» (Братислава).

Как сообщает будапештский бюллетень «Тайекоztato», в издательстве «Эуропа» вышла повесть Георгия Владимова «Большая руда».

Венгерский журнал «Надьвилаг» опубликовал подборку стихов армянских поэтов, в том числе Геворга Эмина, Рачии Ованесяна, Паруйра Севака и Егише Чаренца.

По сообщению газеты «Паэзе сера», римское телевидение показало пьесу Виктора Розова «В добрый час!». Имя советского драматурга уже известно итальянцам — это вторая его пьеса, показанная по римскому телевидению, кроме того, его произведения вошли в сборник пьес советских авторов, не так давно изданный в Италии. Отмечая, что Розов — один из самых интересных советских драматургов, газета «Унита» в рецензии на телеспектакль пишет, что проблемы, затронутые в комедии, сами по себе не новы, они знакомы и молодежи Запада, но новым в пьесе является решительный «выбор в пользу честного подхода к жизни и к вопросам, которые она ставит».

Бургасский театр (Болгария) поставил пьесу Владимира Маяковского «Клоп». На снимке сцена из спектакля.

(Журнал «Театр»)

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

Десять лет назад восьмидесятишестилетняя поэтесса Мэри Гилмор начала сотрудничать в издаваемом Коммунистической партией Австралии еженедельнике «Трибюн». Тогда же она передала редакции маленькое стихотворение, которое, по ее просьбе, могло быть опубликовано лишь после ее смерти как последний ее литературный вклад. И вот в связи со смертью старейшей поэтессы Австралии, отдавшей свою жизнь делу рабочего класса и социализма, «Трибюн» напечатала это небольшое и трогательное стихотворение, в котором Мэри Гилмор выражала пожелание, чтобы ее «в последний путь провожали не могучие слоны, львы, тигры иль длинные жирафы, а крошки муравьи, народец маленький, что день и ночь несет удел свой скромный — и миру служит...» Здесь мы помещаем портрет Мэри Гилмор работы австралийского художника Г. Макклинтока.

(Еженедельник «Трибюн»)

АВСТРИЯ

ВО ИМЯ МИРА

Два рассказа недавно скончавшегося австрийского писателя Георга Зайко, вышедшие в свет под названием «Плаха жертв», отмечены государственной премией Австрии.

Как сообщает рецензент газеты «Фольксштимме», один рассказ относится ко времени войны 1914—1918 гг., другой рисует картины второй мировой войны. По мнению критика, уже самые первые абзацы рассказа, датированного октябрем 1914 года, как нельзя лучше характеризуют творчество писателя. Писатель призывает человечество не забывать ужасы войны во имя мира.

Рассказы Зайко, пишет рецензент, заставляют каждого читателя призадуматься над тем, как активнее бороться против поджигателей новой войны.

АНГЛИЯ

«ВОТ ЧТО ВАЖНЕЕ ВСЕГО»

«Лучше сделать для дела мира мало, чем не сделать ничего»,— такова точка зрения видного английского писателя Джона Брейна.

Отвечая на вопрос газеты «Дейли уоркер» о своих творческих планах на текущий год, писатель заявил:

— Мои единственные планы на будущее это — мир. С миром связаны все мои творческие замыслы и мечты. Я не думаю, чтобы лично я мог сделать многое в этом направлении, но кое-что я могу сделать, и это лучше, чем не делать ничего. И если каждый писатель сделает то же самое, все мы окажемся ближе к такому миру, которому по крайней мере не будет угрожать уничтожение. Пока не будет установлен прочный мир во всем мире, нельзя, по-моему, рассчитывать на появление выдающихся произведений искусства. Художник может творить, если лично ему угрожает гибель: это не так уж важно для его творчества. Но он не может творить в условиях, когда тень уничтожения нависла над всем человечеством. Вместе с тем писатель, пока у него есть силы, должен в своих произведениях говорить правду об окружающем его мире — тем самым он вносит свой вклад в дело международного взаимопонимания.

«Всякий раз, когда я начинаю новый роман,— пишет в «Дейли уоркер» Алан Силлитоу,— передо мной возникает вопрос: а не взорвется ли наша планета в дыму и пламени прежде, чем я успею написать слово «конец» и отправить рукопись своему издателю?.. Конечно, в ходе работы я увлекаюсь и забываю о возможности

войны, но все-таки трудно избавиться от мысли об этом. Мне хотелось бы в текущем году завершить начатое в прошлом году и одновременно начать что-то новое, что я сумею закончить в будущем году, и так далее, и так далее. Я надеюсь, что так будет всегда».

По словам этого молодого, но уже известного писателя, в текущем году выйдет из печати книга его рассказов «Хорошие женщины»; он надеется также закончить свой новый роман, у которого еще нет названия. Кроме того, Силлитоу подготавливает к печати том стихотворений.

Говоря об атмосфере «холодной войны» и международной напряженности, Силлитоу отметил:

— Не думаю, что это подходящая обстановка для творческой работы. Неуверенность в будущем так или иначе проявится в произведениях писателей, хотя как именно — никто еще не может наверняка сказать.

РОМАН-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Действие романа Энтони Трю «Через два часа все погрузится во тьму» происходит на английской атомной подводной лодке, вооруженной ракетами «Поларис». Эта подводная лодка патрулирует воды Балтийского моря.

Командир подлодки, носящей провокационное название «Возмездие», капитан Шэдди — неудачник и неврастеник, жизнь его не удалась. Вечная неудовлетворенность привела капитана Шэдди к преувеличенным представлениям о собственных возможностях, у него даже возникла мысль: «А может, и один человек в силах начать термоядерную войну?» Капитану уже мерещилось, что в своих руках он держит судьбы всего человечества, всего земного шара. Наконец у этого параноика мелькнула роковая идея: «А что, если направить мою подводную лодку на Кронштадт?..»

Писатель, по отзывам английской критики, в своем первом романе ярко показывает ход мышления самовлюбленного, ничтожного существа, человеконенавистника, мнящего себя непонятым героем и стремящегося любой ценой прославиться, войти в историю. Еженедельник «Санди таймс» отмечает особую актуальность книги Энтони Трю в условиях дикой и безответственной пропаганды на Западе термоядерной войны.

АВТОР «СЧАСТЛИВЧИКА ДЖИМА» ПОКИДАЕТ АНГЛИЮ

Автор известного советскому читателю романа «Счастливчик Джим» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 10—12, 1958) Кингсли Эмис подает в отставку с поста преподавателя английской литературы в Кембридже и уезжает на остров Майорку, чтобы там работать над новой книгой. Кингсли Эмис рассказал корреспонденту газеты «Дейли экспресс», что это решение он принял под влиянием своей поездки в прошлом году к поэту Роберту Грэйвсу, живущему на Майорке в уединенной деревушке.

«Я брал у него интервью для одного журнала,— сказал Эмис,— и одновременно разглядывал его книжные полки. И вдруг и увидел, что два — нет, больше — два с половиной метра полок заняты его собственными произведениями. И тут я подумал: а я... что же я успел написать? Какие-то несчастные семь книг...»

Кингсли Эмис.
(Газета «Дейли экспресс»)

ДЖИММИ ПОРТЕР ЛИШЕН СЛОВА

Герой нашумевшей пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе» Джимми Портер не понравился лидерам драматического общества английского курортного городка Пэйнтона, которым вообще не нравится, что кто-то смеет выражать недовольство жизнью в Англии. Хотя пьесу уже подготовили к постановке, по настоянию местных «блюстителей социального спокойствия» ее сняли.

По этому поводу газета «Санди ситизен энд Рейнолдс ньюс» пишет: «Мистер Моуни из драматического общества Пэйнтона сурово расправился с основоположником движения «сердитых молодых людей» Осборном и его героем Джимми Портером. Но теперь ему противостоит множество «сердитых людей» из числа жителей Пэйнтона, которые хотели бы посмотреть эту знаменитую пьесу. Возмущена и режиссер спектакля Нэнси Данкан, которая заявила: «Мы считаем неправильным запрет пьесы из-за того, что несколько человек не любят современного театра и боятся «сердитых» высказываний. Мистер Моуни твердо стоит на своем, утверждая, что театр должен ставить «спокойные» и «приличные» пьесы и тогда город Пэйнтон усилиями г-на Моуни и его единомышленников, дескать, «останется чистым и незапятнанным (!)». Вся эта смехотворная история — яркий образец мелкобуржуазного ханжества, высмеянного еще Свифтом, Теккереем, Диккенсом и тем же Джоном Осборном. Пьеса «Оглянись во гневе» запрещена в Пэйнтоне, однако общественное мнение этого городка считает, что победил Джимми Портер, лишенный слова.

Известный английский режиссер Питер Брук осуществил на сцене Шекспировского мемориального театра в Стрэтфорде-на-Эйвоне новую постановку «Короля Лира». Это за последние пять лет уже третья интерпретация бессмертной трагедии Шекспира, предпринятая английскими режиссерами. В предыдущей постановке главную роль исполнял Чарльз Лаутон, в новой — Короля Лира играет известный советским зрителям Поль Скофилд.

Сравнивая все три спектакля, театральный критик газеты «Санди телеграф» Алан Брайен пишет: «В 1958 году в театре «Олд Вик» режиссер Дуглас Силз показал нам трагедию некоего г-на Лира, в которой «стихии» выступают как прирученные «привидения». В 1959 году в Стрэтфорде Глен Шоу придал трагедии андерсеновскую окраску, и Чарльз Лаутон был похож на какого-то сказочного короля, потерявшего от горя рассудок. Питер Брук поставил «Короля Лира» в стиле, который, как мне кажется, должен называться эпическим реализмом». По отзыву рецензента, Поль Скофилд создает сложный человеческий образ: всевластный диктатор и раб своих подданных, грубый, невоспитанный варвар и страдающий отец — во всех трагических ситуациях «перевернутого вверх ногами мира», где нарушены законы природы, он «остается человеком, который из глубины веков обращается к нам». На снимке сцена из спектакля.

(Журнал «Тиэтр уорлд»)

АРГЕНТИНА

СМЕРТЬ МАНУЭЛЯ ГАЛЬВЕСА

Известный аргентинский писатель Мануэль Гальвес умер в Буэнос-Айресе в возрасте 80 лет. Перу писателя принадлежит свыше пятидесяти книг — романов, повестей, посвященных главным образом прошлому его страны, и сборников рассказов. В последние годы им были написаны монографии о выдающемся литераторе и государственном деятеле Аргентины XIX века Доминго Фаустино Сармиэнто, об авторе эпической поэмы «Мартин Фьерро» Хосе Эрнандесе, а также мемуары.

Один из его нашумевших в свое время романов «Нача Регулес» был переведен и издан в Советском Союзе сорок лет назад. В недавно выпущенном Издательством иностранной литературы сборнике «Аргентинские рассказы» опубликована его новелла «Счастливчик».

БОЛГАРИЯ

50 ЛЕТ СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ

В нынешнем году исполняется 50 лет Союзу болгарских писателей. Со дня своего основания Союз является демократической организацией, оказавшей огромную помощь развитию реалистической болгарской литературы. После Девятого сентября 1944 года Союз превратился в важный фактор формирования болгарской социалистической литературы.

Правление Союза болгарских писателей решило широко отметить 50-летие СБП в ноябре текущего года. Для проведения празднования знаменательной годовщины создается юбилейный комитет. В Софии будет проведено торжественное собрание, в столице и по всей республике будут организованы литературные чтения с участием авторов. Выйдет в свет альманах «50 лет Союза болгарских писателей».

ВСТРЕЧИ ВО ВРАТЦЕ

Работники Вратчанского окружного комитета партии пригласили к себе в гости группу болгарских писателей. Литераторы с готовностью откликнулись на приглашение вратчанцев. Между гостями и хозяевами состоялся большой, содержательный разговор.

«Поначалу, — сообщает еженедельник «Литературен фронт»,— эта встреча напоминала какое-то заседание или пленум. Как много раз бывало ранее в этом зале, первый секретарь окружного комитета партии товарищ Цвятко Божков сделал доклад. Но этот доклад прозвучал по-новому. Божков говорил о человеческих судьбах, жестокой борьбе нового со старым, о борьбе в человеческих сердцах и за человеческие сердца».

Профессия писателей и профессия партийных работников очень близки, говорилось на этой встрече. И те и другие должны работать с людьми. И те и другие должны воевать за счастье.

— Все мы почувствовали эту сердечную близость,— сказал на встрече Камен Калчев, председатель Правления Союза болгарских писателей.— Наша встреча приобрела характер обмена опытом народа.

Когда писатели, разделившись на группы, разъехались по округу, сердечный разговор расширился, в нем приняли участие труженики кооперативных хозяйств, строек и заводов. Они рассказали писателям о своих заботах, познакомили со своими достижениями. Принимавшие участие в поездке писатели — Димитр Методиев, Камен Калчев, Константин Павлов, Любомир Левчев, Асен Босев, Славчо Васев и другие — с чувством глубокой признательности сообщили читателям «Литературен фронт» о встречах с трудящимися Вратчанского округа.

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

На страницах еженедельника «Литературен фронт» опубликованы сообщения болгарских писателей о своей работе и творческих планах.

Андрей Гуляшки завершил работу над своей новой повестью «Спящая красавица».

Мария Грубешлиева подготовила к печати новое издание своего романа «Встречный ветер».

Людмил Стоянов предполагает продолжать работу над второй частью автобиографической трилогии — романом «Молодость».

Емильян Станев намерен в этом году закончить роман «Иван Кондарев».

Поэт Веселин Ханчев работает над своим первым произведением в прозе «Города плачут и смеются». «Правда, — говорит он, — это произведение не чистая проза, а стоит где-то на грани прозы и стиха».

Читатели ежемесячника «Септември» познакомятся с новым романом Емила Манова «Бегство Галатеи».

БРАЗИЛИЯ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

В Рио-де-Жанейро стал выходить новый литературный и общественно-политический журнал «Темпу бразилэйру» («Бразильское время»). В задачу нового журнала, как заявил его главный редактор Эдуарду Портелла, входит содействие дальнейшему развитию бразильской национальной культуры.

В первых номерах журнала приняли участие видные бразильские писатели, в том числе Жоржи Амаду, Кассиану Рикарду, Сезар Гимараэнс, Жозе Паулу Морейра да Фонсека, Кандиду ди Алмейда.

СТРАНСТВИЯ «ЧЕРНОГО ОРФЕЯ»

Как известно, по пьесе выдающегося бразильского поэта и драматурга Винисиуса ди Мораэса «Орфеу да Консейсан» французский кинорежиссер Марсель Камю поставил нашумевший фильм «Черный Орфей», удостоенный премии на Международном кинофестивале в Венеции.

Недавно «Черный Орфей», как сообщает бразильский ежемесячник «Жорнал ди летрас», вернулся на родину, на этот раз в виде... одноименного романа. Виоланта ду Канту написала роман на основании фильма. Этот роман, написанный по-французски, был переведен на португальский язык Луисом ди Моура Барбозой и издан в Бразилии.

ВЕНГРИЯ

ЧЕМ ЗАНЯТЫ ПИСАТЕЛИ

«Никогда еще литературная жизнь Венгрии не была столь кипучей, как в наши дни»,— говорил на VIII съезде Венгерской социалистической рабочей партии председатель Союза венгерских писателей Йожеф Дарваш. Свидетельствуют об этом и публикуемые в печати беседы с писателями об их работе.

Еще тридцать лет назад поэт Иштван Ваш выпустил свой первый поэтический сборник; сейчас он — лауреат премии Кошута, готовит полное собрание своих сочинений. «Работая над составлением полного собрания,— говорит Иштван Ваш,— я волнуюсь не меньше, чем когда ждал выхода в свет своего первого сборника. Сумел ли я показать людей своего времени и историю своего времени? На этот вопрос я жду ответа от читателей».

Иштван Ваш.
(Журнал «Кортарш»)

Магда Сабо.
(Журнал «Кортарш»)

Проблеме взаимоотношений молодежи и взрослых посвятила Магда Сабо свою недавно законченную книжку «Пилат». О своих планах Магда Сабо говорит так: «Работаю над новой книгой... Но, к сожалению, не могу подробно рассказывать о ней, так как, раскрыв заранее сюжет книги, обычно теряю необходимую энергию и творческий запал, в результате у меня ничего не получается... Большой радостью для меня будет выход в свет второго издания моего романа «Косуля», который уже появился в Польше, Германии, Франции, Финляндии и Голландии и выходит в Америке и Англии».

О городе Дунайвароше, об одном из первых социалистических городов новой Венгрии, о его людях, о том, как они живут, работают, отдыхают, о том, что их волнует, словом, о том, как они строят свою новую жизнь, расскажет книга Денеша Барши. Теме перековки характера в условиях новой жизни, новых общественных отношений посвящает Барши свою другую книгу — роман «Перемена судьбы».

В издательстве «Сепиродалми киадо» выйдут в этом году две книжки Дюлы Фекете. Одна, повесть «Смерть врача», раскрывает духовный облик человека, отдав-

шего всю жизнь простому народу, крестьянам одного из венгерских сел; вторая — «Верная жена и плохая женщина» — посвящена проблемам морали и, как говорит в шутку сам автор, «навлечет, наверно, на меня гнев читателей». Работает Фекете также над фантастическим романом, события в котором происходят 5000 лет назад. Им запланированы сборник рассказов, киносценарий.

Поэт Ласло Геребеш много путешествовал, он побывал во Франции, Англии, Италии. Увиденное и пережитое им будет темой его очередного поэтического сборника. Кроме того, он работает над составлением сборника «Избранное».

Будущий роман Иштвана Катко называется «Третья буква алфавита». «Семимильными шагами развивается сейчас наша техника,— говорит Иштван Катко.— Что будет делать человек, когда его почти заменят «думающие» машины? Не отстает ли у нас гуманитарное образование от технического? Вот вопросы, на которые я постараюсь ответить в своем произведении».

Футболистам посвящает свою книгу детский писатель Иван Манди. Работает он и над сборником рассказов, в которых хочет показать «мир детей глазами взрослых».

ГАИТИ

СВОБОДУ ЖАКУ-СТЕФЕНУ АЛЕКСИСУ!

Деятели французской культуры обратились к президенту Гаити с требованием немедленного освобождения известного гаитянского писателя Жака-Стефена Алексиса, арестованного два года назад, в апреле 1961 года. Авторы письма обращают внимание президента на незаконность этой меры. Кстати, гаитянские власти до сих пор не сделали никакого заявления на этот счет.

Письмо подписали, в частности, Андре Моруа, Жан-Поль Сартр, Макс-Поль Фуше, Владимир Познер, Ален Рене, Андре Вюрмсер.

ГАНА

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Институт искусства и культуры Ганы организовал для учителей страны специальный цикл лекций, чтобы ознакомить их с основами кукольного театра и особенностями пьес, исполнителями которых являются куклы. Впоследствии учителя в свою очередь смогут передать ученикам полученные знания и вызвать у них интерес к этому виду искусства.

Газета «Ганиэн таймс» отмечает, что «кукольный театр в Гане имеет большое будущее: его спектакли, обращенные как к детям, так и к взрослым, отражают повседневную жизнь народа».

Институтом уже подготовлено несколько пьес для кукольного театра.

РАСТЕТ ЧИСЛО БИБЛИОТЕК

По темпам роста количества библиотек и увеличения числа читателей Гана за последние годы обогнала многие развитые капиталистические страны. По мнению газеты «Ганиэн таймс», причина этого заключается в том, что ганские библиотеки развиваются не в результате отдельных частных пожертвований, а по инициативе и при участии всего народа.

Большую помощь развитию библиотечного дела в стране оказывает Книжное общество Ганы, ставящее своей целью объединить усилия всех любителей книги — писателей, издателей, переплетчиков, библиотекарей, рядовых читателей для популяризации и развития ганской литературы.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

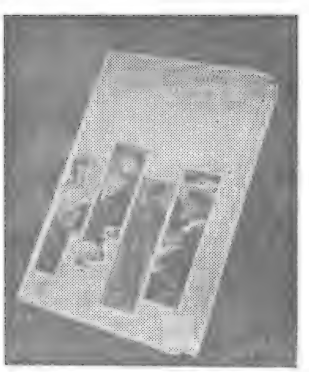
ДЕСЯТИЛЕТИЕ «НЕЙЕ ДЕЙЧЕ ЛИТЕРАТУР»

Недавно в ГДР был отмечен десятилетний юбилей литературного и общественно-политического журнала «Нейе дейче литератур» («Новая немецкая литература») — органа Союза немецких писателей, играющего заметную роль в борьбе за развитие и укрепление немецкой прогрессивной литературы, за торжество принципов социалистического реализма, за мир и демократию.

Вступая в новое десятилетие, журнал «Нейе дейче литератур» с нынешнего года начал выходить в другом оформлении. Редколлегия журнала обещает уделять больше места произведениям прозы и поэзии, выявлять и поддерживать молодые таланты. В своем критическом отделе журнал намеревается систематически и широко освещать проблемы, связанные с развитием и за-

---

К десятилетию популярнейшего в ГДР издательства «Ферлаг дер кунст» выпущен юбилейный сборник (на снимке), в котором выступают многие писатели республики. В сборнике напечатаны статьи и стихи литераторов и искусствоведов разных стран мира, помещено много иллюстраций.



падногерманской литературы, а также с развитием братских литератур в странах социалистического содружества.

Журнал получил приветствие от первого секретаря ЦК СЕПГ Вальтера Ульбрихта.

НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ

Принятая VI съездом СЕПГ новая программа партии вызвала у писателей республики огромный творческий подъем.

Еженедельник «Зонntаг» сообщает, над чем работают в своих творческих мастерских прозаики и поэты республики.

Вальтер Кауфман продолжает работать над серией рассказов из жизни моряков торгового флота ГДР, а также над романом о немецких рабочих-антифашистах перед второй мировой войной.

Новеллу о социалистическом отношении к труду на производстве пишет Вернер Шмоль. Рут Вернер работает над романом, героиня которого в прошлом участвовала в нацистских юношеских организациях, а теперь занимает ответственный пост на одном из предприятий ГДР.

Молодая поэтесса Роза Ниланд пишет пьесу для рабочего театра в Карл-Марксштадте. В планах Розы Ниланд — роман, действие которого развертывается в Германии 1933—1962 гг.

Карл Гейнц Якобс работает над романом «В жизни, как в смерти». Он закончил пьесу для телевидения «Фонтан» — о юном геологе, которым овладела идея найти нефть на территории ГДР.

Бригитта Рейман заканчивает повесть и на основе своего романа «Прибытие в будни» пишет киносценарий.

Над фантастическим романом, место действия которого — исследовательская лаборатория, работают писатели-супруги Гюнтер и Иоганна Браун.

На рабочем столе Макса Циммеринга рядом с новыми стихами лежит рукопись романа, начатого им еще во время эмиграции.

В разных жанрах намерена выступить Марианна Брунс: повесть, новеллы, рассказы, стихи. Основная тема ее будущих произведений — жизнь ГДР.

Театр «Берлинер ансамбль» поставил пьесу Бертольта Брехта «Швейк во второй мировой войне». В главной роли выступает артист театра Мартин Флёрхингер (на снимке).

(Газета «Берлинер цейтунг»)

...Молодая француженка Жанна, дочь мэра одного из городов Франции, бывшего партизана, и Клаус, юноша-слесарь из Западной Германии, познакомились случайно: боннский вермахт одел Клауса в военную форму и послал во Францию участвовать в совместных учениях войск НАТО... Любовь Жанны к Клаусу была трагически воспринята семьей девушки: мать Жанны убита гитлеровцем в годы фашистской оккупации Франции, и ее убийца восседает ныне в штабе войск НАТО в Париже. Клаус должен сделать выбор. И он решает встать на сторону своих французских друзей... Таково содержание нового фильма «У французских каминов», поставленного в студии ДЕФА режиссером Куртом Мётцигом по сценарию Гарольда Хайзера и Генриха Кейша. Здесь помещен кадр из фильма.

(Журнал «Цейт им бильд»)

ПРАЗДНИК ЛИРИКИ

Проблемы современной лирики широко обсуждались в последнее время на страницах многих газет и журналов ГДР. Наряду с критиками и публицистами, прозаиками и поэтами в дискуссии о поэзии приняли участие многие рабочие, крестьяне, интеллигенция.

Вечер молодых поэтов, состоявшийся в берлинском университете имени Гумбольдта, превратился, как сообщает газета «Юнге вельт», в настоящий праздник социалистической лирики.

Со своими стихами выступила плеяда молодых и уже признанных лириков, в том числе Армин Мюллер, Гельмут Прейслер, Пауль Винс, Роза Ниланд, Карл Микель, Готфрид Герольд, Фолькер Браун, Адольф Эндлер, Микаэла Любке, Гюнтер Энгельман. Многие из них еще недавно стояли у станка, работали в коллективных хозяйствах, были студентами. Слушать молодых лириков собралось более тысячи берлинцев, аудитория университета не вместила всех желающих. Вечер поэтов транслировался по радио и телевидению. Газета «Нейес Дейчланд» отмечает, что этот вечер показал идейную зрелость молодых лириков, зрелость их мастерства.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АННЫ ЗЕГЕРС В ФРГ

Как сообщает газета «Вельт», западногерманское издательство «Люхтерханд» приступило к изданию избранных произведений известной немецкой писательницы Анны Зегерс, живу-

щей в Германской Демократической Республике.

Для начала выпущен роман «Седьмой крест», который в Западной Германии издавался единственный раз много лет назад.

КУРТ ТУХОЛЬСКИЙ В ПИСЬМАХ

В западногерманском издательстве «Ровольт-ферлаг» вышел сборник «Избранные письма» Курта Тухольского.

Это — четыреста писем, написанных в период с 1913 по 1935 гг. и адресованных издателям театральных журналов, писателям, публицистам, деятелям театра и другим видным представителям культуры. Среди адресатов— Эрих Мюзам, Эрнст Толлер, Вальтер Меринг, Арнольд Цвейг, Эрвин Пискатор.

Письма Курта Тухольского — документ эпохи. Автор их живо откликался на разные события жизни кайзеровской Германии и веймарской республики, писал о нарастающей опасности гитлеризма.

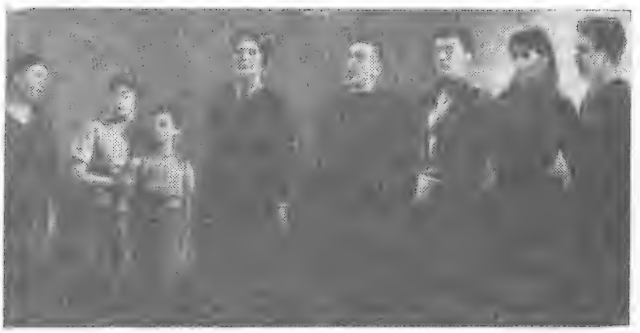
Выход в свет этой книги в Западной Германии, по отзыву демократической печати, является значительным событием в культурной жизни страны.

ДАНИЯ

«ЗАВЕТ ПОСТАВЛЕННЫХ К СТЕНКЕ»

В театре города Оденсе состоялась премьера исторической драмы норвежского писателя Нурдаля Грига «Поражение». Пьеса была написана в 1936—1937 гг., и хотя действие ее происходит в дни Парижской коммуны, автор несомненно был вдохновлен войной испанского народа против фашизма.

В рецензии под названием «Завет поставленных к стенке» газета «Ланд ог фольк» отмечает заслугу театра, давшего сценическую жизнь «одному из крупнейших драматических произведений современной скандинавской литературы». Рецензент Клаус Ингеманн Йоргенсен подчеркивает политическую актуальность пьесы, в которой Нурдаль Григ «не только прославляет Коммуну, но и предостерегает от повторения ее ошибок».



Сцена из спектакля «Поражение». *(Газета «Ланд ог фольк»)*

Буржуазная газета «Политикен» пишет о спектакле: «Это во всех отношениях крупное театральное событие». Успеху спектакля, по словам рецензента, способствовала в первую очередь талантливая пьеса, а также участие в ее постановке известных артистов Дании и Норвегии. Все газеты особо выделяют игру норвежского актера Клаеса Гилля, исполняющего роль художника Курбэ.

ИНДИЯ

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

В каком направлении развивается индийская литература после провозглашения независимости? Существует ли еще разрыв между жизнью народа и литературой и если да, то как он преодолевается?

Для обсуждения этих проблем, как сообщает индийская печать, на симпозиум в Дели собралось более сотни писателей — представителей всех литературных поколений Индии. На дискуссии выступило около тридцати ораторов. Кроме того, в президиум поступило двадцать письменных докладов.

Симпозиум открыл известный критик литературы на языке хинди доктор Намвар Сингх. Прежде всего он указал на весьма противоречивое положение современного писателя: «С одной стороны, различные национальные литературы Индии за последнее время со всей несомненностью подтвердили развитие национального сознания, сопровождающееся широким интересом к социальным проблемам и идеалам. Однако современному писателю явно недостает общественно-исторического кругозора».

Критик обратил внимание собравшихся на «один из существенных признаков роста общественного сознания в стране — демократизацию языка». Это явление привело к более тесным связям с фольклорными элементами, значительно приблизило индийские национальные литературы к жизни народа. Далее докладчик утверждал, что «индийская литература за последние пятнадцать лет была литературой критического реализма, хотя ей заметно не хватало глубокого социально-исторического аспекта». Литературный обозреватель журнала «Линк» пишет, что отдельные выступления, авторы которых утверждали наличие разрыва между литературой и жизнью, встретили отпор со стороны большинства участников симпозиума, опровергавших эти заявления.

Выдающийся прозаик на языке хинди Яшпал, подводя итоги дискуссии, с удовлетворением отметил признание большинством участников симпозиума того факта, что «как социальные, так и

литературные ценности претерпели в независимой Индии радикальные изменения, которые привели к более тесным и оживленным связям между литературой и жизнью».

ИСПАНИЯ

ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ

Итальянский издатель Джулио Эйнауди, несмотря на оказанный на него нажим со стороны сил реакции, опубликовал на испанском и итальянском языках сборник испанских народных песен и стихотворений поэтов Испании под общим названием «Песни нового испанского Сопротивления».

В связи с тем, что эта книга носит явно антифашистский и антиклерикальный характер, франкистские власти, как сообщает газета «Либерасьон», объявили Эйнауди, а также помогавших ему в издании сборника писателей Альберто Моравиа и Элио Витторини — «нежелательными» для Испании элементами.

ПАМЯТИ ЛОПЕ ДЕ ВЕГА

В связи с 400-летием со дня рождения Лопе де Вега в Мексиканской академии изящной словесности состоялось собрание, посвященное памяти великого драматурга.

Выступая с докладом о жизни и творчестве Лопе де Вега, известный мексиканский писатель Эрмило Абреу Гомес, как сообщает журнал «Тьемпо», особо подчеркнул, что Лопе создал народный театр, такой театр, в котором народ заявляет о своем существовании. Произведения Лопе де Вега реалистичны, жизненны. Народная Испания, по словам Абреу Гомеса, живет в Лопе де Вега.

ИТАЛИЯ

ДЗАМПА-ЛИТЕРАТОР

В то время как некоторые известные писатели отдают все больше времени кино (например, Пьер Паоло Пазолини, вслед за фильмом «Нищий» поставивший фильм «Мама Рома» с участием Анны Маньяни), некоторые известные кинорежиссеры уделяют все больше внимания литературной деятельности. Кинорежиссер Луиджи Дзампа, постановщик вошедших в историю неореализма картин «Трудные годы», «Жить в мире», а также знакомого советскому зрителю фильма «Судья», еще несколько лет назад выпустил большой и во многом автобиографический роман «Успех», а ныне опубликовал роман «Познавшая жизнь».

Главное действующее лицо нового романа — служанка Нунциата, приехавшая совсем молоденькой девушкой из деревни в Рим и здесь встретившаяся с первыми жизненными трудностями, приобретшая горький жизненный опыт. Автор очень тонко и сдержанно раскрывает характер, психологию этой девушки, рисует целую галерею портретов людей, с которыми ей приходится сталкиваться в жизни.

Луиджи Дзампа в интервью корреспонденту литературного приложения газеты «Паэзе сера» заявил, что литература все больше привлекает его, потому что в кино он не может полностью выразить свои взгляды и мысли из-за существующих цензурных рогаток, различного вида скрытого и явного давления со стороны продюсеров и киноорганизаций.

На экраны вышел фильм «Леопард», снятый по известному одноименному роману Томазо ди Лампедузы. Режиссер фильма — Лукино Висконти. Здесь воспроизводится кадр из фильма.

(Журнал «Синемонд»)

КИТАЙ

«КОЛЛЕГИ»

Как сообщает газета «Гуанминь жибао», рассказ писателя Ай Мин-чжи «Коллеги», опубликованный в журнале «Жэньминь вэньсюэ», принес автору новый успех среди читателей.

Герои рассказа — простые рабочие: литейщик Хэ Да-цзян, формовщик Чжуан Хао-мин и лаборантка Юэ Цзай-чэнь. Это разные люди, но между ними завязалась хорошая рабочая дружба.

Стремясь поставить новый рекорд, Хэ Да-цзян допускает ошибки. В результате вся плавка оказалась браком. Его друг Чжуан Хао-мин, узнав, что Хэ Да-цзян честно признал свою вину, отказывается от положенного отпуска и просит перевести его к Хэ Да-цзяну, чтобы помочь ему. Чувства Юэ Цзяй-чэнь не выдерживают первого серьезного испытания. Но когда Хэ Да-цзян вновь становится передовиком производства, она просит его восстановить прежние отношения. Хэ Да-цзян отвергает ее просьбу. Теперь он знает, что «любовь не только цветы, улыбки, поцелуи и весенний ветер, это — сосна в морозную зиму, молния темной ночью, взаимная поддержка на жизненном пути».

«Писатель создал замечательные образы молодых рабочих, чья дружба — могучий жизненный поток. Эгоизм, индивидуализм — лишь пузыри в этом потоке»,— пишет рецензент газеты Дин Те-цзюнь.

ЛИВИЯ

ПЕРВЫЙ РОМАН

Ливия, обширная страна оазисов и пустынь, продолжает оставаться «терра инкогнита» для литературоведа. Очень редко на страницах арабской прессы проскальзывают отрывочные сведения о литературной жизни этой страны.

Недавно в бейрутском журнале «Аль-Адиб» появилось краткое сообщение: «Ливийский литератор Мухаммед Абд ас-Салям издал роман «Загрубевшие руки».

Есть основания предполагать, что это — первый ливийский роман, так как до сих пор в арабской прессе о выходе произведений этого жанра в Ливии не сообщалось.

МЕКСИКА

АНТИКОММУНИЗМ — ЭТО ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА

Журнал «Ревиста де ла универсидад де Мехико», издаваемый Национальным автономным университетом Мексики — крупнейшим научным и культурным центром страны,— опубликовал статью, в которой резко критикует приверженцев «крестового похода» в Латинской Америке против идей коммунизма.

Журнал указывает, сколь опасны высказывания, подобные тем, которые сделал на недавней сессии Межамериканского общества печати, контролируемого госдепартаментом США, директор коста-риканской газеты «Диарио де ой» Наполеон Виэра Альтамирано. Альтамирано утверждал, что университеты, равно как и рабочие организации Латинской Америки, «попали в руки коммунистов», и призывал «применять репрессии в борьбе против коммунизма». Он предлагал, чтобы каждая латиноамериканская страна разработала «свой план подавления коммунизма».

Коста-риканский Наполеон и ему подобные, пишет журнал, присваивают себе право определять, какие мнения и тенденции являются «опасными» и какие лишены «красной заразы». Они хотят, чтобы Соединенные Штаты доверили им быть инквизиторами.

Виэра и его сторонники предлагают срочно провести чистку, в частности в университетах, но разве это не означает попытку установить на континенте идеологическую диктатуру?— спрашивает автор статьи в журнале.

АВТОР КНИГИ — СИКЕЙРОС

«Западня» — так называется книга, недавно изданная в Мехико. Ее автор — всемирно известный шестидесятишестилетний художник Давид Альфаро Сикейрос, приговоренный судом к восьмилетнему заключению по обвинению в «подрыве социальных устоев», находящийся с августа 1960 года в тюрьме.

Как отмечается в рецензии, опубликованной мексиканским журналом «Политика», книга написана Сикейросом накануне судебного процесса.

Западня — вот смысл этого «чудовищного маккартистского процесса, который потряс страну и весь мир»,— подчеркивает журнал.

Эта книга, по словам рецензента, в какой-то степени является «политической автобиографией» автора, поскольку его жизнь тесно связана с историей Мексики, начиная с 1910 года, а также с периодом борьбы против фашизма — гражданской войной в Испании и второй мировой войной.

«Учитывая трудные обстоятельства, в которых была написана книга, затронутые ею темы, личность и гражданское мужество ее автора,— пишет в заключение рецензент журнала «Политика»,— книга является ценным документом времени».

МОНГОЛИЯ

ЛАУРЕАТЫ

Комитет по государственным премиям отметил лучшие литературные произведения 1962 года. Премий удостоены прозаик Чойжолын Чимид — за пьесу «На пороге», Чойжалжавын Лхамсурен—за поэму «Сказание о гнедом коне», а также за стихи и песни для детей, писатель Доноровын Намдак — за роман «Бурное время».

НОРВЕГИЯ

УСПЕХ ХОБЕК ХАФФ

Норвежское общество литературных критиков присудило премию за лучший норвежский роман осени 1962 года молодой писательнице Берглиот Хобек Хафф. Премия общества критиков является поощрительной и присуждается преимущественно молодым представителям норвежской литературы.

Берглиот Хобек Хафф начала писать в 1956 году. «Костер» — ее четвертый роман.

Берглиот Хобек Хафф.
(Газета «Фрихетен»)

ПОЛЬША

«ПО СЛЕДАМ ЛЕНИНА»

Студенческий клуб «Хыбрыды», объединяющий представителей самого молодого поколения польской поэзии, известен в Польше своей широкой деятельностью по распространению среди молодежи культурных знаний. Отмечая 50-ю годовщину пребывания Владимира Ильича Ленина в Польше, театр революционной поэзии и песни имени Броневского при клубе «Хыбрыды» организовал цикл концертов для молодежи под названием «По следам Ленина». В программу концертов вошли революционные стихи и песни польских, советских и русских поэтов и композиторов. В концертах, построенных в виде литературно-музыкальных композиций, читались отрывки из писем и выступлений В. И. Ленина.

ТРИЛОГИЯ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА

Вышел из печати последний том трилогии Ярослава Ивашкевича «Честь и слава». Писатель завершил труд, первый том которого издан в 1956 году.

Польская литературная печать уделяет много внимания трилогии Ивашкевича. В большой статье, опубликованной еженедельником «Нова культура», критик Янина Прегер характеризует трилогию «Честь и слава» как «прозу высшего класса».

Хронологические рамки трилогии — от революционных событий в России в 1917 году до установления народной власти в Польше и первых шагов в строительстве новой жизни. Третий том целиком посвящен жизни и борьбе польского народа в период гитлеровской оккупации и освобождения Польши от фашистского рабства.

Герою третьего тома «Чести и славы» Янушу Мышиньскому пришлось испить горькую чашу: он теряет дом, семью. И все же, несмотря на удары судьбы, он не относится пассивно к тому, что происходит вокруг: он живо приемлет народно-демократическую революцию

Ярослав Ивашкевич.
(Еженедельник «Нова культура»)

в Польше, понимает неизбежность социалистических преобразований в стране.

Ивашкевич показывает драматические жизненные конфликты, национальную трагедию польского народа в период фашистской оккупации, но это произведение жизнеутверждающее, оптимистическое.

Появление последнего тома «Чести и славы» дает возможность в полной мере оценить размах и значение эпической трилогии Ивашкевича.

РУМЫНИЯ

КНИГИ ГОДА

Еженедельник «Газета литерарэ» помещает в каждом номере беседы с писателями о книгах, над завершением которых они работают.

Оскаром Вальтером Чисеком давно был задуман роман о крупном восстании в XVIII веке трансильванских крестьян во главе с народными вождями Хорией, Клошкой и Кришаном. Современность книги в том, что писатель рассказывает о зарождении революционного сознания румынского крестьянина.

Действие нового романа писателя Лауренциу Фульги «Звезда Доброй надежды» происходит в СССР первых послевоенных лет. Его персонажи — военнопленные одного лагеря: румыны, немцы, итальянцы, венгры и финны. Обманутые фашистской пропагандой, они потрясены правдой об истинно гуманном характере советского человека. В книге раскрыты конфликты, возникающие между представителями разных классов и национальностей в лагере; изображен процесс пробуждения, постепенного обретения героем под влиянием коммунистов облика борца за справедливость.

«Вальс для Маричики» — роман молодого писателя Николае Цика — охватывает по времени один месяц 1961 года. Главный герой книги Мотроня, руководитель молодежной бригады, как отмечает «Газета литерарэ», это образец нового рабочего социалистической Румынии.

США

УИЛЛ РОДЖЕРС — САТИРИК

В американской печати публикуются рецензии на новую книгу «Уилл Роджерс»

Уилл Роджерс. Портрет работы художника Сэмюэла Брайанта.
(Еженедельник «Нью-Йорк геральд трибюн букс»)

Дональда Дэя. Автор книги — историк. В основу своего труда он положил автобиографию Уильяма Роджерса, одного из блестящих сатириков США, погибшего в авиационной катастрофе около тридцати лет назад. Буржуазная печать сознательно подчеркивает лишь то, что Уильям Роджерс был юмористом, умевшим заставить американцев смеяться, как никто, но разоблачительную силу его разящих памфлетов ныне многим, естественно, не хочется вспоминать. Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» озаглавила свою рецензию на книгу так: «Он жил и процветал, потому что нас развлекал». Стремясь умалить роль Роджерса как политического сатирика, рецензенты делают нажим на развлекательную сторону таланта Роджерса, хотя, как известно, наибольшая его заслуга была именно в разоблачительных выступлениях.

ПОД МРАЧНОЙ ТЕНЬЮ ЛИТТЛ-РОКА

Прогрессивная печать США положительно отзывается о книге американской негритянской писательницы Дэйзи Бэйтс «Длинная тень Литтл-Рока». Автор книги — видная фигура в молодежном негритянском движении Америки. Во время событий в Литтл-Роке, когда оголтелые расисты не допускали в школу группу негритянских мальчиков и девочек, Дэйзи Бэйтс вместе с прогрессивными белыми американцами активно боролась за элементарные гражданские права своего народа. Опубликованная ею книга является документальной картиной американской действительности, написанной в художественной форме. По словам Уильяма Паттерсона, поместившего рецензию в «Уоркер», книга Дэйзи Бэйтс производит огромное впечатление силой яркого и правдивого слова.

Дэйзи Бэйтс пишет так, что каждому читателю ясно — это книга не только о местных событиях в Литтл-Роке, речь идет о вирусе расизма в Соединенных Штатах Америки. «Длинная тень» Литтл-Рока покрывает позором всю страну, является угрозой для всего американского народа.

Рисуя литературные портреты тех людей, которые позорят Америку, Дэйзи Бэйтс воссоздает образы расиста Орвела Юджина Фобюса, губернатора Арканзаса, Росса Барнэтта, требовавшего, чтобы на Кубу были сброшены американские бомбы, сенаторов-расистов и «охотников за ведьмами» Истлэнда, Голдуотера, Эллендера — главарей бэрчистов, членов ку-клукс-клана и погромной расистской организации «Совет белых граждан».

«Когда-нибудь, — пишет Паттерсон,— это произведение будет включено в обязательную программу американской литературы во всех школах нашей страны, где сейчас еще продолжают вести преподавание с позиций «превосходства белого человека».

Обращаясь на страницах книги к группе иностранных туристов, любующихся зданием Капитолия, Дэйзи Бэйтс говорит: «Если бы все жертвы озверевших линчевателей — все те, кого умертвили расисты и в залах суда и вне залов суда, если бы все те студенты, которых избили до полусмерти за то, что они осмелились выпить в своей Америке чашку кофе или бокал кока-колы там, где закусывают белые,— были бы собраны вокруг Капитолия, то их оказалось бы такое множество, что тела их закрыли бы собой это величественное здание...»

Книге Дэйзи Бэйтс предпослано предисловие покойной Элеоноры Рузвельт, давшей высокую оценку работе автора «Длинной тени Литтл-Рока».

ЭТО НАПИСАНО ЮНЫМ ФОЛКНЕРОМ

Под редакцией и с предисловием Карвэла Коллинза в Нью-Йорке вышел сборник «Уильям Фолкнер: ранние стихотворения и проза». В сборник включены, в частности, сонет Фолкнера, посвященный некоей юной студентке, и написанные им в молодости рецензии на книги. Сборник интересен также и тем, что он иллюстрирован рисунками самого Фолкнера, сделанными в те времена.

Бостонская газета «Крисчен сайенс монитор» в рецензии на сборник цитирует один из образчиков стиля литературных рецензий молодого Фолкнера. Вот как он писал о стихах поэта Конрада Эйкена: «В густом и душном тумане, порожденном интеллектуальной беспомощностью современных американских рифмоплетов, бездарно подражающих Китсу или пишущих слезливо о Среднем Западе, появление стихов Конрада Эйкена можно уподобить неожиданно появившемуся просвету ярко-голубого неба во время мрачного ненастья».

Произведения, помещенные в сборнике, написаны в самом начале литературного пути Уильяма Фолкнера, когда он работал в банке, затем поступил в университет и заведовал университетским почтовым отделением.

Опубликованный рисунок юного Фолкнера свидетельствует о его незаурядном даровании как художника.

Рисунок молодого Уильяма Фолкнера.

(Газета «Крисчен сайенс монитор»)

ФРАНЦИЯ

Кадр из фильма «Они убили Жореса».

(Газета «Юманите»)

«ОНИ УБИЛИ ЖОРЕСА»

Так называется новый полнометражный фильм документального характера, снятый Бельсолелем по мотивам книги Марселя Оклера «Жизнь Жана Жореса». Документы перемежаются со сценами, воссозданными непрофессиональными актерами.

На фоне исторических событий Бельсолель показывает жизнь Жореса со дня рождения до момента трагической гибели. В фильме две основные фигуры: Жан Жорес, основатель газеты «Юманите», пламенный патриот-трибун, боровшийся против войны, и его убийца Рауль Виллэн — оасовец того времени, отравленный военной пропагандой, из которого милитаристы сделали героя.

Цензоры, ссылаясь на то, что «в период социального умиротворения» не следует воскрешать «бесполезные ссоры», рекомендовали запретить фильм (газета «Юманите» замечает по этому поводу: «Если бы смешное убивало, во Франции уже не было бы цензуры»).

Однако пленарная комиссия цензуры, как сообщает «Юманите», вынуждена была отступить перед недовольством общественности и после долгих дебатов дала разрешение на демонстрацию фильма.

НОВЫЕ ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАКА

«Сирано против д'Артаньяна» — этим сенсационным заголовком открывается статья в парижском еженедельнике «Синемонд», посвященная новому фильму известного французского режиссера Абеля Ганса. Волею сценариста и постановщика фильма на экране встречаются поэт Сирано де Бержерак и популярный герой романов Александра Дюма.

Знаменитый французский поэт, чей образ благодаря известной драме Ростана стал повсюду для людей символом человеческого благородства, мужества и верности, превращается в участника галантных похождений храброго королевского мушкетера.

В ответ на вопрос корреспондента «Синемонд» о том, что заставило Абеля Ганса тревожить прах поэта, и на упрек в несколько вольном обращении с историей, режиссер заявил: «Тем, кто упрекает меня в неуважении к истории, я отвечаю — в искусстве бывает такая красивая ложь, перед которой правда кажется поддельной богиней». Нет надобности добавлять, что это высказывание тоже «красивая ложь».

Кадр из фильма «Сирано и д'Артаньян».

(Журнал «Синемонд»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

К СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ

В связи с III съездом чехословацких писателей в литературных кругах проходят многочисленные дискуссии, посвященные проблемам современной литературы. В печати публикуются статьи о новых достижениях литературы, о молодом по-

колении чешских и словацких поэтов и прозаиков.

Большой интерес общественности, как сообщает еженедельник «Литерарни новины», вызвала проведенная в Праге конференция на тему «Литература и современное состояние мышления, науки и техники».

ДИСКУССИЯ О ДРАМАТУРГИИ

Недавно в Брно окончилась конференция драматургов, но дискуссия о драматургии продолжается. На страницах журнала «Хост до дому», освещавшего ход конференции, опубликованы выступления многих театральных деятелей.

Творческая дискуссия, как отмечает «Хост до дому», будет, безусловно, способствовать развитию и дальнейшим успехам драматургии Чехословакии.

РАЗДУМЬЯ И ПЛАНЫ

На страницах еженедельника «Свет в образех» появилась новая рубрика «Минутка с писателем». В беседах с корреспондентами журнала выступили уже многие известные прозаики и поэты Чехословакии, поделившиеся своими творческими планами, мыслями о роли и партийности литературы, о современности ее.

На рабочем столе Карела Птачника, известного своими романами из жизни Пограничья «Год рождения 1921» и «Город на границе», лежит рукопись нового произведения, тоже посвященного жизни Пограничья в период 1948—1953 годов.

Ян Дрда работает над романом—трилогией, посвященной истории трех поколений рабочего класса, начиная с конца прошлого столетия и кончая нашим временем.

СТИХИ ВИЛЕМА ЗАВАДЫ

Под названием «Одна жизнь» в издании «Клуба друзей» вышел новый сборник стихов Вилема Завады, популярного в стране поэта.

Сборник «Одна жизнь», по оценке критики, является синтетическим воплощением песни простому человеку, который своим трудом делает историю. В ней слились воедино жизненный опыт человека и поэта. Стихи Завады ясно показывают, насколько созрел его голос. Сегодня поэт уже знает цену стиху, знает, что для его создания «надо по каплям собирать горючее и мед».

ВОСПОМИНАНИЯ СЕСТРЫ ЧАПЕКОВ

О двух видных представителях чешской культуры — братьях Йосефе и Кареле Чапеках рассказывает книга Елены Чапековой «Мои милые братья».

Читатель узнает много интересного о творческой работе каждого из братьев — о художнике и о писателе, о среде, в которой они росли, об их семье.

Эта сторона книги, как сообщает печать, привлекает особое внимание. Она читается не как воспоминания, а как роман, действующие лица которого — живые люди со всей их сложностью и жизненной правдой. Автор проникает во внутренний мир каждого своего героя, воссоздает их характеры. Менее удачна попытка Е. Чапековой изобразить творческий путь братьев Чапеков.

«И все же воспоминания весьма ценны,— пишет рецензент еженедельника «Литерарни новины».— Елена Чапекова была последним представителем семьи Чапеков».

Фильм «Горячее сердце», поставленный режиссером Отакаром Ваврой, посвящен жизни знаменитой чешской писательницы Божены Немцовой, роль которой исполняет артистка Иржина Шворцова (см. помещенный здесь кадр).

(Журнал «Филм а дивадло»)

ЭКВАДОР

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОИЗВОЛ

Не так давно агенты эквадорской «полиции безопасности» арестовали в Гваякиле видного писателя и журналиста, профессора Мигеля Доносо Парэху. Его обвинили в том, что он был «причастен к террористическим актам».

Беспричинный арест и нелепое обвинение, предъявленное этому известному деятелю культуры, указывает гваякильская газета «Пуэбло», вызвали всеобщее возмущение. Писатели, артисты, художники этого крупнейшего города и порта Эквадора выразили свой протест против грубого произвола властей и потребовали немедленного освобождения Мигеля Доносо Парэхи. Под давлением со стороны общественности он наконец выпущен из тюрьмы.

Мигель Доносо Парэха — автор многих рассказов и стихотворений. Газета подчеркивает, что Доносо Парэха «окончательно стал на сторону народа и его судьбы. Он отказался от тех небольших удобств, которые мог бы получать от паразитирующих классов, бесстыдно обогащающихся за счет нищеты, угнетения и невежества широких народных масс».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ГАБОР ГАРАИ — GARAI GABOR (род. в 1929 г.). Венгерский поэт. Автор сборников «Наполненные дни» («Zsufólt napok», 1956), «Песня исцеления» («Ének gyógyulásért», 1958). Стихи, публикуемые в номере, взяты из газеты «Элет эш иродалом».

СЕСАР ВАЛЬЕХО — CESAR VALLEJO (1892—1938). Перуанский поэт. Стихи, напечатанные в номере, взяты из различных стихотворных сборников.

АНДРЕ МОРУА — ANDRE MAUROIS (род. в 1885 г.). Французский писатель, автор романов «Бернар Кеснэй» («Bernard Quesnay», 1926), «Семейный круг» («Le cercle de famille», 1932), «Климаты» («Climats», 1932), «Сентябрьские розы» («Les roses de septembre», 1954) и др.

Его перу принадлежат также биографические романы и эссе о Вольтере, Байроне, Шелли и др.

Рассказы, опубликованные в этом номере, входят в сборник «Для фортепьяно соло» («Pour piano seul», 1960).

ЦЗОУ ДИ-ФАНЬ (род. в 1916 г.). Китайский поэт. Автор сборников стихов «Иду на север» (1954) и «Родина» (1957). Стихи Цзоу Ди-фаня неоднократно переводились на русский язык.

«Лучший стих» опубликован в журнале «Шикань» № 2 за 1962 г.

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА (род. в 1893 г.). Болгарская поэтесса, лауреат Димитровской премии и Национальной премии Мира. Автор сборников стихов «Вечная и святая» («Вечната и святата», 1927), «Звезда моряка» («Звезда на моряка», 1932), «Пять звезд» («Пет звезди», 1953), «Избранные произведения» («Избрани произведения», 1957).

Стихотворение «Аэродромы» прислано журналу в рукописи, стихотворение «Земля, внучка и я» взято из журнала «Септември».

ЭРИК ДАНИЭЛЬСЕН — ERIC DANIELSEN. Датский журналист и радиокомментатор, заведующий отделом культуры газеты «Ланд ог фольк».

Статья, публикуемая в номере, прислана в журнал в рукописи.

ПОЛЬ ХОГАРТ — PAUL HOGARTH (род. в 1917 г.). Английский художник. Автор книг «Люди, такие, как мы» («People Like Us», 1958) и «Приглядываясь к Китаю» («Looking at China»).

БРЭНДАН БИЭН — BRENDAN BEHAN (род. в 1923 г.). Ирландский драматург. Автор пьес «Чудак» («The Quare Fellow»), «Заложник» («The Hostage», 1958) и автобиографии «Несовершеннолетний преступник» («Borstal Boy», 1958).

Книга «Остров Брэндана Биэна» («Brendan Behan's Island») вышла в 1962 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский.** Технический редактор **В. Л. Шачнев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 01586 Сдано в производство 24/I-63 г. Подписано к печати 23/III-63 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9,0 бум. л. + 1 вкл.; печ. л. 24,66 + 1 вкл. Зак. 180.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС
70391